

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА **В** БОЛЬШИЕ КНИГИ

Анатолий
Иванов



ВЕЧНЫЙ
ЗОВ

« А З Б У К А »

Русская литература. Большие книги

Анатолий Иванов

Вечный зов

«Азбука-Аттикус»

1976

УДК 821.161.1
ББК 84(2Рос-Рус)6-44

Иванов А. С.

Вечный зов / А. С. Иванов — «Азбука-Аттикус»,
1976 — (Русская литература. Большие книги)

ISBN 978-5-389-21725-6

«Вечный зов» — самое масштабное произведение Анатолия Иванова, над которым писатель работал в течение тринадцати лет — с 1963 по 1975 год. Вскоре после выхода книги, имевшей огромный читательский успех, по роману был снят и знаменитый телесериал. Действие романа охватывает почти шесть десятилетий из жизни страны первой половины XX века. В центре повествования лежит история семьи Савельевых, выходцев из далекого сибирского села, нелегкая, полная драматических коллизий судьба трех братьев: Антона, Федора и Ивана. Жизнь героев тесно переплетается с поворотными событиями века и становится частью истории целого народа, на долю которого выпало три войны, революция, крушение старого мира и становление нового.

УДК 821.161.1

ББК 84(2Рос-Рус)6-44

ISBN 978-5-389-21725-6

© Иванов А. С., 1976
© Азбука-Аттикус, 1976

Содержание

Книга первая	6
Пролог	7
1	7
2	15
3	27
Часть первая	46
Часть вторая	126
Конец ознакомительного фрагмента.	237

Анатолий Иванов

Вечный зов

© А. С. Иванов (наследники), 2022

© Оформление. ООО «Издательская Группа „Азбука-Аттикус“», 2021
Издательство АЗБУКА®

Книга первая

Детям Ирине и Сергею

Пролог

1

В один из июньских дней 1908 года в следственной камере при Томской жандармерии находились двое – сам следователь господин Лахновский, человек лет тридцати пяти, с жирным тупым носом, и старший надзиратель Косоротов, мужчина неопрятной наружности, с выпирающими челюстями.

Следователь, в нижней рубашке, за рабочим столом пил чай. Было жарко, его форменный китель болтался на спинке стула. Косоротов прислуживал, через руку у него висело полотенце, и вообще он походил на трактирного полового.

Лахновский поставил пустую чашку на поднос и сказал:

– Слышал я, братец, о твоём рапорте начальству. В Александровский централ про-
сишься?

– Мечта, ваше благородие. С малых, юных лет.

– Мечта – это хорошо. Мечта у человека исполняться должна.

– И вы, ваше благородие, подсобить обещали, ежели отличусь.

– Да-да, я походатайствую. Жалко тебя отпускать, но за усердие и преданность надо поощрять. – Лахновский отодвинул поднос с чайной посудой. – Ну-с, давай опять с твоих новониколаевских земляков начнем... Как тебе удалось выследить их?

– А я, Арнольд Михалыч, стал быть, в иллюзион шел. А когда иду по улице – всегда смотрю: что, где, как? Гляжу – с переулка впереди меня вывернулись двое. И пошли, пошли, скоренько так. Что-то, думаю, не так... А тут один оглянулся. Меня и вдарило: Полипов Петька, земляк! А с ним кто же? Так и есть, Антошка Савельев! Обои в девятьсот пятом – девятьсот шестом годах еще в Новониколаевской тюрьме сидели, когда я там надзирателем служил. Что, думаю, в Томске им надо? Я свисток...

– Ладно, молодец. Веди по одному.

Лахновский накинул китель, закурил. Дымок от папиросы потек на улицу через открытую форточку зарешеченного окошка.

Минуты через полторы Косоротов втолкнул из коридора Антона Савельева. Антон был в помятом пиджаке, из-под фуражки свешивался белесый чуб. Светлые глаза глядели на следователя угрюмо и враждебно.

Лахновский, попыхивая папиросой, подошел, усмехнулся, кивнул на стол, где лежали две серые тощие папки:

– Я запросил из Новониколаевского жандармского отделения ваши с Полиповым личные дела. Ну-с, и теперь будете запираяться?

* * *

Антону Савельеву около месяца назад исполнилось восемнадцать. И в этот день была свадьба, он женился на Лизе Захаровой, единственной дочери новониколаевского социалиста Никандра Захарова, погибшего в марте 1905 года при побеге из Александровского централа.

Родился и вырос Антон в деревушке Михайловке Шантарской волости, которая находилась верстах в полутора от Новониколаевска. Его отец, Силантий Савельев, был, как говорили в Михайловке, «беднее поповой собаки». Что значило это выражение, Антон понять никогда не мог, потому что в Михайловке ни попа, ни церкви, а следовательно, «поповой собаки» не было.

Антон рос хулиганистым. Часто колотил меньших братьев – Федора и Ваньку, держал в жестоком страхе всех михайловских ребяташек. Каким бы вырос Антон – неизвестно, но весной 1904 года в Михайловку приехал из Новониколаевска младший брат Силантия, плотник Митрофан.

– Возьми-кось, Митрофан, Антошку хучь на время в город, а? – попросил его старший брат. – Можя, ремеслу своему его обучишь. А то мы тут с маткой никак управы на него не найдем, спортится парнишка до края. С конокрадами вот, слышно, дружбу свел, в карты они его приучили играть.

В Новониколаевске Антону понравилось, но учиться плотницкому делу он не стал. Целыми днями болтался по улицам города, перезнакомился с городскими хулиганами, играл с ними в карты, наловчился обчищать карманы валявшихся у пивнушек мужиков, за что не раз бывал жестоко бит. Неожиданно все дела эти бросил, пристрастился ловить птиц в окрестных лесах, которых и стал продавать на рынке или менять на пряники сыну соседского лавочника Петьке Полипову. Сам Антон сладостей не любил – отдавал тонконогой Лизке, «дочке каторжника», как ее называли все вокруг.

Этой Лизке, худой, как скелет, с острыми коленками и длинными черными бровями девчонке, было лет четырнадцать. Она жила на той же улице, что и дядя Митрофан, мать ее, вечно кашляющая, видимо чахоточная, работала где-то на мыловаренном заводе. Антона Лизка заинтересовала именно тем, что была дочерью каторжника. «Интересно, за что ее отца в каторгу загнали? – думал Антон. – Зарезал, наверное, кого?»

Как-то он спросил об этом у сына дяди Митрофана – Григория. Высокий, жилистый, большеглазый, Григорий работал в паровозном депо кочегаром, от него пахло всегда дымом и сажей, но он был веселым человеком, часто брал с собой Антона на рыбалку и вообще относился к нему дружески, как к ровне.

– Правду человек захотел поискать – вот и упекли на каторгу, – сказал Григорий. Внимательно поглядел на Антона и добавил: – Он, отец ее, социалист.

– Что ж это такое – социалист?

– Революционер, значит.

– А что такое революционер?

Григорий рассмеялся, подмигнул почему-то Антону.

– Интересно? Значит, как-нибудь узнаешь. Всему свое время.

Вскоре Антон узнал, что и Григорий, и дядя Митрофан, и даже его жена Ульяна Федоровна тоже революционеры, хотя они это тщательно скрывали от него. А когда поняли, что Антону все известно, чуть не отправили его назад в Михайловку, к родителям. Особенно настаивала на этом тетя Ульяна. И его отправили бы, наверно, если бы не Григорий.

– Смотрю я на тебя, батя, и думаю: чего ты хочешь?! – схватился однажды Григорий со своим отцом. Взял со стола отобранную тетей Ульяной у Антона колоду карт, потряс ею в воздухе. – Ты хочешь, чтобы Антон и дальше шел по этой дорожке? А ведь чем дальше, тем оно глубже. Пойми, парень в таком возрасте, когда черт-те что хочется, небывалого чего-то! Так надо помочь ему!

Григорий, веселый, никогда не унывающий Григорий, который воспротивился отправлению Антона назад в Михайловку, в тот же день, буквально через полчаса, принимая на загородном полустанке от связного политическую литературу, был смертельно ранен жандармом, а вечером умер на руках Антона, сказав:

– Если пойдешь, Антон, правду искать, тебя ждут тюрьмы, каторги и, может быть, вот... такой конец... Пойдешь?

– Пойду.

– Не забоишься?

– Нет.

- И правильно...
- Я буду такой же, как ты!
- Я верю...

В тюрьме Антону впервые пришлось посидеть довольно скоро. И ему, и Лизе, и Петьке Полипову. Несмотря на то, что Петька был сыном довольно богатого лавочника.

С Петькой у Антона постепенно сложились дружеские отношения. Омрачало их дружбу только одно – оба незаметно как-то влюбились в Лизу. Чем покорила она Петьку, неизвестно, красивой Лизу назвать было нельзя. Красивыми были только ее глаза – зеленоватые, как речная вода, и вечно в них плескалось что-то беспокойное и живое. Антону же она понравилась своей отчаянной смелостью, хотя по ее виду заключить этого было нельзя. Нельзя-то нельзя, но тем не менее в свои четырнадцать-пятнадцать лет она не раз ездила в Томск, привозила оттуда запрещенную литературу и даже оружие.

Сама Лиза к Антону и Петру относилась всегда одинаково, и до самого последнего времени было неизвестно, кому она отдаст предпочтение. Шансы Полипова, как в душе считал Антон, были неизмеримо выше, особенно после выхода из тюрьмы. Всех их посадили в конце октября 1905 года – Антона, Лизу, Петьку, руководителя новониколаевской организации РСДРП Ивана Михайловича Субботина, опытного революционера, совершившего за несколько месяцев до этого вместе с Лизиным отцом побег из Александровского централа. Друзья выправили Субботину документы на имя Кузьмы Чуркина, устроили на службу в Новониколаевске – посудомоем на тюремную кухню. Работая на кухне, Чуркин активно готовил побег политзаключенных. Во время октябрьской стачки, в тот день, когда железнодорожные рабочие, возглавленные после смерти Григория его отцом, Митрофаном Ивановичем, устроили небывалую политическую демонстрацию, тюрьму удалось разгромить. Но подоспевшие казачьи сотни и регулярные войска разогнали демонстрантов, а через несколько минут арестовали всех организаторов побега политзаключенных.

В этот день Чуркин-Субботин дал Антону и Петру Полипову настоящее боевое задание. Антон должен был с утра отправиться на глухой полустанок, получить там у старичка-путейца сумку с патронами и к десяти утра доставить в условленное место в лесу за городом. Это был дополнительный боевой запас, который мог понадобиться. В случае надобности Петьке Полипову следовало эти патроны доставить в город, штурмовой группе. Полипов был гимназист, и ему легче было в своей гимназической форме пронести по улицам города патроны, не вызывая подозрений. Но Антон обиделся, что его не только не берут в штурмовую группу, но и патроны не доверяют нести в город. И поэтому прямо с полустанка он отправился к месту сбора этой группы.

Ух как вскипел тогда Субботин, увидев такую недисциплинированность! А ведь патроны-то были нужны, Полипова Петьку он уже услали за ними в лес.

Следствие по делу организаторов демонстрации и налета на тюрьму велось долго, больше года. Арестованных содержали то порознь, в разных камерах, то всех вместе, подсаживая одновременно и провокаторов. Особенно досталось за это время Полипову. Его чаще других вызывали на допросы, частенько избивали, хотя истязание политических было запрещено. Для Полипова, видимо, делали исключение, надеясь, что изнеженный жизнью сын богатого лавочника не выдержит. Но он выдержал, он никого не выдал, сам Субботин сказал о нем:

- Он настоящий парень, наш Петро. Побольше бы нам таких.

Несмотря на скудные улики, им троим – Антону, Лизе, Петьке Полипову – дали по два года, Митрофану Ивановичу – два с половиной, Чуркину-Субботину же, как беглому политзаключенному, – восемь лет каторги. Но с этапа ему удалось бежать, он снова очутился в Новониколаевске, опять начал сколачивать разгромленную в 1905 году городскую организацию РСДРП.

По выходе из тюрьмы Антон устроился грузчиком на лесопилку. Лиза, как и прежде, относилась к Антону и Полипову одинаково. Мать Лизы, пока они сидели в тюрьме, умерла. Лиза с трудом поступила работать на ту же мыловарку. То Антон, то Петька часто встречали ее у мыловарки, провожали домой. И однажды, чтобы покончить с неопределенностью, Антон решился на откровенный разговор. Говорить ему было трудно, но Лиза и не дала говорить.

– Не надо! Не надо! – воскликнула она и зажала ему рот жесткой ладонью. Потом ткнулась горячей головой в плечо.

– А... а как же Петька? – задал он глупый вопрос.

– А что Петька?! Он хороший, наверно. Но... не знаю. Не лежит и никогда не лежало у меня к нему сердце. Он грамотный, а я... Ты ему сам скажи. Чтоб не встречал больше...

И Антон сказал. Петька выслушал все молча, круглые щеки его налились густой кровью, засинели, на правой щеке заходил тяжелый желвак, и правый же угол рта дернулся.

...Свадьбы как таковой у Антона с Лизой, можно сказать, и не было. В теплый майский вечер он увел Лизу за город, в лес, там они построили шалашик и провели в нем свою первую хмельную ночь. Антон был пьян от счастья, от запаха цветущей черемухи. Этот запах он почувствовал еще вечером, выходя из города. В теплом синеватом воздухе бесшумно носились ласточки, то взмывая стремительно вверх, то припадая к самой земле. И в голове неизвестно откуда явились сами собой и зазвенели четыре стихотворные строчки:

Над городом запах черемух струится,
Давно отступила уж зимняя стынь,
И ласточки, ласточки – быстрые птицы —
Пронзают небесную синь...

Антон даже испугался. Никогда никаких сочинительских талантов он в себе не чувствовал и знал, что таковыми не обладает. И вот тебе на – сочинил! Строчки эти всю ночь звенели в голове, а к утру неожиданно сложился еще один куплет:

И ежели в сердце тоска застучится —
Ты голову в небо чуть-чуть запрокинь,
И сразу увидишь, как вольные птицы
Пронзают небесную синь...

Антон вовсе обомлел.

Когда сквозь дыры в шалашике ударило солнце, Лиза заметила необычность поведения Антона, в ее глазах плеснулось беспокойство.

– Что с тобой?

– Ничего, – смутился Антон и поднялся, вышел на воздух.

Вышла и она. Лесная поляна была залита свежим солнечным светом и звоном птичьих голосов. В этом свете и в этом звоне, собирая ромашки, ходила по поляне Лиза в белой кофточке с распущенными волосами. Увидев Антона, она бросилась к нему, закружила его, выкрикивая:

– А я твоя жена! А я твоя жена!

Они упали в мягкую траву и опять принялись целоваться, будто им не хватило на это ночи.

Потом разожгли костер и стали кипятить чай. Глядя на огонь, Антон сказал:

– А знаешь, Лиза, я стих сложил... для тебя.

– Иди ты... – не поверила она. – Как сложил?

– Не знаю. Вот, слушай.

Он проговорил эти восемь строчек торопливо, краснея. Лиза слушала, глаза ее раскрылись все шире.

– Это ты... неужели сам?

– Сам.

– Для меня?

– Ага.

Лиза притихла, им обоим стало неловко будто. И вдруг она замурлыкала, укладывая только что услышанные слова в простенькую мелодию, и пропела их все, не пропустив ни одного.

– Антон! Антон! – вскричала она, кончив петь, прижалась к нему и, счастливая, заплакала.

Вскоре пришла тетя Ульяна, принесла корзинку с едой, несколько бутылок вина. На траве расстелили скатерть, разложили скромное угощение. По одному, по двое стали подходить гости: сперва молчаливый Петька Полипов, потом несколько рабочих из депо, с лесопилки, с мыловарки, из типографии – все члены подпольного городского комитета РСДРП. Последними появились дядя Митрофан и Субботин. Как положено, крикнули: «Горько!» Полипов сидел чуть в сторонке, сжимая в руках граненый стакан. Антон и Лиза, смущаясь, целовались. И все выпили, только Полипов не пил, все сидел, сжимая стакан. Потом резко вздернул руку, выплеснул в рот вино. Но на его поведение никто не обратил внимания, потому что Субботин чуть выпрямился и сказал:

– Товарищи, друзья мои, не будем терять времени. Заседание подпольного городского комитета РСДРП считаю открытым. Вопрос один – об организации нелегальной рабочей газеты...

* * *

– Ну-с, так как же, будете говорить? – повторил следователь Лахновский свой вопрос.

За спиной Антона, за закрытой дверью, затихли удаляющиеся шаги. Еще там, в Новониколаевской тюрьме, Антон научился по звуку отличать шаги Косоротова от шагов других надзирателей – тридцатилетний, он ходил тяжело и грузно, как старик, громко шаркая ногами.

– Вы бы поздоровались сперва, – сказал Антон.

– С какой целью прибыли в Томск?

– Я же говорил – я женился, приехал снять квартиру, чтобы провести в Томске медовый месяц. Полипов мой друг, он помогал мне в поисках квартиры.

– Вы приехали, чтобы восстановить преступные связи с томскими социалистами.

Антон пожал плечами.

Лахновский закурил новую папиросу.

– Советую говорить правду. Ваш так называемый друг Полипов во всем сознался.

– Давайте очную ставку, проверим. Ему не в чем сознаваться. За незаконный арест ответите. Я буду жаловаться.

– Жаловаться? – Следователь подошел вплотную. И вдруг обхватил Антона за шею, поднес к самому лицу папиросу, намереваясь ткнуть в глаз. – Зачем приехал в Томск? Зачем приехал в Томск?!

Антон отклонял голову, пока можно было, одновременно пытаясь вырваться. Но следователь был силен. Тогда Антон схватил Лахновского за руку, крутанул ее. Следователь выпустил шею Антона, присел от боли, застонал. Этот стон придал Антону еще больше ярости, он, не соображая, что делает, размахнулся и сильно ткнул кулаком в мясистый подбородок. Лахновский отлетел к столу, роняя с плеч китель.

– Косоротов! Стража-а! В карцер подлеца!

Жандармы уволокли Антона. Косоротов прыгал вокруг Лахновского:

– Ваше благородие, да как же? Примочечку, может?... Из квасцов...

– Какие квасцы, болван?! Давай другого, Полипова этого...

В отличие от Савельева Полипов был подавлен и хмур. Он привалился устало к стене и стал тупо глядеть в зарешеченное окошко. Круглые щеки его одрябли, опали, веки припухли, было видно, что он плохо спал, а может быть, вообще не спал несколько ночей.

– Ну-с, здравствуйте. – Лахновский застегнул китель на все пуговицы, сел за стол. – Снова будем запираяться? Садитесь. С какой целью прибыли в Томск?

– Я уже говорил... – вяло ответил Полипов, усаживаясь на стул. – Мой друг решил провести в Томске медовый месяц. Я приехал помочь ему подыскать квартиру.

– Придумали бы что-нибудь поумнее, – поморщился следователь. – Где это видано, чтобы простой рабочий имел понятие о медовом месяце, да еще отправлялся в свадебное путешествие?

Да, ввалили они неубедительно. После женитьбы Антона Полипов с ним почти не разговаривал, и в Томск они ехали будто виноватые в чем-то друг перед другом, потому и не договорились, как вести себя в случае провала. Только в последнюю минуту, когда раздался свисток Косоротова, Полипов крикнул Антону о медовом месяце и о квартире – первое, что пришло в голову. И вот теперь и он, и Антон вынуждены были объяснять свое пребывание в Томске этой причиной, чтобы не запутаться окончательно.

Лахновский некоторое время внимательно смотрел на арестованного, усмехнулся.

– Слушайте, Полипов. Давайте говорить откровенно. Какого черта вас, сына уважаемого в нашем обществе человека, потащило к социалистам, бунтовщикам? Что вас там, среди этой грязной, неимущей толпы, привлекает?

Полипов молчал, все так же опустив голову. Лахновский встал.

– Ну хорошо, я понимаю: хмель молодости, романтика борьбы за так называемую справедливость. Чернышевского, наверное, начитались, Герцена, Плеханова... Но теперь вы вполне взрослый человек. Теперь вы можете рассуждать. Для чего вам эта справедливость, если у вашего отца, а стало быть, и у вас, отнимут торговлю, дом, деньги?

Руки Полипова лежали на коленях, короткие пальцы чуть подрагивали. Лахновский заметил это.

– Вы уже бывали в наших руках, но отделались, как говорится, легким испугом. Из уважения к вашему отцу... и надеясь, что вы поймете, с вами были, как я заключил из вашего личного дела и из рассказов бывшего служащего Новониколаевской тюрьмы Косоротова, не очень строги. Вы что же, снова хотите оказаться в тюрьме, опять испытать человеческое унижение, оставить в тюремной камере лучшие свои годы, а может быть, здоровье, жизнь? Вы будете заживо гнить, а там, за тюремными стенами, солнце, свет, вино, женщины. Да, и женщины, черт побери! А революция давно задушена, разгромлена! И пора бы понять – навсегда.

Лахновский остановился возле Полипова, опять закурил.

– Вы женаты?

– Нет, – коротко ответил Полипов.

– Невеста есть?

– Нет. Была, как я считал. Теперь нет.

– Изменила?

– Замуж вышла за другого! Если вы такой любопытный.

– За кого?

– За черта! За дьявола! – вскипел Полипов. – Ваше какое дело?

Лахновскому нельзя было отказать в наблюдательности, в умении понимать душевное состояние своих подследственных.

– Пойдите, пойдите, – раздумчиво произнес Лахновский. – А не за этого ли вашего друга она...

У Полипова дернулся уголок рта, он отвернулся.

– Тэ-экс... Значит, и любимую женщину они у вас отобрали? Примечательно-с! И вы – отдали? Отдали без борьбы, как самый последний... И не попытались ее вернуть, отвоевать?

– Перестаньте! – крикнул Полипов.

Лахновский не зря был на хорошем счету у начальства. Не давая опомниться Полипову, он обхватил его, как Антона, за шею, поднес горящую папиросу к самому носу, угрожая ткнуть в глаз, зарычал:

– Зачем приехал в Томск? Зачем приехал в Томск? Зачем приехал в Томск?!

Полипов дернулся, закричал. Следователь выпустил его.

– Так вы не хотите попытаться вернуть... любимую женщину? – спросил Лахновский, разглядывая огонек своей папиросы. – Хотя бы с нашей помощью? Или уже разлюбили ее?

Стоя у стены, Полипов никак не мог унять дрожь.

– Что я... должен... для этого сделать? – Голос его рвался.

– Сказать, зачем вы приехали в Томск.

Полипов сунул кулаки в карманы, вынул, снова спрятал.

– Сколько... сколько лет дадите ему... Савельеву?

Это он проговорил с хрипом, отворачиваясь. Даже на следователя ему глядеть было стыдно.

– Смотри по тому, с какой целью он приехал в Томск. Во всяком случае, лет на пять-семь упрячем надежно.

И вдруг Полипов, лихорадочно оглядывая почти пустой кабинет, застонал:

– Нет, нет! Я все наврал... Я все наврал!

Лахновский улыбнулся широко, открыто, почти по-дружески.

– Не кажется ли вам самому ваше поведение несколько смешноватым?

Полипов обмяк, съежился.

– Вот именно, – сказал следователь утвердительно. – Я всегда уважал людей, умеющих взять себя в руки. Итак?

– При одном условии – я вне подозрения. – Полипов не глядел на следователя. – Иначе игра не стоит свеч.

– Мм... При одном условии и с нашей стороны. Мы сажаем вас на несколько месяцев в тюрьму. Необходимость этого, надеюсь, вы понимаете. Сажаем в камеру с политическими. Вы должны нас постоянно информировать об их разговорах, планах, связях с волей. Выйдя из тюрьмы, вы принимаете участие в работе вашей партийной организации, подробнейшим образом информируя местное охранное отделение о всех ее делах...

– Довольно! Кончайте... – Полипова всего колотило.

– Прошу вас, садитесь. – Лахновский пододвинул ему стул, сел сам, положил перед собой лист бумаги. – Для начала несколько вопросов. Вожаки вашей городской подпольной организации РСДРП? Их фамилии, клички, явки? В Новониколаевске нелегально проживает бежавший с каторги некто Чуркин, настоящая фамилия которого Субботин. Его местонахождение? И конечно, с какой целью прибыли в Томск?

– Мы прибыли за недостающим оборудованием для подпольной типографии, – глухо начал Полипов. – Типография устроена под домом по адресу...

Когда Полипов, выложив все, замолчал, Лахновский еще некоторое время писал. Кончив, он поднял голову, поглядел на уныло сидевшего напротив Полипова. На секунду в глазах следователя мелькнуло брезгливое выражение и пропало.

– Знаете, о чем я подумал? – спросил он. – К чертовой матери эту охранку, рано или поздно вы провалитесь, если будете иметь дело с ней. Мы сделаем так: я дам вам адрес и

шифр, на этот адрес вы будете слать мне из Новониколаевска ваши донесения, подписываясь условным именем. Таким образом, ни одна живая душа, кроме меня, не будет знать о вашей... патриотической деятельности на благо России. Старайтесь, Полипов, и вы далеко пойдете...

* * *

В декабре 1912 года по самому мрачному, северному коридору Александровского централа с тяжелой связкой ключей на широком ремне, в сопровождении двух младших надзирателей, шел не торопясь Косоротов, заглядывая в глазок каждой камеры, проверяя запоры. Вдруг он заметил, что у одного из его подчиненных плохо заправлена под ремень рубаха-форменка.

– Т-ты, лапоть! – нахмурился Косоротов. – Рохля деревенская! Брюхо вывалится!

– Виноват, ваше благородие! – вытянулся надзиратель, молодой парень лет двадцати.

– Гм... Хучь я и не достигнул до благородия пока... – помягчел Косоротов, – а чтоб при моем дежурстве – как огурец! – И, снова распаясь, загремел на весь коридор: – Ты где службу несешь? В Александровской центральной каторжной тюрьме ты службу несешь! Ты кого надзираешь? Главных российских преступников-политиков ты надзираешь! Которые имели по несколько побегов.

– Из новеньких он, ваше благородие, – вступился за молодого другой надзиратель, мужик по виду тоже деревенский, с поседевшими усами. – Исправится он.

– Присылают тут всяких... – несколько остыв, проворчал Косоротов. – Опосля смены зайдешь ко мне в дежурку. Как фамилия?

Фамилию молодой надзиратель сообщить не успел, потому что в конце коридора грохнула железная дверь, зазвенели шпоры, застучали о пол кованые сапоги.

– Дежурный! – раздался зычный голос. – Принимай заключенного!

Косоротов рысью побежал в конец коридора.

Через несколько минут он вернулся, радостно суетясь вокруг обросшего густой бородой человека, закованного в кандалы:

– Да милый ты мо-ой! Привел-таки господь еще раз свидеться!

– Здравствуй, здравствуй, земляк, – говорил заключенный, тоже улыбаясь. Он шел по коридору не торопясь, устало, поддерживая тяжелые цепи, явно наслаждаясь душным и влажным тюремным теплом.

– Счас камерку тебе! Поменьше, подушнее, – все с той же радостью суетился Косоротов. – Как жил-то, землячок мой хороший?

– А ничего жил, чего там обижаться. Из киренской ссылки сбежал, из акатуйской каторги сбежал. Недавно с Зерентуйской тюрьмой познакомился. Не понравилась что-то, тоже пришлось сбежать.

– Намыкался-то, родимый...

– А ты, значит, достиг-таки своей мечты?

– Дак старался.

– Пофартило тебе в жизни. Ишь в каких хоромах начальствуешь. Не то что наша новониколаевская развалюха.

Заключенный был Антон Савельев. За эти годы он возмужал, раздался в плечах. Коротко остриженные волосы на голове только стали вроде еще белесее, да большой открытый лоб прорезали две неглубокие морщины.

Косоротов все смотрел и смотрел с улыбкой на Антона.

– Господи, да что же я стою, рохля! С дороги-то приморился. Давай сюда, родимый. – Косоротов отомкнул одну из камер. – Самая темненькая, самая сыренькая.

– Спасибо. Вот уж спасибо.

– Чего там, земляки все же.
– Извиняй за беспокойство, да я ненадолго.
– Сколь уж погостишь из милости. Прогонять не будем.
– А сколько будет дважды два?
– Так четыре вроде.
– Вот месяца через четыре, по весне, я и сбегу. Сейчас холодно, да и отдохнуть надо.
– Такой же все веселый ты человек, хе-хе! – совсем растаял Косоротов в улыбке. А потом начал суроветь: – Давай, давай, давай!

Втолкнув Антона в камеру, он замкнул ее, перекрестился истово, и опять мелькнуло на его лице что-то вроде улыбки.

– Ведь и нашего брата тюремщика не обделяет Господь радостями...

Вдруг Антон изнутри сильно застучал в дверь. Косоротов открыл окошечко.

– Что тебе? Камерка не поглянулась?

– Что ты, камерка отличная. Совсем ведь радостью-то я забыл поделиться с тобой. У меня же сын родился. Сы-ын!!

2

Белочешский мятеж в Новониколаевске начался в ночь на 26 мая 1918 года.

В этот день член Томского губернского исполкома Совета депутатов Антон Савельев возвращался поездом из Москвы, со съезда комиссаров труда.

Губернским комиссаром Антона избрали несколько месяцев назад. Он уехал в Томск один, оставив пока Лизу с сыном Юркой в Новониколаевске. Еще по дороге в Москву он написал письмо, в котором сообщил, что устроился наконец в Томске с квартирой и на обратном пути заберет с собой Лизу с сыном. А выехав из Москвы, дал телеграмму, чтобы Лиза с вещами была на вокзале вечером 26 мая.

Получив письмо, Лиза, работавшая секретарем в уездном Совете, попросила освободить ее от службы и весь день с утра 26 мая укладывалась.

Станция Новониколаевск была забита эшелонами с пленными чехословаками, которые по разрешению советского правительства возвращались к себе на родину через Владивосток. Из вокзала, хлопая дверьми, то и дело выбегали офицеры. Мокрый, не просохший еще после недавно прошедшего дождя красный флаг на крыше вокзала слабо трепетал, как крыло подбитой птицы. Когда стемнело, на привокзальной площади, тускло освещенной электрическими фонарями, появился хмурый худосочный человек в кожанке, с тонким, как щепка, носом, в сопровождении дюжины вооруженных красногвардейцев.

Навстречу вывернулся патруль, и толстый чешский офицер, подбегая, закричал:

– Куда? Нельзя! Назад!

– Со специальным заданием, – вяло сказал человек в кожанке и подал чеху бумажку.

Чех долго читал, подсвечивая себе фонариком. Потом протянул несколько удивленно:

– О-о! Подпись господина Гришина-Алмазова! Но в вокзал нельзя, там совещание. Сигарету, господин Свиридов?

Свиридов от сигареты отказался.

Минуты три спустя на площади появился Полипов, тоже в кожанке, тоже мрачный, смятый какой-то.

– Ну? – спросил он, подойдя к Свиридову.

– Приказ чешским войскам отдан по всей магистрали, – глухо проговорил Свиридов. – В городе через полчаса будут захвачены почта, телеграф, пристань, уездный Совет, Чека, уком... Однако зачем вы здесь? Уходите.

Впервые Свиридова Полипов увидел в Новониколаевской тюрьме в 1906 году. В то время Свиридов был членом Томского комитета РСДРП, сплошь состоявшего из меньшевиков, и в камере яростно спорил с Субботиным на политические темы. А Митрофан Иванович Савельев, слушая эти споры, сказал однажды: «Знаешь что, Свиридов? Годиков через пять... а может быть, раньше даже, ты станешь платным осведомителем царской охранки».

С тех пор Полипов Свиридова не видел, но знал, что по выходе из тюрьмы он порвал с меньшевиками, примкнул к большевистскому крылу РСДРП, а после победы советской власти оказался в Новониколаевске в качестве комиссара небольшого красногвардейского отряда.

– Что это низко так упали, Свиридов? – пошутил тогда Полипов.

– А вы, смотрите, высоко взлетели, – неприязненно ответил Свиридов. От него сильно пахло водкой.

После установления советской власти в Новониколаевске Полипов состоял членом Ревтрибунала. Лахновский с самой Февральской революции вестей о себе не подавал, Полипов, разумеется, не разыскивал его, думал иногда с затаенной надеждой: может быть, погиб где в этой мясорубке? Хорошо бы... Но совсем недавно Свиридов встретил его случайно на улице, пригласил к себе домой. И там, выпроводив жену и дочь – девочку-подростка лет тринадцати – на кухню, без обиняков сказал, морщась и поглаживая живот:

– Советской власти осталось существовать не много, самое большее – с неделю. В Новониколаевске давно создано подпольное Временное сибирское правительство, оно собирает силы для решительного удара. Нам помогут чехословацкие войска. Я все откровенно вам говорю, потому что... В общем, говорю с вами по поручению Лахновского. Бывший следователь Лахновский – мой хороший знакомый... к сожалению.

– Кто же вы? – изумился Полипов.

– Мы, конечно, попытаемся врасплох захватить кого надо, – вместо ответа проговорил Свиридов. – Но сразу всех арестовать вряд ли удастся. Поэтому... В общем – скрывайтесь сами, но особенно следите, где будут скрываться другие. Эти сведения, даже самые предположительные, будут для нас очень важны, как вы понимаете. Связь будете держать только со мной, как вы держали ее с Лахновским.

– Но где же... сам Арнольд Михайлович?

– Пока сидит в Томской тюрьме.

Итак, о нем, Полипове, не забыли, ему снова отводилась его роль.

...Последние группы чехословаков ушли с привокзальной площади. Мирно, даже как-то уютно светились невысокие окна вокзальчика. Ничто не предвещало, что буквально через несколько минут в городе начнется кровопролитие.

– Я спрашиваю, что вы болтаетесь тут? – зло спросил Свиридов Полипова.

– Лиза... Что будет с Лизой? Я вижу, вы ждете московского поезда, вы хотите арестовать Антона, о котором я вам сообщил... Но Лиза... Не трогайте ее, очень прошу...

– Нервы, товарищ Полипов, – усмехнулся Свиридов. – Вы все еще не оставили надежды? А пора бы.

Да, пора бы. Десять лет прошло со времени ее замужества, сын у Лизы уже большой. Со дня свадьбы едва ли год-полтора в общей сложности жила она с Антоном – остальное время он проводил в тюрьмах, побегах, снова в тюрьмах. Февральская революция освободила его из забайкальских каторжных рудников, а после Октября он уехал в Томск. И смешно Полипову было иногда, и горько: на что надеялся десять лет назад, когда решился на предательство? И все-таки до сих пор не может оставить своей надежды. Сам давно понимает, что все это несбыточно, а не может. И до сих пор живет холостяком, неудобной, неприкаянной жизнью, один как перст в огромном и гулком отцовском доме. Где отец с матерью, живы ли они – Полипов не знал. После национализации городского банка, в котором отец держал, видимо, значительные ценности, он поскутчал, осунулся, согнулся. И в январе 1918 года, бросив дом

и пустые лавки, исчез вместе с матерью из города, отправив по почте сыну письмо: «Будьте вы прокляты все... А ты, любезный сынок, в первую очередь...»

Полипов был рад даже, что отец поступил таким образом, вздохнул с облегчением. Рано или поздно ему пришлось бы что-то предпринимать в отношении родителей. А теперь, если переворот удастся, родители вернуться, узнают о нем всю правду, отец возьмет назад свое проклятье.

Свиридов нервно поглядывал на часы. Невдалеке раздался паровозный гудок, на стрелках застучали колеса подходящего поезда.

Из ближайшего переулочка, из темноты, послышался детский голос:

Мы свободу свою добывали
Не мольбой, а штыком...

Полипов сразу узнал – это Юрка, сын Лизы. И через несколько секунд он появился сам – в чистой, отутюженной рубашке, с приглаженными лохмами волос, а следом Лиза и Ульяна Федоровна с узлами и чемоданами.

– Петр! – воскликнула Лиза. Глаза ее обеспокоенно поблескивали. – Спасибо, что пришел Антона встретить.

– Я тебя пришел проводить...

– Что происходит в городе? По улицам маршируют колонны чехословаков.

– Ничего особенного, – подал голос Свиридов. – Они пошли на помывку в баню.

Ульяна Федоровна опустила на землю тяжелый узел.

– Господи, и Митрофана чего-то нету... Ведь обещал подойти. Так и не вылезит из этой своей Чеки, пропади она пропадом.

Бывший плотник, Митрофан Иванович Савельев после Октября работал в Чека, дома почти не ночевал. Последние несколько дней он вообще в семье не появлялся, сегодня после обеда сообщил через посыльного, что придет на вокзал повидаться с племянником.

– Лизавета, чего стоим-то? – вновь схватилась за узлы Ульяна Федоровна. – Кажись, поезд уже пришел.

– В вокзал нельзя, – сказал Свиридов. – Антон сам сюда придет.

– Это как нельзя? – Ульяна Федоровна взглянула на Свиридова. – Ты кто таков?

Свиридов отвернулся. Полипов торопливо схватил Лизины руки.

– Что ж, до свидания... Что ж... желаю счастья.

Ладони Полипова были горячими, потными, мелко дрожали. Он дернул уголком рта и, не оглядываясь, быстро ушел в темноту.

Дальнейшее произошло в несколько минут. Сперва на перроне послышался галдеж, крики, какие-то команды на чужом языке. Потом через калитку повалили толпы пассажиров.

И вдруг где-то близко от вокзала, в городе, вспыхнула стрельба, но тотчас смолкла.

– Что это? Что это?! – закричала, бледнея, Лиза.

– Ничего особенного, – ухмыльнулся Свиридов. – Наши люди расстреливают своих врагов.

– Каких врагов? Какие люди? И вы, действительно, кто такой? Я вас где-то видела, кажется.

Свиридов не ответил.

Антон появился неожиданно, вывернулся из толпы.

– Лиза! Сынок! – Он подхватил Юрку, поднял, прижал к себе. Потом обнял жену. – Лиза, Лиза! Что у вас тут происходит? Почему стреляют? Что здесь происходит?

– Ничего особенного, – ответил Свиридов, подходя к Антону. – Уничтожают советскую власть.

- Вы, Свиридов? – Антон отступил на шаг. – Что вы сказали?
Свиридов еще медлил какие-то секунды и сказал вяло, как бы нехотя:
– Взять его. Забрать и этих двух баб. Да и этого щенка тоже на всякий случай.

* * *

Белочешская контрразведка зверствовала в городе вовсю. В лесу за речкой Каменкой день и ночь шли расстрелы.

После переворота прошло три недели. Полипов жил в подвале окраинного домика, принадлежавшего пожилому новониколаевскому извозчику и старому члену РСДРП Василию Степановичу Засухину, в город почти не выходил.

– Проворонили! всю советскую власть проворонили, – каждый вечер говорил Засухин, принося Полипову еду. – Считаю, всю городскую парторганизацию вырубил.

– Не всю. Мы вот с тобой еще живы, Субботин, говоришь, на воле, – возражал Полипов. – Свяжи меня с Субботиным. Надо же что-то делать.

Засухин молчал, сидел на табурете, опустив голову, дымил табаком, отравляя и без того затхлый воздух подвала.

Субботин сам появился однажды в подвале – обросший за три недели, в растоптанных сапогах, в стареньком картузе, какие носили обычно городские извозчики.

– Жив? – спросил он, здороваясь. – И хорошо. Мало нас осталось. Мы ввели тебя, Петр, в члены подпольного горкома.

– Наконец-то! – вздохнул Полипов. – А то думал, так и прокисну здесь.

– Ну, киснуть теперь некогда. Надо собирать остатки наших сил, надо фактически начинать все заново. И мы начнем. Мы тысячу раз начнем все заново! А Свиридов-то каков?! Я никогда не верил, что он искренне порвал с меньшевизмом. В бытность Свиридова в Томске там провал следовал за провалом. Сколько наших хороших товарищей погибло! Теперь ясно, чьих рук дело. И вот логический финал – следователь в белочешском застенке теперь. Стареется. Антона Савельева, имеем сведения, особенно зверски истязает. И жену его.

– Лизу? Живы они? – Полипов был бледен, голос его пересох.

– Пока живы, кажется. А Митрофан Иванович погиб... – Субботин встал. – На днях собраться надо всем, поговорить кое о чем.

– Когда и где?

– Нетерпеливый какой!

– Надоело сидеть в этой яме.

– Василий Степанович вот скажет, когда и где. Ну, рад я был повидать тебя, Петро.

...Через несколько дней, глубокой ночью, выбирая переулки поглубже, Полипов торопливо шел в сторону вокзала, где в крепком особняке с дубовыми ставнями жил Свиридов.

Открыла ему жена Свиридова, полная женщина с заплаканными глазами. Полипов рассчитывал увидеть возле дома какую-то охрану, но охраны не было, и дверь открыли сразу, без всяких предосторожностей, едва он сказал, кто ему нужен. Все это показалось Полипову странным.

Сам Свиридов лежал на кровати в брюках и нижней рубашке. Он был пьян, на столе стояли две бутылки, тарелка с огурцами.

– А-а, господин доносчик! – проговорил Свиридов. – Давно вас жду. Ну, какие новости? И тон, и слова – все было непонятно Полипову, они испугали его.

– Подпольный горком собирается завтра... В доме наборщика городской типографии Корнея Баулина, по адресу...

– Хорошо, хорошо. Я знаю этого наборщика. Не хотите водки?

– Послушайте, Свиридов! Что все это значит?

– А что? – Свиридов опустил ноги на пол, но с кровати не встал.

– Вы пьете, как... как последний пьянчужка! Живете без всякой охраны, будто в мирное время. И вообще...

– Вообще-то, не надо бы пить. Гастрит у меня. Кишки будто ножницами стрижет... – И он потер живот. – А охрана есть.

– Послушайте, – еще раз сказал Полипов. – Я пришел по делу, а вы пьяны, невменяемы! Извините, я в таком случае пойду... Я ничего не понимаю.

– Кулепанов!

Распахнулась дверь, ведущая в соседнюю комнату, на пороге появился белогвардеец, за ним еще один.

– Возьмите этого... этого... Отвести в наше заведение! Отделайте его там хорошенько и бросьте в одиночку, – сказал Свиридов, не глядя на Полипова. Подошел к столу и налил из бутылки в стакан.

* * *

Полипов действительно ничего не понимал. Его привели в здание контрразведки, жестоко, в кровь, избили и бросили в тесную камеру.

А потом про него, кажется, забыли. Старый знакомец Косоротов, служивший теперь здесь, носил ему раз в день вонючую баланду, убирал парашу. Он был молчалив, как камень, за все время не промолвил ни слова.

Однажды Косоротов повел его по длинному коридору и втолкнул в кабинет Свиридова.

Синяки с лица Полипова еще не сошли, правая, рассеченная бровь была распухшей, закрывала глаз. Стоя у порога, Полипов левым глазом оглядел довольно просторную комнату. Стол, у стены какой-то шкаф. Возле шкафа была еще одна дверь, обитая толстым серым войлоком.

Сам Свиридов в офицерском френче, но без погон, стоял у окна и уныло смотрел сквозь толстые решетки во двор. Испитое лицо его было землистого цвета, дряблые щеки обвисли, сухие, обшелушившиеся губы подрагивали.

– Может, все-таки объясните, что значит вся эта история со мной? – мрачно спросил Полипов.

– Антона Савельева ко мне! – вместо ответа проговорил Свиридов. – И жену его приготовить. Потом – сына.

– Слушаюсь. – Косоротов пошел, но у порога остановился. – Я, ваше благородие, упредить хотел... Она, Лизка Савельева, третий день пищи не берет. И вроде бы заговариваться начала.

– Веди же их, черт! – заревел Свиридов.

Когда Косоротов ушел, Полипов сделал шаг к двери.

– Нет, увольте... Я прошу.

– Сесть! – крикнул Свиридов, показав на стул у стены.

Подошел к шкафу, достал стакан и бутылку. Когда наливал, руки его дрожали, стекло звякало о стекло. Выпив, шумно вздохнул.

– Как вы думаете, Полипов, зачем живет человек? – неожиданно спросил он. – В чем смысл его рождения, его смерти? А? И вообще – в чем правда, истина, а в чем ложь?

– Нашли время и место о таких вещах рассуждать.

– Почему же? Всегда и время, и место... если есть потребность к этому.

– Не знал, что вы такой философ. Я же не обладаю такими достоинствами.

– Да, да... Вы просто провокатор.

– Я где нахожусь?! – Полипов рванулся, встал. – Вы лучше скажите: накрыли вы подпольный горком партии?

– Зачем? – Свиридов пожал плечами. – Накроем один – появится другой. Бесконечная, бесполезная работа...

– Не понимаю. – Полипов сел, его била дрожь. – Или я сошел с ума, или...

И замолк, потому что Косоротов ввел Антона.

Савельев похудел, глаза глубоко ввалились, кожа на щеках, на висках, на лбу была желтоватого цвета. Но следов истязаний видно не было. Чувствовалось только, что он смертельно устал.

Перешагнув через порог, Антон тревожно обшарил глазами кабинет.

– Здравствуй, Петр, – сказал он негромко. – И тебя выследили ищейки?

Сердце Полипова заледенело. Что, если Свиридов объяснит, каким образом его, Полипова, «выследили»? Но Свиридов только нервно усмехнулся одними губами.

Антон тяжело, как старик, подошел к столу и сел на стул, понюхал воздух.

– Опять пил, Свиридов?

В глазах у Свиридова блеснул лихорадочный огонек, стал разгораться.

– Не пойму я тебя, Свиридов, – продолжал Антон. – Вернее, кажется мне иногда – жжет тебя внутри какой-то огонь, остатки совести, что ли, человеческой в тебе шевелятся, и ты заливаешь, глушишь эти остатки водкой.

– Верно, угадал, хе-хе... – Смех его был сухой, деревянный.

– А потом подумаю: нет, какая может быть совесть у озверелого палача, опустившегося до уровня скотины!

– И тут угадал, хе-хе... – И вдруг, зеленея, взорвался. – Угадал, да, да! Угадал! – И обхватил голову обеими руками, запустил пальцы в волосы, будто хотел вырвать их. – Только тебе от этого не легче. Не легче!

– Да, я знаю, ты расстреляешь нас всех – меня, Лизу... всю нашу семью, – проговорил Антон. – Юрку даже... ребенка не пожалеешь. Но ведь народ-то весь вам не перестрелять, не уничтожить, не подмять.

– Да? – И Свиридов усмехнулся. – Ты что, слепой, глухой? Не знаешь, не понимаешь, что происходит в России? Новониколаевск пал, Челябинск, Екатеринбург, Барнаул, Омск, Томск, Красноярск наши. На Дальнем Востоке японцы, Забайкалье контролирует атаман Семенов, Южный Урал – атаман Дутов. В Поволжье добивают остатки красных отрядов. Все! Советской власти хватило на полгода. Была – и кончилась. И не будет больше.

– Э-э, нет, братец! Была, есть и вечно будет. В тех городах, которые ты перечислил, уже созданы, уже действуют подпольные партийные организации. Они поднимают народ, и скоро этот народ придавит вас к ногтю.

– Пока мы давим!

– Недолго вам осталось. Ведь от бессилия свирепствуете. Скоро, очень скоро народ спросит с вас за тысячи замученных, расстрелянных! За все сполна платить будете!

– Ну, поговорили умненько – и будет! – прервал его Свиридов. – Вопрос все тот же – кто мог войти в состав Томского подпольного горкома?

– Не знаю я, Свиридов. Я же был арестован тобой за несколько дней до занятия Томска белочехами. Кроме того, я возвращался из Москвы.

– Я понимаю, что наверняка ты не можешь знать. Но предположительно.

Полипов, лишний и забытый, сидел у стены, с недоумением наблюдая за допросом. Зачем Свиридову фамилии томских подпольщиков, когда своих, новониколаевских, он оставил в покое? Или он врет, Свиридов этот, Субботин и все остальные давно арестованы? И сейчас, после Антона, Свиридов начнет их вызывать по одному на очную ставку с ним, с Полиповым?

Ну да, так, наверное, и будет! Вот зачем он, Полипов, доставлен сюда, в контрразведку. Непонятно только, почему именно таким способом, зачем его били тут.

И Полипов, мгновенно представив, что через несколько минут ему надо будет глядеть в глаза Субботину, облился холодным потом.

Однако события развернулись совсем по-другому.

– Значит, не будешь говорить? – переспросил Свиридов Антона.

– Я не предатель.

– Тебя-то мы все равно расстреляем. Пожалей хотя бы жену. Она на грани сумасшествия. Сына своего пожалей. Тетку свою... Ту сердечные припадки колотят, ты ее фактически погубил уже. Но жену и сына можешь спасти еще. Ну? Хотя бы предположительно?

Полипов видел, как лоб и щеки Антона покрылись крупной испариной.

– И предположительно я вам ничего не скажу. – Голос Антона осип, он громко глотнул слюну. – Пора бы это понять.

– Заговоришь, неправда... Косоротов!

И Косоротов втолкнул через порог Лизу. Антон и Полипов враз встали. Постояв, Полипов сел, а Антон продолжал стоять, держась за край стола.

Смотреть на Лизу было страшно. Растрепанная, в лохмотьях, она диким взором обвела комнату.

– Сын... Где мой сын? Что вы с ним сделали?! – заголосила она, упала на колени, поползла к столу.

– Лиза! Лизонька! – Антон кинулся к жене, поднял ее, но Свиридов торопливо вышел из-за стола, отшвырнул от Антона жену.

– Юрка жив-здоров пока. – И повернулся к Антону: – Будешь говорить?

Антон вытер рукавом пот со лба.

– Мне нечего сказать... Нечего!

– Заговори-ишь! – И Свиридов рванул обитую войлоком дверь, прокричал туда: – Займитесь!

Все дальнейшее Полипов видел и воспринимал сквозь какой-то серый, качающийся туман. Из комнаты, в которую вела обитая войлоком дверь, выбежали трое черных людей, схватили Лизу, поволокли. Антон бросился было вслед, но потом попятился назад, чуть не стоптал его, Полипова, и прижался к стенке спиной. И так стоял, крепко зажмурив глаза, царапая эту стену пальцами, обламывая ногти, слушая тяжкие стоны жены из соседней комнаты... Полипов поглядел на тот участок стены, которую царапал Антон. И увидел в том месте ободранную штукатурку, сквозь которую проступала в нескольких местах занозистая дрань. И он понял, что Антон не раз уже стоял вот так и царапал стену. И его замутило, в голове все поплыло.

Сколько времени все это продолжалось, Полипов не знал. Он очнулся от пронзительного голоса Лизы:

– Где мой сын? Вы его замучили? Вы его убили?!

Лизу, видимо, только что вытолкнули из-за войлочной двери, она ползла по полу, пытаясь встать. Голое плечо и ладони ее кровенились.

– Пока еще нет. Но замучаем, если будешь молчать!

Это Свиридов опять говорил Антону, который все так же стоял у стены, закрыв глаза.

– Покажите мне сына! Вы его убили... Покажите мне сына! – без конца повторяла и повторяла Лиза. Она поднялась наконец, но, никого не узнавая, крутилась на одном месте.

– Хорошо. Сейчас ты увидишь сына. Косоротов!

Косоротов так же молча, как Лизу, втолкнул из коридора в кабинет Юрку.

– Мама! Мапочка!

Лиза мгновенно узнала сына, цепко схватила его дрожащими руками, марая своей кровью его грязную рубашонку, и вместе с ним опустилась на пол – ноги ее не держали.

– Сынок! Сыночек, ты жив? Жив!

– Я жив, мама... – Он взял в ладошки ее лицо. – Какая ты стала, мама!

– Они били тебя? Они били тебя?

– Нет, меня не били. Только я есть хочу. Тут плохо кормят... – И мальчик увидел отца и Полипова. – Папка! Дядя Петя!

Он хотел было подбежать к отцу, но не мог вырваться из цепких рук матери.

– Какой папка? Его нету, он не приезжал еще из Томска, – торопливо заговорила Лиза. – А у меня телеграмма есть. Мы ведь поедem сейчас к нему в Москву. А ты поспи, поспи, сынок, перед дорогой. Усни, и есть не будешь хотеть. А я песенку тебе спою, которую папа сочинил...

И она, прижимая к себе сына, запела тоскливо и жалобно, с трудом припоминая слова:

Над городом запах черемух... струится,
Давно отступила уж зимняя стынь...

– Ну, так будешь говорить? – резко спросил Свиридов, подойдя к Антону. – Или – прощайся с сыном.

Он подождал немного и, видя, что Савельев молчит, дернул бесцветными сухими губами, сказал в третий раз:

– Вре-ешь, заговоришь! – И, оторвав мальчишку от матери, толкнул его за войлочную дверь. – Займитесь и этим щенком!

– Мама! Мама-а! – истошно закричал Юрка уже из-за двери.

Этот крик звоном отозвался в голове у Полипова. Чувствуя, как по груди и спине, между лопатками, обильными ручьями стекает холодный пот, он встал, хотел было куда-то идти.

– Сидеть! – рявкнул Свиридов.

Полипов сел и стал тупо, ничего уже не ощущая, глядеть на Лизу. А та, страшная, косматая, как-то странно ползала по полу, ощупывая каждую половицу. Потом посидела в задумчивости несколько секунд и начала руками ловить воздух, потрескавшиеся губы ее что-то шептали. И Полипов различил еле слышимое:

– Юра... Юронька, сынок? Куда вы дели моего сына?!

Она, шатаясь, встала, ткнулась в стол, потом в стену. Прислушалась к чему-то, улыбнулась. Глаза ее, зеленоватые, бездонно глубокие глаза, которые так нравились Полипову, горели нездоровым, но красивым огнем...

Полипов отлично понимал, что там, за обитой войлоком дверью, происходит ужасное. Там, почти на глазах у беспомощного отца и обезумевшей матери, пытаются ребенка. Но то ли он притерпелся ко всему, то ли просто внутри у него все одеревенело – он не испытывал того головокружения, от которого несколько минут назад почти потерял сознание, его только сильно тошнило, и он боялся, что его вырвет.

Антон не царапал теперь стену, глаза его были открыты, зубы крепко сжаты, так крепко, что отчетливо обрисовывались челюсти, делая его лицо некрасивым. И еще Полипову казалось, что зубы Антона с тихим треском крошатся.

А Лиза между тем все скользила по стене к обитой войлоком двери. И вдруг оттуда раздалось:

– Ма-ама-а! Мам...

– Хватит! Хвати-ит! – Свиридов рванул воротник. Потом схватил себя за горло, задыхаясь. – Увести всех! Всех Савельевых!

Свиридов подбежал к шкафу, достал бутылку.

Снова застучало стекло о стекло.

* * *

Выпив, Свиридов успокоился, сел опять за стол, нервно поворошил бумаги, нашел что-то нужное, минут десять писал, протыкая пером тонкие листы.

– Ужас... Ужас... – пробормотал Полипов, все еще обливаясь потом. Он сидел согнувшись, глядя в пол. – Все-таки объясните мне – почему я здесь? Зачем били меня? Зачем...

– А это не тебя, это меня били, – прервал его Свиридов. – Это я сам себя бил.

– Вы, кажется... Не Лиза, а вы сошли с ума.

– Верно, – согласился Свиридов. – Около того. Так как же, Полипов! Вот вы видели... На ваших глазах сошла с ума женщина, которую вы, как вы говорите, любите... Теперь, после этого, вы поняли... или хотя бы задумались – зачем рождается человек? Зачем живет? В чем смысл жизни? Где правда, истина, а где ложь?

Говоря это, Свиридов встал, скрестил на груди худые жилистые руки. Глаза его были пустые, холодные.

– Мне только об этом и осталось думать... – В голове Полипова стучало: «В самом деле – сумасшедший».

Но, как бы опровергая это, Свиридов сказал:

– Жаль. Но когда-нибудь задумаетесь. Каждый человек об этом все равно задумывается – рано или поздно... Косоротов!

Полипов сжался. Что еще выкинет сейчас этот безумец Свиридов? Ах да, вызовет на допрос Субботина...

Но когда появился Косоротов, Свиридов спросил, глядя куда-то в угол комнаты:

– Как она, Савельева Елизавета?

– Совсем, должно, тронулась, вашблагородь. Связала в узелок какие-то тряпки, ходит по камере, у всех спрашивает, не опаздывает ли поезд. В Москву, грит, собралась, к мужу.

– Ага... А старуха Савельева?

– Стонет лежит, за сердце держится.

– Ага, – опять протянул Свиридов. – Вышвырни их вон, к чертовой матери. На сумасшедших чего пули тратить. И мальчишку выброси. Вот... – и Свиридов протянул несколько бумажек. – И на этого тут документ, – кивнул Свиридов на Полипова. – Тоже пускай идет, выпустишь.

Косоротов с удивлением глянул на Полипова. Однако, не привыкший обсуждать поступки начальства, произнес:

– Слушаюсь, вашблагородь.

Косоротов ушел, а Свиридов опустился на тот стул, на котором сидел недавно Антон Савельев, закрыл лицо ладонями.

– Я что же... действительно могу идти? – тихо спросил Полипов.

– Можете.

– Но как же я объясню... своим... каким образом я вышел отсюда?

– Мне какое дело? Объясняйте. Хотя это действительно вам будет трудно. Мой вам совет – сегодня же ночью убирайтесь из города подальше и там попытайтесь пристать к любой части Красной армии. Так вы, может быть, спасете себя, а главное – новониколаевских подпольщиков. Я ведь действительно оставил ваш донос без внимания. А другой не оставит... Впрочем, можете открыто вступить и в белогвардейский отряд здесь, в городе. Дело ваше. Или езжайте в Томск, к Лахновскому, он давно вышел из тюрьмы...

– Да кто же вы, в конце-то концов?! – изумленно спросил Полипов, как когда-то на квартире у Свиридова.

– Я? – Свиридов отнял ладони от лица. Отвислые щеки его подрагивали. – Сейчас, пожалуй, уже никто. А в прошлом... в прошлом такой же подлец, как и ты...

– Я все-таки попросил бы...

– Оставь, пожалуйста, эмоции, – устало сказал Свиридов. – Я когда-то смалодушничал, как и ты. Здесь же, в этом городе, в Новониколаевской тюрьме. Ведь мы тогда вместе сидели. И ты помнишь, отец или, кажется, дядя этого Антона Савельева сказал мне: лет через пять ты станешь платным осведомителем царской охраны. А я стал раньше. Я, в прошлом меньшевик, по совету того же Лахновского примкнул открыто к большевикам. И я их выдавал, выдавал! В конце концов меня стали подозревать, относиться недоверчиво. Видимо, я где-то был не так осторожен и хитер, как ты... Меня разоблачили бы, безусловно, но началась революция. В суматохе было уже не до меня, я перебрался из Томска в Новониколаевск и здесь...

– И здесь вы превратились в пьянчужку, – сказал Полипов.

– Нет, тут со мной случилось еще большее несчастье. Меня вдруг стали мучить вопросы – простые вопросы, которые вчера еще были мне абсолютно ясны: а что, собственно, происходит на земле, что случилось в жизни, куда она идет? И я, грамотный, культурный человек, интеллигент, – я когда-то преподавал в гимназии, я учил детей добру, человечности, справедливости, – кто же я, что я, зачем я на земле?

– Действительно, – сказал Полипов.

– Перестаньте! – Свиридов резко поднялся. – Мне вам всего не объяснить, а вам, кажется, не понять.

Он отошел к окну, опять крестом сложил руки на груди, сжимая ладонями плечи, будто ему было холодно, долго смотрел сквозь решетки на вечернее небо. И вдруг спросил:

– А вот Антон Савельев – он знает, кто он, что он, зачем он на земле? А? На его глазах жена с ума сходит, а он молчит. На его глазах сына терзают, а он молчит. Вы видели, он даже предположительно никого не назвал. Отвечайте! Как он мог? Откуда у него такие силы? Во имя чего?

Полипов не знал, что отвечать и надо ли отвечать.

– Или... или ему ясно, с самого начала ясно то, что мне стало вдруг неясно? – Свиридов потер виски длинными пальцами. – Что ж, его расстреляют. Его – чуть раньше, нас с тобой – чуть позже. Помнишь, как он сказал? «Народ придавит вас к ногтю». – Свиридов болезненно усмехнулся. – Как вшей, значит. А? Придавят?...

– Чего вы спрашиваете? Вы же только что доказывали Антону обратное.

– Ты болван, Полипов. Какой ты болван! – будто даже с сожалением произнес Свиридов.

– Вы что же, затем, чтобы сказать мне это... и вообще высказать свои... не знаю, как назвать... сомнения... и кинули меня в этот застенок, заставили смотреть на... Чтобы и у меня возникли такие же сомнения, такие же вопросы?

– За этим ли, за другим ли – мне уж и самому не понять. – Свиридов просунул руку сквозь решетку, сдернул оконный шпингалет, толкнул створки. – Захотелось – и арестовал. Я мог бы расстрелять вас вот в этом кабинете, вот из этого нагана. – Он подошел к столу и действительно вытащил из ящика наган.

Полипов дернулся со стула, но полностью, во весь рост, разогнуться не мог, так и застыл, скрюченный, застыл от смертельного испуга – в лице Свиридова не было ни кровинки, глаза, опять пустые, холодные, безумные глаза Свиридова продавливали его насквозь.

– Да, я мог бы, но не знаю, будет ли это справедливо, – заговорил Свиридов тихо. – Я мог бы освободить и Антона Савельева, но тоже не знаю, будет ли это справедливо. Поэтому самое справедливое пустить себе пулю в висок.

Полипов с ужасом глядел на Свиридова, на его пустые глаза, на белые, как бумага, щеки, на сухие, побелевшие на сгибах пальцы, сжимающие рукоятку нагана. И ему стало до пронзительности ясно, что Свиридов сейчас действительно застрелится.

– У меня есть дочь, Полипов. Вы ее видели, кажется. Ее Полиной звать, знаете? – зачем-то спросил Свиридов.

– Да. Мельком видел.

– Если вы останетесь живы, скажите ей... когда-нибудь, если выйдет случай, что отец ее запутался, что у него не было выхода. И вообще знайте... если потом станет ясно, что я шел против течения, утром пытался вернуть прошедшую ночь, – что ж, значит, все правильно. Если же... если окажется, что я боролся за правое дело, – вы меня простите, что не выдержал. Я старался, но нет больше сил. Постарайтесь понять, что сам перед собой я был честен. А ведь сам перед собой каждый должен быть честен. Впрочем, зачем я вам говорю все это?

«Действительно, зачем?» – подумал Полипов.

– А теперь уходите! Косоротов вас выпустит.

...С бьющимся сердцем, не веря в свое освобождение, боясь, что кто-то его увидит, Полипов вышел из окованных железом дверей здания контрразведки. Когда он шел вдоль высокого забора, поверх которого была натянута в несколько рядов колючая проволока, услышал выстрел, долетевший, как он догадался, из открытого окна кабинета Свиридова. Звук был тихий, не страшный – будто кто над ухом переломил сухой прутик...

Этой же ночью, воспользовавшись советом Свиридова, Полипов, никуда не заходя, ни с кем не повидавшись, исчез из города.

* * *

На расстрел Антона Савельева повели первой июльской ночью, темной и хмарной. Было, наверное, часа три, но летние ночи короткие, на востоке, в той стороне, куда его вели, плотные тучи, застилавшие небо, начали синевато промокать. Погромыхивал где-то далекий гром.

Справа от Антона шел пожилой, с редковатыми висячими усами конвоир; время от времени зло покрикивал на Антона:

– Давай, давай... пошибче шагай! И так припоздали, рассвет скоро. А-а, лихоманец! – И толкал его прикладом.

Четверть часа назад на тюремном дворе этот конвоир, застегивая ему наручники, шепнул:

– Перепилены они. Мимо извилистого оврага поведем – прыгай вниз, как зачну кашлять, там ждут...

Сердце Антона забилося: неужели и на сей раз удастся избежать смерти?

Вышли за город, пошли редковатым березнячком. Антон знал: березнячок скоро кончится, начнется довольно густой смешанный лес, а тут берет начало этот самый извилистый овраг, не очень глубокий, поросший всякой древесной мелочью. «Удастся ли? Кто там ждет? Субботин, наверное, кто же еще...»

Антон волновался так, как никогда не волновался, даже в самых отчаянных и безнадежных положениях во время своих многочисленных прошлых побегов.

Они давно шли по краю оврага, Антон прислушивался, не кашляет ли усатый конвоир, но слышал только, как поет неподалеку первая, сонная еще, зорянка.

Как он ни ожидал условленного сигнала – услышал его неожиданно. Усатый конвоир, все так же идя сбоку, кашляя, чуть отвернулся. Антон ударил его плечом, отшвырнул, в два прыжка очутился на краю оврага, прыгнул вниз, покатился по скользкому травянистому склону, чувствуя, что руки его свободны, только звенят на обоих запястьях нестрашные теперь железки. Наверху раздались крики конвойных и беспорядочная стрельба. Хотя сверху стреляли и наугад – на дне оврага совсем было темно, – Антон слышал, как вокруг глухо шлепались в сырую землю пули.

– Живо... сюда! – сказал кто-то сдавленно (по голосу Антон узнал наборщика городской типографии Корнея Баулина), дернул его в сторону, впихнул в какую-то земляную щель и сам лег рядом, тяжело дыша. А близко, совсем близко слышался уже топот ног, и усатый конвоир кричал:

– Туда он побег, лихоманец, туда! Вниз по оврагу. Вон он, вон он! Сто-ой, твою...

Опять наперебой затрещали выстрелы, топот ног и хруст веток под сапогами стали удаляться.

– Живо! – Баулин поднялся, побежал вверх по оврагу.

Антон при падении ушиб колено, но, к счастью, не очень. Прихрамывая, он побежал следом.

Саженой через пятьдесят они выбрались из оврага наверх. Там, в кустах, стояла извозчичья пролетка Засухина.

– Садись, – коротко сказал, подбирая вожжи, хозяин пролетки. – На, переодевайся да спиливай колечки с рук. – Засухин кинул ему трехгранный напильник, узел с одеждой, погнал пролетку по затравеневшей лесной дороге. Баулин нырнул в лес, будто его и не было.

Рассвет только-только занимался, зорьки свистели теперь наперебой. Пролетка катилась мягко, без стука.

К берегу речки Ини, протекавшей неподалеку от города, подъехали, когда совсем стало светло. Остановились в прибрежных тальниках. Откуда-то подбежал долговязый парень лет двадцати пяти, поздоровался.

– Это Данилка Кошкин, сынок Ивана-конвоира, который с усами-то, – сказал Засухин Антону. – Он тебя на лодке перевезет на другой берег, а там... Ну, он знает куда... Лучше тебе подале от города быть пока. Так Субботин сказал. Поклон тебе от него. Ну, айдате, пока совсем день не разгулялся.

– Один вопрос, Василий Степанович. Как там мои – Лиза, Юрка, тетка? Свиридов, следователь, застрелился, подлец, а перед этим выпустил все же их.

– Тетка, Антон, померла вскорости, – глухо проговорил Засухин. – Не выдержало сердце... А жена твоя Лизавета – ничего, слава богу. Оклемалась вроде. И сын здоров. Ты не беспокойся, за ними приглядывают наши люди. И про Свиридова слышали. Про дядю твоего Митрофана знаем. Полипов где вот? Тоже сплюшал где-то, в лапы того Свиридова, говорят, попал.

– Раз я видел его там... Только раз, во время допроса. Расстреляли, вероятно.

– Может, и так, – нахмурился Засухин. – Бывали ночи – по сотне людей они расходовали.

Сидя в лодке, Антон торопливо дышал полной грудью, оглядывал пустынную речку. Данило Кошкин молча бил веслами.

– Увидишь отца – скажи ему спасибо от меня, – сказал Антон, когда пристали к берегу.

Парень хмыкнул:

– Пулю бы ему – это бы как раз по справедливости стало.

– Это как же? – удивленно спросил Антон.

– А так... Думаешь, он за так согласился помочь нам? Черта с два! Деньги ему большие уплачены были. Жадный он до денег. Я думал – все равно обманет. Нет, все выполнил, что было договорено.

– Вот оно что!

– А ты как думал? Я с ним, с кровососом, давно разошелся. – Помолчал и добавил: – По идейным мировоззрениям.

3

Силантия Ивановича Савельева и его жену Устинью полковник Зубов распорядился повесить на главной улице Михайловки в присутствии всех жителей деревни.

13 июля 1919 года, в воскресенье, после полудня, михайловских баб, стариков и ребятишек стали сгонять в середину деревушки, где стоял развесистый тополь. На могучей ветке дерева болтались две намыленные веревочные петли, к стволу была прислонена непокрашенная скамейка. Над деревней стоял шум, крики, детский плач. Но головорезы из отряда Кафтанова, бывшего михайловского лавочника и первого на всю округу богатея, объявившегося в деревне со своей бандой одновременно с белогвардейцами, безжалостно выгоняли всех из домов, теснили на место казни.

Верстах в пяти от Михайловки в просторном голубовато-белесом небе ослепительно горели под солнцем могучие гранитные утесы Звенигоры. За один из утесов зацепилось небольшое, первозданной чистоты, облако, долго стояло там, чуть покачиваясь, будто наблюдая, что происходит в деревне. Потом, оставив редкие клочья на острых камнях, поплыло дальше, в сторону большого села Шантары, лежавшего неподалеку за Звенигорой, вдоль берега довольно широкой речки Громотухи.

Казнили старого Силантия за то, что он помог укрыться партизанскому отряду в неприступных каменных теснинах Звенигоры. Этот большой отряд, организованный бывшим председателем Шантарского волостного исполкома Совета Поликарпом Кружилиным еще год назад, гоняясь по лесам за возникшей во время белочешского переворота кулацкой бандой Михаила Лукича Кафтанова, фактически контролировал огромную таежную область в верховьях реки Громотухи, препятствуя сбору податей, недоимок за прошлые годы, мобилизации людей в колчаковскую армию. А нынче весной, скрываясь все в тех же Громотухинских лесах, партизаны небольшими группами начали объявляться на пустынных железнодорожных перегонах южнее Шантары, портили железнодорожный путь, развинчивали и увозили прочь рельсы, самодельными минами взрывали небольшие мосты. В марте, апреле и мае железнодорожное сообщение между Новониколаевском и Барнаулом почти прекратилось. Тогда-то и был послан из Новониколаевска регулярный белогвардейский конно-пехотный полк под командованием полковника Зубова со специальным заданием – во что бы то ни стало уничтожить отряд Кружилина.

Разгрузившись на станции Шантара в начале июня, полк двинулся через Михайловку в тайгу, где к Зубову примкнул и Кафтанов со своей сотней головорезов. К концу месяца Зубову и Кафтанову удалось выгнать из тайги наполовину перебитый партизанский отряд, в котором оставалось все же около трехсот человек, но совершенно почти не было боеприпасов, оттеснить его к самой Михайловке, на голое степное место. Оторвавшись от преследователей на несколько часов, перейдя вброд обмелевшую Громотуху, протекавшую от Михайловки в трех верстах, Кружилин хотел увести отряд через деревню на восток, в сторону Огневских ключей. С юга и севера по пятам наступали Зубов и Кафтанов. На западе стеной стояла Звенигора, за ней, за Звенигорским перевалом, – Шантара, где, по сведениям вездесущего начальника партизанской разведки Якова Алейникова, был хотя и малочисленный, но хорошо вооруженный белогвардейский гарнизон. Оставался восток, эта дорога на Огневские ключи, но Кружилин не был уверен, что Зубов заранее не послал туда, в обход, часть своих войск, чтобы заткнуть и эту дыру.

– Яков, проверить надо Огневскую дорогу, – сказал Кружилин, спешиваясь посреди деревни, возле колодца. Достал ведро воды, начал жадно пить.

– Проверим, – ответил Алейников, невысокого роста парень, щупловатый, с тонкими губами. И, остановив пожилого партизана с рыжей бородкой, крикнул: – Ну-ка, живо, Федора Савельева ко мне со всем эскадром! – И тоже припал к ведру.

Кружилина и Алейникова обступили испуганные и любопытные жители деревни.

К колодцу, взбивая пыль, подсакало десятка два всадников. И тут в толпе послышались удивленные возгласы:

– Смотрите-ка, Федор! Сынок-то Силантия!

– Батюшки, а рядом-то с ним, с Федькой, кто? На гнедой лошаденке, в кожанке-то? Баба ить, хоть и в штанах? Не Анна ли Кафтанова?

– Не ври. С чего дочке Кафтанова в партизанах быть!

– Да ить она! Ты глянь, ты глянь!

– Кирька?! Инютин? – закричала какая-то старушонка. – И ты в партизанах?

– Какой Кирька? Сынок старосты, что ли?

– Ну! Он!

– Господи Иисусе! Эх все перебулькалось! А староста одноногий в отряде Кафтанова в казначеях ходит, Акимка-мельник сказывал...

– Да это что за партизаны такие?

– И Ванька Савельев, грит еще Акимка, меньшей парень Силантия-то, у Кафтанова воюет...

– То-то и дело... Чудеса, одним словом...

Пока раздавались эти возгласы, Алейников вскочил на коня, махнул рукой, эскадрон, подняв облако пыли, вылетел из деревни. Но через час вернулся, потеряв двух человек убитыми.

– Прямо под пулеметный огонь врезались. На Журавлиных болотах, – коротко объяснил Яшка. – А преследовать нас не стали. Знают, сволочи, что никуда теперь нам не уйти.

Этого-то Кружилин и боялся. Журавлиные болота тянулись на много километров. Единственная дорога, пролегающая через топи, была перерезана. Отряд оказался в мешке.

Кружилин выслушал донесение Алейникова, сидя на лавке в тесной избенке Силантия Савельева, опустил голову и стал молча и жадно курить.

Федор, двадцатичетырехлетний парень, широкогрудый, сильный, со сросшимися бровями, под которыми сверкали темные, чуть угрюмые глаза, соскочив во дворе со взмыленного жеребца, по привычке бросил поводья Анне, вытер небольшие запыленные усы и тоже зашел в избу, гремя шашкой. За дощатым столом несколько партизан что-то хлебали из мисок. Устинья, старая, иссохшая и почерневшая, как прошлогодний лист, качнулась к нему:

– Феденька, сынок... – И заплакала. – А Ванюша-то как? Где? Не слышал, живой он?

– Ну... живой, поди, коли со мной пока не встретился, – проговорил Федор глухо. – А встретится – мертвый будет.

И отстранил тихонько мать. Силантий, белый как лунь, сидел у дверей на скамеечке. Он только поглядел на сына, но ничего не сказал.

В избу зашел Панкрат Назаров, бывший председатель Михайловского Совета, а теперь заместитель Кружилина, мужик лет за сорок, уже наполовину седой, по-крестьянски угловатый и неповоротливый. Полгода назад он был тяжело ранен, пуля застряла где-то в груди. Недели две изо рта у него текла кровь, никто не думал, что он выживет. Но здоровья Назаров был отменного, кровотечение прекратилось, и он встал на ноги.

– Должно, ты ее, пулю-то, с кровью выплюнул, – решили партизаны.

– Нет, чую, там сидит, зараза, – сказал он как-то. – В легком, должно. Как запыхаюсь, так и чуется. Да нехай, весом потяжелше буду.

Человек спокойный, рассудительный и справедливый, за что михайловцы несколько раз выбирали его в деревенские старосты, Назаров и в отряде пользовался большим уважением.

Кобура с маузером сильно оттягивала ремень, оружие не шло ему, казалось лишним, ненужным. Глядя на Назарова, никак нельзя было сказать, что он умеет обращаться с ним.

– Людей покормили, – сообщил он. – Патроны я подсчитал – слезы. Помирать, что ли?

Кружилин поднял лобастую голову, режущие глаза его скользнули по Назарову, по Федору, остановились на Силантии.

– Помирать – так не задешево. На открытом месте мы и получасового боя не выдержим. Веди людей к Звенигоре, укроемся в ущельях. Ступай.

Назаров вышел. Дохлебав из мисок, заспешили и остальные. Сквозь гнилые стены избенки слышно было, как ржали по всей деревне лошади, стучали повозки с ранеными, раздавались крики и команды.

– Так что же, Силантий Иванович? – вздохнув, спросил Кружилин, видимо, уже не первый раз. – Может, все же укажешь нам дорогу в Зеленую котловину? Кроме тебя, некому. Я просил двух-трех стариков – отказались. Боятся.

Старик пригладил редкие на остренькой макушке волосы, но промолчал. Устинья вытерла мокрые дряблые щеки и опять всхлипнула:

– Да ить, знамо дело, решат тогда они любого, белые-то... Как придут, так и решат.

– Ну, тогда всех нас порешат. Федьку, сына твоего, первого, – жестко сказал Кружилин.

– Цыть-ка, ты, старуха, – проговорил наконец Силантий негромко. – Не в том дело, что под смерть меня подведут, – пожил я, слава богу, – а вот отыщу ли дорогу? В котловине этой почти полвека не бывал. Ну, может, Господь поможет. Айдайте. – И поднялся. – Бревен только подлиньше с пяток захватите, плашек с дюжину да гвоздей...

Зеленая котловина, о которой шла речь, находилась где-то среди каменных теснин Звенигоры. Это было нечто вроде высокогорного луга, поросшего буйными, никогда не мятыми травами, окруженного гладкими отвесными скалами, из-под которых во многих местах били холодные ключи. Туда вела единственная горная тропа, она вилась по каменным карнизам над бездонными пропастями, по ней можно было только пройти по одному да в крайнем случае провести в поводу лошадь.

Старики боялись, что ребятишки соблазнятся этой котловиной, пойдут и погибнут, дорогу туда держали в строгом секрете. Кружилин, выросший в Михайловке, в детстве несколько раз пытался найти начало этой таинственной горной тропы, но безрезультатно.

Расчет Кружилина был прост. В голых каменных ущельях белогвардейцы все равно их скоро перебьют. Если же удастся проникнуть в неприступную котловину, ведущую туда единственную узкую тропинку оставшимися боеприпасами можно держать долго, очень долго, а там...

Но что «там», Кружилин не мог знать и старался об этом не думать.

Солнце было еще довольно высоко, когда Кружилин, Алейников, Федор и Силантий Савельевы слезли с брички у подножия Звенигоры. Старик, кряхтя, огляделся, опираясь на костыль, тяжело дыша, полез вверх. Шагов через пятьсот остановился, огляделся.

– Ну, вот тут, кажись. По этой осыпи идите. Бревна и плахи с собой возьмите. Сажень через сорок осыпь кончится, как раз перед пропастью. Глыбкая она страсть, а неширокая, сажени в две. А за ней тропа и начинается. Бревнышки перекинете, плашек поперек настелете – перейдете легонько даже с лошадьми. А там тропа до места вас доведет, ежели не порушилась за эти-то годы. А я обратно потрясусь, тяжело мне... – И тут только будто впервые увидел сына, обнял его. – Прощай, что ли, сынок, храни тебя Господь.

– Может, с нами все же, Силантий Иванович? – предложил Кружилин.

– Нет, уж куда мне. А вы поспешайте.

И спустился к бричке, влез на нее, поехал в деревню, мимо подходивших и подъезжавших к Звенигоре партизан.

К исходу дня, побросав бесполезные теперь повозки, унося на руках раненых, уводя в поводу упиравшихся, всхрапывающих лошадей, остатки отряда Кружилина скрылись в горах.

Ух как рассвирепел полковник Зубов, тонкий, высокий человек с тугими, чисто выбритыми щеками, поняв, что Кружилин ушел от него! Нашелся кто-то из деревенских, доложил о старом Силантии. Зубов, страшный в гневе, поздно вечером прискакал в деревню, бросил поводья своему сыну Петьке, мальчишке лет десяти-двенадцати, все время находившемуся при отце вроде ординарца, заскочил в избу Савельева.

– Скотина! – Он дважды полоснул старика плетью. Крепкие щеки Зубова тряслись, как студень. – Взять его! Засечь насмерть! При всем народе!

– Помилуйте, батюшка! – повалилась в ноги ему Устинья. – Заставили его, как откажешься? Помилуйте! Ведь сын мой, Иван, у вас служит. Сын, Ванька... Ваше благородие?!

– Ма-алчать! – багровея, закричал Зубов. – Какой еще сын? Ты кто такая? И эту взять!

Сечь Силантия и Устинью все-таки не стали. Больше недели обоих продержали под арестом в крепкой кафтановской завогне. А потом Зубов распорядился их повесить.

* * *

Иван Савельев, младший сын Силантия, русоволосый, поджарый, как гончая собака, с длинными руками, за преданность Кафтанову был при нем коноводом, кучером, телохранителем. Он старательно и безропотно нес все обязанности, ибо Кафтанов давно, еще до восемнадцатого года, обещал отдать за него единственную свою дочь Анну.

Весной восемнадцатого года, когда началась вся эта кровавая карусель, Анна исчезла из деревни, оказалась вместе с Федором в партизанском отряде Кружилина.

– С-сучка! – коротко сказал бельмастый сын Кафтанова Зиновий, узнав об этом, и другой, здоровый глаз его страшно сверкнул. – И любовь у нее сучья. Как за кобелем, за братцем твоим Федькой все бегала. И сейчас...

Бегала, Иван это знал. Кафтанов тогда не единожды самолично сек дочь и таскал за волосы, пробуя отвадить ее от Федора, но это мало помогало. В те времена обещать-то обещал Кафтанов отдать за Ивана, своего работника, Анну, но – видел и понимал Иван – медлил, колебался. А когда Анна оказалась в партизанах, у Михаила Лукича аж дыбом поднялась борода, красные прожилки в глазах стали еще толще. И он сказал со страшным спокойствием:

– Служи, Иван. А ее, Аньку, достанем... Кину ее к твоим ногам. Хочешь – топчи ее до смерти, хочешь – милуй. Дело твое. Слово даю.

Год прошел с тех пор, но «достать» Анну, дочь свою, Кафтанов все никак не мог. Да и что получится, если достанет, если «кинет» Кафтанов дочь свою к его ногам? – невесело размышлял Иван все чаще. Пойманный как-то кружилинский партизан, которого по приказу Кафтанова Иван повел расстреливать, рассказал ему, что Анна наравне с мужиками служит в Федоровом эскадроне, в боях, даже в самом пекле, держится всегда возле Федора, оберегая всячески его от пуль и шашек.

– А жить, как мужик с бабой, вроде не живут, нет, незаметно. Это и дивно всем, – говорил партизан. – А мне не диво. Анна – девка, каких не бывает теперь, до свадьбы – режь – не позволит ничего такого.

Партизана того Иван расстреливать не стал, отпустил на свой страх и риск (Кафтанов, узнай об этом, самого Ивана бы расстрелял). Партизан, кривоногий мужичок из деревни Казанихи, обрадовался, сказал:

– Дык, можа, и ты айда к нам? К Кружилину-то?

– Куда-а... Запутался я, брат, до конца, как рябчик в силке. Федор, братец, самолично меня зарубит.

– Что Федор! У нас Кружилин Поликарп над всеми командир. Он мужик понимающий, душевный.

– Ты иди-ка, пока я в самом деле тебя не шлепнул! – вдруг рассердясь, крикнул Иван.

И с того дня Иван все скучнел, чернел лицом, сделался вялым. Ночами его не брал сон, ворочаясь, он все думал: отчего же он запутался, кто в этом виноват? Сам ли он со своей любовью к Анне, Анна ли, отказавшая ему в своих чувствах, Кафтанов ли, обещавший отдать за него Анну, время ли, суматошное и кровавое, все перепутавшее! Или все это, вместе взятое?

Ответить на это Иван себе не мог.

* * *

Узнав, что Зубов распорядился повесить отца и мать, Иван побледнел, закачался.

– Михаил Лукич?!

– Ну! – крикнул Кафтанов. – Что я могу? Надо ему было, старому черту, дорогу в эту котловину показывать? Как теперь партизан взять?

Партизан действительно было не взять. Узкий каменный карниз день и ночь охранял караул из нескольких человек. Как рассказывали, несколько партизан лежали на крохотной площадке за сооруженным из камней бруствером, и, едва впереди показывался белогвардеец, кто-нибудь из партизан не спеша прицеливался и стрелял. Белогвардеец отваливался от каменной стены и, болтая руками, летел в пропасть. Только и всего.

– Тогда я сам... я сам пойду к полковнику, попрошу его.

– Давай, – усмехнулся Кафтанов. – Про Мишку Косоротова слышал? Он тебя живо в его лапы отдаст.

Про какого-то Косоротова в отряде Кафтанова ходили страшные слухи. Видеть его никто не видел, но было известно, что в разведротке полка есть некий гражданский человек, мастер-палач, умеющий заставить говорить любого пленного. И толковали про такие подробности – действительные ли, выдуманные ли, – от которых в жилах стыла кровь.

Загнав партизан в Зеленую котловину, убедившись в невозможности их оттуда выбить, Зубов решил уморить их голодом. Он оставил у подножия Звенигоры батальон солдат, остальных отвел на отдых в Михайловку. Сам, взяв на всякий случай для охраны роту солдат и кавалерийский эскадрон, уехал на кафтановскую заимку, в Огневские ключи.

На этой заимке, верстах в двадцати от Михайловки, на берегу глубокого и светлого таежного озера, стоял большой, в несколько комнат, дом, рядом баня, три-четыре сарая, конюшня. Место было глухое, дикое, когда-то Кафтанов устраивал тут пьяные кутежи с женщинами. Теперь стояла здесь тишина, в конюшне только побрякивали удилами нерасседланные лошади да бесшумно сновали по затравеневшему двору полковничьи ординарцы. Сам полковник, хмурый, неразговорчивый, уже несколько дней подряд со своим малолетним сыном ловил с лодки рыбу.

Кафтанов, боясь, что его люди будут тревожить пьяными криками отдых полковника, тоже расквартировал их в Михайловке, с собой на заимку взял лишь Ивана да Зиновия.

Утром 13 июля, несмотря на злое предостережение Кафтанова, Иван, чувствуя, как холодеет в животе, подошел к дверям самой большой комнаты, перевел дух, стукнул два раза и, дождавшись ответа, шагнул через порог.

Зубов с сыном завтракали. Полковник, не раз видевший до этого Ивана, удивленно поглядел на него, долго не мог понять, чего он хочет. А когда понял, начал багроветь.

– Вон как! Этот... этот – твой отец?

– Ваше высокоблагородие! – взмолился Иван. – Старик же... из ума выжил.

– Во-он! – закричал полковник, срывая с шеи салфетку, комкая ее.

Иван не помнил, как выскочил из дома, сел на лавку у стены, зажал руками пылающую голову.

И час спустя он сидел так же. Зубов, выйдя с удочками, крикнул:

– Савельев!

Иван встал.

– Что служишь верно – хвалю. Отец будет... будет наказан. А мать помилуем, не виновата... Я послал сказать.

И ушел с удочками на озеро. А Иван стоял и стоял столбом, и казалось, будет так стоять вечно.

* * *

Согнанные к тополю люди волновались, слышались невнятный ропот, женский плач. И вдруг все смолкло, толпа замерла в оцепенении – вели Силантия и Устинью.

Старик шел твердо, обиженно поджав губы, глядя прямо перед собой. Устинья плелась чуть сзади мужа, озиралась вокруг, будто не понимая, зачем собралась тут эта огромная толпа. Увидев болтающиеся на суку петли, она вскрикнула и осела в дорожную пыль. Два белогвардейца взяли ее под руки, поволокли под дерево.

В толпе людей недалеко от тополя стоял в рваном армяке Яков Алейников, поглаживая дрожащей рукой приклеенную бороду, угрюмо смотрел, как белогвардейцы устанавливают под деревом скамейку. Больше трех суток подряд, ободрав в кровь руки и ноги, он лазил по скалам, окружавшим Зеленую котловину, соображая, нельзя ли где спуститься вниз. И нашел-таки более или менее пригодное для этого место. Сегодня ночью, под покровом темноты, связав несколько ременных вожжей, он спустился по отвесной скале почти с пятидесятисаженной высоты и к утру был в избе михайловского мужика Петрована Головлева, который и раньше оказывал партизанским разведчикам кое-какие услуги.

Когда стали сгонять на казнь, Головлев хотел спрятать Алейникова в подпол, но отчаянный Яшка сказал:

– А пойдём глянем, чтоб злее быть.

– А признают как?

– Ну, тебя не выдам, не бойся.

Неожиданно толпа раздалась, пропуская конника. Ординарец Зубова спешился, сказал что-то одному из белогвардейцев. Тот подошел к Устинье, сидевшей под деревом, поднял ее тычками и молча толкнул в толпу.

– Помилована, что ли? – проговорила женщина с ребенком возле Алейникова.

– Должно, – ответил другой голос. – Може, и Силантия...

Но Силантия тот же белогвардеец ставил на скамейку. Потом и сам встал на нее, накинул петлю на худую, морщинистую шею старика, соскочил на землю.

– Прощайся, что ли, с людьми, старик, – сказал он негромко.

– А? – переспросил Силантий. – Счас... – И задумался, опустив голову. Потом поднял ее и сказал: – Ну-к что... Вы Ваньше-то обскажите, как отец сгинул...

Толпа жадно выслушала эти слова и вдруг опять заволновалась, загудела.

Будто испугавшись этого, белогвардеец толкнул ногой скамейку из-под старика.

– Силантий! – раздался обессиленный крик Устиньи. – Родимый!

И потонул в жутком стоне толпы.

* * *

Яков Алейников вернулся в Зеленую котловину через несколько дней на рассвете. Дежурившие на скале Федор и Данило Кошкин, тот самый сын новониколаевского тюремного конвоира, разошедшийся с отцом «по идейным мировоззрениям», втащили его наверх.

– Яковы бывают всякие, а таковский – один на свете, – сказал он довольно. Потом помрачнел. – Отца твоего повесили, Федор.

– Батьку?! – вскрикнул тот и, точно сваренный, сел на остывший за ночь гранит.

Утром Яков Алейников предложил дерзкий и отчаянный план:

– Выход из котловины сторожит всего-то жалкий конный полуэскадронишко. Сперва до батальона солдат внизу стояло. Потом сообразили: им нас не взять, но и нам никак не выйти отсюда. Разобрали наш мосток через расселину и все почти ушли в Михайловку. Под горой всего двенадцать человек оставили, я их поштучно пересчитал. По двое в карауле сидят, остальные дрыхнут. Кони их рядом, на луговинке, пасутся. Весь полк и банда Кафтанова в Михайловке. Сам Зубов с Кафтановым на заимке в Огневских ключах. В бане парятся да рыбку ловят. Правда, с ними там кавалеристов с эскадрон да рота солдат. А на дороге через Журавлиные болота сейчас всего лишь пулеметная застава стоит. Но эта застава что! Я ее со своими разведчиками на себя беру, без шума ликвидируем. Короче, предлагаю: десятка два партизан спустить ночью со скалы на веревках. Этих двенадцать, да еще сонных, шашками изрубить – плевое дело. Выведем отряд – и на Огневские ключи! Поспеем на заимку к рассвету, – а должны поспеть, чего там! – опять же сонную зубовскую охрану играючи перерубим – и снова в тайгу. А там – ищи-свищи!

Возле шалаша Кружилина на примятой траве сидели пятеро: Алейников, сам Кружилин, его заместитель Панкрат Назаров, бывший наборщик одной из новониколаевских типографий Корней Баулин и бывший городской извозчик Василий Засухин. Баулин, Засухин и долговязый парень Данило Кошкин после организации побега Антона Савельева, спасаясь от лап белогвардейской контрразведки, вынуждены были по совету Субботина скрыться из города. Оказавшись в Громотухинских лесах, они год еще назад пристали к кружилинскому отряду. Теперь Баулин, немногословный человек с изъеденными свинцом руками, был чем-то вроде начальника штаба. Засухин ведал продовольственными делами в отряде. Кошкин служил в эскадроне Федора.

Вставало где-то солнце, золотило каменные вершины. На дне котловины, усеянном шалашами и палатками, было холодно, как в глубоком колодце, при дыхании изо рта вырывался парок. Росы не было, однако со дна котловины поднимался туман, лизал отвесные скалы. Меж шалашей и палаток паслись лошади. Партизаны, просыпаясь, кое-где разводили костры из сырых веток.

Яков Алейников излагал свой план убежденно и весело, будто осуществить его было проще простого. Но все понимали: на словах гладко, а на деле может получиться совсем другое. И молчали пока, думая.

– Да-а, – протянул наконец всегда осторожный Корней Баулин. – Оно у тебя ловко все, Яков. И вышло бы ничего, кабы драться было чем. А вдруг кому удастся с полуэскадрона этого на коня все же да в Михайловку? Поднимет полк, а мы только с дыры этой каменной выползем. В лапшу нас искрошат.

– Риск, – согласился Яшка и пожал плечами, как бы удивляясь, что Баулин этого не понимает.

– Или заставу на Огневской дороге не удастся целиком снять, – подал голос Назаров. – Подадут сигнал на заимку, эскадрон прискачет, за ним – пешая рота, заткнут дорогу на топях.

А с тылу и весь полк подоспеет. А? Тут не то что в лапшу – в кашу перемешают. Или сами в болоте и перетопнем.

– На войне всегда риск, говорю, – хмуро ответил Алейников. – Ну, предположим, с заимки и эскадрон и рота подоспеют. Сомнем с ходу. Сомнем! Им ведь тоже на узкой дороге не шибко развернуться. Десятка два гранат у нас еще осталось. Закидаем и прорвемся, хотя много людей потерять можем при таком повороте. Главное – с этого полуэскадрона, что под горой, никого не упустить, чтобы полк не подняли. Но в крайнем случае, что ж? Упустим хоть одного если, уберемся назад в котловину, только и всего. А пробовать надо. Надо!

Да, пробовать было надо, это понимали все. Раненые без лекарств умирали, девятерых уже похоронили, скудные харчи, захваченные из Михайловки, подходили к концу. Кружилин распорядился вчера забить на мясо двух лошадей. На жалких остатках муки, на лошадином мясе можно было продержаться ну еще две недели, ну пускай даже месяц. А потом что? Голодная смерть...

Около часа рядили так и сяк. Засухин высказал предположение – в течение нескольких ночей группами спуститься со скалы, как это сделал Алейников, по одному, по двое скрыться, рассосаться по окрестным лесам и деревушкам, а потом где-то в условленном месте собраться. Это предложение обсудили и отвергли: стоило кому-то из партизан попасться в лапы Зубова и не выдержать допроса (а люди в отряде всякие) – и конец отряду, этот единственный путь спасения будет отрезан, новое место сосредоточения будет известно... Да и раненых в отряде порядочно – как с ними?

Еще через час план Алейникова был обсужден на общем собрании отряда и принят.

* * *

К вечеру небо над котловиной закрылось, как крышкой, облаками – погода благоприятствовала партизанам. Под командой самого Алейникова еще засветло опустили вниз на веревках и вожжах ровно двадцать человек. Спустившись последним, Яков около часа вел людей по глухому ущелью, потом – сквозь какие-то заросли, и наконец они оказались у самого подножия Звенигоры.

Белогвардейский полуэскадрон, охранявший выход из Зеленой котловины, ликвидировали бесшумно, изрубив спящих людей шашками. Только двое, находившиеся непосредственно в карауле, по разу выстрелили из винтовок, но тут же были уложены Алейниковым. Одного он наискось рубанул шашкой, другого, кинувшегося бежать, достал пулей из маузера. Эти три выстрела хлопнули гулко, эхо пошло по горам.

А Поликарп Кружилин уже вел отряд по узкому карнизу из котловины.

При свете разложенного еще белогвардейскими караульными костерка партизаны стали торопливо восстанавливать разобранный мост через расселину, четверо бросились ловить стреноженных неподалеку лошадей.

– Ловко, а! Вот они, все двенадцать, – возбужденный еще схваткой, сказал Яков Кружилину, когда тот по первому уложенному бревну перескочил через расселину. – Ты давай поспевай с отрядом, а я пулеметную заставу на дороге сниму пока. Там их всего пятеро.

– Гляди, Яков, – сказал Кружилин тревожно.

– Ништо. Я выведал, как подобраться к ним. Веди людей смело.

И с десятью партизанами ускакал в темноту.

Все было пока тихо, фыркали только лошади, стучали копытами по наскоро сооруженному настилу через пропасть, суетились люди. Часть брошенных отрядом под горой повозок белогвардейцы угнали, часть изрубили на топливо для костров. Теперь партизаны отыскивали уцелевшие телеги и брички, впрягали в них лошадей. Кое-как погрузили раненых, растянувшись почти на полкилометра, двинулись в кромешную темноту.

На душе у Кружилина было тревожно – чем-то кончится их дерзкий план? Ведь они безоружны, беспомощны, стоит самому захудалому одиночному белогвардейцу, блукающему зачем-нибудь по степи, наткнуться на отряд, поскакать в Михайловку, поднять тревогу... В плане Алейникова это не предусмотрено, а ведь может случиться. И тогда...

Кружилин вздрагивал, кожу его обдирал мороз.

Отряд двигался в ночной тиши уже больше часа голой степью, потом начались перелески. Кружилин чуть успокоился – все-таки лес. Скоро и Журавлиные болота, а от Яшки ни слуху ни духу. Что там у него? Удалось ли ему снять пулеметную заставу?

Алейников появился из темноты неожиданно и бесшумно, будто лошадь его не ступала по земле, а летела по воздуху.

– Пор-рядок! – воскликнул он, и Кружилин облегченно вздохнул. – Сонные тетери! Вымокли только все мы, вплавь пришлось к ним подбираться. Во что бы переодеться мне?

– А пулемет ихний?

– Порядок, говорю. И коробок с лентами – десятка полтора!

Это было уже почти спасение. Теперь, если даже и кинется за ними весь белогвардейский полк, на узкой дороге его можно держать долго, достаточно для того, чтобы отряд мог смять находившийся на заимке при Зубове эскадрон и пехотинцев и скрыться в таежных дебрях, начинавшихся сразу за Журавлиными болотами.

* * *

«Батьку повесили... Батьку!» – весь прошедший день звенело в голове у Федора. Он ушел в палатку, лег там и лежал до вечера не шевелясь. Анна трижды – утром, в обед и вечером – приносила ему жиденькую мучную похлебку, но он отталкивал миску, бросал сквозь зубы:

– Уйди!

Выбираясь по каменному карнизу из Зеленой котловины, Федор оступился, чуть не загремел в пропасть вместе с лошадей. Анна, шедшая сзади, пронзительно вскрикнула, а Федор спокойно сказал:

– Тихо. Рано мне еще погибать.

А про себя стал думать: «Да, рано... Только бы до Огневской заимки добраться! Ванька, может, там. Раз Кафтанов там, и Ванька должен при нем быть... Доберусь я до тебя, сволочуга!»

Потом эта мысль о брате Иване уже не покидала его.

Когда подошли к заимке, близился рассвет. При ясной погоде небо на востоке уже засинело бы, а сейчас, заложненное тучами, оно было черно и непроницаемо. Но ночь ли стояла, день ли светил бы – Федору это не важно было. Заимка – вот она, блестит недалеко за деревьями тусклый ночник в каком-то окошке. Уже вынули партизаны шашки, и Федор выдернул свою из ножен, расстегнул кобуру нагана. А Яков Алейников все говорит про какие-то сараи, где спят белогвардейцы, про какого-то Зубова, которого ни в коем случае нельзя упустить. Анна на своей низкорослой гнедой лошаденке, как всегда, рядом с ним, шепчет, как всегда, вполголоса: «Федя, берегись, ради бога, осторожней...» А для чего ему остерегаться, на черта этот полковник Зубов?! Только бы ему с братцем Ванькой встретиться! Где Кружилин или Назаров, чего не подадут команды?

Кружилина или Назарова он так и не увидел, никакой команды не услышал. Неожиданно сбоку забил, распарывая тишину, пулемет, ухнул гранатный разрыв. Ночник в кафтановском доме мигнул и разгорелся еще ярче. «Впере-од!» – заорал визгливо Яшка, и Федор закричал таким же голосом своему эскадрону, бросая к заимке лошадь:

– За мно-ой!

А потом все слилось в тяжелый гул, свистящий огненный вихрь. Яростно, как порох, горела какая-то постройка. Федор метался по освещенному двору заимки, рубил словно спе-

циально наскაკивающих на него полусонных, полураздетых белогвардейцев. Мелькали перед ним знакомые, искаженные боем лица Данилы Кошкина, Кирьяна Инютина и других бойцов его эскадрона, скакала следом в неизменной своей кожанке, с наганом в руке Анна. Она всегда, в любом бою, в любой рубке, находилась рядом вот так же с наганом в руке и раза два, кажется, спасала его от верной смерти.

Неожиданно Федор почувствовал: Анны рядом с ним нету. Он сдержал разгоряченную лошадь, оглянулся. И увидел: в полусотне шагов от него бился застреленный под Анной конь, сама Анна пыталась вынуть из стремени ногу. Данило Кошкин, спешившись, помогал ей, а из-за угла горевшей смоляным факелом конюшни, припав на колено, в Анну и Кошкина торопливо бил из винтовки белогвардеец. «Убьет ведь, убьет!» Федор выхватил из кобуры наган. Но выстрелить не успел – из-за конюшни, из клубов огня и дыма, вылетел Алейников, в отсветах пламени бесшумно, как всплеск молнии, блеснула его шашка, белогвардеец выронил винтовку, клюнул головой в землю и неспешно вытянулся, будто укладывался спать. А Яков дико закричал:

– Федор, за окнами глядеть! В доме Зубов с Кафтановым, не упустить!

И, спрыгнув с лошади, заскочил на крыльцо, ударил плечом в запертую дверь. Федор поднял лошадь на дыбы, через мгновение оказался на другой стороне дома. Окна были темными, лишь одно, под которым стояла врытая в землю скамейка, ярко горело, по белой занавеске металась какие-то тени. Федору показалось вдруг, что одна из фигур похожа на Ванькину. Только показалось, но этого было достаточно. Не думая об опасности, он прыгнул с коня на эту скамейку, плечом саданул окно, рванул и отбросил легкую занавеску...

И, стоя на подоконнике, слыша, как вокруг него со звоном осыпаются стекла, зарычал торжествующе: перед ним, приклеившись спиной к стене, стоял с маузером в руке Кафтанов, в углу – какой-то рослый худой человек с обнаженной шашкой, в наспех накинутом полковничьем кителе, к нему прижимался насмерть перепуганный мальчонка лет десяти-двенадцати, тоже в офицерской форме, сшитой по росту, только без погон, а у дверей – он, брат Ванька! Ванька тоже был вооружен, опустив руку с наганом, удивленно, ошалело глядел на брата, моргал большими круглыми глазами...

* * *

Почти весь сентябрь 1919 года в верховьях Громотухи барабанили дожди с ветром; рано пожелтевшие деревья обхлестало, а потом погода установилась, засветило холодное солнце, пронизывая обредевшие леса, с трудом обсушивая мокрую землю.

Шла в отлет птица. С утра до вечера небо со свистом чертили тонкие утиные ниточки, бесшумно и лениво махали крыльями стаи отяжелевших за лето гусей, и уже совсем грузно проплывали журавлиные косяки, тоскливо оглашая тайгу медноголосым криком.

Иван сидел на каком-то сундуке в душной маленькой комнатушке, слушал, опустив голову, эти крики, проникающие сюда даже сквозь двойные рамы, молчал. Молчала и Анна, сжавшись, как зверек, на кровати, подобрав под себя ноги. За окном комнатушки маячил карасьный, то ходил взад и вперед, то садился на завалинку, курил, часто сплевывая на землю.

В бледном, болезненном лице Анны не было ничего живого, вместо серых глаз – холодные ключья перегоревшего пепла. Только черные зрачки еще не перегорели, еще пылали и больно жгли Ивана.

– Не гляди так, Анна, – попросил Иван, еще ниже опуская голову.

– А как на тебя глядеть? – иссохшие ее губы шевельнулись брезгливо.

Иван замотал головой, застонал:

– Размолола ты мою жизнь, проклятая! Раздавила, как помидор сапогом!

– Гляди – зайдешься и не отойдешь.

– Обвенчаемся, Ань! – умоляюще крикнул Иван, вставая. – Жить будем – ветру не дам пахнуть на тебя.

– Нет уж... Лучше в петлю пускай меня, как отца твоего.

– Анна!

– А ты посильнее попроси любви-то моей, – насмешливо сказала она. – Кто знает, может, выпросишь!

Такой разговор происходил уже не раз. Иван вышел из комнаты на улицу, сел у стены на жиденьком солнечном припеке. Крики улетавших журавлей были здесь явственнее, громче и оттого казались еще тоскливее.

Деревушка Зятькова Балка, в которой вот уже две недели стоял отряд Кафтанова, укрывшись здесь от партизан, лежала на косогоре, редкие, беспорядочно разбросанные домишки стояли криво, и было странно, как они держатся на крутом уклоне. Казалось: дунет пошибче ветер – и все домишки, будто пустые коробки, скатятся в эту самую Зятькову Балку – глубокий глинистый овраг, надвое разрезающий тайгу.

На косогоре, на самом гребне, показались четверо всадников. Это были сам Кафтанов, его бельмастый сын Зиновий, бывший михайловский староста Демьян Инютин и тот самый таинственный Косоротов, о котором рассказывали страшные легенды.

Вчера вечером какой-то мужичонка прискакал из соседней деревни Парфеново, сообщил, что туда нахлынули партизаны.

– Обкладывают опять, сволочи! – выругался Кафтанов и, никому не доверяя, самолично решил разведать ночью, сколько в Парфенове партизан, взяв с собой самых верных людей.

Иван тоже был в числе верных, но он оставил его при Анне, захваченной десять дней назад в плен бывшим тюремным надзирателем Косоротовым.

– Сторожем и женихом оставляю, – усмехнулся Кафтанов. – А к утру чтобы мужем стал.

Подскакав к дому, возле которого сидел Иван, Кафтанов глянул на него красными от бессонницы глазами:

– Ну? Зятем, что ли, назвать можно?

– Не соглашается она.

– Я ж позволил – силком бери ее, сучку...

– Не могу я так. Не могу, – мотнул головой Иван.

– С-сопля! – Свальявшаяся в клочья рыжая борода Кафтанова затряслась. – Ну, не обес-
судь. Я свое слово выполнил.

Кафтанов, Зиновий и Косоротов ушли в дом. Демьян Инютин ловко перекинул через коня пристегнутую к левому колену деревяшку, сполз на землю, ковыляя, переваливаясь, как утка, повел всех лошадей под навес. Проходя обратно, он сказал:

– Сумной ты давно, гляжу. Значит, коловерть в голове зачалась. Куда она тебя доколо-
вертит, а? Вот об чем бы Михаилу Лукичу подумать.

И, подождав чего-то, прибавил:

– Только знай – у меня с Михайлой Косоротовым ты с глазу не соскочишь.

– Ты-ы! – взревел Иван, вскочил, выдернул до половины шашку...

...Коловерть началась, другим ли каким словом можно было назвать то, что с ним про-
исходило, но происходило, Иван Савельев это чувствовал, давно...

Впервые он сказал об этом вслух тому кружилинскому партизану, которого повел рас-
стреливать, а потом отпустил. Партизан рысью убежал в лес, Иван для порядка, чтоб услышал Кафтанов, выстрелил вверх, потом сидел на пеньке и долго думал: как же так оказалось, что плюгавенький мужичонка этот в партизанах, брат Федор там, у Кружилина Поликарпа, и Анна, и даже сын одноногого михайловского старосты Демьяна Инютина Кирюшка?! Им-то двоим как раз надо быть у Кафтанова, а ему, Ивану, у Кружилина. А все перепуталось, все вышло наоборот... «И за что воюю-то здесь? Богачество Кафтанову отстоять помогаю. Что мне с того,

если удастся отстоять, допустим? Опять в конюхи после к нему идти? Анна, что бы ни случилось, все равно с Федькой останется. Да и, по всему виду, не отстоять теперь свое богатство ни Кафтанову, ни кому другому, расколошматят скоро его отряд, перестреляют всех, погибель так и так мне. А за что?»

Вскоре прибыл для разгрома Кружилина зубовский полк, начались жестокие бои, бесконечные погони за ускользящими партизанами. Для дум у Ивана не оставалось как-то времени. А потом... потом и случилось то, от чего Иван до сих пор не может опомниться, – казнь отца и этот неожиданный, страшный налет на Огневскую заимку партизан, непонятно каким образом – по воздуху, что ли?! – выбравшихся из Зеленой котловины...

...Когда забил где-то пулемет, Иван, спавший на полу рядом с Кафтановым, мигом оказался на ногах, прибавил огня в привернутой лампе, хотя, может, ее надо было совсем потушить.

– Что? Кто?! – вскричал Кафтанов.

Из соседней комнаты в одних кальсонах выскочил Зубов, тоже закричал:

– Что? Что это такое?!

А там, за окном, уже вразнобой хлопали винтовочные выстрелы, слышались крики и тяжкий, глухой звон лошадиных копыт.

Больше никто ничего не говорил, все трое поняли, что произошло, начали лихорадочно хватать и натягивать одежду. Зубов скрылся в своей комнате, через минуту вытолкнул оттуда заспанного сынишку, выскочил сам в незастегнутом еще кителе.

– Как это случилось? – закричал он, будто кто-то мог, но не хотел ему этого объяснить.

И тут со звоном посыпались стекла, в черном проеме, как в раме, встал, сверкая глазами, брат Федор.

Иван давно выдернул наган, но при виде брата его рука сама собой опустилась. Стоявший у стены Кафтанов, наоборот, быстро вскинул руку, но Зубов судорожно вцепился в нее, закричал:

– С ума сошел! Не стрелять! Не стрелять! – И повернулся к Федору, спрыгнувшему уже в комнату: – Я сдаюсь. А это единственный сын мой, Петр. – И он чуть толкнул мальчишку к Федору. – Надеюсь, ребенка вы пощадите.

В эту секунду в черном проеме окна возникла новая фигура. «Анна!» – обожгло Ивана.

Спрыгнуть на пол Анна не успела. Хрипло прокричал рядом Кафтанов и не целясь выстрелил в дочь. Она бесшумно осела, повалилась на бок.

– Анна!

Это не он, Иван, закричал, и вообще никто не закричал. Это просто в голове у Ивана что-то загудело, нарастая, лопнуло, стало осыпаться со звоном, как только что осыпались оконные стекла.

И слух у Ивана пропал, сознание помутилось. Точно в каком-то полусне, не понимая уже, что происходит, он видел, как сбоку распахнулась дверь, влетел, сверкая глазами, невысокий парень в сбитой на затылок кожаной фуражке – Яков Алейников.

– А-а, полковник Зубов! – закричал он, наверное, громко, однако до Ивана донеслось это еле-еле, взмахнул шашкой.

Но Зубов отскочил, отбив одновременно удар. Шашка из рук Алейникова вылетела, дугой сверкнув в воздухе. Алейников прыгнул за противоположный конец стола, вырывая из кобуры наган. Но вытащить не успел, Зубов перегнулся через стол и достал Алейникова шашкой. Схватившись за лицо, Алейников упал навзничь.

Пока это все происходило, кто-то дернул Ивана, прохрипел в ухо: «За мной, живо!» Иван видел, что Кафтанов скользнул за дверь, но не побежал за ним. Почему не побежал – неизвестно, хотя Федор, кажется, стрелял в него. Ну да, стрелял, раз – в него, раз – в метавшегося по комнате Зубова. Пули липли в стену, совсем рядом, но Иван не шелохнулся. Наконец Федор

попал, кажется, в Зубова, тот выгнулся горбом, оседая. Но не упал, а стал подниматься. Федор хотел выстрелить еще раз, но боек нагана только щелкнул – кончился барабан. Тогда Федор прыгнул зверем к раненому Зубову, ударил шашкой. Тот рухнул рядом с Алейниковым. Пронзительно закричал прижавшийся в углу сынишка Зубова. Прокричал и замолк.

– Что ж не стреляешь, иуда? Стреляй...

Это, тяжело дыша, говорил Федор. К своему удивлению, Иван обнаружил, что целится прямо во взмокший лоб брата.

– Брат все же ты мне, не буду стрелять, – сказал Иван.

Иван говорил правду, он не выстрелил бы, кинься даже на него Федор со своей страшной шашкой. «Анна, Анна, Анна!» – будто стучали ему молотком по голове. И сквозь большой звон этих ударов пробивалась ясная, отчетливая мысль: коли нет больше Анны – зачем жить? Пускай зарубит. Это лучше даже, что не кто-нибудь, а Федор. Взмахнет шашкой – и все кончится. Все, все... И – хорошо... Но тем не менее целился зачем-то сам в брата. Зачем?

Федор меж тем, скользя спиной по стене, подвигался тихонько к тому углу, где стоял, сжавшись, сынишка Зубова. «Да, вот зачем... – вспомнил Иван. – Зарубит ведь мальчонку...» И крикнул:

– Мальчишку не трогай! Не виноват ни в чем ребенок.

– А-а, гад! – прохрипел Федор. – Сам гад и об гадючьих выползках заботишься?! Ты отца бы родного лучше пожалел! Вспомнил бы, как они его...

И рванулся к мальчишке. Иван бросился наперерез и в ту секунду, когда Федор со свистом опустил шашку, с разбегу толкнул Федора в плечо. От толчка Федор не удержался, упал, покатился по полу. Пронзительно, последним криком закричал мальчишка, прижимая к лицу ладони, сквозь которые текла кровь, корчился рядом с неподвижным отцом. И только тут Иван выстрелил, но не в Федора, а в висевшую на стене лампу. Однако темноты не наступило, потому что в проем окна, загибаясь с крыши, хлестало пламя. Запнувшись о застонавшего вдруг Алейникова («Жив, оказывается», – отметил про себя Иван), он схватил мальчишку и выбежал из дома.

Во дворе было пусто и светло от полыхавшей конюшни. Пламя бешено плясало в черном небе, широкие лоскуты его отрывались и таяли, словно улетая в темную пучину. Вокруг заимки, где-то уже далеко в лесу, трещали выстрелы.

Пробегая по двору, Иван все дожидался Федоровой пули в спину, однако погони за ним не было. На берегу озера стояло несколько лодок с веслами, в одну из них Иван кинул Петьку Зубова. Оттолкнув лодку от берега, Иван сунул в карман оружие и, разбивая веслами плясавшие от пожара на черной масляной воде огненные блики, торопливо погреб к другому берегу, в темноту...

...– Ты-ы! – взревел Иван, вскочил, выдернул до половины шашку.

– Дурак, – спокойно ответил Инютин и ушел, глубоко протыкая землю деревянной ногой.

Иван снова сел. Дурак, это верно. Зачем той ночью не дал себя зарубить Федору, не сдался, в крайнем случае, в плен, зачем кинулся бежать, да еще не один, а с этим мальчишкой, сыном человека, приказавшего повесить его отца? На другом конце озера тоже стояла лодка. Иван сразу понял – это Кафтанов на ней переплыл. И точно, Кафтанов вышел из зарослей, обрадованно сказал:

– Ванька? Молодцом! Эко обмарались мы! Как же они, сволочуги, из каменной дыры выползли?

У Петьки Зубова была немного рассечена щека, он скулил, как щенок, Кафтанов разорвал свою рубаху, перевязал мальчишке лицо, сказал задумчиво:

– Совсем, голубок, сиротой остался. С трех годков, рассказывал полковник, без матери рос. Куда же его теперь? К Лушке, что ли, отправить? Пуцдай с Макашкой моим вместе живут. Друзьями, может, будут.

Младшего своего сына, шестилетнего Макара, Кафтанов укрывал где-то по заимкам в таежной глухомани, поручив его заботам разбитной и развратной михайловской бабенки Лукерьи Кашкаровой.

– Верно, отправлю-ка его к Лушке, – повторил Кафтанов. – А сейчас, Ваньша, айда в лес поглубже от греха. А то светает уж. Неужель весь полк и наших людей в Михайловке партизаны похлестали? Чем и как? Не должно быть. А все же нам надо обнюхаться. Береженого бог бережет.

– Анну-то, Анну зачем ты? – невольно вырвалось у Ивана.

– Ну! – сухо прикрикнул Кафтанов. – Переживешь. Ее, сучку, не пулей бы, на куски бы раздергать. – И пошел от берега.

Проливался сверху запоздалый рассвет. Иван глядел на маячившую впереди сутулую спину Кафтанова, и ему хотелось выдернуть из кармана наган и раз за разом высадить весь барабан в это широкое, ненавистное тело. Непонятно сейчас Ивану, почему не осмелился, такой был удобный момент. «Да и вообще, мало ли их было, таких моментов? – усмехнулся он кисло. – Дурак потому что, как сказал Инютин».

Тем утром, когда совсем рассвело, они вышли на таежную дорогу, свежеистоптанную копытами, сапогами, изрезанную колесами, и поняли, что здесь на восток, в заогневские леса, прошел отряд Кружилина.

Партизаны вернулись недели через две, отдохнувшие, хорошо вооруженные.

Бывший зубовский полк, оставшийся без командира, к тому времени был отозван куда-то. Роли теперь переменялись, теперь партизаны по пятам преследовали отряд Кафтанова, загоняя его все дальше в верховья Громотухи, пока он не оказался в этой самой Зятьковой Балке.

Иван все так же был при Кафтанове ординарцем и телохранителем. Он еще более похудел, глаза ввалились, стал угрюм, молчалив.

– Да не сохни ты! – сказал ему Кафтанов уже тут, в Зятьковой Балке. – Живучей кошки она, Анна твоя, оказалась.

– Как? – не понял Иван.

– А так, живая... Надо было мне еще разок-другой вцепить ей. А раз живая – я от своего слова не отказываюсь. Поймаем ее.

– Как? – еще раз переспросил Иван.

– Мишка вон Косоротов поймает. Я ему приказ дал. Он уехал уж.

Михаил Косоротов, когда отозвали зубовский полк, остался в отряде Кафтанова.

– Куда уехал? – все еще никак не мог понять Иван.

– За Анной. Имеем сведения – очухалась она от моей пули, ездит сейчас по деревням, пимы да рукавицы для партизан собирает. Косоротов и прижучит ее где-нито.

И Косоротов «прижучил». Он вернулся через день после этого разговора, сбросил с седла связанную Анну, выдернул тряпку из ее рта.

– Получай, – сказал он Кафтанову.

– Анна? Анна! – вскричал Иван, подбегая.

– А Кирюхи моего не было с ней? – спросил Демьян Инютин. – Его бы, свиненка, достать ишо мне. – И, потоптав землю деревяшкой, добавил непонятно: – А на этой я бы не Ивана... я бы сам на ней женился.

Анна, со спутанными волосами, посиневшая, полузадохнувшаяся, лежала в пыли. Иван хотел развязать ее, помочь встать. Но она сама поднялась на колени, вскинула голову, поглядела на Ивана таким взглядом, что он попятился. И вот...

* * *

Бой в Зятьковой Балке Кафтанов принимать не стал, увел своих людей за два десятка верст, в деревню Лунево. Ужиная в просторной избе, велел Демьяну Инютину привести к себе дочь из амбара, где ее держали теперь под замком.

– Значит, не хочешь за Ивана выйти? В последний раз задаю вопрос.

– Не надо, – сказал сидевший на лавке у окна Иван, болезненно скривив губы. – Не выпросишь ведь, действительно. Отпусти ее, Михаил Лукич. Пускай...

– Что? Значит, отказываешься от нее?

– Я помер бы за нее. Да что... Она и крошки не отломит.

– Какой такой крошки еще? – рассердился Кафтанов.

– Я вообще. Не выпросишь, говорю. Отпусти ее. А я вдвойне тебе отслужу.

Кафтанов бросил деревянную ложку, упер взгляд в Ивана, долго своим взглядом давил его. Потом стал глядеть на дочь. Анна стояла у дверей, прислонившись к косяку. Она была в серой вязаной кофточке и черной измятой юбке, в мягких сапогах, голенища плотно облегли полные икры. На плечи была накинута кожанка, на голове ситцевый платочек, из-под которого вываливались светлые пряди волос.

Высокая и стройная, она хороша была и в этом грубом наряде.

– Ничего, гладкая кобыла выросла, – усмехнулся Кафтанов.

Анна еще ни звука не промолвила и на эти слова никак не отозвалась.

– Ну а ежели отпущу, к партизанам опять уйдешь? – спросил отец.

– К ним, – подтвердила Анна, разжав наконец губы.

Кафтанов задыхался тяжело, на потных висках вздулись вены.

– Я, Анна, всласть пожил, ты знаешь, – заговорил он неожиданно тихо. – И водку пил, и баб любил, и властью над людишками вволю попользовался. Воюю вот теперь, просто сказать, чтобы еще маленько такой жизнью пожить. Ну а ты за что? Цель-то в чем? Как ты там оказалась, у партизанишек этих? Из-за Федьки, что ли?

– И из-за него тоже.

– А еще из-за чего?

– Не знаю. Это не объяснить так легко, в двух словах. – Длинные брови ее нахмурились, потом, дрогнув, развернулись, как крылья, плотно обтянутая шерстяной кофточкой грудь начала быстро, толчками вздыматься. – Ты жил... Ты мать мою этой своей жизнью в петлю загнал! Чем хвалишься? Как скотина ты жил. А есть другая жизнь – человечья! Вот... потому я там, в партизанах, наверное, что... что нагляделась на твою жизнь. Видела я, как ты на Огневской заимке развратничал. А я хочу по-человечески жить. И ради этого такая... такая кроворубка идет. Люди хотят на земле человеческую жизнь установить. И установят...

– Ой ли? Гляди не ошибись.

– Установят! А вас выметут с земли, как сор из избы, чтоб не воняли. Вон уж куда загнали вас...

– А и установят – тебя-то пустят ли в эту жизнь? Рано или поздно припомнят, чья ты дочь.

– Припомнят... всегда будут помнить не чья я дочь, а каков я человек, достойна ли этой жизни. И пустят. А ты, Иван, – повернулась она вдруг к окошку, где тот сжигал самокрутку за самокруткой, – ты подумал бы об этом. Они отца твоего повесили. А недавно мать твоя... не перенесла такого горя она...

– Мать? Мать... – Иван вскочил и замер, не чувствуя, что окурок жжет ему пальцы.

– Замолчи-и! – Кафтанов трахнул о край стола тяжелой глиняной миской – будто звонко лопнуло дерево на морозе, под ноги Анны полетели черепки. Подскочил к ней, протянул к ее горлу волосатые руки.

– Михаил Лукич! – закричал Иван, звякнула выдернутая им шашка.
– Ты... что... это?! – раздельно, в три приема, выдавил Кафтанов.
– Да ведь дочь это твоя. Отпусти ее. Пусть идет куда хочет, – в третий раз сказал Иван, вытер взмокший лоб, бросил в угол шашку.
Кафтанов, грузно ступая, вернулся к столу, сел.
– Ну что ж, пускай идет... Пускай приведет сюда партизан.
– Мы снимемся отсюда, дальше уйдем. Кто нам мешает?
– Тоже верно рассудил... – Кафтанов говорил, а глаза его с толстыми кровяными прожилками ползали по дочери. – С Федькой-то живешь, что ли? – спросил бесстыдно.
– По своей мерке все меряешь. – Анна запахла на груди кожанку. – Я не скотина какая-нибудь, как... чтоб без свадьбы.
– Как я? Ага. Было уже указано. А свадьба когда?
– А ты не беспокойся, мы тебя позовем, – насмешливо сказала Анна.
Кафтанов держался толстой, в желтых волосах рукой за край стола, будто собираясь отломить кусок тяжелой, залоснившейся до твердости камня доски и запустить обломком в дочь.
– Ладно... Эй, кто там, увести пока!
– А ты горяч, сразу за шашку, – сказал он Ивану, когда Анну увели.
– Ты ж хотел ее... Мне почудилось...
– Тебе не все равно, коль она...
– Не все равно, – сказал Иван, не поднимая головы.
– Слюняй ты в таком разе, – усмехнулся Кафтанов. – Ну, дело твое. А мне что – отпущу. С Федькой пушай живет, с другим ли каким жеребцом...

* * *

В течение ночи Иван не сомкнул глаз. «И мать... Тоже, считай, повесили ее», – думал он, лежа неподвижно на конской вонючей попоне. Сердце давило, неприятная боль растекалась по всему телу.

В окна заструился серый утренний сумрак.

Скрипнула кровать, на которой спал Кафтанов.

– Спишь, Иван? – тихо проговорил он. – Пойду посты проверю.

И начал одеваться, стараясь не шуметь. Потом взял в руки сапоги, зашлепал к двери босыми ногами, вышел.

Ничего необычного в том, что Кафтанов собирается проверять ночные посты вокруг деревни, не было – в последнее время, где бы ни стояли, он всегда проверял их или сам, или поручал это сыну Зиновию. Но Ивана с новой силой окатили испуг и тревога.

Эта непонятная и безотчетная тревога возникла у него еще вечером, в тот момент, когда Кафтанов нехорошо ошупывал глазами дочь. И потом Кафтанов вел себя странно, не так, как обычно. Прежде чем лечь, он долго ходил по избе, о чем-то раздумывая. Временами широкий ноздрястый нос его раздувался, подрагивали заросшие волосами губы, глаза сатанели. Но он так ничего и не сказал, завалился на кровать и сразу захрапел.

А теперь вот этот тихий голос, осторожные сборы, чтобы не разбудить его... Иван вскочил, побежал к окну.

По всей деревне не было ни огонька. Виднелся в сером ползучем мраке угол амбара, в котором держали Анну. Возле амбара стоял запряженный ходок, маячили двое людей. Потом эти двое вывели из амбара Анну, усадили в ходок. Все это Иван не увидел даже, а догадался, сердце его заколотилось. «Куда они ее? Отпускают, что ли? А говорил – посты...»

Иван все глядел в окно, напрягая зрение. Один из людей (по фигуре – сам Кафтанов) тоже сел в ходок, тронул коня. Другой захромал к избе.

Иван кинулся к одежде, натянул брюки, начал торопливо вертеть портянки. Накинув суконную тужурку, метнулся к дверям.

– Куда? – раздался голос Демьяна Инютина.

– Пусти! – Иван хотел оттолкнуть одноногого, но тот ловко выставил вперед, как копьё, свою деревяшку, ткнул в живот. От боли Иван скрючился, осел. А когда опомнился, Инютин стоял над ним с наганом.

– Далеко наострился-то, спрашиваю?

– Куда... куда он Анну повез?

– Отвезет, куда надо, скажет отцовское слово и отпустит. И мы съедемся отсюда через час. Ну-ка, руки назад! И ступай. Посидишь до его возврата, а там уж как сам знает. В амбар, говорю, ступай. Да не вздумай чего, а то в момент пригвоздую.

Иван покорно заложил руки за спину, пошел.

– На смерть... на смерть он ее повез.

– И это его дело, отцовское. Иди, иди!

Они уже были возле амбара, Иван шагнул за его порог. Но когда Инютин стал прикрывать тяжелые двери, Савельев прыгнул на него сверху кошкой, смял, вырвал наган, со всего размаху саданул в висок. Инютин охнул только, дернулся и затих.

Иван вскочил, постоял в растерянности. «Убил, что ли? Неужели убил?!»

Бывший михайловский староста не шевелился, не дышал. Тогда Иван перевалил труп в амбар, прикрыл двери и, не замкнув даже болтавшийся на железных скобах замок, побежал к своему коню.

Из Лунева выходило несколько дорог. По какой поехал Кафтанов – неизвестно. Но на каждом выезде стояли секреты.

На первых двух постах Ивану сообщили, что ни Кафтанов, ни кто другой из деревни не выезжал. Лишь на третьем усталый от бессонницы парень сказал:

– Атаман-то? Проезжал куда-то с дочкой. Куда это он повез ее, Ванька?

Не отвечая, Иван поскакал вдоль лесной дороги, тонувшей в грязно-голубом утреннем свете.

Не настигнул бы в это утро Иван Кафтанова, никогда бы не увидел больше Анну и даже никогда не узнал бы, куда девалась она, каким образом исчезла с лица земли, если бы не его жеребец. Верст пять или шесть жеребец стлался по пыльной, разъезженной дороге, а потом, несмотря на то что Иван безжалостно хлестал его плетью, начал сбавлять ход и вдруг, вскинув голову, пронзительно заржал. Откуда-то чуть сзади и сбоку тотчас откликнулась кобыленка. «Кафтановская!» – мелькнуло у Ивана. И он повернул своего коня. Жеребец, будто понимая, что желания его и хозяина совпали, послушно рванулся назад, сиганул в сторону, через низкорослые кусты, вынес Савельева на полянку, всеми копытами заскользил, останавливаясь, по росной траве.

На краю поляны под развесистыми черными соснами стоял запряженный ходок, немного в стороне пластом лежала на земле Анна, белея оголенными ногами, а Кафтанов бежал от нее прочь, как-то боком, чуть пригибаясь, брэнча ременными пряжками, вырывая на ходу из деревянной кобуры длинноствольный маузер.

Вся эта картина открылась Ивану за одну какую-то секунду, и еще менее чем за секунду он понял, что здесь произошло. И в то же мгновение голова его вспухла, будто была начинена порохом, сознание застлано чем-то едким и горячим.

В себя он пришел от слов Кафтанова:

– Молись, Ванька. Что увидел тут – с собой унесешь. Этого никому не надобно знать на земле...

Перед Иваном начало проступать сквозь светлеющую черноту красное, взмокшее лицо Кафтанова. Он стоял в трех шагах, левой рукой застегивая тужурку, а правой выставив на него черное, задымленное дуло маузера.

Когда он, Иван, соскочил с лошади, как оказался напротив Кафтанова, – Иван не помнил.

– Ты... ты... Как ты мог? – выдавил он.

– Этого тебе не понять. А ей – известно. Что прискакал сюда – дурак. Жил бы...

Иван отчетливо понимал, что сейчас будет застрелен. В кобуре у него тоже было оружие, но Кафтанов не даст времени его выхватить, не позволит даже шевельнуться. И стоял неподвижно, свесив длинные руки, на одной из которых болталась короткая кавалерийская плеть.

Вот уж дрогнул, качнулся черный зрачок кафтановского маузера. «Сейчас, сейчас!» – молнией блеснуло у Ивана в голове. И, ни на что не надеясь, он стремительно взмахнул своей плетью, хлестнул Кафтанова по лицу, кинулся на него. Кафтанов выстрелил – будто кто оглоблей ударил Ивана по плечу. Не понимая, убит он или только ранен, не видя, что Кафтанов закрыл ладонью глаза, Иван опять взмахнул плетью, хлестнул на этот раз по руке с маузером. Оружие выпало. Иван бросился на Кафтанова, вцепился в его колючую, волосатую шею и, упав вместе с ним на землю, стал давить.

– Ванька... Иван! – прохрипел Кафтанов, болтая головой, царапая бородой его лицо.

Кафтанов был сильнее, он уперся в грудь истекающему кровью Ивану и легко отшвырнул. Но встать сам не успел. Иван схватил валявшийся на траве маузер, снова кинулся на приподнявшегося Кафтанова, с ходу опрокинул его на спину, изо всех сил вдавил дуло маузера ему в грудь, два раза прижал гашетку...

Выстрелов он не услышал. Он слышал лишь, как всхрапнули лошади, как они шарахнулись на другой конец поляны.

* * *

Солнце давно поднялось, нежарко сияло над лесом. Дул ветерок, тихонько подсушивая росные травы.

Лошади давно успокоились. Они стояли голова к голове, кафтановская кобыла терлась щекой о плоскую морду жеребца. Скоро тому надоели, видно, эти ласки, он отошел и начал щипать траву.

По развесистой сосне над ходком прыгала белка, осыпая вниз желтые, отмершие хвонки.

Кафтанов мирно лежал в траве. Он будто заснул, раскинув в стороны руки. На краю поляны, куда не хватало еще солнце, все так же безмолвно, не шевелясь, лежала на спине Анна. Иван сидел подле нее, смотрел куда-то перед собой не мигая, пустыми глазами.

Из плотно закрытых глаз Анны текли и текли не переставая слезы. Левое плечо Ивана было окровавлено.

Если бы не эти слезы да не окровавленное плечо – ничто бы не говорило, что полчаса назад здесь разыгралась человеческая трагедия. Казалось, просто трое путников остановились тут для отдыха, двое уже спят, лежа на траве, а третий охраняет их покой.

Так прошло еще с полчаса. И вдруг Анна приподнялась и, страшная, растрепанная, закричала не своим голосом:

– Зачем помешал?! Он хотел застрелить меня потом... Зачем помешал?! Застрели сам теперь! Застрели меня, застрели меня!!

И упала, покатила по траве, завывала по-звериному, колотясь растрепанной головой об землю. Иван ее не успокаивал, сидел все так же неподвижно. Только когда она, обессиленная, затихла, он сказал негромко:

– А все равно, Анна, жить надо. Об этом... никто никогда не узнает, Анна. А жить надо...

* * *

Вечером того же дня в Зятькову Балку, занятую партизанами, въехали дрожки. Их окружили вооруженные люди, кто-то крикнул:

– Анна! Смотрите-ка, Анна ведь это пропавшая наша! Федор, Анна твоя объявилась!

Из избы, напротив которой остановились дрожки, вышли Кружилин, Алейников и Панкрат Назаров.

– Что здесь такое? Откуда ты, Анна? – спросил Кружилин, подходя. И, узнав Ивана, собрал складки на лбу. – Савельев?!

– Я...

– А-а, сам явился, бандюга кафтановская! – закричал Федор, протискиваясь через толпу.

Иван здоровой рукой сбросил зачем-то с дрожек на землю труп Кафтанова и сказал:

– Вот вам наш атаман... мертвый только. Вот сам я, делайте что хотите. – И сел на траву рядом с телом Кафтанова. – Пулю – так пулю в лоб. Только скорее давайте.

– Это у нас не задержится, – дернул свежим еще рубцом на щеке Яков Алейников. – Ну-ка, пойдем в избу. Разберемся – да к стеночке.

Иван встал и пошел, горбаться. Анна, отрешенная и безучастная ко всему до этого, встрепенулась, оттолкнула подошедшего было к ней Федора.

– Не надо! Не надо! Вы и вправду разберитесь! Не надо... – закричала она истошно, черной птицей подлетая сбоку то к Кружилину, то к Алейникову, то к Назарову, которые уводили Ивана в избу.

Часть первая Братья

Глянув на скрипучие жестяные ходики, Димка сорвался с кровати: стрелки показывали без десяти минут семь.

Село купалось в тумане.

Над сырыми крышами ближайших домов неясно маячили верхушки деревьев. А дальше все тонуло как в молоке, не было даже видно пожарной каланчи, что стояла на взгорке в конце улицы.

Димка, в трусах и майке, стоял, поеживаясь, в огороде, смотрел через скользкий, почерневший плетень то направо – в усадьбу Инютиных, то налево – во двор Кашкарихи. Однако ни Кольки Инютина, ни кашкарихинского Витьки не было видно. «Дрыхнут, дьяволы, – зевнул Димка. – Нарыбалили седни...» И пошел умываться к Громотушке.

Щедро вымахавшие кукурузные стебли сыпали на плечи росой, как угольками, мокрая картофельная ботва обжигала ноги. Они занемели, покрылись жесткими пупырышками – точь-в-точь как у огурцов.

Подбежав к речушке, Димка сел на кладку и спустил ноги в теплую воду, на песчаное дно. Тотчас мелкие пескаришки начали щекотать пальцы, тыкаться в икры.

– От вы... – пошевелил пальцами Димка.

Пескаришки брызнули веером прочь, остановились в полуметре от Димкиных ног, подумали, пошептались вроде и осторожно, но все враз двинулись обратно.

Удивительная она, эта речка Громотушка. Светлая, как стеклышко, неширокая, в иных местах всего до полметра, с неглубокими, под навесом перепутанных ветвей омутками, эта речушка, почти ручей, берет начало где-то далеко за Шантарой, в Алтайских горах, виляя, течет через всю степь, до самого села. Степь голая, ни одного кустика, только вздымаются на ней местами лысые унылые холмы, а берега Громотушки, каждый метров на сорок в степь, буйно поросли всяким разнородеревьем и кустарником. Есть и осина, и береза, и калина, много черемухи, несметное количество смородинника. Но больше всего развесистых плакучих ив, которые в Шантаре называют ветлами. И все перевито хмелем, ползучей ежевикой, всякой повителью.

Заросли эти называют Громотушкины кусты. И хоть заросли неширокие, повернись в любую сторону – и сразу выйдешь на чистое место, на простор, в иных местах такая глухомань и жуть, что шантарских баб-ягодниц берет оторопь. Тогда они, рассыпая из ведерок ягоды, оставляя на цепких ветках лоскутья одежды, как ошалелые выскакивают в степь и жадно глотают там горьковатый полынный воздух, прижав ладонями груди.

Говорят, немало человеческих тайн хранят Громотушкины кусты. Ненароком, может, и приходят на ум иной ягоднице, забравшейся в самую чащобу, эти тайны. А может, чудится им вдруг останавливающий кровь зловещий крик лохматого лешего, испокон веков живущего, по преданию, где-то возле самого большого на Громотушке омута, отчего он прозывается Лешачиным. Находились в Шантаре люди, которые утверждали, что не только слышали этот страшный крик, но и видели, как по утрам и на закате вспучивается страшный омут, кто-то черный и огромный ворочается в густой, застоявшейся воде, разгоняя во все стороны тяжелые волны.

Возле деревни Громотушкины кусты редуют. Осины да березки остаются позади, скоро покидает Громотушку и калинник. А речка все бежит и бежит вперед, через деревенские огороды, через неширокие улицы. Теперь ее сопровождают только ветлы, они по-прежнему низко, до самой земли, кланяются своей благодетельнице и повелительнице.

За деревней Громотушка выбегает на низкую луговину – здесь ее встречают непроходимые заросли осоки и камышей – и неслышно вливается в широкую, многоводную Громотуху.

В Громотухе полно всякой рыбы, а в Громотушке – только эти песчарики да в верховьях, по омуткам, хариусы. Могучая Громотуха зимой намертво замерзает – в иные годы лед бывает метра в полтора толщиной, – а Громотушка никогда еще не покрывалась хотя бы сантиметровой ледяной корочкой.

Не могут завалить ее никакие сугробы – снег тает в неглубоких громотушкиных водах, как в кипятке, не может сковать ее мороз, всю зиму Громотушка парит, парит, белые клубы плавают над Громотушкиными кустами, как над жарко натопленной баней, а сами деревья стоят отяжелевшие, в мохнатых, обильных куржаках. Тронь любую ветку – она с шорохом осыплется заледенелыми иголками, точно разденется наголо, но за три-четыре часа снова закуржавеет, размохнатится пуще прежнего.

Ничего не могут поделывать с Громотушкой даже самые лютые холода, только гуще, тяжелее туман над ручьем, только обильнее куржак на деревьях – и все.

Димка поплескал в конопатое лицо, опять поглядел через плетень налево, потом направо. «Ну, дрыхнут...»

В это время в доме Лукерьи Кашкаровой скрипнула дверь, появилась сама Кашкариха, как звали ее все соседи, торопливо побежала в стайку.

Над Звенигорой, видимо, показался краешек солнца, потому что туман над деревней зарозовел, заискрился и сквозь него начали проглядывать очертания пожарной каланчи. И сразу же стало видно, как покрасневшие туманные лоскутья ползают между тополиными ветками, облизывая каждый сучок.

В Кашкарихиной стайке ошалело закудахтали куры. Потом оттуда вышла старуха. В одной руке у нее был кухонный ножик, в другой – только что зарубленная курица.

– Бабушка Лукерья... – сказал Димка, подходя к плетню. – Чо Витька там? Мы порыбальить сговорились...

– Кака рыбалка, кака рыбалка? – торопливо и как-то испуганно закричала Кашкариха. – Не пойдет седни Витька! Сорванцы, прости ты, господи...

И скрылась в сениях. Димка слышал, как загремела дверная задвижка. «От пошехонцы, – буркнул он про себя. – Днем на задвижке... Что это они вздумали?»

Сквозь ветви тополей, раздирая космы тумана, прорывались теперь бледно-желтые солнечные полосы. Полос было много – и широких, как плахи, и тоненьких, как струнки, меж них по-прежнему крутились, болтались туманные лохмотья, отчего казалось, что солнечные полосы покачиваются, деловито шупают землю.

Неподалеку на площади, возле большого деревянного дома на каменном фундаменте, в котором помещался райком партии, заговорило радио.

– Внимание, говорит Москва, – звучно сказал диктор на всю деревню. – С добрым утром, товарищи. Сегодня воскресенье, двадцать второе июня...

«А какое в Москве утро? В Москве еще три часа ночи. Еще только-только начинает зориться», – подумал Димка.

Из репродуктора полилась песня, хорошая песня, которую Димка всегда любил слушать:

Утро красит нежным светом
Стены древнего Кремля...

Димка слушал и, хотя в далекой отсюда Москве была еще ночь, представлял, как солнце раскрашивает кирпичные стены Кремля, который он видел только на картинках да в кино.

В огороде появился старший брат Семен, прищурился на солнце, с хрустом потянулся. Вдруг он опрокинулся, встал на руки и пошел к Громотушке. Минувя морковную грядку, он легко спружинил на руках, зубами вырвал морковку, еще небольшую и бледную, и так, в зубах, донес ее до ручья.

Это был обычный Семкин номер. Он занимался в кружке самбистов и умел еще и не такое. Димка, смертельно завидуя в душе старшему брату, равнодушно отвернулся.

Прежде чем умыться, Семен пополоскал морковку в ручье и с хрустом откусил сразу половину, подмигнул Димке:

– Ну как?

– Чего? На руках-то? Подумаешь...

– Ишь ты, пшено... А ну-ка?

– Да запросто! – в запале выкрикнул Димка и попытался встать на руки. «Шмякнусь на спину, как пить дать... – пронеслось у него в голове. – Картошку помну... Мать задаст...»

Едва он так подумал, как откуда-то обрушился на него голос матери:

– Помни, помни картошку мне! Ди-имка!

И плашмя, вытянувшись во весь рост, спиной шлепнулся в картофельную ботву.

Мать вскрикнула. Димка увидел ее испуганные глаза над своим лицом, вскочил.

– Ну?! Ну?... – дважды дернула его за руку мать. И повернулась к Семену: – Чему ты ребенка учишь? А ежели он руки али шею сломает?

Увидев, что мать отвернулась, Димка торопливо убежал с огорода.

* * *

За столом у Савельевых всегда царило молчание. Глава семьи Федор Силантьевич не терпел за едой разговоров.

Но сегодня священный порядок нарушал самый младший из Савельевых – десятилетний Андрейка. Хлебнув две-три ложки, он шмыгал носом и заводил одно и то же:

– Ма-ам... Я пойду с ними рыбалить?...

Жена Савельева, Анна Михайловна, молчит, будто не слышит умоляющего голоса сына.

– Да пустите вы его, не потеряем, – в конце концов сказал Семен.

Отец бросил ложку, сердито вытер черные, мокрые от лапши усы.

– Вот что, Семен, я скажу... В твои, считай, годы я уж эскадронами командовал, белякам головы рубил. – и он показал почему-то за спину, на стенку, где висел увеличенный со старой фотографии портрет его отца, Силантия Савельева. – А ты хоть и два года как тракторист, все в ребячьих пастухах состоишь.

Семен посмотрел на портрет деда. Отец очень походит на него – такой же большой лоб и сросшиеся брови, такие же усы над крупной нижней губой, нос прямой, с широкими ноздрями, густая, непокорная, рассыпающаяся во все стороны копна черных волос. Только вот подбородок у отца другой, чем у деда. У деда подбородок плоский с бороздкой посередине, у отца – крутой, крепкий, с выметом густой, тоже, наверное, железной крепости, щетины.

– Так сейчас же, батя, не война... Вместо эскадрона у меня трактор...

Федор отвернулся к окну, закурил и ударил ладонью в створки. Прямо перед окном качалась зеленая и шершавая, в капельках утренней росы, голова собирающегося зацвести подсолнуха. Из центра его шляпки уже пробивались, как огненные струйки, несколько желтых лепесточков.

– Значит, на рыбалку?

– Воскресенье же, чего мне? А трактор свой я давно наладил, – проговорил Семен.

– И я давно свой комбайнишко настроил. А товарищам не надо помочь? Или руки отвалются?

– Пушай сами. Бензином я и без того надышался, хочу речной свежести глотнуть.

– Ма-ам, я пойду с ними рыбалить? – опять затянул Андрейка.

– Ну чисто желна! – в сердцах сказала мать. – Отправляйся...

Андрейка кубарем свалился с табуретки, кинулся из комнаты. За ним – Димка.

– А то приучили их жар-то чужими руками загребать. – И Семен тоже поднялся.

– Кого их?

– Ну, к примеру, этого главного лодыря Аникушку Елизарова. Или пьяницу Кирьяна Инютина, дружка твоего. Их давно надо из МТС выпереть, а вы все им помогаете. Ну и везите их на своих плечах. А у меня совести не хватает. – И вышел.

– Дурак ты, дурак! – вслед ему сказал отец.

– Федя! – воскликнула Анна.

– А ты – сыть! Сыть! – зло закричал Федор. Походил по комнате, сказал спокойнее: – Не понимает Семка чего-то... главного в нашей жизни. Вот что обидно. Ну, пошел я. Заверни чего в обед пожевать. До вечера с мастерской не выберусь.

Когда Федор ушел, Анна присела у окна, долго глядела на тот же собирающийся расцвести подсолнух. Ей вдруг почему-то показалось, что он никогда не расцветет, никогда не раскроет жаркое свое лицо навстречу солнцу. И фартуком вытерла бесшумно наплывшие слезы.

Она-то понимала, почему Федор недолюбливает старшего сына. Оба младших, Димка и Андрейка, были в отца – такие же чернявые, большелобые и бровастые. У них уже и поступь проглядывалась отцовская, особенно у Димки, – крепкая, уверенная, чуть вразвалку, и черные, глубоко посаженные глаза были искристые до пронзительности, зацепистые, как у самого Федора. А старший, Семен, был в нее – русоволосый, белокожий, сероглазый.

– В погребе, что ли, мы его с тобой сделали? Не помнишь? – часто говорил ей Федор, когда Семка начал подрастать. Говорил – и криво усмехался в черный колючий ус. И окатывало ее пронизывающим холодком: «Не верит... что его кровь... что он отец!»

Однажды она попыталась пристыдить мужа за его необоснованные подозрения. Федор слушал ее долго и внимательно. А когда понял, в чем, собственно, пытается убедить его жена, прихлопнул гулко по дощатому столу ладонью.

– Будет! Знаем... Не девицей тебя взял!

– Федор!

– Ну! – поднял голос Федор, бледнея. – Будет, сказано...

Он облокотился о стол, запустил пальцы обеих рук в густые черные волосы и сжал кулаки. Сидел так минуту-другую...

– Вот на чем, Анна, покончим... – сказал, поднимая на нее мутный, тяжелый взгляд. – Тебя, стерву, надо бы наискосок шашкой перерубить. А я тебя все же люблю. К тому же Димка вон родился. Этот – мой.

– А Семка чей? Федя?!

– На том покончим... – не слушая, загремел Федор. – Чтоб об этом больше молчок! Ни слова!! Ежели жить хочешь... в семье...

И жили они – другие и не скажут, что плохо. Федор был суров и малоразговорчив, а в праздник или день рождения обязательно какой-нито подарок сделает. По большей части пустяковый – бумажный платок или стеклянную брошку. Да в цене ли дело! И к Семке относился вроде ровно, ни в чем не выделяя от остальных детей. Но иногда, как вот сегодня, вроде бы ни из-за чего схватывался со старшим сыном. И еще ночами иногда находило на него что-то, он чуть не до света лежал холодный, не шевелясь, и Анна видела в полутьме сухой блеск его глаз. Она уже знала, что это значит. Наконец Федор молча и грубо тянул ее к себе, безжалостно, с остервенением, до синяков и кровоподтеков, мял ее небольшие груди, разламывал ее плечи. Она чувствовала, что он бессознательно мстит ей за Семку, что в нем просыпается что-то звериное.

– Федя! Федор!! – в страхе кричала она.

Это его будто отрезвляло, он затихал.

Анна не то чтобы осуждала Федора – она понимала его муки. Семка – от него, от Федора. Она-то это знает. А его – не убедишь. И он имеет право не поверить...

Да, жили они – другие не скажут, что плохо. Но никто не скажет – любит ли Анна мужа. И сама она этого теперь не скажет. Когда-то любила ошалело, без памяти, залила когда-то она Федора своей любовью, как обвальный июльский ливень заливает землю. Уж текут потоки воды по земле, уже залиты низкие полевые луговины, и лишь торчат над кипящей от тугих дождевых струн водой только высокостебельчатые ромашки да упругий остролистник, уже помутнела от дождя широкая Громотуха – а ливень все идет, все хлещет по земле со звоном...

Но вот чуть потоньше стали дождевые струны и пореже. Вот словно кто махнул поперек ливня огромным решетом, разрезал струны на капли. И хоть они капают вниз обильно, но это все-таки уже капли. Сперва скапали вниз те, что покрупнее, потом долго сыпалась мелочь. И наконец дождь совсем прекратился. Лужи по канавам и оврагам скатились все в ту же ненасытную Громотуху, а в заросших травой низинах вода потихоньку просочилась под землю, оставив на дне масляно поблескивающий на солнце слой ила. Ил, быстро высохнув, берется корочкой. Через несколько часов корочка эта трескается, кучерявится, как береста, и рассыпается от жары в пыль. Ветерок раздувает эту пыль, ворошит белые, недавно дрожливо стоявшие под ливнем ромашки, длинные стебли остролистника и прочее разнотравье.

Вспоминался иногда Анне свой последний разговор с ее проклятым отцом. «Чем хвалишься? Как скотина ты жил... – кричала тогда она в его ненавистное бородатое лицо. – А есть другая жизнь – человечья!.. А я хочу по-человечески жить...» – «Тебя-то пустят ли в эту жизнь? – насмешливо спросил отец. – Рано или поздно припомнят, чья ты дочь».

Никто не припоминал, чья она дочь. Но жизни, о которой мечталось, которой хотелось, так и не получилось.

Сперва считала – виноват в этом ее отец-изверг. А потом начала подумывать: а только ли он?

* * *

Все улицы Шантары как бы стекают вниз, к Громотухе. Улицы разъезжены в пыль, а кривые переулки, по которым редко-редко проедет телега или грузовик, крепко загрabenели, иные так поросли репьем и полынью, что через них едва можно было продаться.

И только главная сельская улица – шоссейка, как ее называют, – выложена булыжником, по бокам ее выкопаны канавы для стока вод, густо насажены тополя и проложены деревянные тротуары.

По этой-то шоссейке, пустынной в ранний воскресный час, шагали братья Савельевы и Колька Инютин по прозвищу Карька Сокол – пятнадцатилетний долговязый подросток, похожий на вопросительный знак.

– А я сейчас через плетень гляжу – сестра тебе выговаривает, – сказал Семен. – Не пустит, думаю, на рыбалку парня.

– Не-е, Верка спросила только, куда мы идем удить. На громотухинскую протоку, говорю. «Мельницу»-то покажешь?

– Покажу, – промолвил Семен, думая о чем-то своем.

Выйдя за околицу, все четверо побрели начавшей рыжеть уже степью, миновали строй деревянных опор высоковольтной линии, крестовины которых были обрызганы птичьим пометом, и зеленой луговиной вышли к неширокой громотухинской протоке.

Здесь их и догнал запыхавшийся Витька Кашкаров, Димкин одногодок.

– Ты? – обрадованно выкрикнул Димка. – А твоя мать сказала, что не пойдешь!

– Мало ли что... – проговорил Витька, отводя в сторону невеселые глаза.

В чистом синем небе плавилось солнце, разгоняло остатки утреннего тумана, стекало на землю густыми обжигающими струями. Солнечные блики на воде резали глаза. У берега их почти не было, метрах в трех покачивались редковатые золотые блюдца, но чем дальше, тем

их становилось все больше и больше, и где-то посреди протоки они сливались в сплошную сверкающую полосу.

Все торопливо наживили крючки, жадно уставились на поплавки. От напряжения у Андрейки на облупленном носу выступили бисеринки пота. Лишь Витька Кашкаров все возился с удилищем, привязывая леску. Потом, кажется, забыл о своей удочке, обо всем на свете, – уставившись в одну точку, он глядел куда-то вдаль, за протоку, на остров, где росшие на небольшом обрывчике развесистые ветлы бороздили упругими ветками тугие струи.

– Е-есть! – вдруг заорал Димка и выдернул из воды небольшого подъязка.

У Андрейки от зависти екнуло сердце, он начал часто махать удилищем.

– Ты не торопись, Андрюша, – сказал Семен и бросил взгляд на Витьку. Тот, сидя на камне, все глядел на остров.

Зачерпнув в ведро воды, Димка кинул туда подъязка. Рыбина сильно забилась, разбрызгивая воду. Инютин воткнул свою удочку в песок, подошел, свесил над ведром крючковатый нос и еще больше стал похожим на вопросительный знак.

– Ничего, – снисходительно сказал он. – А на той неделе я под Звенигору ходил удить. Только забросил – кы-ык он хапнет! Удилище – крык! – напололам. Он и потащил обломок на середину. Я прямо в одежде сиганул за им...

– Не ври, – сказал Семен.

– Что не ври! Окунице был – во! Так и уплыл, гад. Не догнал.

– Откуда ты знаешь, что окунь? – спросил Димка.

– А кто же?! – обиделся Колька. – Он, зебра полосатый. Боле некому.

Андрейкин поплавок вдруг косо скользнул в глубину. От неожиданности Андрейка сперва сел в мокрый песок, потом вскочил, дернул удилище. Леска со звоном разрезала воду, булькнув, выскочил поплавок, задрожал на туго натянутой волосяной струне. Андрейка, отступая, тянул удочку к себе, а какая-то сильная рыбина – Андрейка чувствовал, как она билась на крючке, – старалась уйти вглубь. Таловое сухое удилище гнулось, потрескивая, вот уж поплавок опять коснулся воды, пополз обратно в холодную глубь.

– Порвет! Леску порвет! – закричал Витька, встрепенувшись, сбрасывая свое забытье. – Припусти чуть! Ослободи, ослободи ему маленько ходу! – орал он, не замечая, что вместо «ослободи» говорит «ослободи». – Да уйдет жа, уйдет жа...

– Не лезь! – тоненько вскрикнул Андрейка.

– Пушай сам. Не мешай ему, Витя, – проговорил Семен, с улыбкой наблюдая за младшим братом.

Димка и Колька, побросав удочки, тоже прыгали вокруг Андрейки, давали советы. Но тот их не слушал. Закусив от волнения язык, он продолжал бороться с рыбиной. Наконец решил, видимо: будь что будет! – и из последних сил дернул удилищем. Чулкнул из воды поплавок, и, словно догоняя его, взметнулся вверх, сверкнув на солнце желто-зеленой радугой, огромный окунице и, сорвавшись в воздухе с крючка, шлепнулся на камни почти у самой воды. Андрейка вскрикнул, сорвался с места, грудью упал на свою добычу и облегченно, радостно засмеялся.

Потом все долго и завистливо рассматривали тупорылого горбача, по очереди держа в руках.

– Положите в ведро, уснет же, – будто бы потеряв всякий интерес к окуню, как можно равнодушнее бросал через плечо Андрейка, наживляя крючок. – Рыбы, что ли, не видали...

– Повезло тебе, братуха, – сказал Семен. – Такие громилы редко на червя берут.

– Подумаешь, громила, – промолвил Колька, опустив окуня в ведро. – Вот я прошлогод на Громотушке... Мы с Веркой за смородиной ходили. Ну а леска всегда при мне. Дай, думаю, с пяток хариусов поймаю, да уху на обед сварганим. Верка – она любит жрать уху-то, – зачем-то пояснил он и продолжал: – А ягоды мы обирали в аккурат недалече от Лешачинового омута.

– Где, где? – оторвался от своего поплавок Семен.

– Что где? – заморгал Колька выгоревшими ресницами. – Возле Лешачинового омута. Там сморо-одины!! Прямо насыпью. Бабы-то ходить туда бояться... А Верка – она жадная на ягоду. «Пойдем, говорит, Колька...» Ну и пошли. Ты что, не веришь?

– Давай ври дальше, – бросил Димка, все еще заглядывая в ведро, сравнивая своего подъязка с Андрейкиным окунем.

– Сам ты... – повернулся к Димке Николай и обиженно замолчал.

Минут пятнадцать в безмолвии махали удилищами, но клева больше не было. Андрейка, чтобы сделать подальше заброс, зашел даже по пояс в воду. Каждый раз, наживляя свежего червя, он долго и старательно плевал на него, полагая, что от этого наживка станет вкуснее. Но все было бесполезно.

Солнце поднялось уже высоко, зной съедал голубизну неба, оно становилось белесо-мутным. Жар волнами наплывал сверху, приглушая все звуки, кроме негромких всплесков волн, облизывающих горячие камни-голыши. На эти мокрые камни почему-то беспрерывно садились бабочки-капустницы и, пошевеливая белыми, в черных прожилках, крыльями, сидели до того мгновения, пока не накатывалась очередная волна.

– Так кого же ты поймал в Лешачином омуте? – спросил Семен.

– Никого я не поймал, – буркнул Николай все еще сердитым голосом. Но немного погодя начал рассказывать: – Подошел я, значит, к омуту – жутко. Вдруг, думаю, лешак из кустов высунется? Сердце стукатит, как молоток. Верка где-то рядом по кустам шебаршит. Ну, подошел я, гляжу...

– Ну?! – в нетерпении выкрикнул Димка. – Лешак?!

Витька, забыв про удочку, тоже повернул голову к Кольке. Но смотрел ему не в лицо, а куда-то мимо, на небольшое пухлое облачко, неожиданно появившееся на горизонте, смотрел пустым и безразличным взглядом. Один Андрейка, стоя в воде, сильно наклонившись вперед, чуть не опрокидываясь в реку, по-прежнему держал удилище в вытянутой онемевшей руке и не отрывал глаз от поплавок.

– Гляжу – пара здоровенных хариусов ходит поверху. Ну, думаю, сейчас... Неслышно, чтоб не спугнуть их, заразов, махнул удилком. Наживка еще не погрузилась в воду – ка-ак они кинутся на всплеск обои... Какой-то из них, значит, сглотнул крючок и попер вглыбь! И вдруг...

– Лешак в кустах захохотал! – крикнул Димка насмешливо.

– Я вам правду говорю, а вы... – мотнул коротко остриженной головой Николай. – Только хариус сиганул вглубь, ка-ак посреди омута поднимется водяной горб, как забурлит!.. Ну конечно, я испугался! По всему телу сыпучая дрожь окатила. А что?! Сами бы попробовали... А тут еще посередке омута во-от такой раздвоенный рыбий хвостик выметнулся, – и Колька чуть не во всю ширь раздвинул руки, показывая величину хвоста. – Да как хлестанет по воде – ажно брызги ливнем меня обсыпали. И тут же с такой силищей рвануло леску, что она только тренькнула...

– Оборвалась! – взвизгнул Андрейка, вышедший на берег, чтоб насадить на крючок нового червя. – А кто же это был, Коля? Щука?

– Не знаю, – вздохнул Колька.

– Щука, щука! – утвердительно проговорил Андрейка. – Батя как-то рассказывал, что в больших омутах на Громотушке живут и щуки.

– Может, и щука.

– Акула, наверное, – сказал, посмеиваясь, Димка. – Такие хвосты только у акул бывают.

– Разве ты поверишь! – обидчиво отвернулся Инютин.

В некотором смысле этот Колька был человеком необыкновенным. С ним всегда случались какие-нибудь приключения. То чья-нибудь собака оборвет ему штаны, то в школе, на

уроке, вдруг ни с того ни с сего у него в кармане бабахнет самопал, разворотив до кости мясо на ноге.

А года три назад он поспорил с ребятишками, что надергает из хвоста свирепого райкомовского жеребца Карьки Сокола волос на леску. Жеребец был диковинным – сам карий, почти вороной, а грива и длинный хвост ослепительно-белые, словно поседевшие. «Потому что меринос», – объяснял любопытствующим ребятишкам райкомовский конюх Евсей Галаншин, пускавший на ночь пастись жеребца за село. И, видя, что ребятишки не понимают мудреного слова, сердился: «Кыш отседова, воронье! Знаю ить, волосу хотите надергать. Он вам копытом-то дерганет по кумполу...» И, застегнув передние ноги коня прочными волосяными путами, удалялся, строгий и прямой как жердь.

Белый хвост Карьки Сокола был мечтой. Но выдернуть из его хвоста хотя бы волосинку еще никому не удавалось. Он подпускал к себе только деда Евсея. Если приближался кто другой, жеребец вскидывал голову, скалил, как собака, длинные плоские зубы и угрожающе поворачивался задом.

Разрешать спор отправились поздно вечером, когда дед Евсей, по обыкновению, отвел жеребца на лужайку.

– Наблюдать с этого места, – сказал Николай, останавливаясь метрах в двухстах от жеребца. – Ближе не подходить.

– Почему? – любопытствовал Димка.

– Опасно, – небрежно кинул Колька. – Вдруг он рассвирепееет да кинется на вас? Растопчет, а я потом отвечай...

Это подействовало. Ребята остановились. Колька пошел к коню. Ребятишки наблюдали за ним затаив дыхание, бешено завидуя Колькиной смелости.

Жеребец, спокойно щипавший травку, при Колькином приближении вскинул голову, заржал. У ребятишек заекало от страха в животах. Но Колька, не останавливаясь, тихонько шел к коню, протянув руку. Еще через мгновение он стоял возле жеребца и спокойно гладил рукой плоскую щеку лошади. Ребята смотрели на такое чудо, разинув рты.

Никто из них не знал, что Колька целый месяц приваживал к себе жеребца.

Как-то, отгоняя утром корову в стадо, Колька заметил, что дед Евсей, прежде чем распутать и увести жеребца, скормил ему краюху ржаного хлеба. Карька съел хлеб и благодарно потерся щекой о заскорузлые от времени руки старика. Николай хмыкнул, сел на мокрую от росы траву и стал что-то соображать.

Вечером он пришел на лужайку с большим ломтем ржанухи. Едва старик, оставив спутанного жеребца, уковылял в деревню, Колька двинулся к лошади, протягивая на длинной палке ломоть хлеба.

Несколько вечеров Карька Сокол шарахался от палки, скалил угрожающе желтые зубы и поворачивался задом. Но постепенно волнующий запах ржанухи, видимо, сделал свое дело, и однажды Карька осторожно взял с палки хлеб.

Через неделю жеребец брал хлеб уже из рук, а еще через неделю позволял себя гладить по шелковистой щеке.

Колька решил, что дело сделано и пришла пора удивить и поразить всех уличных огольцов.

Скормив, как всегда, краюху хлеба, тайно принесенную за пазухой, Колька с полминуты гладил Карьку Сокола по щеке, потом похлопал по крутой и крепкой, как камень, шее, провел ладонью по лоснящемуся крупу. Жеребец вздрогнул, завернул голову, блеснув лиловым взглядом. «Чего ты, дурашка?!» – ласково проговорил Колька. Привычный голос, видно, успокоил, жеребец перестал дрожать, принялся щипать траву.

Колька, продолжая одной рукой оглаживать круп, другой осторожно выбрал из хвоста прядку волос, намотал на кулак, стремительно отскочил назад и что есть силы дернул. Но

то ли конский хвост был очень крепок, то ли от жадности Колька захватил слишком большую прядь, только выдернуть ее ему не удалось. Жеребец заплясал от боли, вспахивая копытами землю. Колька шарахнулся было прочь, но руку накрепко захлестнуло конским волосом. Жеребец взбрыкнул задними ногами, чудом не расколов парнишке голову. Колька отскочил в сторону, пытаясь выпутать из хвоста руку. И в это время Карька Сокол, изогнувшись, хватанул его оскаленными зубами за бок...

Когда ребята подбежали к Инютину, тот лежал ничком, не шевелясь. С оголенного бока свешивался кровавый лоскут кожи почти в ладонь величиной.

Застонав, Николай открыл глаза, сел и поглядел на свой бок, из которого хлестала кровь. Снял порванную лошадиными зубами рубаху, разодрал ее на узкие полосы, прилепил на место свесившийся лоскут кожи и молча принялся себя перебинтовывать.

– Ладно, пойду в больницу, – сказал он, поднимаясь.

Бок ему залечили, только на всю жизнь обозначился на смуглом Колькином теле подкообразный белый рубец. Да навсегда прилипла к Инютину после этого звучная кличка Карька Сокол.

Несмотря на то что с ним то и дело случались подобные происшествия, Колька слыл хвастуном и безудержным вралем. Может, потому, что, рассказывая о действительных своих приключениях, он всегда что-нибудь преувеличивал, приукрашивал, а то и привирал.

Рассказав о случае на Лешачином омуте, он отошел в сторонку, сел на горячие камни и нахохлился.

– Это разве рыбалка! – крикнул Андрейка, вышел из воды и швырнул на землю удочку. – Совсем клёву нету.

Семен, стоя спиной к реке, глядел в степь, на дорогу. По ней шел какой-то человек. Он миновал столбы высоковольтной линии и на развилке повернул влево, в сторону от реки, на Звенигорский перевал.

– Димка, глянь, что там за дядька шагает по дороге в Михайловку? – проговорил Семен.

– Обыкновенно... С котомкой, в сапогах. А в руках палка, – сказал обладавший ястребиными глазами Димка.

– А не дядя это Иван?

– Да откеля ему? Он же в тюрьме!

При этих словах Витька Кашкаров, опять давно сидевший в сторонке, вскочил, глянул на уходившего к перевалу человека. И, сев на прежнее место, снова принялся угрюмо разглядывать потрескавшиеся от цыпок ноги.

– Почудилось. Плечи у него такие же сутулые, как у дяди Ивана, – проговорил Семен.

Солнце тяжелыми струями все полосовало землю, словно занялось целью расплавить ее. Раскаленные прибрежные камни, которые время от времени окатывала ленивая и теплая речная волна, тотчас, на глазах, обсыхали. Бабочки-капустницы, еще полчаса назад мельтешившие под ногами, куда-то исчезли. Небо было по-прежнему пустынным, только на одном его краю, там, где за текучим маревом недавно вспух маленький ватный комочек, сейчас пузырился огромный столб больнично-белых облаков. Верхушка облачного столба была намного шире основания и, увенчанная громадной шапкой, от тяжести заломилась на правый бок, грозя рухнуть как раз на Шантару.

– Вот что, рыбачки-мужички, – сказал Семен, сбрасывая рубаху, – до вечера клёва ждать нечего. Давайте искупаемся, а потом сварим уху из Димкиного подъязка и Андрейкиного окуня. Пока она варится, я покажу вам несколько приемов самбо. В том числе «мельницу».

Семен разделся, с полминуты постоял на горячих камнях под завистливыми взглядами ребят. Крепкое, с буграми мышц его тело отсвечивало на солнце медью. На широких сильных плечах, сожженных солнцем почти до черноты, упрямо сидела чуть угловатая голова. И короткая шея, и широкие скулы, и крутой лоб – все было покрыто плотным загарным слоем,

лишь густые белые волосы солнце не в силах было сжечь, и они пламенели, как флаг, белым непотухающим огнем.

Постояв у самой кромки воды, Семен чуть присел, резко выпрямился, взмахнув одновременно руками, и казалось, неведомая сила легко оторвала и стремительно кинула далеко от берега, в прохладную глубину реки, его тяжелое тело. Следом за ним попрыгали в воду и остальные. Лишь Витька так и не тронулся с места. Сидя на берегу под палящим солнцем, он молча разгребал в мокром песке ямку.

Несколько минут ребята плавали у берега, хохоча и дурачась, вздымая радуги водяных брызг. Первым вылез на берег Семен, не одеваясь, порылся в карманах брюк, закурил. С его остуженного водой тела скатывались прозрачные капли.

– Скажи-ка, Витя, что такое с тобой? Дома что-нибудь? – спросил он, присев возле парнишки.

– Отвяжись ты, – вяло сказал тот, встал и пошел прочь от берега.

Семен догнал его в несколько прыжков, загородил дорогу.

– Ну что, что?! – почти со злостью выкрикнул Витька, вскидывая давно не стриженную головушку. – Что тебе надо?

– Мне-то ничего, – Семен взял парнишку за плечо. – Я ничем не могу тебе помочь?

– Не можешь! Да, не можешь! – с отчаянием вскрикнул Витька, сбросил тяжелую Семенову руку и пошел дальше. Однако через несколько шагов обернулся. – К нам седни ночью этот... Макар Кафтанов приехал, понял?

– Макар?! – воскликнул Семен и невольно поглядел вправо, на дорогу, по которой недавно в Михайловку прошагал человек с котомкой, издали похожий на дядю Ивана, уже несколько лет находившегося в заключении.

Витька понял этот взгляд, проговорил:

– Может, они вместе и приехали.

Семен хмуро молчал. Макар Кафтанов, его дядя по матери, был знаменитым вором, большим специалистом по ограблению магазинов. В свои двадцать восемь лет он уже имел шесть судимостей...

* * *

После завтрака Федор Савельев через хлев вышел на двор, крикнул зычно и властно:

– Кирья-ан!

Тотчас отмахнулись в инютинской избенке дощатые двери, на покосившееся крылечко с лохмотьями облезающей краски стрелой выскочил, что-то дожевывая, Кирьян Инютин.

– Позавтракал? Айда на станцию.

– Воскресенье же... Я поллитровку в погреб кинул, чтоб нахолодала.

– Какая поллитровка! На носу уборочная, а твой трактор еще в развале весь.

– Так... Чего же, раз надо, стало быть, значит я разом, – тотчас согласился Кирьян.

Избенка Инютиных, сложенная из тонких и корявых бревешек, рядом с просторным домом Савельевых казалась особенно маленькой, ветхой и невзрачной. Таким же невзрачным и никудышным был узкоплечий и гололобый Кирьян Инютин по сравнению с глыбистым, медвежковатым Федором Савельевым.

Кирьян нырнул обратно в темный зев сенок. С огорода, неся что-то в фартуке, подошла к крыльцу жена Кирьяна – остроносая, с узкими глазами, из которых вечно бил шальный огонек, Анфиса. Крутогрудая и статная, она, несмотря на свои тридцать девять лет, все еще казалась девчонкой.

Она шла, не замечая Федора. Ее старенькая, ветхая юбочка была высоко подоткнута, красные, нахолодавшие икры, вымоченные росной огородной зеленью, залеплены грязью.

– Здоровенько ночевали, – сказал Федор.

– Ой! – воскликнула женщина, торопливо одернув юбку.

Федор шагнул к плетню, разделявшему их усадьбы.

– Подойди-ка...

Анфиса качнулась, словно в нерешительности, подошла.

– Ну? – Глаза ее были опущены, припухшие красноватые веки чуть подрагивали.

– Как стемнеет, буду ждать... в наших подсолнухах, а? – трогая ус, кивнул Федор на делянку подсолнухов, прилепившуюся на задах огорода. – Придешь?

Анфиса брызнула на Федора крутым, как кипятком, взглядом и молча принялась рассматривать молоденькие огурчики, лежавшие у нее в фартуке.

– Жалею я, что отдал тебя Кирьяну, – усмехнулся Федор. – Ишь, не стареешь будто. Износу тебе нету. А моя Анна...

– Чего теперь об этом... – вздохнула Анфиса.

– Так придешь?

– Ладно. Если Кирьян не проснется, – просто сказала Анфиса и, видя, что Кирьян вышел из дома, ткнула огурцом в широкую ладонь Федора. – Попробуй, с нашего огорода.

– Огородница ты знатная, на всю улицу, – произнес Федор.

– Это уж действительно, – хмуро подтвердил Кирьян. – Про всякую овощ еще слыхом не слышать, а у нее уж на столе... Ну, пошла! – раздраженно прибавил он и подтолкнул жену к крыльцу.

Федор и Кирьян вышли на улицу и молча зашагали к МТС.

* * *

После колчаковщины Федора Савельева, по совету председателя волисполкома и бывшего командира партизанского отряда Поликарпа Кружилина, назначили начальником Шантарского почтового отделения, а Федор взял бывшего бойца своего эскадрона Кирьяна Инютина в завхозы. На почте они проработали без малого десять лет – до 1931 года. Сперва вроде все было хорошо, но с годами Кирьян стал попивать, наловчился потихоньку сплавлять на сторону кое-что из почтового хозяйства – то моток проволоки, то дюжину-другую сосновых телеграфных столбов, то конскую упряжь. Федор неоднократно мылил ему за это шею, тряс увесистым, заволосевшим на казанках кулаком перед крючковатым Кирьяновым носом.

– Да что ты, что ты, Федор, – моргал невинными глазами Инютин, вытирая ладонью проступавшие на затылке крупные капли пота. – Да рази я, переверот мне в дыхало, осмелюсь что с государственной ценности... Не иначе конюхи, разъязви их, пропили. Я прижму их, паразитов, они у меня иголки больше не своруют...

Потом Кирьян ловко научился вскрывать посылки, вытаскивать оттуда разное барахло. Жалоб на работу почты было все больше. И вскоре Федору пришлось оставить работу.

– Бывший партизан! Лихой командир эскадрона! – гремел на него Кружилин, ставший к тому времени секретарем райкома партии. – Да какого эскадрона?! Лучшего в полку! Развалил почту, распустил людей... Меня подвел... Позор!

После этого Федор устроился на работу в недавно организованную районную контору «Заготскот» – приемщиком в Михайловское отделение.

В Михайловке первым, кого он встретил, был младший брат Иван – белобрысый, точно вылинявший от долгого сидения в темной яме, худой как палка, с тонкой и желтой кожей на скулах, сквозь которую, казалось, просвечивали кости.

– Ты?! – удивился Федор. – Как ты тут?!

Иван отвернулся, поглядел на угрюмые в вечерней наволоке глыбы Звенигоры. Под мышкой у него торчал кнут.

– Пастухом я работаю на отделении, – сказал он.

– Ну, это мы исправим живо, – усмехнулся Федор. – С бандитами я не разучился управляться. Откель же ты, контрик?

– Яшка Алейников разьяснит... коли потребуется, – сказал Иван и пошел. Распахнутые полы его заскорузлого под дождями и степными ветрами брезентового дождевика цеплялись за жестяные стебли полыньника.

Яков Алейников, бывший начальник разведки кружилинского партизанского отряда, после гражданской войны работал в ГПУ. Узнав, зачем пожаловал к нему Федор, Алейников потер косой рубец на левой щеке – след зубовской шашки, сказал:

– Брательника твоего еще в двадцать пятом выпустили из Барнаульского домзака. Он свое отсидел.

– Пять лет врагу советской власти – что за мера?!

– Суду видней было. Нашли смягчающие вину обстоятельства. Потом он несколько лет работал в Барнауле – бондарил в какой-то мастерской, мыл в затоне керосиновые баржи. Там же и женился на буфетчице какого-то парохода. Сюда переехал с нашего ведома. В артель колхозники поостереглись его принять...

– И я не буду с ним работать. Понял?

– Я-то понял... Я бы всех подобных субъектов, которые об контрреволюцию замарались, к стенке – и весь вопрос. Для страховки и спокойствия в стране. Да Кружилин говорит – пусть работает, ничего... Цацкаемся. Они бы с нами не цацкались... – И, походив по кабинету, остановился у окна, глубоко зацепил Савельева холодным взглядом из-под сдвинутых лохматых бровей. – А что ты уж с такой злобой к нему? Брательник все же...

– А непонятно разве?

– Ну ладно, – усмехнулся Алейников. – Это дело ваше, родственное, так сказать. – И, опять потеряв шрам на щеке, прибавил: – А ежели подойти с классово-пролетарской точки зрения, то я бы тебя просил, Федор, если что заметишь в нем... душок какой, мысли... не говоря уже о действиях...

– Ты?! – Федор хотел встряхнуть его за новые, глянцево блестящие от солнечных лучей, бивших из окна, ремни, но не решился. – Шпионить я не буду. Это уж как хошь.

И ушел. Яков Алейников, чуть приподняв лохматую бровь, проводил его задумчивым взглядом.

Как ни кипел Федор, а пришлось ему жить в Михайловке рядом с ненавистным братом. В гости один к другому не ходили, друг с другом не разговаривали. Разве только Иван иногда, отогнав гурт нагулянного скота в Шантару, отдавая Федору сопроводительные документы, спрашивал:

– Всё?

Федор, пошевеливая усом, долго рассматривал цифры и подписи на измятых, желтых листках и кидал, не устаивая Ивана взглядом:

– Всё.

Крепла, закручивалась тугим и тяжелым узлом давняя вражда между братьями, рождала догадки у михайловских колхозников, плодила бесконечные пересуды.

– Зудит рука у Федора на контру. Хлестанет, должно, когда-нито...

– Обои они кандыбышны... в смысле – одного поля ягода. Федор-то тоже кулацкую дочку в жены взял...

– А зря вы. Кафтанов зверь был, спытали его милости. А дочь его, Анна эта, партизанила вместе с Федором...

– Партизанила... Блуд чесала об Федьку – это верно...

– Слух шел – не токмо об Федьку, но и об Ваньшу...

– Из одной чашки, хе-хе, братовья, должно, хлебали...

Слушая деревенские пересуды и шепотки, ловя на себе то откровенно насмешливые, то вопросительно-удивленные взгляды, Федор мертвел лицом.

– Слушай, уезжай ты отсюда к чертовой матери! – примерно через год не выдержал Федор. – Уходи от греха! Добром прошу.

– Чем я тебе сейчас-то мешаю? – шевельнул Иван усами.

– Усы мне твои не нравятся! – полоснул Федор брата откровенно ненавидящим взглядом.

Усы Иван отпустил недавно, такие же густые и жесткие, как у Федора, такой же подковкой. Разница была лишь в том, что у Федора они были черными как смоль, а у Ивана светлорусыми, под цвет бледно-серых, как застывшее в июле знойное небо, глаз.

– Усы как усы... Наверде твоих, только цвет другой.

Внутри у Федора что-то екнуло, как селезенка у лошади, он затряс брата, сграбастав за отвороты пиджачка:

– Смеешься, гад? Изгаляешься! Намеками до кишок пыряешь?! – И, не помня себя, рванул за отвороты вниз.

Треск отрываемых лоскутьев словно остудил Федора, он отступил на шаг, поглядел на зажатые в кулаках лохмотья.

– Сдурел ты окончательно, – спокойно произнес Иван. – Какие намеки еще...

В это время заскочила в пригон, где произошла стычка братьев, жена Ивана, Агата, маленькая, верткая женщина. Шла она мимо куда-то по своим делам и уже миновала было скотный загон, но ее остановили голоса мужчин.

– Ах ты, паразит такой! Сволота, кикимор нечесаный! – с ходу обсыпала она Федора бранью, как горохом из ведра. – Со свету совсем Ивана сживаешь? Мужик и без того намыкался, а ты доказать его хошь? Последние ремки на нем рвешь. Сам-то в суконной паре ходишь, а мы – в лохмотьях. Скидывай, мурло свиное, свой пиджак сейчас же...

Сверкая глазами, она прыгала вокруг кряжистого Федора, болтала вывалившимся из-под платка косами, трясла кулачками, потом принялась сдергивать с него пиджак. Федор пятился от нее, отбивался, как от озверелой, с лаем наседающей собачонки. Женщина сорвала с него пиджак, свернула его в ком, зажала под мышкой, убежала.

– Не бойся, верну тебе одежду, – проговорил Иван, подобрав с земли оторванные полы своего пиджака.

Федоров пиджак он принес в дощатую каморку на следующий день, молча кинул на скрипучий стол.

– В продолжение вчерашнего прибавлю, – пряча почему-то глаза, произнес Федор. – Ежели замечу, что привечаешь разговором... али как Семку... и уж совсем не приведи господь, коли увижу тебя рядом с Анной... На людях ли, без людей ли – все равно... Не обессудь тогда.

– Ну как же, – произнес Иван, – ты не Кирюшка Инютин, знаю.

В два прыжка Федор оказался рядом с братом, едва сдерживаясь, чтобы опять не схватить его за плечи.

– Рви снова на мне одежду, – будто посоветовал Иван. – Видишь, Агата пришила оторванные полы. Ничего, еще пришьет.

– Нет, одежду рвать не буду! – прохрипел Федор, зажимая внутри себя этот хрип. – Я тебя, контру, просто прикокну, ежели ты... сплетни распускаешь!

– Убери руки, ну?! – ошетинился наконец Иван. – Они у тебя в волосьях.

Несколько секунд братья стояли друг против друга, молча кромсая один другого глазами.

Первым не выдержал Федор, отвернулся и пошел к столу.

– Сплетни... Вся деревня про вас с Анфиской судачит.

– Ну, гляди у меня, ходи, да не оступись, – вяло, будто без всякой злобы теперь, промолвил Федор.

... Кирьяна Инютина Федор перетянул в Михайловку вскоре после того, как только обосновался на новом месте, выговорив ему в районе место своего помощника, хотя, по совести, должность Федора была нехлопотливая – одному делать нечего. Жить Инютины стали в том же доме, что и Савельевы, в пустующей половине. Когда Инютины переезжали, Анна слушала, как они устраиваются за стенкой, гремят ведрами, посудой, и временами тихонько плакала.

– Н-ну, сыть! – покрикивал на нее Федор. – Чего еще!

Недели через две-три шалая михайловская бабенка Василиса Посконова, возвращаясь с колхозных полей, застала Федора и Анфису за деревней, в кустах, росших обочь дороги.

– И-и, бабоньки! – захлебываясь от нетерпения, шмыгала она в тот же вечер по деревне, из избы в избу. – Стыдобушка-то-о! Он ее, значит, усами щекотит в голые титьки, а она похотывает... Я думаю: что за хохот тут? Девки, думаю, какие в кустах дурачатся... Сем-ка гляну... Раздвинула ветви-то – ба-а-тюшки!

Потом еще несколько раз видели Федора с Анфисой то в перелеске где-нибудь, то в поле, то на берегу Громотухи.

– Тьфу! – плевались деревенские бабы, перемывая Анфисины косточки. – И как глаза у ней от бесстыдства не полопаются! Ить детная же, Верке уж десять лет, скоро заневестится.

– Дак и меньшей, Колька, все соображает, поди.

– В мокрых пеленках ишо давить таких надо...

И чего не могли взять в толк михайловские мужики, так это поведения самого Кирьяна. Он отлично знал, что его жена путается с Федором, об этом ему не раз говорили в глаза. Нашлись даже добровольцы, изъявлявшие желание немедля отвести Инютина в лесную балку или степной буерак, чтоб на месте «пристегнуть голубчиков». Но Кирьян только чертил по воздуху крючковатым носом, сплевывал на испеченную зноем землю и говорил:

– Чтоб моя Анфиса?! Да ни в жисть! Она скорей шею сама себе перекусит, чем что бы там ни было...

Но люди знали – частенько Кирьян зверски напивался, уводил жену за деревню, в какое-нибудь глухое место, и там безжалостно и жестоко избивал, не оставляя на ее тугом белом теле живого места. Обычно до ночи Анфиса отлеживалась в кустах, а с темнотой тихонько, чтоб никто не видел, приползала в деревню.

Иван смотрел на такую жизнь брата молча, Анфисой больше не попрекал и жене строго-настрого запретил.

– Иначе сожрет меня Федька с потрохами.

– Да за что он взялся на тебя, живоглот такой?

– За то, видно, что у Кафганова в банде служил. И за Анну. Будто от меня у ней Семка... – глухо проговорил Иван. – Я же рассказывал тебе обо всем... как оно было. У меня нет от тебя утаек.

– А может, нам уехать отсюда? А, Иванушка? – спросила Агата однажды после ужина.

Иван не отвечал долго. В углу, посапывая, возился трехлетний Володька, перебирал пустые, давно замусоленные катушки из-под ниток.

– Нет, не дело, – вздохнул наконец Иван. – Тут я родился. Тут батьку с маткой... колчаковцы сгубили. Старший брательник, Антон, правильно пишет: «Тут, в родной деревне, замазывай свои грехи. Пущай, говорит, их могилы вечно твою память скребут».

Антон, старший из братьев Савельевых, после гражданской жил в Харькове, работал заместителем начальника цеха на тракторном заводе. Все это Агата знала. Знала и о письме, о котором говорил муж. Оно было получено давно, еще в Барнауле. Благодаря ему они и оказались здесь, в Михайловке, хотя Агата уговаривала Ивана остаться в городе.

– Написать все вот Антону хочу, да не соберусь. Карточку надо бы попросить. А то прийдись встренуться – не узнаю ведь, пройду мимо. Я ж его последний раз в тыща девятьсот деся-

том, что ли, году видел. Он тогда то ли из Томской, то ли из Новониколаевской тюрьмы убежал. А следом за ним – жандармы. Ну, да и об этом обо всем я рассказывал тебе.

В тот вечер оба не спали долго. Лежали, смотрели в темноту.

– Вань... А ты не досель ее, Анну-то... любишь?

Неслышной волной тронуло Иваново тело, будто прокатился где-то внутри у него проглоченный вздох.

– Хватил я через нее, проклятую, лишенька... всю жизнь ведь переломала мне. Кабы не она, разве б я оказался в банде Кафтанова? – И помолчав: – Хотя что ее винить?

Повернулся к жене, провел жесткой рукой по волосам, по лицу. И, ощутив мокрые от беззвучных слез щеки, сказал:

– Ну-ну... Если бы что этакое... разве бы я стал с тобой жить? Да и вообще – как бы я на земле, не встретить тебя? Куды бы я! Спи.

Он прижал к груди ее голову. Успокоенная, она заснула.

Помня предостережение Федора, Иван года два жил, будто отгородившись невидимой стеной от его семейства, от Кирьяна Инютина, от Анфисы. Если где встречал кого ненароком, проходил мимо, даже не взглянув. И на него никто не смотрел, только Анфиса полоснет иногда острым зрачком, но тут же прикроет глаза, будто устыдившись. Да один раз десятилетний Семен, ковырявший в перелеске какие-то сладкие корни, подошел к Ивану, который сидел под сосной, наблюдая за бродившим по угору стадом.

– Эй, дядька... – сказал Семен, сунув в карманы измазанные землей руки. – Люди будто говорят, что ты мой дядька.

– Это правда, я твой дядя, – ответил, помедлив, Иван.

– А что же ты тогда у беляков служил?

– Так вот... пришлось, – растерянно улыбнулся Иван.

– Эх, контра белопузая! – угрюмо бросил парнишка и ушел, не вынимая рук из карманов.

Но если эта стенка между братьями не таяла, то к михайловским жителям Иван потионьку притирался. Все меньше и меньше ощущал он на себе косых, обжигающих любопытством и неприязнью взглядов, все чаще при встречах здоровались с ним мужики, а то и останавливались поболтать, угощали крупно крошенным, ядовитым на цвет и на вкус самосадам, который при затяжках свирепе трещал, брызгал искрами.

Видно, сказывалось тут и время, незаметно заставляющее людей привыкать ко всему, делал свое дело общительный характер Агаты. Живо перезнакомившись со всеми бабами, она частенько бегала на колхозные работы, то семенное зерно в амбарах помочь подсеять, то запоздалую полоску хлебов серпами сжать.

– За-ради чего ты хлобыстаешься пуще нас? – спрашивали иногда женщины. – Ведь не колхозница.

– Не убудет меня, – с улыбкой отвечала Агата. – Иван-то хоть коров пастушит, а я вовсе не разминаюсь.

Да и сам Иван время от времени помогал колхозу то сбрую починить, то сани наладить. Он умел отлично гнуть дуги и колесные ободья, делать бочки и кадушки. Председатель «Красного колоса» (так назывался михайловский колхоз) Панкрат Назаров то и дело обращался к Ивану с разными просьбами и ни разу не получал отказа.

И однажды в дождливый осенний вечер бывший заместитель командира партизанского отряда Панкрат Назаров завернул в халупку к Ивану.

– Погодка, язви ее... – Он смахнул сырость с бороды, вытащил кисет, присел у дверей. С дождевика его на некрашенный пол текла вода. – Насвинячу тут у вас.

– Ничего, – улыбнулась Агата. – Какая трудность подтереть! Раздевайся, чаю попьешь горячего.

– Не до чаев, – хмуро сказал Панкрат. – Солому с прошлогодних скирд перемолачиваем. Да что...

Шел голодный тридцать третий год, за неурожайным летом надвигалась долгая, зловещая зима.

– Вы-то как? Зиму протянете?

– Картошка есть, не помрем, может, – ответил Иван.

– Не помрем, – широко улыбнулась опять Агата, будто она твердо знала о какой-то приближающейся радости.

– Правда, с такой женой грех помирать, – сказал Панкрат. И вдруг спросил: – Слухай, Иван, в колхоз пойдешь?

Иван, строгавший в углу кадочные клепки, отложил рубанок, выпрямился. Агата птицей метнулась к мужу, будто ему угрожала какая опасность, повисла на плече.

– А примете? – спросил Иван.

– Сейчас многие с колхозу бегут, – вместо ответа проговорил председатель, растирая усталые глаза. – Грузят лохмотья на телегу и уезжают. В город подаются, на заработки. Думают, там слаще.

– На следующий год будет, будет урожай! – почти зло выкрикнула Агата.

– Должон, поди, – согласился Панкрат. И, помолчав, произнес: – Я вот думаю все – Михаила-то Лукича Кафтанова, Анниного отца, ты зачем тогда пристрелил? Так ить разумно не объяснил. Чтобы свое бандитство искупить?

– Нет, не потому. – Иван освободился тихонько от жены.

– А Яшка Алейников и тогда и сейчас говорит – потому. И брат твой Федор – тоже.

– А им откуда знать, потому или не потому?! Я им об том тоже никогда не докладывал. И на допросах никому не разьяснял. И разьяснить не буду.

– Что шумишь? – сказал Назаров, вставая. – Не будешь – дело твое. А живешь, вижу, без пакости в душе. И мужик ты нужный для хозяйства, руки золотые. Яшка Алейников говорит: «Не вздумайте в колхоз принимать, затаился он, сволочуга, сейчас хвост прижал, а урвет время – гвоздем вытянет да на горло скочит...»

– Вон что, – усмехнулся Иван тяжело и горько. – Застрял, значит, я, как телега в трясине за поскотиной.

– Была трясина, теперь нету, забутили недавно. Теперь – сухое место. – Назаров застегнул дождевик. – Оно и в жизни человеческой так бывает. Алейников этого в расчет не берет, видно... Ну, да хрен с ним. Обдумайте с Агатой все, а по весне примем вас в колхоз.

И приняли. Иван боялся, что на собрании начнут допытываться, отчего да как очутился в банде у Кафтанова, при каких обстоятельствах прикончил его. Тут может и об Демьяне Инютине, бывшем одноногом старосте, вопрос подняться: кто его-то в амбаре пришлепнул, как, за что? Об Инютине Иван вообще никогда никому не говорил, кроме Агаты, – ни партизанам тогда, ни на суде потом. Но никто ничего не спросил. Может, потому, что Панкрат Назаров, открывая собрание, напрямик сказал:

– Значит, так, Иван Силантьевич... Что ты в банде у Кафтанова был – знаем. За то отси-дел, сколь советской властью было отмерено. Но ежели какие прежние грехи утаил от суда...

– Али злодейства, – вставил мужичок Евсей Галаншин, живший тогда еще в Михайловке, и победно оглядел колхозников.

– Так вот, ты, Иван, лучше сейчас перед народом признайся. А то ежели всплывет что потом... сам понимаешь.

– Ничего я не утаивал, – сказал Иван. – И злодейств никаких не делал. Только портянки Кафтанову стирал да самогонку для него по углам шарил.

– А это не злодейство?! – закричала вдруг Лукерья Кашкарова, баба лет под пятьдесят, на лицо моложавая, все еще хранящая следы былой красоты. – У меня, паразит, четверть само-

гонки из избы выпер. До сих пор бутылку помню – на горлышке краешек сколотый... Ишо плеткой на меня замахнулся. И день помню: как раз на Аграфену-купальницу было в восемнадцатом году...

– Это было, – сказал невесело Иван. – Ты же уцепилась за эту несчастную бутылку, вроде как у тебя сердце вынимали. А Кафтанов, озверевший от пьянства, велел не только самогонку, а и тебя к нему приволочь.

При этих словах начавшийся было ропоток увял, настороженное любопытство разлилось по рядам колхозников.

– Ну? – не вытерпел кто-то на задней скамейке.

– Я сказал Кафтанову: «Лушка, видать, унюхала что про твои желания, в степь с вечера убегла».

– Эк ты! – вскочил Галаншин, замахал руками. – Вот ентуй-то ложи и не прощает тебе Лушка!

– Лишил бабу радости...

– Доседни сожалеет... – заметался в тесной, накуренной конторе хохоток.

Лукерья повернула голову вправо, влево, налилась гневом:

– Жеребцы, язви вас! Нахальники... Об чем это я сожалею? Да я, как Иван сказал мне, что Кафтанов... на этакое зарится, при нем же, при Иване, собрала в узел рубашонки для перемены – да в лес. Иван не даст соврать. Скажи ты им, Иван Силантыч! Без перегляду с час бежала, пока сердце не зашло.

– Это верно, побежала ты – на коне вряд ли бы угнаться, – сказал Иван, но его перебил Галаншин:

– А скажи, Иван, случаем не на заимку по привычке она побежала, что в Огневских ключах?

– Кака заимка?! Каки ключи?! – вскочив, закричала Лукерья, но ее голос потонул в громовом хохоте.

В молодости Лукерья была девкой бойкой и на любовь щедрой. Видимо, поэтому, несмотря на красоту, замуж ее никто не брал, но ее щедростью пользовался всякий. А михайловский богач Кафтанов, когда случались у него загулы, почти в открытую увозил Лушку на свою заимку, жил там с ней по неделям.

Знали также в деревне, что в двадцать восьмом году кто-то из деревенских доброхотов наградил Лукерью сыном. Почувствовав себя беременной, Кашкарова очень удивилась этому обстоятельству и, встречаясь с бабами, зло разглядывала свой полнеющий живот и у каждой женщины почему-то допытывалась:

– Кто же это, бабоньки, мне подсудобил? Узнать – я бы ему глазищи-то выдавила. Ну, погоди, пушай дите народится! По обличью отгадаю отца и брошу ему ребенка под порог.

Но когда родился Витька, Лукерья, сколько ни разглядывала мальчишку, так и не могла определить, на кого он похож.

...Народ смеялся до слез, до рези в глазах. Лукерья кричала, крутилась среди людей, пытаясь что-то объяснить, потом села и заплакала.

– Нахальники вы! – выкрикнула она. – Ишо скажете тут вслух, что я с кафтановским сынишкой, с Макарой путаюсь! Знаю ить, по углам шепчетесь. Как язычищи-то от чирьев не полопаются!

Люди быстро примолкли. Всем до удивления странно было видеть плачущую Лукерью. И, кроме того, очень уж дерзко и бесстыдно высypала она перед всеми те сплетни и пересуды, которые гуляли про нее по деревне.

Имели ли под собой какую-то почву эти сплетни, сказать было трудно. Старшего сына Кафтанова, Зиновия, возглавившего после смерти отца его банду, вскоре изловил где-то Яков Алейников. По слухам, Зиновия отправили в Новониколаевск, по-теперешнему в Новоси-

бирск, и там расстреляли. Но у Кафтанова был еще один сын – Макар. В девятнадцатом году мальчишке было лет шесть, Кафтанов прятал его где-то по таежным заимкам. И, поговаривали, не без помощи той же Лукерьи.

Где потом жил Макар, да и жив ли он вообще – было неизвестно. Но в тридцатом году летом приехал в Михайловку высокий, узкогрудый, чернявый, точно закопченная самоварная труба, парень, одетый чисто, по-городскому, в шляпе, с тросточкой. Он переночевал у Кашкаровой, а утром появился на улице, приковывая общее внимание диковинным своим видом.

– Кто же ты такая птица? – скорее других осмелился приблизиться к нему Евсей Галаншин.

– А Макар я. Макарка Кафтанов. Приехал вот на родину.

– Во-он что-о, милый! – протянул Евсей и поводит расплюснутым носом. – А ежели тебя загребут? За родителя-то?

– Не-ет. Я ведь политикой не занимаюсь. Я уголовник.

– Кто-кто?! – заморгал Галаншин.

– Вор я.

– Ча... чаво? – вытянул тонкую шею Евсей и перестал моргать.

– Да ты не бойся, голуба, – усмехнулся Макар, хлопая Галаншина тросточкой по плечу. – Я только магазины граблю. Специальность у меня такая – магазины. Или, может, у тебя магазинчик есть?

Привлеченные необычным разговором, осмелев, вокруг Галаншина и Макара стали собираться мужики и бабы. Евсей хихикнул недоверчиво, обошел Макара кругом.

– Шутников и мы видывали. За мангазею-то тебя еще скорееча в тюрьму упекут.

– Ну, испугали... Да и поймать еще надо... В общем, так – Лукерья Кашкарова мне мать родная. Куплю дом в Шантаре и перевезу ее туда. А пока чтоб и волос с ее головы не упал.

С тем Макар и отбыл. Через две недели пронесся слух, что в Шантаре действительно обворовали магазин и что это дело рук Макара Кафтанова. Лукерья ходила заплаканная, но ни на какие вопросы никому не отвечала.

Потом Макар еще появлялся в деревне раза два. Все теперь знали, что Кафтанов действительно уголовник, что он часто попадает за свои воровские дела в заключение, но долго не сидит, через полгода, в крайнем случае через год непостижимым образом освобождается.

Оба раза, пожив несколько дней у Лукерьи, он объявлял, что уезжает в Шантару покупать для нее дом, но, видимо, сделать покупку не успевал, садился в тюрьму.

Сейчас, когда Ивана Савельева принимали в колхоз, Макара ожидали в четвертый раз, но он что-то задерживался.

Лукерья плакала, утробно всхлипывая, вытирая мокрое лицо пестрым платком. Все по-прежнему молчали. Наконец тот же Галаншин произнес:

– А что ж ты, Лушка, на языки народные в обиде? Ежели оно, как говорится, не то чтобы бревно в глазу, но и, сказать, не соломина...

Кто-то прыснул в углу смешком и зажался. Потек было, разливаясь, говорок, люди зашевелились. Но шум и говор придавил Панкрат Назаров, рыкнув на все помещение:

– Ну, будя! Разбалаганились. Об деле давайте. Ну, так что, есть какие, окромя Лукерьиных, возражения супротив Ивана?

Никаких возражений не было.

На второй или третий день после собрания влетел на легкой рессорной коляске в Михайловку Яков Алейников, осадил приплясывающего каурого жеребца возле колхозной конторы, бросил черные ремни вожжин как раз выходявшему от председателя Ивану:

– Подержи!

И вбежал на крыльцо по расшатанным ступеням.

О чем Алейников говорил с Панкратом, неизвестно. Только вышли из конторы оба взъерошенные, как подравшиеся воробьи. Назаров не поглядел даже в сторону Ивана, пошел по своим делам. Алейников же, приняв вожжи, подергал рубцом на левой щеке:

– Интересненько приклеиваешься.

– Ничего я не приклеиваюсь.

– Ну! – взмахнул Алейников бровями. – Это позволь уж нам самим знать! – И, упав в коляску, укатил.

Вечером того же дня Иван встретил Панкрата у амбаров.

– Что он, Яшка? Насчет меня, должно?

– А хрен с им, – сказал Назаров. – Он насчет всякого обязан, его дело такое...

Эти слова успокоили Ивана и взлохотенную наездом Алейникова Агату. Ночью она молчком взяла его руку и положила себе на живот. Иван не ощутил ничего, кроме мягкой теплоты ее тела, но обо всем догадался.

– Когда? – спросил Иван, погладил ее холодноватое плечо.

– К Октябрьским праздникам, должно, будет.

– Молодчина ты у меня. Вишь, радость, как и беда, тоже не ходит одна.

А в июне, когда начался сенокос, Ивана арестовали.

Был жаркий день, в небе звонили жаворонки. С утра колхозники начали косить луг недалеко от Громотухи. Намотавшись литовками, прилегли после обеда под кустами, дышали теплым, сладковатым духом вянущей травы. Иван глядел, как солнце выжимает влагу из скошенных валков, как дрожит над ними теплый воздух, и, улыбаясь незаметно, тихо и покойно думал об Агате, которая лежала рядом на спине, крепко скрестив расцарапанные прошлогодними дудками ноги, прикрыв лицо вылинявшим платком, думал о ребенке, которого носит она в себе. Ивану хотелось, чтобы это была дочь.

На дороге, сползающей к лугу по угорью, гулко затарахтели дрожки. Иван только голову повернул на стук, а жена уже стояла почему-то на ногах, прикрыв ладошкой глаза, всматривалась в дорогу. Потом испуганно притиснула руки под начинающие уже набухать груди.

– Ты чего, Агата? – поднялся Иван.

– Ой, не знаю... Заколотилось сердце отчего-то...

Дрожки подъехали, соскочил с них плотно запыленный – даже в мохнатые брови густо набилась пыль – Яков Алейников, а с ним пожилой милиционер.

– Здорово, колхознички. Бог в помощь, – сказал он повскакавшим людям и повернулся к Ивану: – Ну, поехали, значит. Как приклеился, так и отклеим.

Вскрикнула Агата, повернулась к Алейникову посеревшим лицом, загораживая мужа.

– Отойди, баба! – строго произнес Яков.

– В каталажку, что ль, Ивашку? – спросила испуганно Василиса Посконова, та самая Василиса, которая впервые разнесла по деревне весть о непристойных взаимоотношениях Федора Савельева и жены Инютина. – А за что, ежели спросить?

– И прям, товарищ-гражданин, разъяснил бы людям, – угрюмо поддержал ее пожилой, кряжистый колхозник Петрован Головлев, разгребая пальцами на обе стороны давно не стриженную бороду.

– Пос-сторонись! – кинул Алейников зычно. Но круг не разорвался. Люди молча и ожидающе поглядели на него.

– А действительно, что случилось? – проговорил, подойдя к Алейникову, двадцатитрехлетний сын председателя колхоза Максим Назаров, высокий, с таким же крепким и широким, как у отца, подбородком. Девятнадцати лет Максим ушел в армию, неделю назад приехал в отпуск к родителям, поблескивая рубиновыми лейтенантскими кубиками на петлицах гимнастерки. Нынче с утра он вместе со всеми махал литовкой и уморился, видать, после обеда сразу

же заснул, уронив голову на копешку травы. Сейчас глаза его были припухшими, на щеке еще держались вмятины от травяных стеблей.

– Уголовное дело, – недовольно сказал Алейников. – А может, и политическое. Суд разберется.

– Да что такое Иван изделал? – тонким фальцетом враждебно крикнул Евсей Галаншин и оглядел колхозников, ища поддержки.

– Именно...

– Неуж людям нельзя обсказать... – посыпалось со всех сторон.

– А может... может, Иван все же утаил какие прежние грехи? – крикнул тот же Евсей Галаншин, никогда не отличавшийся постоянством. – А теперича всплыло? Панкрат предупреждал, помните?!

– Ладно, мужики, – вошел в круг Иван. – Братец Федор, должно, удружил мне. За тех двух жеребцов. Да разберутся же люди...

– Это какие такие жеребцы? – крутнулся Евсей к Алейникову. – Что по весне потерялись, что ли? Отделенческие?

– Они, – сказал Иван и вернулся к плачущей Агате.

Два отделенческих жеребца, на которых Федор разъезжал по своим заготовительным делам, потерялись дня через три или четыре после увольнения Ивана.

– Значит, колхозник теперь? – усмехнулся Федор, когда Иван принес заявление с просьбой освободить с работы.

– А тебе что, опять не нравится?

– Мне что? Приняли – колхозничай.

А потом и потерялись эти злосчастные лошади. Вечером Кирьян, как обычно, спутал их и пустил на ночь в луг (уход за этими жеребцами и был, пожалуй, единственной обязанностью Инютина). А утром взял уздечки и пошел ловить коней. Но их и след простыл.

– Та-ак-с... – сказал наутро Федор, встретив Ивана на улице. – Пока работал на отделении, пакостить не осмеливался, а теперь, значит, решился?

– На что я решился? – произнес Иван. И только после этого дошел до него зловеший смысл Федоровых слов. – Да ты... Ты что городишь?! Придумал бы поумнее что...

– Разберемся, милоч, – бросил Федор и, покачивая широкой спиной, ушел.

И вот приехал Яков Алейников.

Иван долго и молча гладил вздрагивающую спину прильнувшей к нему Агаты.

– Будет, будет же... Чего зря? Это ведь доказать надо. Прощай пока. – И сел в тележку.

Алейников тоже направился к дрожкам, милиционер, сидевший за кучера, подобрал вожжи.

– Пойдите-ка... – И, раздвигая ветки, из-под куста поднялся неуклюжий парень-толстяк Аркашка Молчанов, по прозвищу Молчун.

В Михайловке не было человека диковиннее, чем этот. За свою почти тридцатилетнюю жизнь он вряд ли произнес несколько сотен слов. Годами иногда не слышал никто его голоса. На людях он бывал часто, хотя обычно сидел или стоял где-нибудь в сторонке, слушал, о чем гомонит народ, поглядывал с любопытством вокруг из-под своего спутанного тяжелого чуба. Но молчал, как камень, и на его красивом, монголистом лице не отражалось абсолютно ничего.

– Слушай, Аркашка, ты немой, что ли? – спрашивали его иногда.

Обычно Аркадий ничего не отвечал на такие расспросы. Но случалось, все же разжимал губы:

– Почто же? Нет.

– Так чего все молчишь-то?

– А об чем мне говорить?

И умолкал намертво снова на год, на два.

Аркадий был работящ, тих, добродушен и обладал чудовищной силой. Пятипудовый куль с пшеницей он шутя забрасывал на бричку одной рукой; взявшись за рога, легко валил наземь любого быка. Его силу особенно почему-то чувляли лошади, при его появлении оседали на задние ноги, беспокойно стригли ушами, хотя к животным, как и к людям, он никогда не проявлял злобы или насилия.

Жил он в просторном, светлом доме, построенном недавно в одиночку, с престарелой, глуховатой матерью, выполнял по дому все женские работы. На советы мужиков жениться отмалчивался, по обыкновению, но один раз сказал:

– Они боятся. Какую ни попробуешь обнять – хрустят. Со стекла они, должно, все бабы, сделаны.

Девки действительно боялись этого парня, хотя, зная безобидный Аркашкин нрав, то и дело со жгучим любопытством вертели у него на глазах.

Едва раздался Аркашкин голос, все умолкли. Аркадий прошел вразвалку мимо притихших колхозников и сел на дрожки рядом с Иваном.

– Так... И далеко тебя прокатить? – Алейников снял фуражку, вытер мокрый лоб.

– До милиции, – сплюнул Молчанов на траву.

– Это можно. А в чем покаяться хочешь?

– В ту ночь, когда кони потерялись, я на рассвете к Громотухе ходил. Переметы проверить. Мать прихворнула, уши попросила, – не спеша проговорил Аркадий и умолк.

Все терпеливо ждали, что он скажет дальше. А он и не собирался вроде больше говорить.

– Все? Выкидываешь тут фортели... Слазь к чертовой матери!

– Я иду, гляжу – Кирьян тех коней ловит. Инютин-то... Ночью, значит. Еще серо на небе, а он уж ловит коней. Скакнул на одного, другого в поводу держит. Поехал.

– Ну?! – раздраженно воскликнул Алейников.

– Иди ты... Что орешь? – обиделся Молчанов и, нахохлившись, отвернулся.

– Ты, Алейников, дай ему высказаться. Не торопи.

– Это ить чудо голимое – Аркашка Молчун беседывает! – закрутился Евсей Галаншин. – Ты давай, Аркашенька, закручивай свое ораторство... Так, поехал Кирьян. А куда?

– К Звенигоре поехал! – со злостью, которой никто не ожидал, почти крикнул вдруг Молчанов. – Я проверил переметы, обратно иду. И Кирьян с пригорка спускается. Пехом идет, уздечками в руках побрякивает.

– Куда же он коней отвел? – спросил Петрован Головлев.

– И мне тоже любопытственно стало. Кирьян протопал в деревню, меня не заметил. Я взошел на пригорок, глянул – недалече цыганский табор стоит, костры сквозь туман мигают...

Несколько мгновений люди стояли вокруг не шелохнувшись. Иван сидел рядом с Молчановым, опустив голову. Он даже будто и не слушал, о чем рассказывает тяжелый на язык Аркадий.

Первым нарушил тишину Головлев Петрован:

– Постойте, мужики... Так оно что же получается?

– Цыганишкам, значит, коней сплавил? Кирьян-то?

– Люди, люди! – врезалась сбоку в толпу Агата. – Ей-богу, Иван не виноват! Да разве ж он может на такое...

– Помолчи, Агата...

– А разобраться надо...

– Что ж ты, Молчун проклятый, раньше никому не обмолвился?...

Поднялся шум, гвалт.

– Тих-хо-о!! – заорал Алейников, размахивая фуражкой. И повернулся к Молчанову: – Значит, свидетельские показания хочешь дать? Что ж, поедем...

Сытый мерин поволок дрожки через луг на дорогу. Агата сделала вслед пару шагов, надломилась полнеющим уже станом, осела в траву. Плечи ее крупно затряслись. Колхозники растерянно стояли вокруг, будто все были в чем-то виноваты. В прозрачно-синем небе по-прежнему густо толкались жаворонки, обливая землю радостным звоном...

Аркадий Молчанов вернулся на следующий день. Он пришел под вечер, снял запыленную одежду, умылся и жадно начал хлебать крошку с луком. Мать беспрерывно подливала ему в чашку.

– Чего там с Иваном? – заскочил в дом сын председателя Максим Назаров. – Разобрались?

– Разбираются.

И больше Максим не мог вытянуть из него ни слова.

Потом Молчанова еще несколько раз вызывали в район. Туда увозили, оттуда он неизменно возвращался пешком, на расспросы не отвечал, только хмурился все сильнее и сильнее.

Таскали раза три в район и Кирьяна Инютина, раз вызвали Федора Савельева. Кирьян возвращался всегда в подпитии, любопытствующим, как и Молчанов, не отвечал, только, скривив рот, произносил всегда одну и ту же фразу:

– Ништо, переворот ему в дышало. И Аркашке вашему тоже. Честного человека не обгадить, как птице могильный крест.

И Федор после поездки был немногословен.

– Дал Бог мне братца... – только и произнес он.

В конце августа тридцать пятого года Ивана осудили на шесть лет. Федор встретил это известие молчком, только усами нервно подергал. Кирьян Инютин напился и вечером зверски избил жену.

Колхозники не знали, что и думать.

– Дык что же ты, чурбак безголосый, болтал, что видел, будто Кирьян цыганам свел лошадей? – кинулись некоторые к Молчанову. – Разве б безвинного засудили?

– Приснилось, должно, а он и заголосил спросонья.

– А идите все вы к... – впервые в жизни тяжело и матерно выругался Молчанов. И замкнулся совсем, наглухо, намертво.

В тот же вечер Панкрат Назаров сидел в халупке Ивана у приоткрытой двери, яростно садил папиросу за папиросой, тер щетинистый подбородок. Под его закаменевшей ладонью щетина громко трещала, будто ее лизало жаркое пламя. Агата, сухая и деревянная, сидела у окна, пустыми глазами глядела на плавающую за стеклом темень.

– Не верю я, Агата, в такую Иванову подлость, – сказал Панкрат, шумно вздыхая. – А с другого боку – зазря-то, поди, человека в тюрьме гноить не положено.

Он еще выкурил одну папиросу и встал.

– А тебе так, баба, скажу: Иван Иванов, а ты тоже человек. На людей серчать нечего. Отворотишься ежели от людей теперь – погибнешь. А мы что ж, Ивана будем пока отдельно считать, тебя с детьми – отдельно. А там и видно будет. Время – оно все разьяснит, до полной ясности...

Федор Савельев и Кирьян Инютин после этого еще немного пожили в Михайловке. А ранним летом тридцать шестого года оба уволились с работы и уехали в Шантару.

После ареста и осуждения Ивана никакой перемены в отношении михайловских жителей к Кирьяну и Федору вроде бы не обозначилось. С ними и раньше никто тесно не сходил, и теперь никто особой дружбы не завязывал.

Но Федор все явственнее ощущал холодок отчуждения, при встречах с ним люди как-то неловко прятали глаза, а миновав, оборачивались. Федор всей спиной чувствовал эти неприятные взгляды, сжимался, втягивал в плечи голову.

Анна испытывала, видно, то же самое, большие светло-серые глаза ее, в которых можно было когда-то утонуть, делались все мельче, пустели, как степь к концу сентября. Стройная, высокая, имевшая уже троих детей, но все еще хранившая девичью легкость, она сразу как-то обмякла, потяжелела. Когда дома никого не было, частенько присаживалась к окну, грузно опустив на колени маленькие горячие руки, подолгу смотрела на облитые синью утесы Звенигоры, каменела в какой-то угарной нескончаемой думе. Потом неожиданно вздрагивала, вздымалась ее грудь, начинало биться там что-то живое и яростное. Она клала на грудь руку, успокаивалась и продолжала тупо, не моргая, глядеть в окно.

Нередко в таком положении заставлял ее Федор, но ничего не говорил. Только подергивал кончиком уса. Она вздыхала, поднималась, выдергивала из головы костяную гребенку. Светлорусые волосы холодными волнами скатывались на плечи. Анна расчесывала их, снова большим узлом собирала на затылке и, сбросив окончательно забытье, принималась за домашность.

Уехали они из Михайловки как-то неожиданно.

Однажды в душный полдень восьмилетний Димка прибежал с улицы, напился молока и, поковыряв в носу, спросил:

– Мама, а чего люди говорят... будто этого, дядьку Ивана, отец наш в тюрьму засадил?

Федор, как раз входивший в комнату, застрял в дверях. Потом грузно опустился на табурет у стола. Посидел в тяжелом раздумье и вскочил, отшвырнул ногой табуретку.

– Хватит! Каждый глазами напополам стригёт, будто и в самом деле я Ивана...

И тем же часом уехал в Шантару, через три дня вернулся с новым приемщиком отделения, подкатил к дому бричку-пароконку.

Через час нехитрые пожитки были уложены, Федор посадил на воз Анну с Андрейкой, сунул вожжи Семену:

– Трогай потихоньку.

Сам приостановился, попросил спичек у подошедшего Назарова.

– Уезжаешь, значит? Где там робить будешь?

– В МТС пойду. На курсы. По машинной части.

– Эвон как. По машинной – это добре. Скоро их много, должно, машин-то, будет, – одобрил Панкрат. И, помолчав секунду, прямо сказал: – Это хорошо, что уезжаешь отсель.

– Вот как?!

Пробегавший мимо Евсей Галаншин любопытствовал с откровенным цинизмом:

– А как ты, Федор, без Кирьяна-то? Али все же к себе его выпишешь?

Внешне Федор остался спокоен, только потная шея налилась бронзой да потяжелели мятые щеки.

– А это уж как мне удобнее, – усмехнувшись, полоснул он Евсея тугим взглядом.

Кирьян Инютин с семьей уехал из Михайловки через неделю. А еще через две вездесущая Василиса Посконова, ездившая на воскресный шантарский базар, доставила известие, что Инютин тоже поступил на те самые курсы при МТС, о которых говорил Федор.

– Обои с тетрабочками под мышками теперь ходят, на одной скамеечке курсы постигают... – звонила она, захлебываясь от торопливости.

– А про Анфиску его что слыхала, нет? – любопытствовали бабенки.

– Да что... – виновато крутилась Василиса. – Где ж прознаешь за день? Кабы я хучь недельку там пожила...

Покачивали головами михайловские бабы и мужики, дивовались на такую дружбу Федора и Кирьяна.

* * *

21 июня, поздним вечером, Антон Савельев приехал в Перемышль.

Чумазий, задыхающийся на подъемах паровозишко еле-еле волок с полдюжины скрипучих деревянных вагонов, подолгу отдыхая на каждом полустанке. Во время остановок вагоны облепляли розовощекие торговки в нарядных фартуках, наперебой предлагали отведать дымящихся вареников, запеченных в сметане грибов, жареных цыплят...

Из Харькова во Львов Антон переехал сразу же после освобождения Западной Украины. Тракторный завод тогда посылал в освобожденные районы группу специалистов. В глубине души Антону не хотелось сниматься с обжитого места, но он никому об этом не говорил, только на беседе у секретаря парткома завода спросил:

– Что же я делать там буду? Во Львове пока нет тракторного...

– Работа найдется, – ответил секретарь. – Направляем тебя в распоряжение парторганов.

Во Львовском обкоме партии Антону предложили должность начальника цеха будущего крупного машиностроительного завода, а пока он строится, поработать снабженцем на этой же стройке. И вот теперь он приехал в Перемышль, чтобы поторопить местный кирпичный завод с отгрузкой кирпича.

Вечер был теплый и тихий. Но из-за Сана все равно тянуло бензиновой гарью, и Антон вспомнил последние тревожные разговоры в обкоме партии, где он почти ежедневно бывал по делам стройки: на той стороне реки скапливаются подозрительно большие соединения германских моторизованных и пехотных войск. По этому поводу высказывались разные предположения, в том числе и такое, что немцы просто отводят сюда на отдых свои войска из Франции. Но Антон чувствовал: на душе у львовских партийных работников беспокойно. Да и было отчего. Немецкие самолеты все чаще и чаще нарушали границу, иногда подолгу кружили над Львовом, в городе и близлежащих поселках часто вылавливали бандеровцев. Недавно одного из таких молодчиков сам Антон приволок в НКВД. Проходя в обеденный перерыв по территории стройки, он услышал за стенкой дощатой бытовки говорок:

– Гроб с крышечкой скоро будет советской власти, чтоб мне не дожить до вечера... Так что зря, хлопцы, спину ломаете на этой стройке... А уж крышечку завинтим поплотнее...

Антон свернул за угол бытовки, увидел человек пять каменщиков, расположившихся на обед.

– Кто это тут крышку советской власти завинтить собирается? – спросил он, подходя к ребятам.

Те нехотя встали. И тут только Антон сообразил, что поступил неосторожно, угол был глухой, поблизости ни души.

– А я, допустим, – усмехнулся верзила в обляпанном известью пиджаке и зыркнул по сторонам.

– Кто такой? Как фамилия? – Отступать было поздно.

– Карточку показать или на слово поверишь? – И верзила распахнул пиджак. На груди чернел вытатуированный трезубец – эмблема бандеровцев.

Терять времени было нельзя. Почти не размахиваясь, Антон саданул верзилу в заросший подбородок.

– Что стоите? Бей гада! – заорал тот, выхватывая нож.

Антон поднял с земли обломок кирпича – больше ничего не оказалось под рукой. Но кирпич был уже не нужен, четверо каменщиков навалились на бандеровца, скрутили ему руки...

Раздумывая обо всем этом, Антон шагал по тихим, утопающим в садах улочкам Перемышля к гостинице. На кирпичный завод он решил идти завтра с утра – завод работал и по воскресеньям, – а сейчас хорошо бы побриться и поесть.

Несмотря на поздний час, ему удалось отыскать еще не закрывшуюся парикмахерскую.

Брили в этих местах не так, как в Харькове. Цирюльник сперва тер лицо мыльной палочкой, потом ладонью долго втирал в кожу мыльную пену. То же самое он проделывал со вторым клиентом, с третьим. А потом уже брал бритву и возвращался к первому.

Но сейчас клиентов не было, и Антон побрился быстро. Парикмахер, старый, седой еврей, так стремительно махал бритвой, что было удивительно, как он ухитряется при этом не порезать кожу.

– Что за Саном делается, не слышно? – спросил Антон.

– Откуда же я знаю, что за Саном? – ответил парикмахер с отчетливой еврейской интонацией. – Или вы думаете, я туда хожу обедать сквозь пограничные кордоны?

Но, кончив бритье, добавил:

– На днях, по слухам, напротив Перемышля какая-то танковая часть остановилась. Как вы думаете, что здесь надо германским танкам?

– Не знаю, – вздохнул Антон.

– Да, да... – вздохнул и парикмахер. – Но ведь не может этого быть. У Советского Союза же с Германией пакт о ненападении...

Потом Антон сидел в маленьком уютном буфете при гостинице. Здесь, как во львовских буфетах, давали такие же «гастечки» – микроскопические пирожные – и небольшие бутерброды – «канапки». Только кофе был не таким крепким, как во Львове, жиденьким и почти безвкусным.

Улегшись на койку в своем номере, Антон долго ворочался, никак не мог уснуть. «Как там дома Лиза? И приехал ли Юрий?» – почему-то беспокойно думал он. Единственный его сын Юрий, токарь на Харьковском тракторном, сегодня должен был приехать в гости, на весь отпуск.

Постепенно сон брал все-таки свое. Последнее, что он услышал, – за тонкой дощатой перегородкой кто-то без конца мурлыкал веселую львовскую песенку:

Во Львове идет капитальный ремонт,
Шьют девушки новые платья...

Проснулся он от страшного грохота.

Вскочив на кровати, Антон в первые секунды не мог сообразить, где он и что происходит. Потом на стенах заплясали отсветы огня – что-то вспыхнуло недалеко от гостиницы. Почти одновременно что-то взорвалось перед самым окном, железные брызги ударили в стену над его головой, и проем окна словно заткнул вспучившийся столб огня и дыма.

Надернув брюки и схватив пиджак, Антон ринулся к двери. «Неужели война?» – подумал он на бегу, холодея от этой мысли. Из номеров выскакивали заспанные, полураздетые постояльцы, с криком бежали по коридору. Дико выла в каком-то номере женщина, и пронзительно плакал ребенок.

Едва Антон выскочил на улицу, небольшая двухэтажная гостиница вздрогнула, кирпичная стенка, возле которой он стоял, вдруг повалилась на него, рассыпаясь. Антон успел отскочить и уже с противоположной улицы увидел, как медленно начала крениться черепичная крыша гостиницы и вдруг рухнула, провалилась между стен.

И только тут отчетливо и больно застучало в голове: «Это война!.. Война!.. Война!..»

На улице было почти совсем светло, но вокруг стоял невообразимый грохот, рвались снаряды. «Ведь они же оттуда, из-за Сана, стреляют прямой наводкой!» – сообразил Антон, хотел бежать к вокзалу. «А где же та женщина, что кричала? Успела она выскочить? Помочь... Помочь...»

Но это было неосознанным порывом, потому что в следующую секунду Антон понял – помогать некому: на месте гостиницы лежала куча кирпича и черепицы. Натянув пиджак, он побежал в сторону главной улицы, на которой разыскивал вчера парикмахерскую. Из домов выскакивали люди, из окон выбрасывали чемоданы, подушки, одежду, вязали это в узлы и с криком, с воем тоже бежали куда-то, падали, запинаясь о брошенные чемоданы, о всякую

рухлядь. Ругань, стон, плач, взрывы, грохот – все перемешивалось, превращаясь в сплошной неиссякаемый рев, еще больше усиливая панику.

Наконец толпа обезумевших людей вынесла Антона на центральную площадь, обсаженную низкорослыми пока каштанами, растекаясь по ней, начала рассасываться по расходящимся от площади улицам. Антон остановился, соображая – куда же теперь ему идти? И здесь опять больно прошила голову вчерашняя мысль: «А как там во Львове? Приехал ли Юрка?»

Из какого-то проулка выкатился зеленый броневичок и, протиснувшись меж людей, встал посреди площади. На броневичок вскочил человек в военной форме, поднял ко рту рупор.

– Товарищи! Не создавайте паники! – разнеслось от площади. – Возможно, это просто провокация... На всякий случай – всем отходить по Дрогобычскому шоссе, потому что вокзал и железнодорожные пути разрушены. В лесу, южнее Самбора, организован эвакуационный пункт. Там вас ждут автомашины...

Толпа с узлами, мешками, чемоданами хлынула обратно в ту же улицу, по которой только что выкатилась к площади. В это время обстрел города внезапно прекратился, грохот разрывов умолк.

И тогда все услышали в небе надсадный, прерывистый гул.

Над городом пузырились кроваво-черные клубы дыма. За этим дымом вставало солнце, проглядывая временами сквозь клубы огромной и тяжелой, распухшей подушкой.

Туда, за эти дымы, навстречу солнцу, летели самолеты. Они летели низко, по три в ряд. На их крыльях отчетливо и зловеще чернели кресты...

* * *

Июньский день пылал. Кособочилась деревянная крыша на шантарской пожарной каланче, потрескивала, раскаленная зноем, будто она-то и собиралась вот-вот вспыхнуть.

Несмотря на воскресный день, Вера Инютина, двадцатилетняя, полненькая, с редковатыми веснушками вокруг носа и припухших губ, с утра печатала на распатанном, грохочущем «ундервуде» доклад Кружилина на предстоящем в среду районном партийном активе. Сам Кружилин тоже с утра был в райкоме, и через открытые двери своей комнатки Вера слышала, как он беспрерывно крутит ручку телефона и хрипло кричит:

– Аллю, аллю! Станция?... Катя!.. Это ты, Катя?... Что там Новосибирск?... Не отвечает?... А квартира секретаря обкома... Тоже молчит?... Куда ж они попровалились все? Ты вызывай обком через каждые пятнадцать минут.

Вера здесь работала уже два года, работа ей не нравилась. Сжав зубы, она с ненавистью выстукивала фразы, по-военному повествующие о том, сколько зимой и по весне было вывезено на колхозные поля навоза, сколько прополото посевов. Время от времени подходил Кружилин, молча брал отпечатанные листы и молча уходил.

– А-а, Яков Николаич! – промолвил он вдруг, взяв очередные листы. – Ты ко мне? Заходи.

– Зайду, – сказал Алейников, стоявший в дверях Вериной комнатки. – Сейчас зайду.

Кружилин, удивленно глянув на Алейникова, направился к себе. А Яков прошелся по комнатке, сел на подоконник. Он был в гражданском. Новый, совсем еще не смятый парусиновый костюм и белая рубашка ярко оттеняли его посиневший с годами рубец на щеке. Поперек этого рубца билась вздувшаяся красная жилка.

Вера боялась неразговорчивого, вечно хмурого Алейникова, из глаз которого, почти скрытых нависшими бровями, всегда лился знобкий, пронизывающий до сердца холодок. Она впитала эту боязнь с детства. Мать, укладывая в постель неугомонного Кольку, частенько говорила в сердцах:

– Да что за ребенок, язвы его! Вот погоди, кликну Яшку Алейникова, что с рубцом на щеке, он живо придет...

Но Алейников к ним не приезжал. Зато Вера помнит, как Алейников приезжал ночью, перед рассветом, к Маньке Огородниковой.

Это было давно, через год после возвращения из Михайловки. Вера и Манька были почти ровесницы, они сдружились, целыми днями бегали по степи, играли в прятки, благо Громотушкины кусты подступали чуть не к избенке Огородниковых, стоявшей на самой окраине Шантары.

Однажды они с Манькой долго читали при свете керосиновой лампы какую-то книгу, а когда закончили, Вера побоялась идти домой по темным улицам и осталась ночевать.

Сквозь липкий, тяжелый сон она слышала, как заурчала под окнами машина, раздался какой-то стук, голоса. Когда протерла ладонью глаза, увидела под лампой Алейникова – в тяжелой, длиннополой шинели, в фуражке, пристегнутой к подбородку глянцево-черным ремешком. У дверей стояли трое незнакомых людей в таких же шинелях, как Алейников. Манькин отец, густо, до самых глаз, заросший рыжей бородой старик, дрожащими руками натягивал сапоги. Алейников спокойно курил.

Манькин отец – Ерофей Кузьмич – был ей неродной – трехлетней девчонкой взял ее из детдома. Он работал в промкомбинате сапожником. Жили они вдвоем, потому что жены у Ерофея Кузьмича не было.

Вера помнит, как Огородников обулся, выпрямился.

– А за что? – спросил он.

– А там объясним, – вяло ответил Алейников, раздавливая тупорылым сапогом окурочек на половине. – Думаешь, бородой закрылся, фамилию переменял – так и не разыщем? Разыскали.

– Прощай, Маньша, – повернулся к приемной дочери Ерофей Кузьмич. – Ты уж подросла, ничего. Подвернется хороший человек – замуж иди. Ничего, изба есть...

Говорил он спокойно и просто, будто уходил на работу, а к вечеру рассчитывал вернуться, только глаза лихорадочно горели.

...Алейников сидел на подоконнике, глядел на улицу, где под райкомовским палисадником, в полосатой тени от деревьев, и подальше, на замусоренной сенной трухой коновязи, куры разгребали сухую пыль.

Напротив, через дорогу, стоял просторный, под железной крышей, деревянный дом, в котором жил секретарь райкома. Дом был обгорожен со всех сторон плотным деревянным забором.

Так ничего и не сказав, поднялся, вышел. И Вера совсем забыла про машинку, долго сидела не шевелясь, прижав ладонь к гулко стучащему сердцу. «Зачем, зачем он приходил сюда?» – тупо и больно колотилось в голове.

* * *

– Слушаю тебя, – сказал Кружилин, поднимая тяжелую, давно поседевшую голову навстречу Алейникову.

Но Яков, как в комнате машинистки, молча сел на подоконник, стал угрюмо смотреть на улицу.

– Алло, Катя?... Ну что, не отвечает Новосибирск? Нет? – опять принялся Кружилин вертеть ручку телефона. – Ну, ты скажи, будто вымерли все...

– Воскресенье же. Кто на рыбалке, кто бражничает, – промолвил Алейников. – Это мы все работаем, работаем...

Кладя трубку, Кружилин покосился на Алейникова, опустил глаза на бумаги, разложенные на столе.

– Ты по делу? – спросил он, не поднимая головы.

– А без дела и зайти нельзя? Друзья все же, – усмехнулся тот.

Тупое и тяжелое раздражение разлилось по всему телу Кружилина. Он даже чувствовал, как копится внутри у него это раздражение, как тяжелеют лежащие на столе руки.

– Друзья, говоришь?

Поликарп Матвеевич, в отличие от Веры, не боялся Алейникова. Он, Кружилин, вообще никого и ничего на свете не боялся, даже смерти, которая не раз примеривалась, с какого боку его свалить.

Поликарп Матвеевич понимал необходимость и важность для революции той работы, которую делает Алейников, работы подчас трудной, грязной, может быть, и всегда опасной. Но он не понимал самого Якова, не понимал, что с ним произошло...

...После колчаковщины Кружилин взял Алейникова к себе в волисполком, секретарем. Но работать вместе пришлось недолго, потому что весной 1920 года в окрестностях Шантары вместо недавно разгромленной банды Кафтанова появилась новая. Налетая на деревни, бандиты поголовно уничтожали всех бывших партизан кружилинского отряда, вырезали их семьи, не щадя ни женщин, ни детей, сжигали их дома.

– Зиновий это, сын Мишки Кафтанова, по почерку вижу, – не раз говорил Алейников. – Поликарп Матвеевич, дай мне, а? Я его, гада одноглазого, через месяц к тебе приволоку. А то этим... губошлепам из Чека его сроду не изловить.

Яков говорил, глаза его нетерпеливо блестели, косматые брови подрагивали от возбуждения.

В конце концов Кружилин договорился с руководителем шантарской Чека – человеком вялым и беспомощным, явно сидевшим не на своем месте, чтобы Алейникову поручили организовать из чекистов и бывших партизан специальный отряд для ликвидации банды. И Яков, правда, не через месяц, а только глубокой осенью того же 1920 года прямо в кабинет Кружилина заволок бельмастого, лет тридцати пяти человека.

– Вот, как обещал... Стой прямо, стерва, перед советской властью!

Это был действительно Зиновий Кафтанов, старший сын Михаила Лукича Кафтанова.

После этого Поликарп Матвеевич сам порекомендовал в Чека Якова Алейникова на место прежнего беспомощного руководителя. И не ошибся, потому что Яков, кажется, попал в свою стихию, быстренько выгреб из звенигорских ущелий и громотухинских лесов всякую нечисть, навел в волости порядок. И очень сожалел, что Алейникова вскоре перевели в Барнаул. А потом обрадовался, когда Яков опять оказался в Шантаре.

– Ну, давай, Яша, помогай, – сказал он ему. – Время беспокойное настает, кулачье во время нэпа притихло, сейчас опять зашевелилось.

Время наставало действительно беспокойное, начиналась коллективизация. Кружилин тогда работал уже секретарем райкома партии.

Яков Алейников будто нюхом чуял, где и что замышляет кулачье, вовремя обезвреживал заговоры, подсекал главарей. День и ночь он мотался по району, почернел, похудел, но был неизменно весел, добродушен и открыт.

– Трудненько, Яша? – иногда спрашивал Кружилин. – Одни брови да рубец на щеке и остались.

– Выдюжим, – отвечал Алейников, обнажая в улыбке крепкие белые зубы. – Я завтра в Белый Яр махну. Там мои люди давно присматриваются к двум колхозничкам. Какие-то гости их временами навещают. Всегда тайно, ночью. Подозрительно.

– Подозрительно, – соглашался Кружилин. – По весне, перед самой пахотой, там пятнадцать лошадей пало. Объелись, говорят, чего-то...

– Выясним. Я буду с тобой связь держать. Если что – сообщу, посоветуюсь.

Он действительно всегда советовался, держал райком в курсе всех своих дел.

А потом Яков Алейников стал меняться. Он стал молчаливее, скрытнее, в райкоме появлялся хмурый, небритый. Кружилин как-то не уловил, когда, собственно, началась в нем эта

перемена. Попервоначально Поликарп Матвеевич думал, что Яков просто чертовски устаёт да и годы идут, вот и не выдерживают нервы чудовищного напряжения. В райкоме он появлялся все реже и реже.

– Может, тебе, Яков, капитально отдохнуть, а? – сказал как-то Кружилин. – На курорт куда съездил бы.

– Наотдыхаемся... на том свете, ежели сейчас поводья отпустить, – мрачно ответил тот.

У Алейникова появился новый метод работы. Выслеживая какого-нибудь затаившегося врага советской власти, Яков сперва создавал вокруг него пустоту, по первому подозрению хватая каждого, кто, по его мнению, мог как-то с этим человеком общаться. Тюремные камеры при НКВД были всегда переполнены. Зато потом, когда тот, за кем он охотился, неизбежно попадал в его сети, Алейников тщательно проводил расследование, пачками выпуская людей на волю.

– Ты эти штучки брось-ка, Алейников, – потребовал Кружилин, узнав о таком методе. – Невиновных сажать – за это знаешь ли... Ты не царской охранкой командуешь...

Позже Кружилин расплатился за эти слова. Правда, довольно своеобразно. В одну из поездок в Новосибирск по делам района его вдруг пригласили в краевое Управление НКВД и продержали там почти трое суток. Ночи он проводил на потертом кожаном диване в одном из кабинетов, а днем с ним «беседовал» молоденький оперуполномоченный по фамилии Тищенко, без конца выясняя, где он, Кружилин, родился, чем занимался в юности, кто его родители, в каких местах воевал в гражданскую, кто были его боевые товарищи и т. д.

Это случилось где-то в середине 1936 года. Поначалу Кружилин недоумевал: чего же от него хотят? Потом не на шутку возмутился:

– Черт знает что такое?! Что вы ходите вокруг да около? Что вам нужно, говорите прямо.

– Скажем... – кивал головой оперуполномоченный. – Значит, и Федор Савельев был у вас в отряде?

– Да, был. Он командовал эскадронам. Лучший командир эскадрона был в полку.

– Так. А его брат Иван в прошлом году осужден за вредительство. Знаете?

– Да, знаю. Хотя – не верю...

– То есть как не верите? Советским чекистам не верите? – пытаюсь изобразить строгость на своем безусом лице, спрашивал Тищенко.

– Вы меня не пугайте. Не верю в то, что Иван Савельев вредитель.

– Ну а факты? Ведь было же следствие...

– Да, факты... – устало проговорил Кружилин. – Потерялись две лошади, помню. Иван Савельев в банде Кафтанова был...

– Да, да, в банде Кафтанова... – повторил Тищенко, прошелся по кабинету, явно с удовольствием прислушиваясь к скрипу новых сапог. – Тут ведь все очень странно. Этот Иван Савельев в прошлом бандит. Его брат Федор – лихой партизан, но он женат на дочери Кафтанова.

– Дочь Кафтанова, Анна, тоже партизанила в моем отряде. Иван Савельев, бандит, в конце концов застрелил атамана банды Кафтанова. За участие в банде был осужден, отсидел. Но в нем проснулся человек, он в последнее время...

– Давайте по порядку, – прервал Кружилина оперуполномоченный. – Анна, говорите вы, партизанила. А может быть, она... попросту шпионкой была в вашем отряде?

– Это исключено. Она порвала с отцом, с семьей. Она очень любила Федора Савельева, моего командира эскадрона...

– И из-за любви пошла с красными? – улыбнулся Тищенко.

– Что же... Любовь – дело серьезное.

– Когда дело касается классовых идей, то любовь... Впрочем, хватит на сегодня, – сказал вдруг оперуполномоченный, собирая бумаги. – Вы пока отдыхайте тут. Завтра продолжим. Поесть вам принесут. Туалет за этой дверью.

– То есть как – тут?... Как – завтра?!

Но оперуполномоченный, не отвечая, вышел, щелкнул английский замок в двери. Телефона не было, кабинет на четвертом этаже. Да и не прыгать же в окно, если бы кабинет был и на первом.

Придавив гнев и возмущение, Поликарп Матвеевич сел на диван и попытался хладнокровно сообразить: в какое же положение он попал и что, собственно, от него хотят? На арест не похоже, но и на свободу тоже. Да и за что его арестовывать? Дикость какая-то. Иван Савельев... Ну Иван... Нет, нет, не может Иван, не должен был... Тут какое-то недоразумение. А что, если... Ведь в самом деле, вели же следствие. Но Федор Савельев, Анна, жена его?... Нет, нет, это исключено, чушь какая-то. А что, если не чушь? В последнее время раскрыта масса вредительских групп по всей стране. Что, если я... если меня вокруг пальца обводили все – и Федор, и Анна эта?... Да нет же, нет, какая она шпионка?

Все перепуталось, все перемешалось в голове Кружилина. Слишком неожиданно все это обрушилось на него, слишком в неожиданном положении он оказался.

Ночь он провел без сна.

Утром явился с папкой под мышкой Тищенко.

– Я прошу... Я требую: сообщите обо всем секретарю крайкома партии! – почти закричал Кружилин.

– О чем? – спокойно переспросил безусый чекист.

– О том, что вы меня здесь держите!

– Доложим, – отозвался тот, сдувая с рукава гимнастерки соринку. – Если надо будет – доложим.

Он сказал это таким равнодушным, бесцветным голосом, что Поликарп Матвеевич взорвался яростью:

– То есть как – если будет надо?! Что вы за комедию устраиваете?!

– Вы не волнуйтесь, Поликарп Матвеевич. Если не виноваты, вам нечего волноваться.

– Да в чем, черт побери, вы меня обвиняете?!

– Собственно, ни в чем серьезном. Нам надо было уточнить кое-что об Иване Савельеве, о Федоре, о его жене Анне.

– Кроме того, что сказал, я ничего о них добавить не могу. Вам достаточно? Я могу быть свободен?

– Конечно, мы вас отпустим, – усмехнулся Тищенко.

– Вы меня еще не посадили, чтоб отпустить! И не посадите!

– Успокойтесь, Поликарп Матвеевич, – опять сказал Тищенко. – Хорошо, о братьях Савельевых поговорили. А сейчас...

– А сейчас я требую прекратить балаган! Немедленно! Ведите меня к вашему начальнику, в конце концов!

– Он, к сожалению, в командировке.

– Н-ну... ладно, – почти шепотом, в изнеможении, произнес Кружилин. – За всю эту комедию вы ответите.

– Хорошо, ответим. – Тищенко снова сдул какую-то пылинку с рукава новенькой, тщательно отглаженной гимнастерки. – А сейчас объясните мне, пожалуйста, – и в его голосе зазвучал, правда еще не очень натренированно, металлический оттенок, – объясните, почему, на каком основании вы органы внутренних дел называете царской охранкой?

Кружилин секунду-другую тупо смотрел на этого молодого человека в форме, который напоминал чистенького, новенького оловянного солдатика, только что вынутого из коробки.

– Слушай, сынок... – сказал он как-то печально.

– Не рано ли в папаши записываетесь?

– Мне сорок шесть, сорок седьмой пошел. Так вот, сынок... Ты еще и под стол-то пешком не мог ходить, а я уже в Австрии воевал. Меня газами чуть не задушили, потом, вплоть до двадцатого, я партизанил... Я в партии большевиков с тысяча девятьсот седьмого года.

– Я, я, я... удивительно вы скромный человек.

И тут Поликарп Матвеевич не выдержал. Побледнев, он трахнул кулаком по столу.

– Мальчишка! Да я вот этими руками, насколько хватало сил, дрался за советскую власть. Поэтому позволь уж мне не скромничать. А ты хочешь мне своими гнилыми нитками пришить антисоветчину? Во враги этой власти записать? Не выйдет!

– Почему же? – Тищенко пожал плечами. – Если надо, может и получится.

Сказал и поглядел на Кружилина: какой эффект произведет это словечко «надо»? Но, к его удивлению, Кружилин не спеша повернулся, пошел к дивану, покачивая плечами, сел, спокойно закурил.

– Это что же, таким вот способом вы и другим дела шьете?

– А вам не кажется, что это клевета на сталинских чекистов? За такую клевету можно о-очень долго рассчитывать.

– А знаете что? – промолвил Кружилин. – Подите-ка вы к черту.

– То есть как? – опешил Тищенко, привстал. И только потом, задыхаясь, прокричал: – Как вы... смеете?! Встать!

– А так и смею. Я больше не желаю с тобой разговаривать. – И отвернулся к стене.

Оперуполномоченный нервно сгреб со стола бумаги и, вжикая новыми сапогами, вылетел из кабинета.

Остаток дня Поликарпа Матвеевича никто не беспокоил. Хорошо хоть, что в углу, на тумбочке, стоял графин с водой.

Никто не беспокоил его и на третий день, до обеда. А часа в два дверь распахнулась, вошел, почти вбежал, Яков Алейников.

– Поликарп Матвеевич! Ну, дельцы они тоже! Случайно узнаю в управлении, что они тут тебя... «Вы что, говорю, с ума сошли?! Как вы могли даже подумать что о Кружилине? А мы, говорю, секретаря райкома потеряли...» Поехали, я тоже домой.

– Неумно, Алейников, – тихо и отдельно проговорил Кружилин.

Яков умолк на полуслове, вскинул и опустил брови. По его туго обтянутым скулам прокатились и исчезли желваки, натянув кожу, кажется, еще сильнее, до предела.

– Поликарп Матвеевич, – произнес он глуховато, глядя немигающими глазами в глаза Кружилина, – мы преданных партии и советской власти людей не трогаем. Мы их, наоборот, оберегаем. Инцидент с вами объясняется просто, – перешел он вдруг на официальное «вы». – Как-то здесь, в управлении, я шутя рассказал, как вы меня критиковали за мой метод работы... что, мол, я не царской охранкой команду... Они, понимаешь, запомнили эти слова.

– Не ври, Алейников! Я тебе не мальчишка!

– Поликарп Матвеевич!

– Что – Поликарп Матвеевич?! Ты творишь в районе беззаконие!

– Например? – сощурил глаза Алейников. На щеках у него проступили и начали расплываться белые пятна.

– Например, тот же Иван Савельев. Он не виновен. Например, колхозник из Михайловки Аркадий Молчанов. За что вы его-то посадили вслед за Савельевым?

Кружилин задыхался от ярости, сжимал и разжимал кулаки. Крупное его тело вздрагивало, он хотел унять эту дрожь и не мог.

– Дальше? – усмехнулся одними губами Алейников.

– А дальше – так не будет! Мы хотели на бюро райкома заслушать работу райНКВД, кое в чем разобраться... Тебя, видимо, рекомендовали бы снять с работы за нарушение социалистической законности. А ты меня решил для острастки сюда! Не выйдет, братец! Бюро состоится! Мы не позволим выйти... тебе из-под контроля партии...

Алейников молча постоял немного, прошел к тумбочке, налил стакан воды и выпил. Потом сказал спокойно:

– Есть, видимо, вещи, которых вы не понимаете, Поликарп Матвеевич. Никакого бюро не будет.

– Это почему же? По каким соображениям?

– По политическим. Вот вам пропуск на выход...

Не помня себя, Кружилин выбежал на улицу, крупно зашагал в крайком партии.

Секретарь крайкома Субботин, стареющий угловатый человек, щеки которого изрезали глубокие морщины, принял его не сразу, но зато выслушал весь рассказ Кружилина спокойно, внимательно, не перебивая. И только когда Поликарп Матвеевич умолк, проговорил:

– Да, мне звонили. Все это очень неприятно.

– Значит... Значит, я, Иван Михайлович, действительно чего-то не понимаю, как говорил Алейников?

– Так выходит.

– Но – чего? Чего?

– Чего? – невесело переспросил секретарь крайкома. – Многого. Политической обстановки. Пульса времени.

– Что? – Кружилин поднял глаза на секретаря крайкома, оглядел его, будто видел впервые.

Поликарп Матвеевич давно, кажется с ноября 1919 года, знал этого человека, одного из руководителей новониколаевских подпольщиков, потом комиссара одного из полков легендарной Пятой Красной армии. Ну да, с ноября, потому что именно в последних числах ноября 1919 года партизанский отряд Кружилина совместно с этим полком выбили белогвардейцев из Шантары. Потом полк ушел дальше, на Новониколаевск, а этот человек крепко тряхнул ему на прощанье руку и сказал: «Давай, Поликарп, устраивай тут советскую власть. Ты пока отвоевался».

Затем он встретился с ним, кажется, года через два или три, на Барнаульской партийной конференции – в те годы Шантарская волость относилась к Барнаульскому уезду. «Ну вот, и я отвоевался, – сказал этот человек, узнав Кружилина, и опять крепко тряхнул ему руку. – Сейчас, видно, придется потрудиться в уюме партии. Поработаем вместе».

И они работали, часто встречаясь, до самого тридцатого года, когда Шантара отошла ко вновь организованному Западно-Сибирскому краю. На несколько лет Кружилин потерял из виду этого человека, но полтора года назад снова встретились в Западно-Сибирском крайкоме. «А-а, Поликарп Матвеевич! – воскликнул тот радостно и энергично потряс руку. – Видишь, гора с горой не сходится... Опять свела нас судьба! Ну, заходи, потолкуем, что и как у вас в Шантаре...»

Работать с Иваном Михайловичем было легко и приятно. Неизменно мягкий и приветливый, он никогда не горячился, не суетился. Все это как-то не гармонировало с его угловатой, немного нескладной внешностью, но все равно от него веяло покоряющей силой и правотой. Сперва Кружилин не мог разобраться, в чем тут дело, в чем такая покоряющая сила этого человека. А потом понял – в глазах, во взгляде. Разговаривая, Иван Михайлович всегда смотрел на собеседника серыми глазами чуть грустновато, почти не мигая, и казалось, что его взгляд, проникая в душу, видит то, что другим никогда не разглядеть. И странно, что это не оскорбляло и не пугало собеседника, – во всяком случае, он, Кружилин, никогда не испытывал под взглядом секретаря крайкома таких чувств, – это просто лишало возможности что-то утаить, заставляло

выкладывать все, и плохое и хорошее, что есть на душе. И заставляло выкладывать именно потому, что взгляд Ивана Михайловича странным, необъяснимым образом заставлял поверить – перед тобой человек, который все поймет, который не осудит за непонимание каких-то важных вещей, поможет понять то, чего еще не понимаешь.

Именно таким взглядом и смотрел сейчас Субботин на Кружилина.

В просторном, чистом кабинете с потертым ковром на полу долго стояла тишина. Только круглый медный маятник настенных часов лениво и отчетливо ронял на деревянный пол секунды да, колеблемая ветерком, шелестела на окне голубоватая занавеска.

– Но... если я не понимаю таких вещей... – проговорил Кружилин, почему-то мучительно прислушиваясь к стуку маятника, – то как же я дальше... могу работать секретарем райкома?

– Вот и я об этом думаю, – глухо проговорил Иван Михайлович. Кружилин вздрогнул, медленно поднял голову. Секретарь вздохнул, поднялся. – Ладно, Поликарп, езжай домой.

Из крайкома Кружилин вышел со звоном в голове, с каким-то необычным чувством – его, Кружилина, кто-то долго и старательно жевал, но глотать почему-то не стал, а, смятого и изжеванного, выплюнул в дорожную пыль.

На вокзале Кружилин подошел к ободранной стойке, выпил залпом стакан теплой водки и, не чувствуя ничего, кроме тошноты и отвращения, сел в поезд.

«Как же так? – думал он всю дорогу под стук колес. – Ну ладно, пусть не понимаю... Почему же он, Иван Михайлович, не объяснил мне, чего я не понимаю... Ведь он может объяснить...»

Вернувшись в район, Кружилин остервенело взялся за дела, день и ночь мотался по селам и деревням. В разгаре был сенокос. Поликарп Матвеевич иногда сбрасывал гимнастерку, брал вилы, становился возле стога и, обливаясь потом, целыми днями метал тяжелые пахучие пласты.

Однажды он вот так же проработал весь день в михайловском колхозе. Стога ставили на лугу возле Громотухи. Вечером Кружилин выкупался в прохладной реке, сел на каменную, уже нахолодавшую плиту, стал слушать, как ворчит Громотуха на перекате. Сзади простучали дрожки, слышно было, как они остановились, как кто-то подошел.

– Ну что, Матвейч, наработался? – По голосу Кружилин узнал михайловского председателя Панкрата Назарова.

– В охотку оно хорошо ведь, Панкрат. Кровь разгоняет.

– Хорошо, – согласился его бывший заместитель по партизанскому отряду, присел рядом, загреб в кулак свой широкий подбородок. – Только охота порой пуще неволи бывает.

Кружилин покосился на Панкрата, торчащего в полусумраке каменной глыбой, но ничего не сказал.

– А ведь по этому броду мы тогда перебирались, как от Зубова-то убегали. Помнишь, поди?

– Как же, – откликнулся Кружилин. – По этому.

Потом долго молчали, думая каждый о своем.

– Ну а что там про Ваньку Савельева слышать?

– Не знаю. Что услышишь?

– Ну да, ну да, – дважды повторил Панкрат. – А ить невиновный все же он. За напраслину мыкается. – И наверное, потому, что Кружилин никак не отозвался на эти слова, спросил: – Как же это? Что ж ты-то? Ведь секретарь...

Что было ответить Кружилину? Долго он молчал.

– Объяснить тебе – так и не поверишь... что и секретарь райкома порой бессилён что-либо сделать.

Шумела река, на западе мутнели последние клочки облаков, будто их, как комья снега, съедала, разливаясь по всему небу, черная вода. Ночь обещала быть глухой, непроницаемой – и почему-то казалось – бесконечно долгой.

– Да-а, – вздохнул Назаров, полез за кисетом. – Живешь подольше – узнаешь побольше. Это так... Брательник это его засадил, Федька. А вот – почто? Зачем? Ты-то как думаешь?

– Что же я, Панкрат? Не знаю, – признался Кружилин. И, уже думая не столько о Федоре Савельеве, сколько об Алейникове, прибавил: – Громотуха вот летом шумит, а зимой молчит. Это понятно. А что с людьми происходит, трудно порой разобраться. Видно, хорошо ты сказал: чтобы узнать побольше, надо пожить подольше.

Они вместе встали, дошли до Панкратова ходка.

– Ну, прощай, Панкрат... Пойду запрягать своего Карьку.

– Про Агату я хотел еще сказать... Бригадиром ее, думка есть, поставить.

– Бригадиром? Мужчин, что ли, нет в колхозе?

– Куда они делись? Да иная баба дюжины мужиков стоит.

Назаров ждал, что ответит Кружилин.

– Не надо ставить, – негромко уронил тот в темноту.

Председатель вздохнул:

– А ежели на молочную ферму ее?

– Не надо и на ферму. Ничего не надо, Панкрат, пока. Пусть так...

– Ну да... Видать, твоя правда, так оно пока лучше будет.

После происшествия в Новосибирске, после разговора с секретарем крайкома Кружилин все же не оставил намерения заслушать и обсудить на бюро работу райНКВД. Но в первые дни после всех этих передряг никак не мог собраться с мыслями. Поездки по району немного успокоили его. Вернувшись в Шантару, он дал работникам райкома указание готовить материалы на бюро.

На другой же день утром позвонил Алейников.

– Слушай, тут твои работники пришли. Требуют какие-то материалы.

– Это не мои работники, а сотрудники райкома партии.

– Так вот... – Алейников секунду-другую помедлил. – Никаких материалов я им не дам.

– В таком случае что же, будем разбирать на бюро райкома персональное дело коммуниста Алейникова.

Трубка опять помолчала несколько секунд. Поликарп Матвеевич слышал только, как редко и тяжело дышал на другом конце провода Алейников.

– А я, Поликарп Матвеевич, очень боюсь... – послышался наконец ровный, негромкий, какой-то страшный своей медлительностью и отчетливостью голос Алейникова. – Я очень боюсь, как бы не пришлось нам разбирать на бюро персональное дело другого коммуниста... коммуниста Кружилина. А этого мне очень бы не хотелось... – И Алейников положил трубку.

Поликарп Матвеевич в ярости заходил по кабинету. Чуть успокоившись, он снова позвонил Алейникову. Но бесстрастный женский голос ответил, что Яков Николаевич уехал по делам в район и вернется не скоро.

– А когда именно?

– Не знаю...

Кружилин принялся звонить в крайком. Но Ивана Михайловича не оказалось на месте. Не было его и на второй и на третий день. А на четвертый секретарь крайкома позвонил сам.

Поздоровавшись, Субботин вдруг начал спрашивать о здоровье, о житье-бытье Кружилина, что сразу же насторожило Поликарпа Матвеевича.

– В чем дело, Иван Михайлович? Говорите сразу.

– А дело в следующем, Поликарп... У крайкома есть мнение перебросить тебя в Ойротию. Там слабоваты национальные кадры, помогать надо...

– Так... Понятно... – промолвил Кружилин.

– Что «понятно»? – голос секретаря крайкома посуровел. – Ты отбрось-ка задние мысли. Дело партийное.

– Куда же конкретно хотите меня? В какой аймак? Так, кажется, районы в Ойротии называются?

– Направишься в распоряжение Ойрот-Туринского обкома. Они там лучше решат, как тебя использовать...

...В Ойротской области Кружилин проработал до начала 1941 года на должности заместителя председателя райисполкома одного из самых глухих районов. Он совершенно потерял из виду Ивана Михайловича и Алейникова, потому что Ойротия вошла в состав организованного в том году Алтайского края.

Поликарп Матвеевич уже смирился со своей участью, уже решил, что никогда не встретится больше ни с тем, ни с другим. Но в январе нынешнего года его вдруг вызвали в Барнаул и сообщили, что по просьбе Новосибирского обкома партии Алтайский крайком нашел возможным освободить его в ближайшее время от работы и направить в распоряжение Новосибирска.

«Это – Иван Михайлович!» – почему-то сразу же подумал Кружилин.

...А еще через полмесяца его опять избрали секретарем Шантарского райкома партии.

– Постой, а Алейников все там же работает ведь? – спросил Кружилин у Ивана Михайловича, перед тем как ехать на районную партконференцию.

– Все там же.

– Но ведь... насколько я понимаю, именно из-за Алейникова...

– Ну, время идет, – перебил Иван Михайлович. И было видно, что секретарь обкома не желает об этом разговаривать. – Я думаю, оба поумнели немного, теперь сработаетесь.

Поликарп Матвеевич и понимал и не понимал, о чем говорит секретарь обкома. Времени действительно прошло немало – трудного, лихого. Громкие судебные процессы над участниками троцкистско-бухаринского блока в тридцать шестом, тридцать седьмом, тридцать восьмом годах заставили Кружилина на многое смотреть по-другому. В том числе и на то, что делал в районе Алейников. Что ж, видимо, враги советской власти к концу второго десятка лет ее существования действительно по-настоящему подняли голову. Этому хочешь – верь, хочешь – не верь, а Киров был убит, один за другим пали от их рук Менжинский, Куйбышев, Горький, ходили слухи о покушении на Молотова, на самого Сталина. Нередко взлетали на воздух заводы, то и дело чекисты раскрывали заговоры, обезвреживали диверсионные группы. Что ж, видимо, были в чем-то виновны и Иван Савельев, и тот незаметный и тихий колхозник по фамилии Молчанов, которых арестовал Алейников? Может, действительно Савельев продал цыганам тех двух несчастных жеребцов, а Молчанов решил его выгородить? Одни убивают руководителей партии и государства, другие вредят советской власти иным способом – кто как может. Но ведь и Панкрат Назаров, и другие михайловские колхозники оправдывают Савельева, не верят в его вину. Значит, и они вредители?

Разобраться во всем этом до конца, докопаться до истины было невозможно. И от этого кругом шла голова.

Но самое непонятное, а потому самое страшное для Кружилина было даже не в этом. А в том, что Яков Алейников тогда, еще в середине тридцать шестого, не позволил райкому разобратся в работе районных чекистов, пресек первую же попытку райкома в этом направлении.

Эти мысли Поликарп Матвеевич носил в себе тяжким грузом, не с кем было посоветоваться, некому было их высказать.

После отъезда Кружилина в Ойротию первым секретарем Шантарского райкома партии стал бывший работник Новосибирского обкома, некто Полипов Петр Петрович – человек грузный, приземистый и молчаливый. Все в нем было какое-то широкое – широкие плечи, широкие скулы, широкий лоб. Даже нос был с широкими, как крылья, ноздрями. Кружилина он

встретил внешне бесстрастно, только вскинул набрякшие веки, секунду-другую оглядывал его большими холодными глазами. «Пьет, что ли?» – мелькнуло у Кружилина.

И Яков Алейников встретил Кружилина молчаливо, сдержанно, не выказал ни радости, ни раздражения. Он очень изменился за эти несколько лет, сильно постарел, волосы, все так же гладко зачесанные назад, приметно поредели, на макушке явственно обозначалась будущая плешь. Поредели даже, кажется, его лохматые брови, косой рубец на щеке сделался каким-то багрово-синим. «Что за черт, и этот пьет, что ли?» – опять подумал Кружилин.

Да, изменился Яков Алейников, и вообще много изменилось в районе. Все районные организации возглавляли новые, совершенно незнакомые люди. Кружилин знал, что некоторые из тех, с которыми он работал до отъезда в Ойротию, были арестованы. Арестован председатель райпотребсоюза Василий Засухин, бессменный начпрод в бывшем партизанском отряде. Когда отряд бывал в окружении, когда казалось, всех ждет неминуемая голодная смерть, Засухин ухитрялся непостижимым образом доставать где-то продовольствие – то с полдюжины отощавших баранов пригонят или притащат на плечах его люди, то привезут несколько кулей муки. Арестован заведующий райфинотделом Данило Кошкин, которого в отряде звали в шутку Данило-громило. Обычно тихий, неприметный, в бою он преображался, глаза лихорадочно загорались, Данило бросался в самые опасные места. По этой причине он и получил свое прозвище. Арестован и председатель райисполкома Корней Баулин, бывший начальник штаба партизанского отряда. За что, какова их судьба – спрашивать было нельзя, да и бесполезно. И он, Кружилин, этого никогда не узнает, если Алейников, задумчиво и уныло как-то сидящий сейчас на подоконнике, сам не расскажет или хотя бы не намекнет об этом...

В кабинете стояла мертвая тишина. За окном, куда глядел Алейников, истекал жарой самый длинный день в году. Сваренные зноем листья молодых топольков, растущих в палисаднике, висели черными лоскутьями. Поверх топольков в мутном и душном небе громоздились тяжелые иссиня-белые комья облаков, грозя с грохотом обвалиться на землю.

– Гроза будет, – сказал Алейников.

– Яков Николаевич, мне надо подготовиться к выступлению на партактиве, – промолвил Кружилин. – Если у тебя нету ко мне срочных дел...

– Срочных... – усмехнулся Алейников. – У человека все дела срочные, поскольку жизнь отмерена ему от звонка до звонка.

Как-то необычно звучали эти слова в устах Алейникова.

– Сегодня Иван Савельев из тюрьмы вернулся, – вдруг сказал Алейников. – В эту минуту к дому, наверное, подходит.

– Ну... и что же?

– Ничего... Отсидел – пусть живет. – Помолчав, он медленно повернул голову к Кружилину: – Чего ж не упрекаешь – зазря, мол, сидел, напрасно страдал?

Кружилин, прищурился глазами, в упор смотрел на Алейникова.

– Ты, Яков, что? Опять провоцируешь?

Алейников вздрогнул почему-то, точно его ударили, слез с подоконника, сел на стул возле стола Кружилина.

– Я думал – не вспомнишь. Не надо, Поликарп. Сложно все...

– Что – все?

– А все. И то, что Корней Баулин, Кошкин, Засухин арестованы, а ты снова здесь, снова секретарем райкома...

Алейников говорил, закрыв лицо руками. А Кружилин все больше и больше изумлялся.

– Тогда, в тридцать шестом, если бы ты не уехал, я бы тебя... наверное... Этот секретарь обкома... или, по-тогдашнему, крайкома, тебя уберег, отправил в глухой далекий угол... А тут Ойротия к Барнаулу отошла! Да, он, этот Субботин, умница...

– Но... погоди-ка, Яков, – сказал Кружилин, отодвигая лежавшие перед ним бумаги в сторону. – Если так, давай по порядку, Яков...

– Не надо. Ничего не надо. Ни по порядку, никак, – мрачно произнес Алейников, вставая. Вошла Вера с последними отпечатанными листками его выступления, положила их на стол.

– Я сегодня больше не понадоблюсь?

– Нет. Иди отдыхай.

– Как тебе с Полиповым работается? – вдруг спросил Алейников, когда девушка вышла. После приезда Кружилина Полипов был избран председателем райисполкома.

– Как работается? – пожал плечами Кружилин. – Трудно за три-четыре месяца какие-то выводы делать. Сперва показалось – он вроде обижается, что на советскую работу перевели. Но, кажется, он просто по природе молчалив.

– Ну да, – неопределенно уронил Алейников. – Ладно, я пойду. – И двинулся к двери. Но, толкнув ее, остановился, потер пальцами висок. – Я, собственно, что-то ведь хотел спросить у тебя... Да, насчет этой девушки... как ее?

– Вера Инютина?

– Да, да... Как она печатает? Хорошая машинистка?

– Хорошая.

– Не уступишь ее мне? Мне, понимаешь, хорошая машинистка нужна...

– Бери, что же, если подходит. Если она согласится.

– А впрочем, ладно. Найду где-нибудь другую, – сказал вдруг Алейников. – До свидания.

Алейников ушел, а Поликарп Матвеевич долго еще смотрел на дверь, пытаясь собрать свои мысли. С Алейниковым что-то вроде опять происходит. Но что?

Кружилин знал, что в личной жизни у Якова произошла трагедия – в тридцать шестом году погиб его сын. Купаясь в Громотухе, он вместе с другими ребятами взобрался на паром. Когда паром был на середине реки, ребяташки с визгом попрыгали в воду и поплыли к берегу. Прыгнул и сын Алейникова, но мальчик даже не скрылся под водой, тело закачалось на поверхности тяжелым поплавком, густо окрасив воду кровью.

Весной, в большую воду, по Громотухе сплавляют много леса. Особенно смолистые, тяжелые, как камень, бревна нередко тонут. Однако течение все-таки волочит потихоньку вниз топляки; цепляясь за коряги и камни, они медленно ворочаются под водой. Нередко случается, что тяжелые бревна легко, как бумагу, пропарывают днища паромных карбузов.

Об такой топляк и ударился головой сын Алейникова.

А через полгода от Якова ушла почему-то жена. Кружилин знал ее плохо. Это была женщина высокая, красивая, гордая, но, кажется, добрая и умная. При редких встречах она всегда здоровалась первая, приветливо улыбалась, но проходила мимо торопливо, высоко вскинув маленькую головку с короткой, почти мальчишеской стрижкой. Звали ее Галина Федосеевна, она была врач, работала в районной больнице. Там же работала и жена Кружилина. Она рассказывала, что Галина Федосеевна хороший врач, но в больнице ее не любили и боялись. Видимо, из-за мужа.

Яков привез ее из Новосибирска зимой тридцать четвертого или в начале тридцать пятого года. До Алейникова она была уже замужем, в Шантару приехала с восьмилетним мальчиком. И Яков, кажется, любил неродного сына. Своих детей у него не было...

Поликарп Матвеевич расхаживал по кабинету из угла в угол, ворошил седые волосы, раздумывая об Алейникове, о Субботине, который сегодня открылся вдруг ему в каком-то новом свете. Да, действительно, Иван Михайлович, кажется, спас его от ареста, отправив в глухой далекий район. Он, Кружилин, не щадя жизни, не думая о своей жизни, дрался за советскую власть, потому что это народная власть. Потом он все силы и весь ум, какой у него был, отдавал тому, чтобы укрепить эту власть. Но оказалось, что его, даже его, вдруг от кого-то и зачем-то

надо спасать, оберегать... Если так, если Субботин все понимал еще тогда, в 1936 году, почему он искренне и прямо, как коммунист коммунисту, не сказал, что же происходит в стране? Тогда неизбежно встал бы конкретный вопрос – почему коммуниста Кружилина надо спасать от коммуниста Алейникова? Ну что же, и встал бы, и на него должен был бы ответить, если мог (а кажется – мог!), секретарь крайкома партии. Должен был, обязан был – по занимаемой должности, по возрасту, по партийному стажу. Но не сказал, не ответил. Почему?

Долго еще Кружилин ходил по пустому кабинету. Он не заметил, как потемнело. Очнулся, когда над крышей оглушительно лопнул гром и мелкими осколками скатился куда-то в сторону Звенигоры.

«Мысли – мыслями, вопросы – вопросами, а кто все же из обкома к нам на актив придет?» – подумал он и снова закрутил телефон.

– Алло, Катя? Ну что же, дочка, город?

Новосибирск по-прежнему молчал.

* * *

Выскочив из райкома, Вера Инютина глянула на заваленное тяжелыми облаками небо и быстро пошла за деревню, к громотухинской протоке.

Едва миновала опоры электропередачи – ударил первый раскат грома. Сзади, над Шантарой, уже моталось рваное пепельно-серое полотнище дождя. Сняв туфли, она побежала. Но стена дождя была все ближе. И вот первые редкие капли, как пули, тяжело и глухо ввинтились вокруг нее в дорожную пыль, дробью хлестанули по спине, по шее.

– Э-эй, рыбаки, где-е вы?! – закричала она, оглядывая пустынный берег Громотухи.

Из-под яра выскочил Семен, замахал руками. Ударила ослепительно молния, растеклась сотней изломанных ручейков по всему небу и потухла. Стало темно, и в этой темноте тихонько почему-то гугукнул гром, и тут же с шумом, с ревом обрушился ливень.

Семен что-то кричал, карабкаясь на яр. Он подбежал, грубо схватил ее, промокшую до нитки, толкнул вниз по скользкому уже обрыву, заволок под затравеневший земляной козырек.

– Под грозой, в голой степи?!

– Это верно, расколола бы молния головешку-то надребезги, – сказал Колька и хихикнул.

– Поболтай у меня! – прикрикнула Вера на брата, строго оглядела безмолвно стоявших у земляной стены Димку и Андрейку, обдернув платье, туго облепившее ноги, тоже стала к стенке, касаясь плечом Семена.

Река молочно пенилась под дождевыми струями.

Так они стояли долго. Вера чувствовала сквозь мокрое платье горячее тело Семена, голова у нее чуть кружилась.

Наконец дождь кончился. Димка, Андрей и Колька тотчас побежали к воде и замахали удилищами.

Продавив лучами рыхлые, обессилевшие комья облаков, расшвыряв их в стороны, показалось солнце. Громотуха снова засверкала и заискрилась. Речной галечник, быстро просыхая, дымился по всему берегу.

– Удочку тебе смастерить, что ли? – спросил Семен у Веры. – Леска у меня запасная есть. – И вдруг обнял ее, притянул к себе.

– Еще чего! Ребятишки-то вон... – сердито воскликнула она и пошла по берегу прочь, вверх по течению.

– Вера!

Она не откликнулась, ступила вдруг в воду и побрела через протоку на остров. Глубина в том месте была небольшая, вода доходила ей всего до пояса. Но она шла, почему-то высоко над головой поднимая туфли.

Семен сел на теплые камни, закурил, поглядывая на Веру. Она перебрела на остров, вышла на песчаную косу, сняла и выжала платье, развесила его на ветках кустарника и легла на песок. Смуглое, загорелое тело ее почти сливалось с рыжим песком, было незаметно.

Семен не мог понять, любит он Веру или нет. Они всю жизнь прожили рядом, на виду друг у друга, учились в одном классе. В детстве Семен часто поколачивал ее, потому что Верка всегда совала свой конопатый нос куда не нужно, всегда выведывала их мальчишечьи секреты. Побой она переносила молча, никогда не жаловалась. Это вызывало у Семена уважение к ней, ему было после драк всегда стыдно. Верка, видимо, чувствовала это, смело подходила, стараясь заглянуть в глаза, говорила:

– Ну что ты, не надо. Ты думаешь, я такая, да? А я – не такая.

А вот это Семену уже не нравилось. И то, что она понимает его состояние и что уверяет, будто она какая-то не такая. «Что, у нее гордости, что ли, нету?» – думал он. И еще он думал, что она, наверное, хитрая.

Когда у Веры начали вспухать бугорки груди, Семену было почему-то стыдно, он избегал встречаться с ее круглыми, как воробьиные яйца, глазами. И опять она все понимала. Поймав на себе его случайный взгляд, она, сама до ушей наливаясь краской, кричала:

– Чего глаза пялишь? Бесстыжий!

«Хитрая», – решал Семен, хотя, как и прежде, не понимал, в чем ее хитрость да и есть ли она в ней вообще.

Года через два Вера превратилась в хрупкую красивую девушку. Ноги ее стали стройными, крепкими, тонкие, всегда бесцветные губы припухли, зарозовели, круглые глаза удлинились, словно прорезались в стороны, и уже не походили на воробьиные яйца. От всего ее прежнего облика остались только веснушки вокруг носа, но и их стало меньше.

– А знаешь, Верка, если бы веснушки совсем исчезли, мне было бы жалко, – однажды неожиданно для самого себя сказал Семен. Была весна, он и Вера оканчивали десятилетку, через три дня начинались экзамены. Весь их десятый класс решил устроить коллективный поход за Громотуху, в заливные луга, за цветами, чтобы украсить классы, где будут проходить экзамены.

– Чего? – обернулась Вера, набравшая уже большой букет. И лучисто улыбнулась. – Вот чудак...

Ее подбородок был измазан цветочной пылью.

Когда переправлялись на пароме в село, Семен стоял у перил, смотрел на мутную, еще не успевшую осветлеть воду и видел там, в этой воде, Верины лучистые глаза и ее подбородок, измазанный желтой пылью.

– Слушай, Сем, – услышал он ее шепот. – Давай удерем сегодня в кино?

– А экзамены? Готовиться надо же...

– Подумаешь... Сдадим, – все так же заговорщически прошептала девушка.

Семен еще никогда не ходил в кино с девочками. В клуб он вошел как в пыточную камеру, ему казалось, что все с удивлением и осуждением смотрят на него.

– Вот чудак, – опять, как днем, сказала Вера, толкнула его незаметно кулаком в бок. – Да ты чего? Подумаешь...

Обратно они шли молча. За Шантарой где-то розовела еще узенькая полоска неба, но быстро таяла, гасла, как догорающая спичка. Над головой мигали, покачиваясь, белые крупные хлопья звезд.

Они дошли до дома и остановились под плетнем. Надо было прощаться, но Семен не знал, как это сделать.

– Я думала, ты умрешь в клубе со страха, – сказала Вера.

Это Семена разозлило.

– Я? Я? – Он схватил ее за плечо. Она сразу подалась, прижалась к нему. Чувствуя коленями ее мягкие ноги, он ткнулся губами в ее щеку.

«Вот и все... А дальше что?» – застучало у него в голове. Он стоял, не отпуская Веру, и она не собиралась освободиться.

Он не раз слышал рассказы деревенских парней, как они смело и решительно обращаются с девками, и решил, что теперь, видимо, надо взять Веру за грудь. Он это и сделал, ощутив, как часто и сильно колотится под ладонью ее сердце.

– Ну-у, а это, Семушка, еще рано, – спокойно произнесла она, сняла его руку. И то, что она сказала это ровным, хозяйским каким-то голосом и что не откинула его руку, а просто взяла и сняла ее тихонько, обидело, оскорбило Семена, чем-то замарало вроде. – А ты не такой уж и стыдливый, – промолвила она, прислоняясь к плетню. – Правда, когда темно. – И хохотнула. – Пойдем походим маленько?

Не дожидаясь согласия, взяла его за руку, потянула.

Неприятное чувство к Вере быстро прошло, ему снова захотелось обнять ее. Но он боялся спугнуть в себе состояние покоя и тихой радости, вдруг охвативших его. И ему казалось, что Вера испытывает то же самое.

– Что ты собираешься делать после школы-то? – спросила она.

– Не знаю. В армию ведь скоро. А пока отец советует в МТС податься. На курсы трактористов.

– А что? Неплохо. Тракторист в деревне – первый человек. А мне вот никто ничего не посоветует. Счетоводом, может, куда пойду. Или секретарем-машинисткой. А целоваться, Сема, вот так надо... – И она взяла Семена за голову, крепко поцеловала.

Семену опять стало неприятно, он почти оттолкнул ее.

– Сема, да ты что?!

– Ничего... Где так целоваться-то научилась?

– А, вон что! – В темноте глаза ее блеснули пронзительно и ярко. Потом уткнула голову ему в грудь. – Ах, Семушка, Семушка... Ну, я какая-то... Вижу все поглубже, чем ты. Но ты ничего такого не думай. Я – честная. Я берегу себя для кого-то. Вот для тебя, может. Ты... ты любишь, что ли, меня?

– Не знаю я...

– И я не знаю, – произнесла она. – Видишь, я ведь сама к тебе... на тебя повесилась. Это я все понимаю. Нехорошо, может. Но ты мне нравишься. А люблю ли – не знаю.

Такая откровенность Семену понравилась...

И вот они встречаются уже два года. От призыва в армию Семен получил отсрочку, потому что в шантарской МТС не хватало механизаторов.

– Может, и вовсе не возьмут, – радовалась Вера.

Однажды (было это в прошлом году, в звездную августовскую ночь), когда они нацеловались до боли в губах, Вера вдруг вырвалась, отбежала и, присев на землю, заплакала.

– Не прикасайся ко мне! – закричала она, когда Семен подошел.

Успокоившись, сказала задумчиво:

– Знаешь, Сем... Я будто бы люблю тебя. А ты?

– И я вроде тоже... Тянет меня к тебе.

Она вскинула искрящиеся в жидком лунном свете глаза и опустила их.

– Ну, тянет – это еще не любовь. Твоего отца и мою мать тоже тянет... – Но умолкла на полуслове, испугавшись.

– Как – тянет? Куда – тянет?

– Никуда. Так я... – быстро проговорила она. – Ох, Семка ты, Семка! Пропаду я с тобой! – И побежала в степь.

В ту ночь они убрели далеко за Шантару, до рассвета лежали на забытой, почерневшей от дождей копне сена, смотрели, как чертят небо густо падающие звезды.

– Почему же ты пропадешь со мной? – спросил Семен.

– Ты, Сема, честный парень, не добиваешься, чего до свадьбы не положено, – заговорила Вера, помолчав. – Это хорошо, я с тобой без опаски. А с другой стороны, может, и плохо.

– Непонятно...

– Плохо, если вообще ты в жизни так будешь жить. Жизнь легкая тому, кто не раздумывая берет, что ему надо. Хватает цепко...

Заложив руки под голову, Семен глядел на блеклое ночное небо, усеянное в беспорядке звездами, думая о ее словах. Где-то с краю небо уже набухало синью, звезды там мигали торопливее и беспокойнее, а потом беззвучно гасли, тонули в этой сини.

– Вот мой отец – рохля. Ему и в жизни ничего не дается. Кроме пьянства. А твой отец не такой, не-ет, я вижу...

– Что ж ты видишь?

– А всё, всё... Он умный жить. Он развернется еще. А вот ты? – Вера склонилась над Семеном. И он осязательно почувствовал, как ее глаза шарят по его лицу, как ее черные, невидимые в темноте зрачки неприятно оплетают лоб, щеки, губы словно паутиной. – А вот ты – такой же, как твой отец, а? Семушка, родимый, помоги же мне понять! То кажешься ты мне – такой, то чудится – нет, не такой... а больше на моего отца похожий...

Семен порывисто приподнялся, провел ладонью по лицу, точно оно и впрямь было облеплено паутиной.

– Фу ты!.. Такой, не такой... Что с того? Тебе-то что?

– А как же, Сема?! Я – женщина, баба. Мне замуж за кого-то выходить. У девки до замужества – одно богатство. Отдать его надо не зря, не попусту, не кому попало. А то после-то кто меня возьмет? Кому объедки чужие нужны?

– Мразь ты, однако! – И он пошел.

– Семка, милый... – Она догнала его. – Ну, прости, ежели что я не так сказала. Я – открытая ведь. Сказала, а ты выбирай. Люба я тебе со всем, что у меня есть, – бери меня. Не прогадаешь. Пластом стелиться буду... Ноги твои мыть и воду пить. Я – такая...

– Отстань ты! – закричал он, стряхивая с плеч ее руки.

– А ты, чем так, ударь меня лучше! Ну, ударь!

– А что же ты думаешь?! Ты мужа выбираешь, как цыган лошадь, – по зубам!

И, размахнувшись, ударил ее по лицу.

Вера качнулась, но с места не тронулась, только чуть сторбилась, всхлипнула. Стянула с головы платок, вытерла слезы. И лишь потом пошла прочь, больно резанув его невидимыми в темноте зрачками...

Семен решил, что покончил с Верой раз и навсегда. Однако через два-три дня его начали мучить угрызения совести. Если и рвать с ней, то это надо было сделать не так грубо и бесчеловечно. Да и что она такое ему сказала? Каждая девушка хочет выбрать себе мужа не только поприглядней, но и позацепистей, что ли, в жизни. Не каждая лишь так вот прямо скажет об этом. А Верка сказала. Что ж тут плохого? И, кроме того, она красивая. Для других, может, и нет, но ему нравилось в ней все – острый взгляд длинноватых, чуть раскосых глаз, крапинки вокруг носа, припухшие, жадные до поцелуев губы, гладкая, немножко скользкая, как шелк, ее кожа.

Но тут его послали убирать хлеба в михайловский колхоз. «Ну и все! – подумал он даже с облегчением. – Это конец».

Но это был не конец. Когда он, уже глубокой осенью, вернулся в Шантару и, вымывшись в бане, шел огородом к дому, от плетня, который разделял усадьбы Савельевых и Инютиных, качнулась в сумраке легкая тень.

– Семка, изверг ты... Ведь я извелась прямо вся. Семушка, милый... – Вера ткнулась лицом в его распахнутую, влажную еще после бани грудь.

От неожиданности Семен растерялся.

– Ударил я тогда тебя. Извини...

– Нашел что вспоминать! Покрепче надо было... – В глазах девушки подрагивали две звездочки. Семен отводил свой взгляд, остерегаясь встретиться с ее зацепистыми зрачками. Он теперь их боялся. – Сем, да ты чего? Ну, глянь на меня! Да люблю, люблю же я тебя!

– Я, Вера, много думал об нас с тобой... – Семен отстранился. – Ты брюхом хочешь жизнь прожить. А жить надо сердцем.

– Глупенький! Вот глупенький! – Она беззаботно и радостно засмеялась. – Жить надо, Сема, по-разному. И брюхом, и сердцем. Я не люблю таких, которые только – сердцем. И даже жалею их.

– Почему?

– На яички-болтуны они похожие. Сидит-сидит на них курица, а все зря. Так ничего из них и не вылупится. – Помолчала и добавила: – Вроде и не на земле живут. Бесполезные люди. «Может быть, она и права...» – опять подумал Семен.

И все началось у них с начала...

После Нового года она уже прямо начала спрашивать, когда же они поженятся. Семен отшучивался, отвечал неопределенно. Вера двигала тонкими бровями, розовые крылышки ноздрей у нее недовольно раздувались.

Как-то холодным мартовским вечером Семен убирал скотину. Накидав корове и двум овечкам сена, он вышел во двор и залюбовался закатом. Раскаленное докрасна небо дымилось, а самый его край, который касался земли, уже подплавился, подплыл янтарной жижей. И туда, в жидкий янтарь, медленно опускалось огромное, кроваво-красное солнце и словно само плавило, таяло, как кусок масла на горячей сковородке. Последними лучами солнце обливало еще землю, багрово отсвечивало в окнах инютинского дома. Пробиваясь сквозь ползущий со стороны ночи холодный туман, оно бледно окрашивало угрюмые скалы Звенигоры, трепетало на заснеженных холмах. И от этого казалось, что камни шевелятся, что вся огромная гора тяжело ворочается в зыбком вечернем тумане, укладываясь на ночь.

Семен стоял, опершись о вилы, смотрел на такое чудо и улыбался, не замечая, не сознавая, что улыбается.

В себя его привел скрип калитки. Вбежала Вера, ни слова не говоря, потащила на сеновал. Там со смехом опрокинула на спину, навалилась, принялась целовать холодными губами. Поцелуи ее были как укусы.

Семену было жалко, что она не дала досмотреть закат.

– Ненормальная ты.

– Ага, я – такая, – согласилась Вера и, прижимаясь плотнее к нему, зашептала в ухо просяще и тоскливо: – Семушка, ну когда же? Свадьба-то? А? Сем?

Семен вздохнул.

– Выбрала, значит, мужа? – И с неприятным чувством опять подумал, вспоминая, что ее поцелуи были похожи на укусы.

– Ага, выбрала.

– И жалеть не будешь?

– Никогда, никогда, – дважды мотнула она головой.

Семен подавил новый вздох, сел. Вера вдруг беззвучно заплакала.

– Чего ты еще?

– Будто я на смерть тебя волоку. На аркане, – с обидой сказала она. – А мне дома глаза стыдно показывать. Я слышала, как отец выговаривал на днях матери: «Что у них с Семкой-то? Гляди, притащит тебе сокровище в подоле...» Так что, Сема, надо или к берегу, или от берега в разные стороны...

– Ну ладно, – помолчав, вымолвил Семен. – Сейчас какая свадьба может быть? Давай – осенью.

– Давай, – сказала Вера, по-детски вытерла кулаками глаза. – Так я и дома скажу. И ты своим скажи...

Поговорить об этом с родителями для Семена было не так просто. Собственно, мать сразу, с полуслова, поняла бы его. Да она, кажется, все знает, догадывается, хотя никогда ни одним жестом, ни одним словом не показывает этого. Другое дело – отец. Семен знал, что отец не любит его. И сам Семен не любил отца. Они всегда были друг для друга чужими. Почему – Семен понять не мог, да и никогда не пытался разобраться в этом. С тех пор, как Семен помнит себя, отец был ему уже чужой. Не было случая, чтобы отец как-то приласкал Семена, сказал ему дружеское слово. Он всегда проходил мимо Семена как мимо пустого места. Семен принимал это как должное и платил отцу тем же.

Потом Семен узнал, почувствовал детским чутьем, что отец не любит и мать, не уважает ее. С тех пор пропасть между ними сделалась еще глубже, стала год от года шириться.

Однако не это было главным. Главное было в самой Вере. Семен знал, что она будет хорошей, преданной женой, но его пугала ее хладнокровная расчетливость, с которой она подходила к людям, к жизни, к самой любви.

Так до сих пор родителям он ничего не сказал.

И вот – до осени не так уже далеко, Вера давно перестала спрашивать, любит или не любит ее Семен, она просто ждет осени, и только Семен без конца задает себе этот вопрос. Чем ближе осень, тем чаще задает. А чем чаще задает, тем становится мрачнее и раздражительнее. И что странно – Вера по-прежнему нравится ему, нравится ее лицо, ее глаза, все ее тело. Но едва подумает о свадьбе – там, за этой чертой, ему ничего не видится, там черная, пугающая пустота. Как все это объяснить Вере? Да и надо ли объяснять? Все равно назад пути нету. Да он, кажется, и не хочет, чтобы был...

Камни после дождя давно высохли и перестали дымиться, накалились, солнце по-прежнему палило безжалостно и нестерпимо. Где-то за спиной сухо и монотонно трещали кузнечики.

– Ты что, Семен? – крикнул, подбегая, Колька, схватил ведро. – Клёв-то здоревенный!

– У меня просьба к тебе, Николай... – проговорил Семен. – Мне надо... в одно место тут сходить. Ты присматривай за Димкой и Андрейкой.

Колька мотнул крючковатым носом, ухмыльнулся.

– Понятно. – И вприпрыжку побежал по берегу.

Семен поднялся и пошел в другую сторону. Потом снял брюки, рубашку и побрел через протоку, к острову.

Едва он ступил в воду, Вера, неподвижно лежавшая на песчаной косе острова, вскочила, натянула платье и скрылась в кустах.

Перебравшись на остров, Семен долго бродил по зарослям, звал ее, но она не откликнулась. Он уже начал сердиться, когда Вера кошкой бросилась на него из лопухов, со смехом повалила в траву, начала целовать. Семен легко подмял девушку под себя, увидел прямо перед собой, близко-близко, ее испуганные, дикие глаза, в которых подрагивали желтые точки, и почувствовал, как по его жилам разливается огонь, а мысли, сознание – все заволакивается жарким, тяжелым туманом.

– Семка, не смей! Не смей... – услышал он как из-под земли Верин голос. Это его сразу отрезвило.

Он отпустил девушку, сел, полез за папиросой. Вера отползла в сторону, в кустарники, обдернула платышко на голых ногах. И все так же подрагивали оттуда, из полусумрака зарослей, желтые точки в ее напуганных глазах.

– Когда буду законная, тогда пожалуйста... Сколько хочешь, – проговорила она.

Семен усмехнулся:

– А может, Верка, не надо, а?

– Чего не надо? – Она тревожно приподняла голову.

– Ничего не надо... Свадьбы этой.

Вера вскочила, вытянулась:

– Как не надо? Не любишь, что ли? Не нравлюсь?

– Не в том дело...

– А в чем?

– Не знаю... Или хотя бы попозже, а? Не этой осенью?

Вера подошла, опустилась перед Семеном на колени, взяла сухими ладонями его голову.

– Ты что это, Семен? Не-ет, никак нельзя позже. Вот еще мне! Ну-ка, погляди в мои глаза! Слышишь, Сема? – И прижала его голову к своей груди. – Да как мы друг без друга жить будем?

И, как когда-то давно, Семен снова услышал – ее сердце бьется сильно и гулко, частыми-частыми толчками. «А может, и верно, нельзя нам друг без друга?» – подумал он.

* * *

А в это время на обочине проселочной дороги, которая поднималась на невысокий горбатый увал, а потом, огибая Звенигору, спускалась в синюю долину, где лежала деревня Михайловка, сидели двое – тот самый человек с котомкой, привлечший внимание Семена, и немолодая уже, лет под сорок, женщина, маленькая, высохшая, в старенькой, залатанной кофтенке, с длинными косами, вывалившимися из-под платка. Собственно, сидел только мужчина, а женщина, распластавшись, лежала на земле, уткнув лицо в его колени. Она плакала, спина ее вздрагивала, и мужчина осторожно гладил ее по острым лопаткам, по голове, брал в руки ее косы, подносил к своему лицу, словно хотел вытереть слезы. Но он не плакал, глубоко ввалившиеся его глаза были сухи, смотрели вокруг жадно, удивленно и чуть испуганно.

– Агата, земля сырая все же, – проговорил мужчина, не выпуская из рук ее кос. – Как же ты узнала, что я сегодня приду?

– Как? – Агата оторвала голову от колен мужа. – Сердце подсказало, Ванюшка.

– Дождь ведь. Гроза заходила.

– Что ж гроза... Шесть годов на дорогу эту глядела. А сегодня – заныло сердце.

– А я гляжу – бежишь. Ноги так и отнялись...

У Ивана действительно одеревенели ноги, палка выпала из рук, когда он увидел бегущую навстречу жену. Сзади его уже шумел, приближаясь, ливень, над головой с треском распарывалось аспидно-черное небо, обломки его с грохотом валились вниз, сотрясая землю. Но Иван Савельев ни на что не обращал внимания, ничего не видел, кроме этой женщины, бежавшей к нему сквозь тугий и пыльный ветряной вал, который катил перед собой ливень. На какой-то миг пыль скрыла ее от глаз, но потом она появилась, прорвалась сквозь ветер и, подбежав, обессиленная, молча упала Ивану на руки. И тотчас накрыл их ливень, больно хлестали тяжелые водяные струи, а они все стояли и стояли, безмолвно прижавшись друг к другу.

Так и простояли, пока дождь не кончился. Потом отошли на обочину и сели, по-прежнему не сказав друг другу ни слова.

Ключья грязноватых облаков уползали за горизонт, над Иваном и Агатой было теперь только чистое синее небо да там, выше неба, жарко горевший солнечный диск, обливающий их теплом и светом.

Оттуда, где было солнце, пролилась песня жаворонка. Она раздалась неожиданно и так же неожиданно умолкла. Потом раздалась снова. Иван поглядел на небо и улыбнулся обветренными губами. Ему почудилось, что жаворонок – маленькая серая птичка – тянул вверх свою песню, как звенящую цепочку, в клювике, но вдруг выронил, тотчас нырнул вниз за песней-цепочкой, успел подхватить ее у самой земли и снова понес вверх.

Первому жаворонку откликнулся второй, третий. Скоро все небо, казалось, было заполнено, залито до краев их песнями, но Иван, сколько ни всматривался, не мог заметить ни одной птички. И он не знал уже – вверх, от земли, в это бездонное небо уносят они свои песни или, наоборот, спускают песни-цепочки с неба на землю. Да это было и не важно. Важно, что песни были слышны, что они заполняли своим звоном все вокруг.

– Жизнь-то, Агата, видишь, не кончилась, – тихо промолвил Иван.

– Я их, проклятых, терпеть не могу, этих жаворонков. В тот день, когда тебя Яшка Алейников увез, они все звонили...

Иван сдвинул белесые брови, на лбу его глубже обозначились морщины.

– А я их зимой и летом слышал. Проснусь ночью – холодно в бараке, за стеной выюга воет. Прислушаюсь – нет, поют жаворонки. И теплее вроде, легче.

Агата удивленно поглядела на мужа круглыми, темными, как смородины, глазами.

– Как ты вынес все?

– Человек – он привыкливый.

– А я сперва все письма от тебя ждала.

– Я был без права переписки... Ну, рассказывай, как вы тут?

– Да как? Володька и Дашутка ничего, здоровенькие...

– Значит... дочка у меня родилась? – хрипло произнес Иван, сухие губы его затряслись.

– Ваня, Ваня...

– А я все гадал – сын ли, дочь ли? И еще – живо ли дитё? И от этой неизвестности было тяжелее всего...

Агата гладила его жесткую, заскорузлую, скрюченную ладонь.

– Лопату, видать, частенько держал в руках-то?

– Да уж покидал землицы, всю собрать – со Звенигору холмик будет... Дочку Дашуткой, значит, назвала?

– Ага, Дарьей. Плохо?

– Нет, хорошо это – Даша. Ну, пойдём...

Над ними пели и пели жаворонки.

Когда взошли на увал, открылся вид на всю долину. На самом дне, разметавшись беспорядочно в разные стороны, поблескивая окнами и крышами, лежала Михайловка. Над домами бугрились тополя и березы, а посередине деревни стоял почему-то столб дыма, прямой и высокий.

Иван снял фуражку, долго с высоты смотрел на деревню, прижавшуюся одним боком к лесу. Ветерок шевелил его белые волосы.

– Мне все чудилось – не признаю деревни. Нет, признал. Все такая же. Тополя сильно подросли.

– Какой же ей быть? Из нового – ток построили, видишь деревянные навесы на северном краю? Да два скотных двора – звон прямо за дымом. А боле ничего вроде. Да и зачем боле? Не надо. Ток и коровники добротные выстроили. Из лиственницы. Навек хватит. Панкрат – он хозяйственный.

– Как он, Панкрат?

– Постарел шибко. Тише стал, нелюдимей. И кашляет все. – И вдруг Агата всхлипнула. – Уж и не знаю, как бы я, если бы не Панкрат...

– Помог, значит?

– Да разве мне только? Всем, у кого худые домишки, перетрясти помог. С района приезжие часто ругали его: куды, дескать, колхозные деньги транжиришь? А он: разве себе беру? Шибко народ Панкрата уважает.

– А что за дым это с того дома, под железом?

– А пекарня это. Два года назад построили, забыла я сказать. А нынче мельницу водяную Панкрат ставит. А то, говорит, за помол много берут... Он, председатель наш, такой, у него копейка зря не выскользнет. А это пекарня. Для косарей хлеб печем... Эвон косари на лугу.

Километрах в трех от деревни, неподалеку от Громотухи, в широкой низовине, пестрели бабьи платки, поблескивали потные голые спины мужиков. Косцы шли рядами, дружно взмахивали косами.

Ивану захотелось вдруг, не заходя домой, спуститься по тропинке к лугу, низко поклониться людям: здравствуйте, мол, вот я и вернулся... А потом взять косу и косить, косить, молчком до самого вечера. А после, надышавшись вволю родимым луговым воздухом, поужинав, сесть к костерку и слушать, слушать, как кричат где-то коростели, ухают, просыпаясь в чащобе, совы, похохатывают парни и девки, обсуждая свои молодые дела. И за один вечер вычеркнуть из памяти эти долгие шесть лет, позабыть их навсегда, позабыть так, будто их никогда и не было...

Улицы деревни были тихи, пустынные, в обмятых лопухах бродили свиньи и телята. Когда Иван с Агатой шли по деревне, из некоторых окон выглядывали старухи, долго провожали их взглядами.

Домишко Ивана обветшал, покосился, дощатая крыша провалилась, густо пестрела разноцветными лишаями.

– А говорила – у кого худое жилье, председатель перетрясти помог.

– Да ты что? – испуганно воскликнула Агата. – Его тогда с потрохами бы съели!

– Понятно, – вздохнул Иван.

Переступив порог, Иван увидел большеглазую девочку в длинном, до пят, платьишке. Она возилась в углу с тряпичной куклой, пытаясь накормить ее изрезанной на тонкие пластики морковкой. Увидев незнакомого, заросшего щетиной человека, испуганно взмахнула ресничками, отступила к стене, пряча за спину самодельную куклу.

– Доченька... – шагнул к ней отец.

Девочка испуганно заплакала, кинулась к матери, уцепилась за ее юбку.

– Дашенька, это же тятка твоя. Отец это, глупенькая... – гладила Агата по спутанным волосенкам дочь, не в силах унять слезы.

– Так... Ну а сын где? Володька...

– Воду косарям возит. А пополудни в пекарню за хлебом приедет... Я пришлю его. Я, как сенокос начался, в пекарне ведь стряпаюсь.

Через час, побрившись, умывшись, переодевшись, Иван сидел за столом, ощущая, как непривычно кружится от одной-единственной рюмки водки голова. Агата рассказывала новости – кто умер, кто на ком женился. Некоторые события были трех-, четырех-, пятилетней давности, но для Ивана все было ново.

– А Кашкариху-то помнишь? Лушку Кашкарову? Все-таки перевез ее Макарка Кафтанов в Шантару. Купил дом и перевез, а сам опять в тюрьму. Рядом с твоим братом живет теперь Лушка...

Иван слушал, глядел на дочь, подперев щеки обеими ладонями. Девочка все еще не могла понять, что этот незнакомый худой человек – ее отец, сидела на другом конце стола, поглядывала на него, как зверек, сосала липкие конфетки.

Скрипнула дверь. Иван медленно встал. Панкрат Назаров, постаревший, забородатевший, в синей, подпоясанной шелковым шнурком рубаше, как-то вовсе не походил на председателя колхоза, скорее на какого-нибудь плотника или бондаря. Он снял плоскую фуражку, с которой посыпались опилки, повесил на гвоздь.

– С мельницы я. Глядел, как ладят... К осени пустим. – Прошел к столу, долго, не мигая, в упор, смотрел на Ивана зеленоватыми, в густой ряби морщин глазами. – Ну, приехал?

– Вернулся, – ответил Иван.

– Что ж, здравствуй.

– Здравствуй.

Назаров говорил как бы нехотя, через силу. От этого Ивану стало неприятно.

– Да ты садись, садись, Панкрат! – засуетилась Агата, подставила председателю тарелку, положила вилку с деревянной ручкой. – Вот, закусите, выпейте.

– Это можно, – проговорил Назаров, усаживаясь. – Ну, с возвращением!

Они выпили из мутных граненых рюмок. Панкрат закашлялся, кашлял, отвернувшись, долго, до слез в глазах. Агата подала ему полотенце, он вытер слезившиеся глаза.

– Пить тебе нельзя, – сказал Иван.

– Не надо, – согласился Панкрат. – Легкое гноиться зачало. Пуля там колчаковская, язвы ее, долго ничего лежала, а потом зашевелилась. Доктора говорят – вырезать надо, легкое отнять. И Максимка, сын-то мой, – помнишь, нет его? – тоже пишет в письмах: делай, мол, операцию, медицина нынче силу взяла... Да страшно...

– А все равно надо, – промолвил Иван. – Как он, Максим твой?

– Ничего, служит под Львовом-городом. Нынче в капитанский чин возведен. Ты, Агата, ступай в пекарню, там хлеб бабенки засадили, как бы не подожгли. А мы потолкуем, – сказал Назаров.

Агата ушла, увела с собой дочку, но толковать председатель не начинал, сидел и смотрел на Ивана из-под насупленных бровей. И казался он Ивану незнакомым, неприветливым, подозрительным.

– Ты вот что скажи, Иван Силантьич, – медленно произнес Назаров, не отрывая от лица Савельева колючего взгляда. – Никому не говори, а мне скажи. С чем приехал? С обидой на жизнь, со злостью в душе?

Иван ответил не сразу:

– Не знаю, Панкрат. На жизнь мне радоваться пока нечего. А злобы вроде нет. Стоскался я. По земле, по росным запахам.

В зеленых глазах Панкрата дрогнули светлые точки.

– Про Федора, брата, что думаешь? Про Кирияна Инютина?

– Это-то и закавыка. За что они меня посадили? – Иван помолчал. – Ну, это ладно. А вот на кого точно зла не держу – это сейчас твердо могу сказать... На Якова Алейникова.

– Гм... – Панкрат от неожиданности покашлял, недоверчиво прищурился. – Ну, так, ну, так... Объясняй тогда уж – почему.

– Попробую, если получится... В лагерях я всякого насмотрелся. Может, кое-что мне оттуда виднее было, чем вам отсюда. Кого только не было там. Всякие большие и малые люди, военных много. Это что, все – вредители, враги народа?

– Эвон!.. А ты – зла не держу на Яшку... Так тем боле ответ с него!

– А ты вот послушай. Настоящих врагов советской власти, конечно, много в лагерях. Вот я тебе о трех таких настоящих расскажу, с которыми довелось сидеть. Первый – Ерофей Кузьмич Огородников...

– Постой! Это не тот старик-сапожник с нашего райпромкомбината? Я как-то сапоги у него справлял...

– Сапожник... Ты в банде у Кафтанова не служил, такого человека по фамилии Косоротов не знаешь. До революции он в надзирателях по тюрьмам состоял, потом у известного тебе колчаковского полковника Зубова в палачах. Говорят, редко-редко кто умирал у Косоротова, не развязав языка. Да я-то его хорошо знаю. Это уж много после он в Огородникова Ерофея Кузьмича перекарасился, в бобыля-сапожника, девчонку-сироту какую-то удочерил.

Панкрат от удивления хлопал глазами.

– А двое других – сын того полковника Зубова и наш... Макар Кафтанов.

– Макарка?! И с ним сидел?! Но погоди, он же вор-магазинник, по уголовной статье всегда судится.

– Да, судится по уголовной. Считает, видно: так мстить людям за то, что революция сковырнула их, Кафтановых, вроде и безопаснее. И Петька Зубов вроде бы вор. Когда посадят в тюрьму, им намного легче, чем мне, например, было... Погоди, ты слыхал ли когда про сына полковника Зубова?

– Что-то слыхал, будто при том полковнике сынишка был. И еще слыхал от кого-то, что ты, когда мы на Огневскую заимку тогда напали, сумел скрыться в суматохе с этим парнишкой. От Федора будто.

– Верно... Или от Алейникова с Анной – они раненные на полу валялись, могли видеть. Кафтанов потом мальчонку Зубова в тайгу отвез куда-то, Лукерья Кашкарова их вырастила с Макаром...

– Вона! – воскликнул Назаров. – Не зря, значит, Макар ей дом купил!

– Ты что, неужели куришь?

Панкрат скручивал папиросу.

– Нет, нельзя мне, – вздохнул Назаров, бросил самокрутку в кiset. – Так вот заверну, поверчу в пальцах, и вроде легче, будто покурил.

– Тянет, значит?

– Мочи нет. Все во сне вижу, как курю.

– А я отвык. Там табаку не было, и отвык. Ты это брось, не носи кiset-то. А то и не выдержишь когда-нибудь.

– И то – боюсь, – согласился Панкрат. – Да я спичек не ношу... Ну, так и что ты хотел сказать этим всем?

– А то и хотел. Вроде бы они и простые уголовники, да ишо чем-то пахнут. А чем – разберись! Не так-то просто. Но как бы там ни было, замели их, чтоб не воняли. И в данном разе не ошиблись, положим. Ну а я для Якова Алейникова чем-то на этих трех похожий. Может, и было у него сомнение – я ли, не я тех лошадей украл? Но на всякий случай подгрел меня к той же куче. Потеря небольшая, не убудет...

Савельев прошелся по комнате, остановился у окна и, задумчиво глядя на улицу, промолвил:

– И думал я еще не раз: поставь меня на место Якова, как бы я поступил? Не знаю, не знаю...

– Э-э, нет, Иван, – после некоторого молчания качнул Назаров несогласно головой. – Ведерко воды из речки взять можно, не убудет. И два, и сотню... А ежели отводную канаву прорыть да другую, десятую? И помелеет речка, а то и совсем разберут ее. Не-ет, по живому рубить кому позволено? Яшка, раз поставлен на это дело, разбираться должен.

Иван нервно усмехнулся:

– Должен... Должен Бог всех в своей вере держать, а оно, вишь, безбожники из людей вырастают. Хотя все вроде молятся... Где уж Алейникову или кому другому на его месте всякий раз до тонкости разобраться, когда сами люди меж собой иногда распутаться не могут? Опять же, к примеру, нас возьми...

– Взял. И что?

– Ну, соображай. Я и Макар Кафтанов вроде родственники, поскольку родная Макарова сестра, Анна, замужем за моим родным братом Федором. С другой стороны, мы – лютые враги, поскольку я застрелил Макаркиного отца... Он, Макар, знает это. Увидел меня в лагере, подошел, улыбнулся. «Здравствуй, родимый. Батю-то вспоминаешь моего?» У меня мороз по коже, чувю, что за улыбочка, к чему она. А сказать ничего не могу. «Ну, помолись тогда да послезавтра с утра одевайся в чистое, – выдохнул мне в ухо Макар. – Сам одевайся, а то покойников тут не обряжают. Только не думай, что за батю одного. Я выше кровной мести. Кишочки тебе выпустим, исходя в основном из теории Карла Маркса и товарища Ленина насчет борьбы классов...» Подумал, что я не понял, добавил: «За то, что к красным перекинулся, гад». И, посвистывая, отошел. Вот так, срок назначил. И я знаю, жить мне осталось сегодняшней да завтрашний день. Это уж точно. В лагере – там ведь свои законы. Что мне делать?

– Н-да... – покачал головой Панкрат.

– А делать было что, – продолжал Савельев, глядя куда-то в одну точку. – Мог я, попросту говоря, выкупить свою жизнь Федькиной головой.

Панкрат Назаров вопросительно вскинул спутанные, проволочные брови.

– Дело простое, – сказал Иван. – У Петьки Зубова тоже задача в жизни – найти и приколоть того человека, который его отца зарубил, Федора, значит...

– Во-он как?! – удивленно воскликнул Назаров.

– Да... «В лицо, – говорил мне Зубов, – до сих пор убийцу моего отца помню. Усики его черные помню. Помню, как он оскалил зубы и на меня шашкой замахнулся... – Федор же тогда чуть и мальчишку не срубил в гневе... – А дальше, говорит, ничего не помню». Ну а я ничего из того утра не забыл. Стоило мне сказать, кто отца его зарубил, Зубов бы али Косоротов этот самому Кафтанову головушку отвернули бы, если б он тронул меня. К тому же как-никак жизнью мне Петька Зубов обязанный. А что мне было не сказать? За что сижу, кто меня посадил? Он, Федька, братец мой... Жалеть мне его из какого резону? Да и сам Макар Кафтанов, может, отменил бы свой приговор. Анне он тоже не простил, что она за Федьку вышла, что в партизанах была. Рано или поздно придушу, говорит, сучку краснозадую.

– И что ж, не сказал? – осторожно спросил Панкрат. Он опять скручивал папиросу.

– Так вот и не сказал, – вздохнул Иван. – А теперь думай: я осужденный как враг народа, Макар по уголовной статье сидит, но этот уголовный тоже враг, и он хочет меня, врага, уничтожить, «исходя из теории насчет борьбы классов». Как нас Яшке Алейникову распутать, если мы сами не можем распутаться?

Долго молчал председатель, мял толстыми, негнуцимися пальцами самокрутку, крошил ее обратно в кисет.

– Да, жизнь, – промолвил он наконец задумчиво. – Ну а все ж таки тоже любопытственно мне, не осуди уж... Про Федора не сказал, то как же в живых остался?

– В карцер сел, – спокойно ответил Иван.

– Как в карцер?

– На другой же день не пошел на работу. Не пойду, говорю, и все. Старосту барака выматерил. Ну, меня живо в карцер на двадцать суток, в одиночку. А потом... Под счастливой все же я звездой родился. Пока сидел, Косоротов, Зубов и Макар побег совершили. Видно, случай подвернулся. Косоронова овчарки заели, а Макару с Зубовым удалось уйти. Из карцера я вышел, с полгода пугливо озирался: ежели Макар оставил кому свой приговор, все равно пристукнут. Нет, пронесло...

Председатель колхоза слушал, чуть склонив голову, пощипывал бороду.

– Н-нет, паря, – произнес он со вздохом, отвечая каким-то своим мыслям, – все ж таки я при своем остаюсь, не оправдываю Якова. Не должен в одну кучу он все сгребать. Не должен потому, что власть ему от народа большая дадена. Узлы всякие распутывать должен, добираться именно до истины – кто в самом деле молится, кто для вида рукой махает. А то что же

получается? Как по старинной пословице: должен поп ночью с попадьею лежать, а он монашку за алтарем тискает... С тобой-то ладно – накуролесил в жизни. А вот хотя бы этих троих за что – Баулина, Засухина Василия, Кошкина? Знаешь, что их тоже...

– Говорила счас Агата.

– Я же воевал с ими и после хорошо знал. Душевные люди, хотя не шибко грамотные. Да и все-то мы... Приедешь в район – со всякой болячкой к им, как к родным, идешь. Одно слово – своя власть, понимающая... Или вот нашего Аркашку Молчанова в пример возьми. Уж этот-то на глазах вырос, когда спать ложился или когда в сортир садился – все на виду. А тоже враг, вишь ты, оказался. Доселе сидит. Это как?

– Про тех троих не знаю. А Молчанов – по глупости, – сказал Иван.

– По чьей? – нахмурился Назаров.

– По своей, – ответил Савельев спокойно. – Когда меня крутили с этими лошадьми, Аркашку все допрашивали, стращали: зачем-де врешь, что Инютин цыганам лошадей свел, сколько, мол, Иван Савельев тебе за эту ложь дал, за сколько проданся?

– Откудова ж ты знал?

– При районной КПЗ я сидел, в камере предварительного заключения то есть. А в этой камере все известно. Черт его знает, как туда все слухи да известия доходят, а только доходят, все там обсуждается на сто рядов. Ну вот... Аркашка молчал-молчал да и брякнул: вы, ежели поставлены на это, так разбирайтесь по справедливости, а нечего заставлять невинных оговаривать... Ну и прорвало его. Такие-сякие вы, дескать. Ты-то, Панкрат, знаешь, прорвет Аркашку раз в год – и вывалит он что надо и что не надо, все до кучи. Наговорил, в общем, лишнего вгорячах...

Панкрат Назаров выслушал все со вниманием. Когда Иван замолчал, опять отрицательно махнул головой:

– С ним – пушай оно так. Только оно как-то не так... А?

Панкрат неотрывно смотрел на Савельева, ждал ответа.

– Ты все спрашиваешь, – сказал Иван с легкой грустью. – А я что тебе могу объяснить? Не того ума человек. Кружится жизнь, как сметана в маслобойке. Потом из сметаны масло получается.

– Как это понять?

– Ты думаешь, тот же Яшка Алейников не хочет добра, справедливости? – вместо ответа проговорил Иван.

– Ну?

– За что же он воевал тогда? Жизни не жалел, под пули лез? А жизнь-то, поди, тоже у него одна? И, как всякому, дорогая ему?

– Ну? – еще раз спросил Назаров.

– Туго справедливость людям поддается, вот что. Достигается трудно.

Панкрат еще посидел неподвижно, встал, тяжело разгибаясь, с удивлением увидел в кулаке кисет, сунул его в карман, усмехнулся.

– Чудно получилось... Я пришел пощупать: как ты, не озлился на людей ли? Вроде бы вразумить тебя пришел, поучить чему-то. А вышло наоборот как-то. Яшку вон оправдываешь.

– Зачем? Я его не оправдываю. Я сказал – зла на него не держу.

Распахнулась дверь, через порог шагнул парнишка лет тринадцати, невысокий, бежавый, как Иван, с такими же серыми глазами, крутым лбом. Он был бос, в выгоревших, порыжелых, запыленных штанах, которые торчали на ногах трубами, в черной мятой рубашке с расстегнутым воротом. В руках у него был кнут.

Перешагнув через порог, парнишка прижался к стене, испуганно и недоуменно переводя глаза со своего отца на председателя колхоза и обратно. На лбу у него выступили бисеринки пота. Савельев медленно качнулся к сыну:

– Вот ты как вырос... Володенька... Здравствуй, сынок!
Володька молча уткнулся лицом в отцовское плечо...

* * *

От прошедшей грозы не осталось и следа, земля жадно всосала дождевые лужи, лишь обмытые от пыли дома, деревья, травы выглядели посвежее, чем утром.

В Михайловке по-прежнему было пустынно и глухо. Под стенами домов лежали распаренные, с раскрытыми клювами куры, деревенские собаки забивались в тень и, обессиленно вывалив длинные розовые языки, часто и тяжело дышали.

Над Михайловкой, над Шантарой, над всей округой и, казалось, над всей землей лежала эта мертвая тишина, а в чистом небе яростно полыхало солнце. И никак нельзя было представить, что где-то в этот час нет ни тишины, ни чистого неба, ни солнца, что вся земля и небо завалены грохотом, воем, дымом, человеческим плачем, что уже несколько часов по земле идет война.

...Антон Савельев брел по Дрогобычскому шоссе. В руках у него болтался смятый пиджак, он часто вытирал им грязное, потное лицо. Солнце ныряло в жирных клубках дыма, но в редкие минуты оно выкатывалось на чистую поляну неба, и тогда Антон соображал, что время далеко за полдень.

В те редкие минуты, когда небо очищалось от дыма, Антон видел, как немецкие бомбардировщики стаями плывут и плывут на восток. Они летели теперь высоко, направляясь, видимо, в глубокий тыл, монотонно, как мухи, жужжали.

Где-то по сторонам шоссе глухо бухали зенитки, Антон видел белые ватные гроздья разрывов. Но зенитки почему-то не доставали до самолетов, не причиняли им никакого вреда. «А истребители? Где же наши истребители?!» – с нетерпением, с яростью думал Антон.

– «Ястребок»! Наш, глядите! И-16! И-16! Счас даст! Счас даст! – услышал он вдруг.

В небе сквозь дымные полотнища пронесся небольшой самолетик со звездами на крыльях. Движение на шоссе остановилось, задрав головы, люди смотрели вверх. «Ястребок», взыв, отчаянно кинулся в самую гущу немецких самолетов. Но тут же задохнулся, распустил за собой длинный хвост из кроваво-черного дыма и, косо прочертив небо, рухнул на землю недалеко от шоссе. Там, где он упал, глухо лопнуло что-то, земля чуть дрогнула. Люди, бросив повозки, побежали сквозь лес к упавшему самолету. А Савельев вдруг круто повернулся и зашагал назад, к Перемышлю.

Он брел по обочине. Навстречу ему, по левой стороне шоссе, шли и шли подводы и грузовики с узлами, чемоданами и просто кучей набросанного тряпья. На этом тряпье, на узлах сидели дети, женщины, старики. Мужчины шли пешком, катили перед собой ручные тележки с теми же узлами и чемоданами, многие тащили эти чемоданы в руках. Дети плакали, напуганные необычным столпотворением, просили есть, женщины обезумевшими глазами смотрели на все происходящее, крепко прижимали к себе детей, шоферы грузовиков яростно жали клаксоны, что-то кричали, высунувшись из кабин, прося, очевидно, передних двигаться быстрее. И все это тонуло в вое и грохоте металла, в густой пыли, в чадном бензиновом угаре, потому что по правой стороне шоссе, в сторону Перемышля, шли танки, бронетранспортеры, зеленые грузовики с красноармейцами, с ящиками, с мотками колючей проволоки.

Шоссе с правой стороны было давно изуродовано, в лапшу изрезано гусеницами, но танки, бронетранспортеры и грузовики не сбавляли скорости, из-под колес и гусениц летели камни и щебенка, засыпая беженцев.

Антону страшно хотелось пить. Но попросить у кого-то воды в этой суматохе было невозможно, да и была ли она, вода, у кого-нибудь? До Перемышля далеко, да и что там, в Перемышле? Может, уже немцы? И не пить он туда идет. А зачем?

Антон остановился, огляделся. Шоссе заворачивало чуть влево, на повороте военные машины, чтобы не подавить людей, сбавляли скорость. Не раздумывая, Савельев сошел с обочины, пробился сквозь людской поток, на ходу ухватился за борт какого-то грузовика.

– К-куда? – закричал сидящий в кузове молодой красноармеец и схватился за винтовку. – Пошел отсюда! Тут груз.

– Ты спокойно, сынок, – сказал Савельев. – Мне туда надо. В Перемышль.

– Слазь, сказано! Мы не в Перемышль, в другое место.

Лицо у красноармейца было круглое, чернявое, курносый нос торчал пуговкой. Несмотря на то что боец изо всех сил старался изобразить суровость, это у него получалось плохо.

Грузовик прибавил ходу, понесся, подпираемый сзади тупым рылом бронетранспортера.

– Куда же я? Под гусеницы? Сдашь меня своему командиру, как приедем. Да опусти винтовку, не съем я твой груз.

– Прыгай! Застрелю! – хрипло крикнул красноармеец.

– А-а, стреляй, – сказал Антон и отвернулся.

Грузовик подбрасывало на рытвинах, выбитых за полдня колесами, на камнях, вывернутых из полотна непрочного шоссе железными гусеницами. Антон толкся на каких-то ящиках. «Хорошо еще, что фашисты дорогу не бомбят», – мелькнуло у него, и он содрогнулся, представив, что могло бы произойти, начни немцы бомбить шоссе.

Грузовик с каждой минутой приближался к утонувшему в дымах Перемышлю, и с каждой минутой все явственнее, все отчетливее слышалась оружейная канонада.

Вдруг грузовик свернул на проселок, помчался по хлюпкой, поросшей кустарником низине. Во многих местах кустарник был поломан, измят; как белые кости, белели ободранные стволы молоденьких деревьев. Савельев догадался, что здесь прошли танки, много танков.

– Куда мы едем?

– Молчи, гад! – вскинул винтовку боец.

– Я тебе не гад! – крикнул Савельев.

– А я откуда знаю? Сиди теперь!

Перед грузовиком, немного сбоку, вздыбилась неожиданно земля, комья забарабанили по крыше кабины, по ящикам. Перед тем как раздался взрыв, Антон увидел блеснувшую слева неширокую ленту реки и понял: этот участок дороги был хорошо виден из-за Сана. Справа, спереди и сзади еще трижды ухнуло. Грузовик, взревев, полетел вперед еще быстрее. Савельев схватился за тяжелый ящик обеими руками, обнял его.

Неожиданно машина въехала в лес, и грохот сразу прекратился. Савельев стряхнул с себя землю и произнес:

– Уф... Пристреляли, выходит, дорогу они...

– А ты как думал... Я тут третий раз сегодня проезжаю, – помягче сказал красноармеец.

Наконец грузовик остановился. Из-за деревьев выскочил молодой капитан-пехотинец, несколько красноармейцев.

– Кружилин! Доставил? Молодец! – прокричал капитан и повернулся к бойцам: – В пять минут разгрузить!

– У меня тут, товарищ капитан, посторонний, – сказал Кружилин, спрыгивая на землю. – Не сходя с машины, в плен кого-то взял. Заскочил на ходу в машину – в Перемышль, говорит, надо.

Капитан подошел к Антону, строго блеснул из-под фуражки с лакированным козырьком глазами.

– Кто такой? Фамилия?

– Я Савельев...

– Живее, живее разгружайте! – крикнул капитан бойцам. – Савельев? Ну, пойдете.

На опушке был вырыт глубокий окоп, из которого торчали рожки стереотрубы. Капитан нырнул в окоп, Савельев – за ним. В окопе седоватый, с желтой плешинной человек со знаками различия полкового комиссара, выгнув горбом спину, кричал в телефонную трубку:

– Танки? Где обещанные танки?... Что, не будет?... Тогда нас сомнут – немцы наводят через Сан новую понтонную переправу... Почему молчит Некрасов?... Пушки, говорю, почему молчат?... Как нет снарядов? Тогда нас сомнут... Я без паники, я без паники. В полку осталось не больше двухсот человек... Держимся почти сутки. Какие патроны? Какие гранаты? Ничего нет...

– Кружилин доставил машину гранат и патронов, товарищ полковой комиссар, – сказал капитан.

– Да, пришел грузовик... Пехоту мы отобьем. Но если немцы переправят танки? Они обязательно переправят танки... Что?... Есть удержаться. Слушаюсь. Слушаюсь... – Полковой комиссар выпрямился и как-то по-домашнему, тихо и грустно сказал, будто речь шла о каком-то пустяковом одолжении: – Ну что вы, Григорий Трофимович, мы, конечно, будем держаться... Да, да, спасибо... Да, да, до встречи.

Потом он долго и внимательно рассматривал документы Савельева – паспорт, партийный билет. Савельев рассказывал ему, как он очутился в Перемышле, почему-то с подробностями – как рухнула гостиница, в которой кричала женщина, как падал с неба советский истребитель.

– И мне стало стыдно, – закончил Савельев. – Почему я должен бежать? Я еще могу стрелять. Я не разучился...

– Да, да, – грустно подтвердил полковой комиссар, возвращая документы. – Вы извините, утром немцы сбросили в наши тылы большой парашютный десант в красноармейской форме и гражданской одежде...

Полковой комиссар говорил, потирая седые виски, на которых бились тугие жилки, думая о чем-то другом, неизмеримо далеко от Савельева, от тех слов, которые только что произнес. Капитан глядел в стереотрубу.

– Они уже заканчивают переправу, товарищ полковой комиссар!

– И все же, Антон Силантьевич, вам лучше бы уйти, – сказал полковой комиссар, подходя к стереотрубе. – Через четверть часа будет, вероятно, поздно.

– Я останусь... если можно.

Полковой комиссар ничего не успел ответить, потому что где-то за Саном глухо выстрелило орудие и тотчас за окопом, метрах в двадцати, стеной поднялась земля. Не успела земляная стена опасть, как за нею взметнулась, поднялась бесшумно новая, шире и выше прежней. И казалось, с вершины этой стены падают вниз сучья деревьев, какие-то жерди, скатилось что-то круглое, похожее на колесо автомашины. «Неужели снаряд угодил туда, на поляну, прямо в машину Кружилина? – с ужасом подумал Савельев. – А успели ее разгрузить или нет? Успели или нет?»

Полковой комиссар что-то кричал капитану, куда-то указывал, но из-за грохота слов было не разобрать. Потом они, забыв про Савельева, побежали по окопу. Антон постоял, не зная, что делать. Взгляд его упал на прислоненную к стене окопа винтовку без штыка, он схватил ее и побежал вслед за ними.

Через несколько метров окоп стал мельче, потом раздвоился и вдруг – кончился. Савельев оказался на склоне голого холма, внизу перед глазами у него блестел Сан, и он увидел ту переправу, о которой по телефону говорил полковой комиссар. На нашем берегу, у самой воды, догорало несколько немецких танков, подбитых, видимо, давно, зато с противоположной стороны реки, по переправе, ползли и ползли не торопясь десятки вражеских машин.

В Савельева откуда-то стреляли, он чувствовал, как горячие вихри обжигают ему шею, лицо, видел, как вокруг, взбивая пыль, колотятся в землю пули, но растерянно крутился, не зная, что делать, побежал куда-то, инстинктивно заворачивая в сторону леса. Пули щелкали

и шелкали вокруг. «Если добегу до леса, останусь, наверное, жив», – подумал он спокойно и, неожиданно провалившись ногой в пустоту, упал.

– Вот чудо-юдо заморское, – услышал он над ухом. – Ты откуда, дядя, взялся тут? Не с неба упал?

Антон понял, что находится опять в окопе, на дне его сидели на корточках несколько красноармейцев.

Окоп был небольшой, метров тридцать в длину, но хорошо замаскированный, поэтому, подбегая, Антон его не заметил.

– Я этого чудака привез, товарищ младший сержант, – раздался знакомый голос. – Еще подумал: не десантник ли фашистский?

– Кружилин! Машину-то... успели разгрузить?

– Почти, – мрачно ответил Кружилин.

Бойцов было человек восемь. В дальнем конце окопа лежали трое, прикрытые шинелями.

– Откуда в меня стреляли? – спросил Антон, потирая ушибленный бок.

– А вон на берегу немцы в песок зарылись. Мы их с утра держим. – Младший сержант зачем-то потрогал металлические треугольники на петлицах.

– Танки, братцы! – раздался испуганный вскрик.

– Тихо! – младший сержант встал на колени, выглянул из окопа. – Ну, танки. Не видел ты их, что ли, сегодня? Сейчас их накроет некрасовская батарея.

«Не накроет уж, видно», – с грустью подумал Савельев.

Все бойцы, встав на корточки, молча и угрюмо глядели через бруствер, как с понтонной переправы один за другим сползают темно-зеленые танки с черно-белыми крестами и, разворачиваясь, с ревом устремляются влево и вправо. Танк вправо, танк влево, танк вправо, танк влево...

– Обойдут нас, – негромко сказал Кружилин.

– Как же вы позволили переправу им навести? – спросил Савельев.

И как бы в ответ засвистели над головой пули, потом донесся треск автоматных очередей. Этот свист и треск слился в один протяжный вой, красноармейцы прижались на дно окопа, и только двое все продолжали глядеть туда, откуда стреляли немцы. Потом медленно, как бы нехотя, сползли по стенкам окопа вниз.

– А-а, черт, говорил же – без нужды не высовываться! – выругался младший сержант. – Оттащите их к тем троим. – И сверкнул белками глаз на Савельева. – Попробуй не позволяй тут...

Небо густо застилало поднимающиеся где-то далеко клубы дыма. Антон догадался, это горит Перемышль. «А как же Львов? Бомбили немцы Львов или нет? И успел ли приехать Юрий?» – тревожно мелькнуло в сознании.

Неожиданно прекратились взрывы за спиной, перестали свистеть сверху пули. Младший сержант положил на бруствер винтовку и по-крестьянски поплевал на руки.

– Приготовиться!

Снизу, от реки, веером шли танки, четыре из них ползли прямо на окопчик. За танками густо бежали немцы, в касках, маленькие какие-то, коротконогие.

– Ого-онь! – закричал младший сержант.

Беспорядочный треск винтовок слился с отрывистым ревом немецких автоматов, воем танковых моторов и потонул в нем. Савельев дернул затвор, прицелился в темно-грязную фигуру бегущего немца и выстрелил. Немец сделал еще несколько шагов, споткнулся и, взмахнув руками, упал... Савельев удивился этому. «Ты гляди-ка... И правда, не разучился еще...»

Потом он стрелял и стрелял, пока затвор не клацнул вхолостую. Обернулся, поискал взглядом, у кого бы спросить патронов. Глаза его встретились с потухающими глазами младшего сержанта.

– У меня... в подсумке возьми, дядя... – прошептал парень, съезжая по стене окопа вниз. На его губах при каждом слове вспухали и лопались кровавые пузыри.

– Сержант!.. Слышь, сынок?! – затряс его Антон, но парень закрыл глаза. Голова его тяжело откинулась в сторону.

Антон приподнялся. Танки были совсем близко. Оставив пехоту позади метрах в трехстах, они лезли на холм. По всему холму трещали выстрелы. Таких окопчиков, в каком находился Антон, на холме было, оказывается, много.

– Танки пропустить! Отрезать пехоту от танков! – крикнул знакомый капитан, спрыгивая в окоп. – А-а, это вы, Савельев... Не ушли? Прохоров! Сержант где?

– Вот, – сказал Кружилин, кивнув на труп.

Капитан наклонился над убитым.

– Это был лучший боец в моем батальоне, – сказал он грустно. – А мой батальон – лучший в полку. – Помолчал и прибавил: – Первый и третий батальоны уже смяты, уничтожены. Многие красноармейцы не выдержали, дрогнули... А мои не побегут. Вы видели, чтобы мои бойцы... хоть один... побежал бы?

– Нет.

Над головой раздался железный лязг; через окоп, обдавая людей вонью и копотью, обваливая на них землю, перевалился танк. Капитан упал на труп бойца, словно хотел своим телом прикрыть его от гусениц.

– И не увидите, – сказал он, отряхиваясь от земли. И зачем-то спросил: – Может, ты, Кружилин, испугаешься и побежишь?

– Я не побегу, товарищ капитан, – хмуро сказал боец.

– Вот... А вообще-то... немцы слева и справа прорвались далеко вперед. Гранаты – к бою!

Савельев выглянул из окопчика и метрах в пятидесяти увидел немцев. Так близко он их видел впервые. В грязно-серых расстегнутых блузах, с засученными рукавами, в рыжих касках, они беспорядочной толпой бежали прямо на окоп.

– Грана-атами-и... – протяжно крикнул капитан над ухом.

У Савельева гранат не было, он, вдавив в магазин патроны, прицелился в широкоплечего немца. Целился и думал, что немец, вероятно, тоже видит его, вот и автомат вскинул в его сторону... Выстрелить Антон не успел, перед немцем брызнул земляной сноп. Савельев еще видел, как, переломившись назад и вбок, падал этот немец, а потом все закрыла стена гранатных разрывов.

– Отставить! – раздался голос капитана.

Выстрелы смолкли, дым и пыль впереди медленно рассеивались. Перед окопом на земле беспорядочно валялись немцы, но было видно, что это не трупы.

– Луи, луй их, ребята-а! – совсем не по-командирски закричал капитан. Голос его разнесся по всему холму. – Не давать им подняться! Бить прицельно!

По всему холму опять загрели винтовочные выстрелы. Немцы стали отползать.

...Усеяв склоны холма трупами, фашисты отползли почти к самому берегу реки, на свои старые позиции. Установилась тишина.

Капитан вытер правой рукой грязный лоб, огляделся.

– Все у нас живы?

– Почти, – откликнулся Кружилин и начал стаскивать в дальний угол окопа трупы бойцов.

В живых осталось, не считая капитана, Кружилина и его, Савельева, три человека. Левая рука капитана висела плетью, на плече расплзлось большое темное пятно.

– Так, – сказал он и, сжав бескровные губы, сел на дно окопа, прислонился головой к стене.

Кружилин сказал:

– Вы ранены, товарищ капитан, давайте перевяжу.

Капитан молчал.

– Сейчас они опять полезут, – проговорил Савельев.

– Подождут маленько, – усмехнулся капитан. – Зачем рисковать? Вот, послушайте, – кивнул он на стенку окопа.

Савельев прижал ухо к стенке и уловил, что земля чуть подрагивает.

– Где-то далеко танки, кажется, идут.

– Нет, они уже близко. Они уже подходят к переправе.

Савельев приподнялся над окопчиками и увидел, что на той стороне Сана к понтонной переправе подходит новая колонна танков.

– Ну а где же наши пушки? – простонал Кружилин, тоже глянувший в сторону реки. – Товарищ капитан, почему молчат наши пушки?

– Разве я артиллерией командую, Кружилин? – строго спросил капитан.

Боец опустил голову.

Потом все молчали, слушали, как гудят на той стороне Сана танки.

– Слушай, капитан, – проговорил наконец Савельев. – Надо что-то делать...

– Ну что? – равнодушно спросил капитан. – Отступить?

– Может быть...

– Так... – усмехнулся капитан. – А приказ был?

– Но ведь зазря люди гибнут, бессмысленно.

– Не знаю.

– Что не знаете?

– Бессмысленно или нет. Это командование дивизии знает.

Капитан застонал от боли в плече, закрыл глаза. Савельеву стало жалко этого человека, и в то же время он с неприязнью подумал о нем: «Солдафон, наверное, тупоголовый. Приказа об отступлении нет...»

Савельев заговорил об отступлении не из боязни за свою жизнь, о себе он сейчас вообще не думал. Просто обстановка, в которой они очутились, заставляла его думать трезво и рассуждать логически.

– Савельев, я вот что хотел спросить, – раздался вдруг голос капитана. – Иван Савельев, что жил в Сибири, в деревне Михайловке, это не ваш брат?

Антон удивленно, всем телом, обернулся к капитану. Но тот сидел по-прежнему с закрытыми глазами. Грязный лоб его покрылся крупными каплями пота.

– Верно... брат. Младший...

– Вот видите. – Капитан открыл глаза. – А я вас сразу узнал... Такой же белобрысый Иван-то. А в Шантаре другой ваш брат живет, Федор. Тот чернявый.

– Верно... Да вы кто такой?

– А я – Назаров. Максим Панкратьевич Назаров. Из Михайловки я родом. Там, в Михайловке, отец мой, председатель тамошнего колхоза. Год назад я в отпуск к нему ездил... А служим вот вместе с земляком, с Кружилиным Василием.

– Постой, постой, это какой Кружилин? – Савельев нахмурился, потер лоб. – Кружилин, Кружилин? Фамилию вроде слышал... Нет, не помню. В Шантаре я, считай, мальцом последний раз был. Кажется, в девятьсот десятом году еще... Неужели я похож на Ваньку?

– Похож, – подтвердил Назаров. – Он, Иван, что же, не вернулся еще из тюрьмы?

– Не знаю, – сказал Савельев. – Что в тюрьме Иван, знаю. А вот за что? У старшего брата несколько раз спрашивал – не отвечает даже на письма. А жена Ивана – ей я тоже писал – одно твердит: невиновен Иван...

Давно уже был слышен шум моторов и лязг гусениц. Капитан шевельнулся, привстал, глянул через бруствер.

– Ползут. Еще жарче сейчас будет. Вы, Савельев, сейчас еще можете уйти... А мы не имеем права. Вы ведь, кажется, ехали с Кружилиным по Дрогобычскому шоссе, видели, что там делается? Наша задача – задержать немцев как можно дольше, чтобы дать людям возможность отойти от Перемышля подальше. В этом – весь смысл. Другого нет. Там женщины и дети...

У Савельева перехватило в горле. Он глотнул тугой ком слюны.

– Я понял... Я останусь. Куда мне идти...

– Дело ваше, – холодно сказал Назаров. – Кружилин, ты тут за старшего будешь. Танки, как и в первый раз, пропустить, отрезать пехоту... Если что, я на батальонном КП...

И выскочил из окопа, не обращая внимания на свист автоматных очередей, побежал вдоль холма, придерживая здоровой рукой фуражку...

По команде Кружилина бойцы приготовили гранаты.

– А ты, батя, умеешь? – спросил Кружилин, протягивая гранату и Антону.

– Приходилось. Только больше самодельными.

– Дело простое: вот так выдерни чеку – и швыряй!

Но воспользоваться гранатами на этот раз не пришлось. Танки заползли на холм и с остервенелым ревом принялись сновать взад и вперед по его плоской макушке, крутиться на месте, распахивая неглубокие окопчики, размалывая в них людей. Огромная лязгающая машина, закрывая дымное небо, приближалась и к окопу, в котором был Савельев.

– Ложи-ись! – почти беззвучно закричал Кружилин, широко раскрыв рот.

Где-то сбоку раздавались взрывы, беспорядочная винтовочная трескотня. Антон обернулся и увидел – между двумя соседними траншеями ворочается черная железная машина, а красноармейцы из окопов швыряют и швыряют в нее ручные гранаты, бьют из винтовок, целясь, видимо, в смотровые щели. Но танк был неуязвим, гранаты отскакивали от брони и рвались вокруг.

– Да ложись же! – рявкнул Кружилин в самое ухо, дернул его за пиджак.

Антон повалился и, падая уже, увидел, что танк выбросил султан кроваво-черного дыма и тут же вспыхнул костром. «Ага, ага!..» – злорадно почти вслух выкрикнул Савельев. Еще он увидел на миг светлую ленту Сана, и немцев, которые беспорядочными кучками взбирались на холм, и плоское, грязное днище танка над головой. Оно пялилось куда-то вверх, потом упало на окоп тяжелой многотонной крышкой. «Ну, сейчас мы вас встретим...» – подумал Савельев о немцах, сжимая гранату. Он упал неудачно, подвернув под себя руку. Граната больно давила в ребро. «Ничего, сейчас, сейчас...» – стиснул он зубы, пересиливая боль. Но сверху, на спину ему, обвалилась земля, засыпала с головой. Сразу стало нечем дышать, совсем нечем... Перед глазами в черной непроницаемой мгле вспухли оранжево-зеленые круги и со звоном лопнули, брызнули во все стороны белыми-белыми искрами...

* * *

Антон очнулся оттого, что кто-то пытался вывернуть ему руку. Он застонал.

– Ага, живой... Тихо только! Тихо, – услышал он сквозь звон в голове и почувствовал, как сваливается с него тяжесть. – Вылезайте...

Василий Кружилин наполовину откопал Савельева, взял его за плечи, кое-как вытащил из-под земли. Антон сел, тяжело и жадно стал вдыхать теплый ночной воздух, пропитанный запахом пороха, бензина и горелой краски.

– Это ты, сынок? А еще есть живые?

Боец не ответил. Он сидел в двух шагах, рассматривал немецкий автомат, пытаясь вставить в него рожок.

На противоположной стороне Сана горели костры, мелькали между деревьев огоньки. У Савельева сильно болел бок, он засунул под рубаху грязные пальцы, пощупал ребра, пытаясь определить, целые ли они. Но определить не мог.

– А-а, черт, темно! – с досадой сказал Кружилин. – Как он, дьявол, вставляется?

Было тихо, совсем не верилось, что недавно здесь кипел бой. Неподалеку в полутьме чернела бесформенная глыба – наверно, тот танк, который все же удалось подбить гранатами. В небе, видимо, все еще стлались дымы, потому что там то вспыхивали, то исчезали россыпи звезд. А может, ветер гонял клочья облаков – понять было нельзя.

Боль в боку поутихла, притупилась, и Антон подумал, что ребра его все же целые, наверно.

– Что ж теперь делать нам, сынок? Надо ведь что-то делать.

– А что нам, холостым! – усмехнулся Кружилин. – Сейчас в Перемышль зайдем, тятнем в забегаловке грамм по полтора для лихости да к бабам завалимся. Шикарная у меня деваха есть в Перемышле... А у ней подруга – ух! И все просила меня товарища привести, познакомиться. Вы как, папаша, насчет женсостава-то? В силе еще?

Кружилин пошловато хохотнул, но странно – этот хохоток и слова парня не рассердили Антона, не обидели, а заставили улыбнуться. Антон подумал, что Кружилин совсем не пошляк, просто в нем не перебродила еще молодая кровь и он любит жизнь. И очень хорошо, что он, Кружилин, пережил сегодняшний день, остался цел в этой мясорубке и вообще теперь останется живой. Через неделю, через две в крайнем случае, немцев отбросят обратно за Сан, Кружилин снова будет ходить в Перемышль, к своей «шикарной девахе», а на этом холме поставят памятник погибшим в сегодняшнем бою. Простой деревянный обелиск, наверно, со звездой наверху. Надо будет потом специально приехать сюда, поглядеть на памятник.

Василий все возился с автоматом, шелкнул какой-то пружиной.

– Ага, вон какая музыка, – сказал он удовлетворенно и встал. – Ну, пошли, папаша. Винтовку вот возьмите.

Кружилин был тоже оборванный, один рукав гимнастерки обгорел, а на щеке засохли полосы крови. Все это Антон разглядел, когда на минуту вывалилась из-за дыма (все-таки это были дымы) луна и облила искореженную землю бледно-молочным светом.

– Ты ранен, сынок? – спросил Савельев.

– Пустяки. Гусеницей скребануло. На пяток сантиметров бы правее – и мокрое место вместо головы. А так кожу только царапнуло да клочок волос выдрало. Я – счастливый.

Боец пошел впереди, шел быстро, уверенно, – наверно, он знал, куда идти.

– Лелька так и говорит: «Счастливый ты, Вась». Я спрашиваю: «Почему?» – «А потому что, говорит, я люблю тебя...» – Кружилин обернулся, подождал, пока подойдет Савельев, и сообщил строго: – А вообще-то, мы пожениться договорились. Вот отслужу действительную – мне три месяца осталось – и сразу увезу ее в Шантару. В армию-то я из Ойротии уходил, там отец мой работал. А сейчас его опять в Шантару перевели. Приеду – и сразу свадьбу. А, здорово?

– Куда мы идем?

– Да, счастливый я, – продолжал Василий, усмехаясь. – Что тут было! Танки перепахали окопы, ушли, как только ихняя пехота вскарабкалась на высоту. Забегали, загалдели, стрельбу подняли. Добивали тех, кто еще живой. Я лежу, приваленный землей, одна голова наружи. Почему они меня не пристрелили? Потому, наверно, что морда вся в крови, думали, мертвый. А некоторых с земли повыдергивали, согнали в кучу. Кто мог идти, угнали куда-то, остальных очередями прошили. Все мне видно. Потом все ушли. Я мог бы засветло уползти, да через понтонный мост все шли и шли колонны ихних войск, автомобили, тягачи с пушками. Заметили меня с моста бы...

Он говорил и говорил не останавливаясь. Савельеву теперь неприятен был его голос. Радует, что в счастливой рубашке родился, ишь расписывает как все радостно. И он невольно замедлил шаг. Кружилин через полминуты опять остановился. И когда Савельев подошел, парень вдруг качнулся, окровавленной головой уткнулся ему в грудь.

– Ты что, Кружилин?! Вася?!

– Я все видел, все видел... – не отрывая головы, сквозь рыдания проговорил Василий. – У танков гусеницы в крови, броня чуть не до башни кровью обрызгана... А за некоторыми кишки волочились... как мокрые веревки. Как же это, а? Как это случилось? Зачем, а?!

Парень рыдал, по-детски всхлипывая. Савельев, изумленный, ничего не мог сказать, только гладил красноармейца по плечам, по грязным, в засохшей крови, волосам.

– Ничего... ничего, сынок... Все будет хорошо. – Подумал и прибавил: – А ты, конечно, женись на этой Лельке. Обязательно, слышишь?

Василий молча оторвался от его груди, сгорбившись, быстро пошел к темной стене леса, почти побежал. Савельев тоже заторопился, боясь отстать, потерять его в темноте.

Он догнал бойца на опушке. Парень сидел на корточках перед каким-то человеком, лежавшим навзничь. Савельев нагнулся и узнал капитана Назарова.

– Вот... – ткнул кулаком Василий в сторону Савельева. – Папаша этот, что в машину ко мне заскочил. А больше никого...

– Ты, Кружилин, хорошо проверил? – Назаров тяжело, с хрипом, дышал, глаза его, кажется, были закрыты.

– Я весь бугор излазил, каждый труп в руках подержал. Нету больше живых.

– Хорошо, Кружилин. Молодец ты, Вася. Спасибо тебе... Только зря ты со мной возишься...

– Что вы, товарищ капитан! Вы еще на свадьбе у меня... обязательно должны...

– Пить... что-нибудь есть?

– Нету воды, товарищ капитан. Хотя постоит. Там немец с фляжкой лежал...

Кружилин исчез в темноте. Назаров дышал все так же шумно и тяжело. Савельев сидел рядом, сжимая между колен винтовку. Никаких мыслей в голове почему-то не было. И радости оттого, что жив, что Кружилин раскопал и вытащил его, тоже не было.

– Вы, Савельев, как, целы? – спросил Назаров.

– Сам не пойму... В голове все шумит. А так...

– Если выберетесь, скажите моему отцу, напишите, что... В общем – сами знаете. Сами все видели, что мы могли, что не могли... А Кружилин зря меня сюда выволок. Ноги у меня перебиты. Обе. И плечо. И грудь.

Вывернулся из темноты Кружилин, присел возле капитана, начал поить из фляжки. Потом сказал:

– Надо в лес нам. Поглубже. А там видно будет. Должны же где-то быть наши. Слышите, товарищ капитан!

– Я слышу, Кружилин. Вы идите. Оставьте меня здесь. Это – мое приказание. Ясно?

– Куда яснее, – усмехнулся Василий.

Было, видимо, за полночь, в воздухе посвежело, потянул ветерок, относя куда-то за Сан запах сгоревшего тола, бензиновую вонь. Верхушки деревьев угрюмо шумели.

И этот же ветерок донес гул далекой канонады. Савельев почувствовал, что бледнеет, что в сердце начал проникать неприятный озноб. Кружилин стоял рядом, как столб, не шелохнувшись, даже капитан стал тише дышать – все прислушивались к этому далекому, неясному гулу.

– Это что же, а? Это куда же они прорвались, а? На сколько же километров?... – растерянно произнес Кружилин. Он говорил как раз о том, о чем думал, бледнея, Савельев.

– Это за Днестром... Это, наверное, наш аэродром они бомбят, – негромко произнес Назаров. – Под Дрогобычем есть аэродром... Не могли они... так далеко прорваться...

Даже Савельев понимал, что Назаров говорит это для успокоения, что это не бомбы рвутся, это артиллерийская канонада.

– Ну ладно, – решительно встал Василий и протянул автомат Савельеву. – Пошли, а то скоро рассвет.

– Я приказываю тебе, Кружилин... не трогать меня! Идите...

Не обращая внимания на слова, на стоны Назарова, боец приподнял его с земли, посадил. Потом присел сам, ловко взвалил капитана на плечи, выпрямился, постоял, будто пробуя тяжесть, и, пошатываясь, двинулся в лес.

...До самого рассвета они шли по лесным тропинкам, стараясь держаться в сторону Львова, по очереди несли тяжелое, обмякшее тело капитана. Сперва Назаров все стонал, потом перестал, не подавал признаков жизни. Шли молча, только один раз Савельев спросил, принимая на свои плечи Назарова:

– Он живой ли?

– Теплый пока, – ответил Василий, часто дыша широко открытым ртом.

У Антона под тяжестью тела подламывались ноги, сперва он думал, что не сумеет сделать и шага, упадет и уронит раненого, но, к своему удивлению, шел и шел вперед. Иногда запинаясь о кочки, ноги путались в траве. Но он шел, боясь упасть и зная, что не упадет.

Было по-прежнему темно и тихо, и было непонятно, куда и зачем они идут и был ли вчерашний кошмарный день или все это привиделось в тяжелом сне, в каком-то бреде. Антону казалось, прольется рассвет – и все встанет на свои места, он вернется в Перемышль, с утра сходит в парикмахерскую, и тот старый парикмахер ладонью намылит ему щеки и, что-нибудь рассказывая, начнет стремительно махать перед глазами бритвой. Потом пойдет на кирпичный завод и будет ругаться с директором. Затем позвонит домой, во Львов, поговорит с приехавшим сыном, сообщит жене, что задерживается еще на несколько дней, потому что директор кирпичного завода никак не хочет давать ему кирпичи. «А почему, я думаю, не хочет? Может быть, он сразу распорядится об отгрузке... И тогда сегодня же вечером я сяду на львовский поезд...»

К действительности его вернул тревожный вскрик Кружилина:

– Назад! Немцы же... Немцы!

Оказывается, они вышли к какой-то дороге. Наступал рассвет, небо над головой серело, и в серый сумрак уползала куда-то эта дорога.

– Где немцы? – Савельев не видел никаких немцев. Туман над дорогой пронизывали дрожащие желтые полосы. Но что это такое, Антон сообразить не мог.

Василий толкнул его в бок, почти повалил в густой кустарник, росший на обочине. И только тогда Савельев услышал быстро приближающийся автомобильный рев.

В кустарнике они пролежали около часу. А немецкие машины все шли и шли, обдавая их пылью и бензиновым перегаром.

Серая муть растекалась по земле, рассасывалась; где-то вставало солнце, багрово окрашивая редкие теперь клочья не то дыма, не то грязных облаков. Кустарник, в котором лежали беглецы, только ночью казался густым, а на самом деле он с дороги просматривался, видимо, насквозь. Во всяком случае, Савельев отчетливо видел сквозь заросли каждую автомашину, солдат, сидящих в кузовах ровными рядами, шоферов... «Сейчас они нас увидят... Станет еще посветлее – и увидят», – равнодушно думал Савельев. Василий думал, наверно, о том же, потому что, подрагивая рассеченной бровью, хрипло сказал дважды, подтягивая к себе автомат:

– Даром не достанемся... Даром не достанемся...

К счастью, колонна прошла, с автомашин их не заметили. Но они не знали, что с противоположной стороны дороги за ними давно и хладнокровно наблюдало несколько пар глаз, что их давно держали на прицеле.

В плен их взяли быстро, бесшумно и до удивления просто.

Когда прошла последняя автомашина, они еще минуты три полежали в кустарнике.

Потом Василий сказал:

– Я говорил, что я счастливый... Вы, папаша, со мной не пропадете. Устали?

– Тяжелый он, – вместо ответа сказал Савельев.

Василий приложился ухом к груди капитана, послушал.

– Живой, кажись... Ну, моя очередь. Держите автомат.

Василий привстал, огляделся. Перекинул через плечо бесчувственное тело Назарова и побежал через дорогу.

Они вышли на крохотную полянку, и здесь Савельева кто-то сшиб страшным ударом в голову. Он все-таки вскочил, сквозь кровавую пелену увидел чье-то улыбающееся, круглое и чужое лицо. И еще увидел, как беспомощно крутится на поляне Кружилин с телом капитана на плечах, а вокруг, наслаждаясь беспомощностью русского бойца, стоят и гогочут несколько немцев. Все это промелькнуло перед глазами Савельева в одну секунду. Он повернулся, увидел, как немец с жирным лицом поднимает с земли его винтовку и автомат, которые Антон, падая, выронил, кинулся было к нему, надеясь вырвать винтовку, но другой немец подскочил сбоку и ударил в плечо чем-то тупым и тяжелым. Савельев откатился на самый край поляны, но опять вскочил... Прямо в глаза ему смотрел черный зрачок автомата.

* * *

Так и не дозвонившись до Новосибирска, Поликарп Матвеевич вышел из райкома. Евсей Галаншин, конюх, скреб метлой перед крыльцом, сгребая мокрые окурки, сбитые дождем листья.

– Дождик-то славный пролился, – сказал Кружилин. – Хорошо для пшенички.

– Дождь парной – хлеба волной. Это уж так, – подтвердил старик. – Да корявый Емеля и есть не умеет. Ему кашу в рот кладут, а она вываливается.

– Это почему?

– А сам корявый – и рот дырявый, – ответил старик, сел на ступеньку крыльца, полез за табаком. – У нас в районе каждую осень половина хлебушка на токах горит, в землю копытами втолочивается... Робят люди, робят, а потом пол-урожая гробят. – И сделал неожиданный поворот: – Вот и ты, гляжу, какой день все с бумагами возишься. Верка на машине этой трещотистой стучит, а ты все носом ее бумажки ковыряешь. Я вижу. Я хожу вокруг райкома, в окна подглядываю, ну, мне и все видно, кто чем занимается.

Кружилин улыбнулся:

– Это какая же связь между потерями на уборке и моими бумагами?

– А самая такая... До тебя тут Полипов все так же бумаги всякие грозные составлял: быстрее сейте, быстрее косите! Перевозил я этих бумаг в колхозы многие пуды! Ну, люди все бегом, бегом, лишь бы в эти бумажные сроки уложиться. А когда с полным ведром бежишь, не хочешь, да половину расплескаешь. И ты вроде этим же манером хочешь к уборочной подступать. А? Чтоб быстрее всех в области отстрадовать? Полипов у нас завсегда первый был.

– Нет, Евсей Фомич, я не такие бумаги составлял... Убирать хлеба будем по-крестьянски, чтоб без потерь.

– Ну, это поглядим еще, – усмехнулся старик.

Шагая к дому, Кружилин думал о Полипове. Район при нем действительно вышел на первое место в области. И, дав в обкоме согласие вернуться на прежнюю работу, Поликарп Матвеевич полагал, что Полипова ожидает повышение по службе. И это, размышлял Кружилин, справедливо и естественно – Полипов, как видно из его личного дела, коммунист с дореволюционным стажем, неоднократно сидел в царских тюрьмах. Вместе с нынешним сек-

ретарем обкома партии Субботиным устанавливал советскую власть в Новониколаевске. Во время белочешского мятежа опять попал в руки белогвардейской контрразведки, но из тюрьмы бежал, служил затем комиссаром в одной из частей Красной армии. После гражданской войны работал в новосибирских партийных органах, вплоть до избрания первым секретарем Шантарского райкома партии. И очень удивился, когда Полипова оставили в Шантаре на должности предрика. Полипов был, кажется, обижен. И Кружилин если не сочувствовал Полипову, то по крайней мере понимал его состояние. И было ему как-то неловко перед Полиповым, словно по собственной прихоти взял да сместил его с поста первого секретаря, освободив для себя место. Однажды Кружилин хотел даже откровенно поговорить с ним об этом, но Полипов резко сказал, как отрезал:

– Не надо. Я понимаю, что ты ни при чем. Не маленький.

Вторично Кружилин удивился, когда стал знакомиться с хозяйствами бывшего своего района: колхозы, что называется, нищенствовали. Неделимые фонды давно не пополнялись, коровники, телятники, конюшни повсюду разваливались, на трудодни людям выдавали мало...

За последние два-три года сельское хозяйство страны круто пошло в гору, трудодень становился все обильнее. И веселее становились люди, разговорчивее, открытее. Зазвенел громче по деревням смех, чаще заплескалось веселье. В магазинах не стало хватать ситца, велосипедов, а главное – патефонов. Здесь, в Шантаре, все было наоборот. Колхозники встречали его если не хмуро, то молча, настороженно, в разговоры почти не вступали. В магазинах было достаточно и велосипедов, и патефонов.

«Вот тебе и передовой район!» – все более мрачнел Кружилин.

Однажды он заночевал в Михайловке, поделился этими мыслями с Назаровым. Председатель колхоза слушал, что-то мычал, но было непонятно, соглашается он с Кружилиным или нет.

– Да что ты, Панкрат, мычишь, как телок? – резко спросил Кружилин. – Может, я чего-то недопонимаю или вовсе не прав, ты прямо и скажи.

– Ишь ты, прямо... Прямо дикие утки вон летают. Так это птица глупая.

– Постой, Панкрат... Да ты никак хитрить научился?

Назаров неуклюже полез из-за стола, чуть не опрокинув стакан с недопитым чаем. Раскачивая руками, прошел через всю комнату, снял со стены полушубок, натянул его.

– А заяц вон тоже, может, глупый, – проговорил он, отыскивая шапку. – А следы петляет. Жизнь, стало быть, учит его. Потому что на земле живет, а не в пустом небе летает...

Кружилин наблюдал за ним, прищурился от изумления глаза.

– Изменился ты, Панкрат, за это время...

– Дык двадцать четвертый год советской власти идет. Пора и меняться.

Голос старого председателя был глух, печален, слышалась в нем откровенная горечь.

– Так... – промолвил Кружилин и тоже поднялся из-за стола. – Не потому ли у тебя и колхоз напротив других покрепче, что петлять научился?

– Нет, никудышный колхозишко... Люди живут, может, посправнее, это так... Ежели по твоим приметам судить, по патефонам, то... у нас их ничего, покупают.

Последние слова он прибавил с чуть заметной усмешкой, повернулся навстречу Кружилину, и они стали грудь в грудь, смотря в глаза друг другу.

– Зачем ты так со мной, Панкрат?

– А я откуда знаю – прежний ты али нет? Может, надломила тебя жизнь и ты на Полипова стал похожий?

Потом в глазах Назарова что-то дрогнуло, он опустил на голбчик, стал глядеть куда-то в угол.

– Пуганая ворона, знаешь, куста боится. Прощай меня, Матвеич.

– Мне ведь работать с этим Полиповым. Что это за человек? – прямо спросил Кружилин.

Назаров еще помолчал, вздохнул.

– А дьявол ли в нем разберется. Но, по моему разумению, вредный, однако, для жизни человек.

– Чем же?

– Чем, чем?! Я откуда знаю чем! – вспыхнул было Назаров, но тут же, будто устыдясь, продолжал тише: – Ты гляди – в округе живут колхозы ничего вроде. А в нашем районе будто мор страшный прошел. Как Полипов стал секретарем райкома, так и начался этот мор.

– Значит, ты считаешь, все дело в Полипове?

– Рыба с головы гниет...

– Ну а все же, вы-то чего тут? Ты вот, другие председатели?

– А чего мы? Нас приучили, как солдат, к командам. Сегодня просо сей, завтра – ячмень. Ваш райкомовский конюх дед Евсей, бывало, привезет бумагу – немедля начать сеять, – а на дворе дождь со снегом, а то и буран хлещет.

– И что же вы?

Назаров пожал плечами:

– Бывало, что и сеяли, в стылую землю семена зарывали. Зато район всегда первым по области посевную заканчивал. А хлебозаготовки? Выполним весь план – Полипов добавочный спускает. Излишки, дескать, есть, сдавайте Родине излишки. Ну, по хлебодаче мы тоже всегда первыми. Передовой район! А хозяйство что? Оно хиреет. На трудодни фига остается. Ну, терпишь-терпишь, да иногда и... сотню-другую пудиков пшенички скроешь. На душе муторно, будто украд хлеб-то... Или расвирепеешь – да бумагу ему, рапорт: все честь по чести, сев закончили. А кой хрен закончили, когда пашни еще каша кашей, ноги по колено вязнут. Да... А потом ночами сердце все ищемит, все ворочаешься. Все слушаешь, не стучат ли дрожки... Якова Алейникова.

– Во-он как!

– А ты думал – как?

«Да, Полипов, Полипов...» Кружилин эти полгода все присматривался к нему. Вроде бы человек как человек. Ведет, правда, себя замкнуто, но обязанности новые выполняет если не хорошо, то добросовестно.

Кружилин жил в том же одноэтажном бревенчатом доме, что и до отъезда в Ойротию. Только сейчас дом был обнесен высоким глухим забором, выкрашенным в зеленый цвет.

– Зачем ты забором отгородился? – спросил Кружилин у жившего в этом доме Полипова в первый же день приезда. У крыльца стояла полуторка, дед Евсей, райкомовская сторожиха и сам Полипов бегали по перемерзшим ступенькам, носили из дома и бросали в кузов матрацы, стулья, связки книг.

– Это не я. Это Алейников приказал огородить, – бросая в кузов валики от дивана, сказал Полипов. – А зачем – его уж дело. Ему виднее.

Стоял морозный день, нетронутый, немятый снег больно искрился. Полипов был в одном свитере, в шапке, от него шел пар.

Грузился он торопливо, как-то демонстративно-показательно.

– Зря ты это, Петр Петрович, – сказал Кружилин.

– Чего зря?

– Переезд затеял. Мы с женой поселимся в доме, где жил бывший предрика. Или еще где. Сын у меня в армии служит, много ли места нам с женой надо?

Полипов вытер ладонью широкий вспотевший лоб, попробовал улыбнуться.

– Нет уж... Закон порядка требует. Я в этом деле педант, хотя это, может быть, и смешно...

Машина уехала, а дом стоял пустой, неприглядный, будто разграбленный. Кружилин закрыл ворота, вошел в дом, походил по пустым комнатам. На пыльных полах валялись бумажки, окурки. «Забор вокруг дома надо будет сломать», – подумал он.

– Устраиваешься? – услышал голос Алейникова.

Яков в добротном кожаном пальто с меховым воротником, но в потертых собачьих унтах стоял у дверей и улыбался.

– Слушай, зачем ты дом-то обгородил глухой стеной? – спросил Поликарп Матвеевич.

– Я? Это Полипов приказал обгородить. Ну, устраивайся, устраивайся. – Он оглядел зачем-то запоры на дверях. – Впрочем, ремонтик сперва надо бы сделать. Ты маленько еще потерпи в гостинице. – И он подошел к телефону, крутнул два раза ручку. – Катенька, райкомхоз мне... Ага, Малыгина. Малыгин?... Да, я... Слушай, квартиру секретаря райкома надо привести в порядок. Срок – два дня.

Тот, кого Алейников назвал Малыгиным, видимо, что-то говорил.

Яков слушал, покусывая нижнюю тонкую губу.

– Ты мне не заливай, я говорю – два дня, и точка. Все. – Он повесил трубку. – Черти, вечно у них отговорки. Ты извини, что я, так сказать, вмешался. А то они тебе за две недели не отремонтируют.

– Прикажи уж заодно этот чертов забор снести.

– Забор? Зимой-то?! – улыбнулся опять Алейников.

– Да, верно... Ладно, подождем до весны.

Алейников согнал улыбку.

– От какой ты... Поставили – пусть стоит. Не по собственной прихоти, должно быть, его поставили. Не понимаешь, что ли?

«Эх, Яша, Яша! – вздохнул Кружилин, когда Алейников ушел. – Боюсь, опять мы с тобой не сработаемся».

Поликарп Матвеевич еще, наверное, с полчаса бесцельно бродил по пустому дому, долго стоял в маленькой комнатке, в которой когда-то жил сын Василий. Вот здесь, у стены, стояла его кровать, здесь – столик, где он готовил уроки. Тут была полка, уставленная игрушечными танками. Васька, кажется, с первого класса забредил танками, лепил их из хлебного мякиша, вырезал из картона, выпиливал из досок. А потом забросил танки, увлекся авиацией, день и ночь строгал реечки, планочки, мастерил из них крылья и фюзеляжи планеров, самолетов, обклеивал папиросной бумагой. Это было уже там, в Ойротии... Но к десятому классу остыл и к авиации; к чему лежала у него душа – он и сам уже не знал. Он так и сказал:

– Не знаю, батя, на что свою жизнь истратить. Хочется на что-то необычное. А вот неясно пока, в голове какой-то розовый туман качается. Знаешь, скоро мне на действительную. Отслужу, а там видно будет. За время службы, может, продует мозги.

С тем и ушел в Красную армию.

А здесь, в этой комнате, был кабинет. Поликарп Матвеевич вспомнил, что любил работать здесь по утрам. Окнами дом выходил на площадь, посреди которой стоял простенький памятник павшим борцам за советскую власть – темно-красный, как застывшая кровь, деревянный обелиск. Здесь, в этой братской могиле были похоронены многие бойцы его партизанского отряда. Зимой, каждое утро, когда вставало солнце, если окно в комнате не было замерзшим, тень от пятиконечной звезды, которой был увенчан памятник, падала прямо на его рабочий стол. Вокруг памятника был разбит небольшой скверик. Летом, от зари до зари, он тонул в разноголосом птичьем гомоне.

Летом солнце вставало из-за горизонта много восточнее, поэтому тень от звезды на стол не падала. Но зато, стоило лишь распахнуть окно, этот птичий перезвон сразу, обвалом, врывался в комнату вместе со свежим воздухом, заполнял ее всю, до отказа. Пели птицы, под утренним ветерком чуть волновались тополя и клены, каждым листочком отражали яростное

солнце, текли по небу над памятником легкие и свежие утренние облака, и казалось, что это вовсе не облака плывут над землей, а сама земля несется куда-то в неведомые дали, оставляя облака позади. Теперь за окном торчали унылые, почерневшие от летних дождей доски забора, поверх досок – верхушки деревьев, а поверх деревьев, правда, виднелась выпиленная из куска толстой плахи звезда. Она была в инее, под зимними лучами солнца горела, сверкала. Но сам памятник был отгорожен глухой стеной.

«Ну нет! – чувствуя тупую боль в сердце, взорвался Кружилин. – Летом к чертовой матери этот забор!» И, круто повернувшись, вышел из дома.

Во двор въезжала подвода, груженная облитыми известью бочками, ящиками, банками с краской, за санями валила толпа людей в грязных ватниках. Впереди, как предводитель, шел представительный мужчина лет тридцати в желтом полушубке. Он подбежал к Кружилину, выдернул руку из меховой рукавицы, сунув ее, как копьё, Поликарпу Матвеевичу:

– Вы – Кружилин, новый секретарь райкома? Будем знакомы. Я – Малыгин. – И обернулся к толпе: – Давай, давай, ребята, время в обрез, чтоб как из пушки у меня послезавтра к вечеру. – И опять крутнулся к Кружилину: – Вы, Поликарп Матвеевич, будьте спокойны, сделаем, успеем. У меня народ – жохи!

– Что значит «жохи»? Пройдохи, что ли?

– Не-ет, в смысле золотые ребята, умельцы. Это у меня словечко такое. Давай выгружай, завтра с утра еще поднаряжу к вам людей, со всех объектов снимаю.

Малыгин суетливо бегал вокруг саней, распорядился. Кружилин с неприязнью поглядел на него: «Сам-то ты жох, однако, первостатейный».

– Вы, смотрю, исполнительный, – сказал он вслух.

– А как же?! – В глазах у Малыгина плеснулось удивление. – Служба. Какие колера вам поставить?

– Ни с каких объектов людей снимать не надо.

– П-понятно... – растерянно уронил Малыгин. – Только непонятно насчет сроков.

– К концу следующей недели приведете дом в порядок – и хорошо. А цвет полов и стен мне безразличен. – И пошел со двора.

– П-понятно... – Кружилин чувствовал, как Малыгин недоуменно смотрит в спину, соображая, кому же подчиняться – ему или Алейникову.

Подчинился заведующий райкомхозом все-таки Алейникову.

...Все это Поликарп Матвеевич вспомнил, пока шел по затравевшей дорожке от калитки к крыльцу. Все быстро промелькнуло в памяти, и осталась, зацепившись за что-то, одна-единственная мысль: «Забор... Надо все же снести этот чертов забор! Сейчас же позвоню Малыгину – пусть завтра начинает ломать...»

– Скорее, скорее... – это выскочила на крыльцо жена.

– Что такое, Тося?

– Из обкома звонят. Иван Михайлович...

Кружилин вбежал в комнату, подошел к телефону.

– Иван Михайлович?... Здравствуй. Наконец-то... Я к вам весь день сегодня звонил. Кто из вас на актив к нам приедет?

– Боюсь, что никто... – Голос Ивана Михайловича был далек и глух.

– Что такое? Случилось что-нибудь? Иван Михайлович, ты слышишь?

– Я слышу, кричать не надо. Члены бюро у тебя на месте?

– Сегодня отдыхают. Завтра по колхозам с утра разъезжаемся – кое-где у нас с сенокосом заминки. Да что случилось?

– В четыре часа дня ожидается важное правительственное сообщение... Слушайте.

– Что? Умер кто-нибудь? Или... или... – И вдруг Кружилин почувствовал, как затяжелела в руке телефонная трубка, скользнула в запотевшей ладони. Чтобы не выронить ее, он так

сжал кулак, что пальцы на сгибах побелели. Теряя голос, прохрипел: – Неужели, Иван Михайлович...

– Ничего не могу сейчас сказать. Слушайте радио. Если надо будет, звоните. Весь обком сейчас уже на месте... Советую тебе к четырем собрать всех членов бюро. Вместе послушайте. Ну а там – по обстановке. До свидания...

В трубке щелкнуло, но Кружилин не вешал ее, не отнимал даже от уха, так и стоял, окаменев, глядел через окно на верхушки деревьев, видневшиеся поверх забора, на звезду обелиска, плавающую поверх деревьев. Неожиданно в трубке кто-то всхлипнул:

– Поликарп Матвеич... Это война, война...

– Что? Кто это? – вздрогнул Кружилин.

– Это я, Катя, телефонистка...

– Ты откуда знаешь?

– Мне звонила подруга... телефонистка из Москвы. Они там, на телефонной станции, с утра знают. Война это... Как же это? – И опять донеслись рыдания.

– Ну, спокойно. Ты слышишь, спокойно, я говорю! – повысил голос Кружилин. – И чтобы у меня молчок! Поняла?

– Я поняла, я поняла, Поликарп Матвеевич, – жалобно сказала телефонистка.

– Ну и молодчина. А теперь, Катя, совсем успокойся. И обзвони всех членов бюро райкома. Всех разыщи и скажи, что я вызываю их к четырем часам в райком на срочное совещание.

– Ладно, – сказала телефонистка почти уже окрепшим голосом.

Подошла тихонько, медленно жена, полное, уже чуточку дряблое лицо было встревожено.

– Что? Что такое? – шепотом спросила она.

– Не знаю, Тося... – продолжая глядеть в окно, сказал Кружилин. – Кажется... война.

Глаза у Анастасии Леонтьевны стали раскрываться все шире и шире. Она тихо охнула, качнулась, метнув руку к сердцу, привалилась к мужу.

– А Васенька-то?! Как же теперь наш Васенька?!

– Ну-ну! – поглаживая теплое плечо жены, проговорил Кружилин, чувствуя, как холодком пощипывает сердце. Пощипало и отпустило...

* * *

Точно так же сердце начало пощипывать полтора часа спустя, когда из черного круглого репродуктора, установленного в его кабинете в углу на тумбочке, раздался глуховатый, будто чуть надломленный голос Молотова:

«Граждане и гражданки Советского Союза! Советское правительство и его глава, товарищ Сталин, поручили мне сделать следующее заявление...»

Но едва Молотов сказал несколько слов, холодок из сердца вдруг исчез, тело стало легким, невесомым, а в голове светло и ясно, будто он ночью испытывал какие-то кошмары, а проснувшись, понял, что это был всего-навсего сон...

А Молотов между тем говорил:

«...Сегодня, в четыре часа утра, без предъявления каких-либо претензий к Советскому Союзу, без объявления войны, германские войска напали на нашу страну, атаковали наши границы во многих местах и подвергли бомбежке со своих самолетов наши города – Житомир, Киев, Севастополь, Каунас...»

Поликарп Матвеевич слушал неторопливые, спокойные слова, падавшие из репродуктора в тишину, оглядывал собравшихся в кабинете людей и думал: «Война... Сколько же она продлится? Неделю? Месяц? От силы – месяц. Хасан, Халхин-Гол, финская даром не прошли,

чему-то научили нас. Теперь ясно, что нас прощупывали, испытывали. Это мне ясно стало только сейчас, а Сталину, правительству ясно было давно. И конечно, не сидели сложа руки, подготовили Красную армию, страну... Да, от силы – месяц».

Голова у Поликарпа Матвеевича стала чуть кружиться. Он почувствовал, как пьянит его знакомый диковатый хмель молодости, и улыбнулся. Впереди была работа, более трудная и напряженная, чем до сих пор.

Когда голос Молотова умолк, из репродуктора полились военные марши. Кружилин оглядел членов бюро. Все были хмуро-сосредоточенны, избегали смотреть друг на друга, будто каждый был в чем-то виновен перед другими. Полипов грузно сидел в мягком кресле сбоку секретарского стола, то барабанил пальцами по обтянутому кожей подлокотнику, то вытирал беспрерывно потевший лоб. Напротив него сидел майор Григорьев, военком, человек лет пятидесяти, давно седой, воевавший на Хасане и в финских болотах. Он, видно, до ломоты сжимал зубы, потому что на его чисто выбритых щеках вспухли крепкие желваки. Он смотрел куда-то вниз, между ног; солнечные лучи, падавшие через окно, играли в его седине, на его рубиновых шпалах.

Алейников не был членом бюро. Кружилин, давая согласие вернуться в Шантару, специально оговорил в обкоме партии, чтобы не включать его в состав нового бюро райкома. Но он тоже был в кабинете – Поликарп Матвеевич сам позвонил ему и попросил зайти. Сейчас он, как утром, стоял у окна и молча смотрел на дорогу.

Не вставая, Кружилин протянул руку к выключателю. Тишина тотчас оглушила.

– Ну что же, товарищи... – проговорил Поликарп Матвеевич раздумчиво и умолк. И вдруг усмехнулся. – Сегодня я с нашим конюхом-старичком беседовал. Об дождике сегодняшнем говорили, об урожае. «Дождик-то хороший прошел, – сказал старик, – хлеба` волной поднимутся. Да корявый Емеля и есть не умеет». – «Как, спрашиваю, так?» – «А так, отвечает, сам тот Емеля корявый, а рот дырявый. Кашу ему в рот кладут, а она вываливается».

Полипов вскинул тяжелый взгляд, повел толстыми плечами. И другие поглядели на секретаря райкома с недоумением.

Кружилин встал и, не замечая, что голос его звучит чуть торжественно, сказал:

– Сегодняшний отдых придется нам прервать. Давайте проведем бюро райкома... первое военное бюро. Сами понимаете, что с этого часа, с этой минуты каждого из нас ждут новые неотложные дела и заботы, вызванные новой обстановкой. И главная наша забота сейчас – урожай. Давайте еще раз сейчас уточним наши планы уборочной. Мы должны провести страду и четко и быстро, это само собой. А главное – убрать все до зерна. Потери хлеба при уборке, кажется, очень большой вопрос в нашем районе... Садитесь, товарищи, поближе. И ты, Яков Николаевич, останься...

Кружилин умолк. Он стоял и слушал, как люди гремят стульями, смотрел, как они рассаживаются за длинным столом, сквозь гул и скрип стульев вдруг явственно прорвался, ударил в уши тревожно-режущий вскрик жены: «А Васенька-то? Как же теперь наш Васенька?!»

* * *

На усадьбе шантарской МТС по случаю воскресного дня было тихо и безлюдно.

Тракторы Аникея Елизарова и Кирьяна Инютина стояли рядом. Моторы у обеих машин разворочены, Инютин и Елизаров грязными по локоть руками копались в их внутренностях. Инютин работал хмуро и молчаливо, Аникей Елизаров, крупноносый, лет около тридцати, с ярко-красными, будто чахоточными, щеками, то и дело негромко, но зло матерился.

– Куда эту прокладку ставишь? Не видишь – совсем сгорела, – часто одергивал Елизарова Федор Савельев. – А этот болт выброси, вся резьба сносилась. Чего вылупил бараньи глаза?

Ступай новый нарежь... А ты, Кирьян, ровно все мозги пропил. Кто же так учил тебя болты шплинтовать? На первом же заезде шплинт вылетит... Ну, работнички, в дышло вам...

Федор отталкивал то одного, то другого, показывал, как надо делать. Руки его тоже по локоть были в мазуте.

Когда ударил ливень, все убежали в мастерскую. Там Федор растянулся на верстаке, Елизаров сел на банку из-под солидола и стал курить, Инютин стоял у грязного окна и сквозь замасленные стекла глядел на дождь.

– Ты что, Инютин, кислый, как недельное молоко? – спросил Елизаров. – Или переживаешь, что с утра трезвый? Когда ты, Кирьяша, пить-то бросишь?

– Ты лучше сам бы перестал в бутылку заглядывать, – не оборачиваясь, проговорил Кирьян.

– Это оно так, мне надо бросать, мне вредно, – согласился Елизаров. – Да главное не водка. Эта бензиновая вонь здоровье мое съедает. Сам себя гроблю на этой работе. Уходить надо. – Елизаров послушал, как шумит дождь за стеной, поморгал красивыми глазами, в длинных, как у девушки, ресницах. – И уйду вскорости. Что меня тут держит? Конечно, тут заработки. Тебе, дядя Федя, понятное дело, такую семью кормить надо... А мне? Семьи у меня, кроме жены Нинухи, никакой нету... И еще для тебя слава, гляжу, не лишняя. А мне...

– Не болтай! – резко проговорил Савельев.

– Не нравится? – спросил Елизаров. – А за-ради чего ты прошлой весной на собрании пообещался на поводок нас с Кирьяном взять, стахановцев полей из нас сделать? И вот уже полтора года с нами бьешься?

– И сделаю! Я вас на Доску почета через год-другой вывешу.

– Ничего ты из нас не сделаешь. И ты это сам распрекрасно знаешь. А вот директор МТС поверил. В прошлом году сразу же новый комбайн тебе дал. Поля для уборки отвел самые ровные, самые урожайные. Деньжонок-то да пшенички ты больше всех в МТС огреб. А нынче опять на самые тучные поля нацелился в «Красном колосе». У Назарова нынче самый урожай, говорят... Вглубь все видим, не слепые...

Федор свесил с верстака ноги. Сросшиеся брови его дрогнули, изломались, но тут же выпрямились.

– Ишь ты, наблюдательный какой! То-то гляжу, ко всем приглядываешься, принимаешься.

Елизаров испуганно уставился на Федора красивыми глазами.

– Всяк свою выгоду про себя знает, – усмехнулся Федор. – А то здоровье... Тебя бревном не перешибешь.

– Городишь что-то, – крутнул носом Елизаров, замолчал.

Когда кончился дождь, все трое до четырех часов работали молча, не переговариваясь.

– Шабаш, – сказал наконец Федор и стал отмывать руки в ведерке с бензином.

По территории МТС мелькнула девчонка в платочке, что-то крикнула на ходу, взмахнув обеими руками, умчалась к конторе.

Там маячили уже какие-то люди.

– Что за переполох? – проговорил Федор, обтирая руки грязной ветошью. – А ну-ка, узнаем.

Когда подошли к конторе, возле раскрытого окна директорского кабинета толпилось человек двенадцать. В кабинете тоже мелькали люди, на подоконник был выставлен радиопро-дуктор. Чей-то неторопливый, глуховатый голос говорил, что германские войска во многих местах перешли сегодня утром чью-то границу, бомбили какие-то города. Какие – Савельев не мог понять, потому что в кабинете навзрыд заголосила женщина, заглушая голос из репродуктора.

– Что тут? Кто это говорит? – спросил Савельев.

- Тише! Молотов говорит.
- А что произошло?
- Что? Война началась!

Женщину в кабинете успокоили или увели куда-то. В установившейся тишине четко печатались слова:

«Теперь, когда нападение на Советский Союз уже совершилось, советским правительством дан нашим войскам приказ – отбить разбойничье нападение и изгнать германские войска с территории нашей Родины...»

Федор слушал нахмурившись, дергал толстыми, заскорузлыми, пахнувшими бензином пальцами черные усы. Елизаров беспрерывно крутил лохматой головой на длинной шее, растерянно хлопал ресницами. Он, единственный из всех, не стоял на месте, подбегал к окну то с одного, то с другого краю. А Кирьян Инютин сел поодаль от всех на землю, на обмытую ливнем траву, опустил голову и застыл недвижимый. Так он и сидел, пока в чистом, давно сухом и горячем воздухе не полились военные марши.

* * *

Иван и не заметил, как ушел Панкрат, – все стоял, прижимая горячую голову сына к груди. Володька был давно не стрижен, его густые волосы, жесткие и пыльные, пахли ветром, полынной степью. В груди у Ивана что-то сдавило, он стоял и стоял, ожидая, когда боль стихнет. Наконец оторвался от сына, полез в котомку, достал банку консервов.

- Что это? – спросил Володька.
- Гостинец тебе.
- Мальчишка повертел банку, не зная, что с ней делать.
- Это консервы. Не ел, что ли, никогда?
- Не, – тряхнул головой Володька.

Иван вскрыл банку, поставил на стол. Мальчишка попробовал сперва с опаской, потом начал уминать за обе щеки. Иван сидел напротив, смотрел на сына, в груди опять больно застонало, он отвернулся к окну. Возле дома в бурьянах бродил белолобый теленок.

- Это наш! – живо сказал Володька. – Дядя Панкрат нам подарил.
- Как подарил?
- Ну как? Отелилась у него корова, и он подарил. «Вырастите, говорит, корова будет». – И, помолчав, спросил вдруг: – А ты больше не враг народа?
- Медленно-медленно Иван повернул голову к сыну:
- Это кто же тебе сказал... что я враг народа?
- Да кто? Пацаны все дразнили меня.
- Вон как, – тихо произнес Иван.
- Ага... Когда я маме сказал, что ребятишки дразнятся, она сказала: «А ты не верь...»

А сама плакала ночами, я слышал... И дядя Панкрат тоже говорил, чтоб я не верил...

Иван опять долго глядел в окно.

- Они тебе правильно сказали – и мамка, и дядя Панкрат.
- Да я и сам знаю, что никакой ты не враг, – негромко проговорил Володька. – Какой же ты враг? Только...
- Ну, что?
- Непонятно только: почему ты в тюрьме-то сидел?
- Иван опять прижал к себе его голову, стал гладить по спутанным волосам.
- А ты думаешь, сынок, мне понятно? Ну, ничего. Подрастешь – сам все поймешь...
- Как же я пойму, если тебе самому непонятно? – помедлив, спросил Володька.

Иван Савельев отошел от сына, присел на скрипнувшую под ним деревянную кровать. И ответил тринадцатилетнему сыну, как взрослому:

– Видишь, в чем тут дело, однако... Жизнюха-то наша, сынок, так закрутилась, что, барахтаясь в ней, и не разберешься, что к чему. А ты подрастешь, и как бы со стороны тебе все ясно и понятно будет.

Володька, наморщив лоб, пытался вникнуть в слова отца, сероватые глаза его стали не по-детски задумчивы.

– Ой! – сорвался он с места, схватил кнут. – Я сижусь, а косари хлеб ждут. Даст мне выволочку дядя Панкрат!

Володька убежал, а Иван походил по комнате, разулся и прилег на кровать. Было непривычно вот так лежать одному, в тишине, на мягкой чистой постели. И эта тишина, и высокая деревянная кровать с синими подушками из настоящего пера, большая, недавно выбеленная печь, чистенькое окошко, в которое вламывались потоки солнца, – все казалось нереальным, неправдоподобным. Непонятно было, как он, Иван, очутился в такой обстановке, не верилось, что он сколько угодно может лежать на этой постели, наслаждаться тишиной, чистотой, покоем.

«Ива-ан! Ваня-а!..» – хлестанул вдруг в уши истошный крик жены. Иван, оказывается, задремал. Судорожно вздрогнув, он приподнялся, сел на кровати. «Почудилось, что ли?»

Иван потряс головой, чтобы сбросить наваждение. Но оно продолжалось, потому что дверь в избу распахнулась, влетела Агата, страшная, разлохмаченная.

– Ива-ан! Ванюшка-а! – упала она ему в колени и тяжело забилась.

– Погоди, Агата... Что такое? Чего ты?! – не на шутку испугался Иван.

– Война, Иван! Война-а...

Агата подняла лицо, вместо глаз ее были черные, мутные ямы, по розовевшим недавно щекам, сейчас пепельно-серым, дряблым, вмиг износившимся, текли из черных ям слезы...

* * *

Семен и Вера возвращались в село степью. Был уже поздний вечер, солнце садилось. Сбоку текла Громотуха. Назвеневшись за день, она текла безмолвно, лениво, заходящее солнце окрашивало ее в медно-золотой цвет.

Колька Инютин, Димка и Андрей ушли домой раньше.

Время от времени девушка останавливалась и говорила:

– Сема, еще разок.

Семен целовал ее. Вера оплетала его шею горячими руками, плотно прижималась, точно прилипала, всем телом.

– Ненасытная ты.

– Ага, жадная я, – соглашалась Вера. – Губы болят, а мне все хочется... Ох и любить я тебя буду, Семушка! Все парни завидовать будут.

Возле села, на берегу реки толклись несколько парней и девчонок. Какой-то человек в белой рубашке с засученными по локоть рукавами сидел на плоском камне, тренькал на гитаре.

– Там вроде Манька Огородникова... Погоди, я сейчас... Я ей платье заказывала.

Вера побежала к берегу, о чем-то стала говорить с Огородниковой – круглолицей, полноватой, с непомерно большими грудями, которых, как Семен замечал, она стеснялась сама.

Обождав Веру минуты три, Семен нехотя приблизился к берегу. Человек с гитарой запел надрывно-стонущим голосом:

...Я подрастал, я становился краше,

Любить девчонок стал и начал выпивать.

«Ты будешь вор такой, как твой папаша», —

Твердила мне, роняя слезы, мать...

«Кафтанов! Макар!» – сразу догадался Семен и хотел уйти. Но Макар обернулся, сузил свои прокопченные глаза.

– А-а, племянничек! Ну здравствуй.

Семен промолчал.

– Не хочешь знаясь? – скривил губы Макар. – Ну, я не в обиде.

Ветерок играл тонкой шелковой рубашкой Макара, на жилистой руке его поблескивали часы. Хромовые, с квадратными носками сапожки «джимми» были перемазаны глиной. «Вырядился. И сапог не жалеет», – мелькнуло у Семена. Какая-то огненно-рыжая, незнакомая девица подошла к Макару, откровенно и бесстыдно повисла у него на плече, что-то шепнула.

– Отвались, – брезгливо повел плечом Макар.

На руке у рыжей Семен заметил такие же часы, как у Макара. «Ворованные», – подумал он.

– А я, Сема, помню – сперва такой вот ты был, потом такой, такой... – Макар показал, какой был Семен. – А сейчас смотри ты, вырос.

– Верка, пошли, – сказал Семен.

Макар снова тронул гитарные струны:

Семнадцать лет тогда мне, братцы, было...

Но вдруг резко оборвал песню:

– Заходи как-нибудь, Сема. Об жизни поговорим.

– Об какой? – усмехнулся Семен. – Об тюремной? Что-то она меня не интересует.

– О-о! – протянул Кафтанов, черные глаза его сузились. – Мать видела твоя, что я приехал?

– А мне почем знать?

– Ну, ну... Привет ей передай, – с улыбкой промолвил Макар и отвернулся.

К селу Вера и Семен подходили молча. От реки доносилась бесконечная тюремная песня Макара:

Шли дни за днями, за месяцами годы...

Все то сбылось, что предсказала мать...

– Тьфу! – сплюнул в дорожную пыль Семен.

– Конечно, – сказала Вера задумчиво. – А часы у него хорошие. И этой рыжей – заметил? – подарил.

– Позавидовала! – зло сказал Семен и зашагал быстрее.

Солнце уже село; переулки, по которым шли Семен с Верой, были безлюдны. Но это не удивило ни Семена, ни Веру. Вечерами, особенно по воскресеньям, оживленной бывает только главная улица Шантары.

Но когда они вышли на «шоссейку», и там никого не было. Под тополями тихо, пусто, сумрачно. Сперва Семен, раздраженный встречей с Макаром, не обратил внимания на это обстоятельство. Потом остановился.

– Что за черт, – пробормотал он. – Тебе ничего не кажется?

– А что? – Вера тоже очнулась от задумчивости.

– Будто вымерло все.

– Действительно, – девушка пошевелила тонкими бровями. – Хотя вроде где-то голоса.

Они быстро зашагали вдоль улицы. Возле двухэтажного, из красного кирпича, здания военкомата толпились люди. Какой-то старичонка сидел на нижних ступеньках высокого деревянного крыльца с перилами, сосал трубку и говорил:

– Оно конечно, сейчас медикаменты всякие. А што ёд ваш этот, так это – тьфу, понадежней средства есть. Земля вот с порохом – куды вашему ёду.

– Болтаешь ты, папаша, – сказал какой-то парень.

– Что болтаешь, что болтаешь? – вскочил старик, задрал рубашонку, оголив синий бок. – Вот, гля. Дыра была – кулак влезет. Это, значит, году в пятнадцатом было. И шли мы в штыковую, помню. Не успел я пробежать саженой восемь – кы-ык хватанет меня за этот бок. Снарядным осколком, соображаю, полоснуло. Глянул – бок аж дымится. Упал, конечно. Тут сестра милосердия меня на загорбок и потащила с бою... И уж как этим ёдом вашим ни мазали! А рана все гноится. Ну, думаю, насквозь меня прогнойт доктора, самому надо лечить. Раздобыл пороху, колупнул в больничном саду горсть земли. Развел это водицей...

– Кипяченой? – полюбопытствовал тот же парень.

– Балбес! – рассердился старик. – Надсмешник, право слово. А бок – вот он, гляди, гляди, – старик опять вскочил, задрал рубаху. – Замазал, бинтом потуже затянул, и дён через семь только синий рубец остался. А то кипяченой... – И старик сел на прежнее место, сердито нахохлился.

– Щипало хоть? – сдерживая смех, спросил пожилой мужчина.

Но старик, видно, не заметил иронии, ответил серьезно:

– Не без того, конечно... – И повернулся к парню: – А ты, балабол, надсмешки-то строй, а не забывай рецепту: горсть земли, полгорсти пороху на полкружки воды. На войну-то тебя, может, завтра же заберут...

– Слушайте... Об чем это вы? Какая война? – спросил Семен.

– Как какая? Ты откуда, друг, свалился?

Вскрикнула вдруг Вера, вцепилась Семену в плечо острыми пальцами, порывисто задыхалась.

– Да постой ты, – недовольно сказал Семен, попытался даже сбросить ее руки. – Объясните...

Но из сумрака выскочил Колька Инютин, потащил Семена от крыльца, сбивчиво и возбужденно говоря:

– С немцами война-то, Сем... Пока мы рыбалили, немцы войну открыли. Я уж дома был. Матка плачет, отец с угла в угол ходит молчком. Твой батя – я видел через плетень – тоже хмурый, сердитый... Это что же, а!

– Сема, Сема! – Вера опять повисла на плече. – Тебя возьмут же теперь...

– Так... – сказал Семен. – погоди, Верка. Не реви раньше времени.

– Действительно... Дура она у нас, – шмыгнул Колька носом.

– Ладно, пошли домой...

Когда Семен зашел в дом, отец, как утром, сидел у открытого настежь окна, курил, пуская дым на улицу, в темноту. Мать, молчаливая и тихая, стараясь не греметь посудой, собирала ужинать. Димка и Андрейка забились в угол, испуганно сверкали оттуда глазенками. Ведерко с уловом, забытое, ненужное сейчас, стояло на скамейке возле двери.

– В самом деле, что ли... война? – спросил Семен.

– Давайте ужинать, – вместо ответа проговорил отец и выбросил окурок через окно.

За едой никто не проронил ни слова. Поужинав, Семен вышел во двор, поглядел на ярко горевшие в чистом небе звезды. «Как же она там идет, война, ночью-то?» – пришла вдруг глупая мысль. Семен знал, что эта мысль глупая, но никаких других почему-то не приходило.

Качнулся, затрещав, плетень, Семен поморщился: «Верка». Ему сейчас не хотелось ее видеть и вообще никого не хотелось видеть. Но это был опять Николай Инютин.

– Слушай, Сем, смогу я военкоматчиков обмануть, а? – спросил, подойдя, Колька.

– Каких еще военкоматчиков?

– А что? Я рослый. Скажу, с двадцать третьего года.

– Пошел бы ты! – зло вымолвил Семен, сел на скамеечку, врытую у стены, стал смотреть в темноту.

– А метрики, скажу, потерял. Очень просто... Три года всего надбавлю – как они проверят? А, Сем?

Семен молчал, думал о чем-то. Колькиного голоса он будто не слышал. Затем встал и ушел в дом.

* * *

Когда стемнело, Аникей Елизаров, зыряка по сторонам, подошел к длинному бревенчатому зданию, обсаженному кленами, вильнул к крыльцу, над которым тускло горела лампочка. За дверью был длинный узкий проход, в конце которого, за барьерчиком, сидел в фуражке с красным околышем дежурный.

– Меня тут начальство вызывало, – сказал он, – Елизаров я.

– Яков Николаевич, что ли?

– Ага...

От дежурного вправо и влево тянулся широкий, как улица, коридорище с обитыми черной клеенкой дверями. Только одна дверь, в самом конце коридора, была обита красной кожей. Елизаров подошел к ней, дернул на себя.

Алейников сидел за большим столом, что-то писал. Елизаров тихонько кашлянул в пахнувший керосином кулак.

– Ну, что у тебя? – мрачно взглянул на него Алейников.

– Я позвонил, чтоб вы приняли меня... по личному делу.

На стене висели тяжелые, старинные, черного дерева часы с медными узорчатыми стрелками. Круглый язык маятника лениво качался за толстым, тоже разрисованным узорами, стеклом. Алейников долго глядел на этот маятник, точно ждал, когда он остановится.

– Как в МТС известие о войне встретили? – спросил он.

– Как? Так как-то – не поймешь пока... Оглушило всех...

– Что люди говорят?

– Да пока ничего такого... Я бы услышал, я прислушивался. Никто ничего такого...

Алейников поморщился:

– Так что у тебя за дело? Я занят.

– Я, Яков Николаич, недолго... С просьбой. Поскольку война, а каждый человек должен, где полезнее Родине... На войну меня, должно, все равно не возьмут, чахотка, должно, у меня. А в эмтээсе, на тракторе, тяжело...

– Ну? – Алейников давно чувствовал к этому человеку отвращение.

– Вот я и надумал в милицию податься. Силенка мало-мало есть еще. Ну и, конечно, что там вас интересует...

– Так что ж ты ко мне? – раздраженно проговорил Алейников. – К начальнику милиции и ступай. Если есть нужда у него, может, и примет тебя.

– Да вы бы замолвили словечко перед ним...

Алейников вдруг почувствовал какое-то удушье, спазмы в горле. Чтобы избавиться от этого человека, поспешно сказал:

– Хорошо, поговорю... А теперь – ступай. Иди, иди...

* * *

Манька Огородникова Макара знала еще девчонкой. Появляясь в Шантаре, он нередко заходил к ним ночами, они с отцом всегда пили водку и о чем-то тихо разговаривали.

– Зачем, тять, ты пускаешь его? Да еще водку с ним пьешь? – спросила как-то Манька. – Ведь он же, говорят, вор.

– Цыть! – рассердился отец. И без того всегда суровый, глянул так, что у нее по спине рассыпались холодные мурашки. Однако тут же смягчился: – Он, правда, вор, но душа-то у него человечья. Я вот и толковал ему, чтоб он бросил это свое ремесло да за ум взялся. Мало ли добрых дел на земле... Я вот сапоги шью. Уменье не шибко мудренное, а людям радостно.

– А с чего он воровать-то взялся?

– Кто его знает, Манюша... Зла и подлости на земле много еще, несправедливостей всяких. Вот за что-то Макар и озлился, видно, на людей... Тебе этого сейчас, пожалуй, не уразуметь. В молодости все человеку хорошим кажется. А подрастешь – поймешь...

Отец был прав, кажется, в одном – несправедливостей на земле действительно много. Она убедилась в этом, когда арестовали отца. Манька не испугалась даже – она была этим событием опустошена, раздавлена. Почему, за что?

Люди этого тоже не могли объяснить ей. Они как-то странно повели себя, люди. Одни глядели на нее с жалостью, другие с удивлением, любопытством, третьи со страхом и неприязнью. И все откровенно сторонились. За какую-то неделю Манька оказалась будто в пустоте.

«Прощай, Манюша... – сказал ей отец в ту памятную ночь. – Ты уж подросла, ничего. Подвернется хороший человек – замуж иди. Ничего, изба есть...»

Изба, хотя и крохотная, действительно была, и Манька была взрослой – через месяц ей исполнялось семнадцать, и той весной, буквально за день до ареста отца, она окончила десятилетку. Но какое там замуж, когда даже Ленька Гвоздев, одноклассник, на выпускном вечере, когда под гром аплодисментов выдавали свидетельства об окончании школы, демонстративно отвернулся от нее со словами:

– Долго же твой папаша, гад, таился. И от тебя контрой пахнет. Замараться боюсь.

Леонид Гвоздев, чернобровый, с пухлыми губами, был старше Маньки года на четыре. Учился он плохо, был самым известным в школе второгодником. Но это его несколько не угнетало, он всегда был весел и доволен собой, а если, случалось, учителя стыдили его за леность, за халатное отношение к учебе, говорил, поигрывая радужными, как у лошади, глазами:

– Дмитрий Иванович Менделеев тоже в школе плохо учился. А периодическую систему элементов составил. И я что-нибудь составлю.

Гвоздев пользовался большим вниманием у девчонок, но в ту весну выбрал почему-то ее, Маньку. В отношениях с девчонками он, видно, имел большой опыт и в первый же раз, провожая ее вечером из школы, прижал к стене какого-то дома, больно поцеловал и бесстыдно полез под кофточку.

– Ленька! Лен... Я закричу! – задохнулась Манька.

– Дура, – сказал ей Ленька, отпустил. – Да я же хотел убедиться, честная ли ты.

– На других убеждайся.

– На других я жениться не собираюсь.

– Врешь ты, врешь!

– Нет, я не вру. Ну, пойдем, ладно.

Потом он провожал ее часто. Вместе они готовились к экзаменам. Манька уже не вырывалась, когда он обнимал ее, не отбрасывала его руку, когда он расстегивал кофточку. Она только вспыхивала до корней волос, прятала пылающее лицо и шептала:

– Леня, Ленечка... Не надо. Стыд-то какой!

– Беда с вами, с честными... – вздыхал он. – Ладно, окончим школу – поженимся. Нынче-то уж закончу. Только... в армию меня заберут. На действительную. И так отсрочки давали, давали... Ты как, честно меня будешь ждать?

– Ленечка! Да я... да я сама к себе не прикоснусь. А не то что...

И вот на выпускном вечере словно пол провалился под Манькой, когда Ленька отвернулся от нее. Она едва расслышала, как со сцены, где стоял стол, накрытый красной скатертью, назвали ее фамилию. Ей не хлопали, как другим, директор школы молча сунул ей в руки бумажку. Не помня себя она выскочила из школы, кинулась вдоль темной улицы. Из того вечера в памяти остались лишь мохнатые, черные тени деревьев, которые маячили по сторонам, стараясь загородить ей дорогу ветвями. Да еще звезды, которые болтались над головой, перекачивались, как горошины в корыте. Прибежав домой, закрылась на все замки, бросилась грудью на кровать и так пролежала всю ночь. Утром она сказала себе: «Нет, отец не враг. Тут ошибка какая-то. Ленька подлец, мелкий человечиска оказался. Ну и пусть...»

Целый год она, пришибленная, жила тихо и скрытно, как мышь, проедавая отцовскую одежду, а затем поступила на работу в пошивочную мастерскую, научилась кроить и шить женские платья. Она скопила денег и купила себе старенькую машину «зингер». Но частных заказов никогда не брала, остерегалась, шила только на себя да иногда, по старой дружбе, соглашалась сшить платье-другое для Веры Инютиной. И, в общем, жизнью своей была теперь довольна.

Сегодня Манька до обеда возилась по домашности, иногда садилась у открытого окна, вспоминала равнодушно о вчерашней встрече с Гвоздевым.

– Ну, замуж не вышла еще? – сверкнул он на нее радужным глазом. Он недавно вернулся с действительной, стал, кажется, еще стройнее и красивее, работал шофером на нефтебазе.

– Тебя все дожидаюсь, – сказала она и прошла мимо.

Маньке захотелось искупаться. Она замкнула избу, пошла на Громотуху.

Проходя мимо дома Кашкарихи, увидела Макара. Он, в тщательно отглаженных брюках навыпуск, в ярко начищенных хромовых сапогах, в белой рубашке, с гитарой в руках, выходил из калитки.

– Ой! – воскликнула Манька и попятилась.

Макар колупнул ее черным глазом, присвистнул:

– Фью-ю! Выросла ты... Да не пяться, я смиренный! Ну а ты меня помнишь?

– Вы Макар Кафтанов.

– Верно, – усмехнулся он.

Девушка стояла, не зная, что ей делать, что говорить.

– А вы... откуда?

Сказала – и смутилась. Откуда? Ясно откуда!

– Из санатория, деточка, – усмехнулся Макар. – Отец тебе привет передавал.

– Он живой?... Ой, что это я! Вы его давно видели?

– Живой-здоровый, – все усмехаясь, ответил Макар. – Что ему сделается?

Макар все глядел и глядел на Маньку, на ее полные, голые до локтей руки, на ее большие и тяжелые, как арбузы, груди. Она смутилась еще больше, чувствуя, как жаром цветет лицо.

– Расскажите, как он... – пролепетала она.

– Некогда, голуба. Потом как-нибудь.

И пошел вдоль улицы, свернул в переулок. Манька постояла и тихонько зашагала к Громотухе.

Стесняясь своей полноты, она купалась всегда в одиночестве, где-нибудь подальше за селом. Выкупавшись, долго, до самого вечера, лежала на горячих камнях, подставляя солнцу то спину, то живот, думала об отце, глядела, как светлая речная волна моет гальки. Когда солнце покатилося вниз, пошла домой.

Возле села на берегу опять увидела Макара. Несколько парней и девушек, окружив Кафтанова, молча слушали, как он бренчит на гитаре. Тут же был и Гвоздев.

– Классные песни... За душу берут, – говорил он Кафтанову. – А ну, еще раз про этого ревизора чужих квартир. – И, увидев Огородникову, подбежал, схватил ее за руку. – Хо! Привет с поклоном! Давай в нашу компанию.

– Не лезь! Не прикасайся!

Все поглядели на Огородникову. Поглядел и Макар.

– Ну-ка, Гвоздь, отвались, – тихо сказал он.

Гвоздев удивленно заморгал, глядя то на Кафтанова, то на Огородникову. Протянул: «О-о!» – и отступил.

Откуда-то из степи подошли Верка с Семеном. Вера попросила как можно скорее дошить ей платье, заказанное неделю назад. Манька обещала.

Когда Вера с Семеном ушли, Огородникова еще постояла минут десять, послушала Макаровы песни и тихонько пошла вслед за ними.

В Шантаре она услышала о войне. Это ее не испугало, не удивило. Она только подумала, что Леньку Гвоздева тоже возьмут на войну и могут там убить. «Ну и хорошо... Так ему и надо...» – с ожесточением размышляла она. Рука в том месте, за которое ее схватил Гвоздев, горела, будто обожженная.

Придя домой, она переделалась в легкий халатик, раскрыла настежь окно, легла на кровать, до вечера смотрела в потолок, смутно думая о войне. Почему-то представлялось, что Ленька Гвоздев лежит на земле окровавленный, протягивает руки к санитаркам – точь-в-точь каких она видела недавно в кино, – а те проходят мимо, не обращают на него внимания. И правильно, думала она, пусть подышает. Потом она представила себя на месте одной из санитарок. Вот она подошла к Леньке. Никто не подходит, а она подошла, перевязала, потащила в ложину, где стоят палатки с красными крестами. И когда притащила, Ленька сказал ей: «Спасибо. Ты меня спасла. Теперь я обязательно на тебе женюсь...» А она ответила ему с презрительной улыбкой: «Ты меня обрадовал... Я тебя спасла, но знай, что все равно нет для меня человека противнее, чем ты...» Гвоздев на это криво усмехнулся, несмотря на свои раны, встал, схватил ее, как сегодня на берегу, за руку, швырнул на пол. Потом подбежал, навалился тяжелым телом, задышал в лицо тяжелым водочным перегаром. Она хотела вырваться, но не могла, хотела закричать, но крик ее захлебнулся...

Потом девушка уже не соображала, что с ней происходит и где – во сне или наяву. Кто-то действительно мял ее, зажимал горячей ладонью рот, вдавливая ее голову в подушку, жадно шарил рукой по ее голому телу.

– Ленька! Пусти... Не смей! Лень... – сдавленно крикнула она.

– Какой тебе Ленька, дура! – раздался голос, от которого, как в горячем жару, зашлось и будто лопнуло сердце, а в закрытых глазах что-то вспыхнуло и потухло...

Очнулась она от удушливого табачного запаха. В комнатухе было темно. В полосе лунного света, падавшего из окна, торчала взлохмаченная голова Макара Кафтанова. Он, сидя на краешке кровати, курил, и, когда делал затяжки, от папиросного огня меденел, будто тоже раскалялся, кончик его тупого, с широкими ноздрями носа.

Все тело ее было разбито, раздавлено, где-то внутри, там, где сердце, саднило, стонало и, кажется, сочилось, истекало чем-то горячим.

– Что ж ты, голуба, окно-то на ночь открытым оставляешь? – спросил Макар, почесывая под рубашкой грудь.

Манька все глядела, как раскаляется и тухнет кончик его носа, потом медленно повернула голову к стене и, сотрясая кровать, тяжело зарыдала.

– Значит, Марья, дело обстоит так, – не обращая внимания на ее слезы, глухо, не торопясь, точно вгоняя каждое слово, как гвоздь во что-то твердое, неподатливое, начал говорить Макар. – Отца твоего в живых нету. Заели его собаки во время побега из тюрьмы. Но ты не жалеяй, он был не сапожником вовсе. Фамилия его не Огородников, Михаилом Косоротовым

его звали. В не так далекие времена он, голуба, в белой армии хорошо служил, по допросной части большим мастером был. Потом... Ну и потом немало хороших дел совершил. Всего тебе знать необязательно. Но вот судьба, как говорится, индейка... Теперь я о тебе заботиться буду. Про нужду забудешь. От тебя требуются две вещи: спать со мной иногда и – второе – молчать. Чтоб ни одна душа про это мое логово не знала. Иначе глаза выну и заместо бус на шею тебе подвешу...

Смысл Макаровых слов до Огородниковой почти не доходил. Ей было безразлично все – и кто ее отец, и кто такой сам Макар, и что он сейчас с ней сделал.

Она уже не рыдала, она лежала и спокойно думала: там, в сених, лежит новая бельевая веревка. Она купила ее недавно, веревка прочная, она не порвется, выдержит тяжесть ее тела...

* * *

Спокойная, тихая, теплая плыла над Шантарой первая военная ночь.

Известие о войне каждый встретил по-своему – кто хмуро и молчаливо, кто растерянно, кто испуганно. Многие женщины сразу ударились в плач, заголосили протяжно и пронзительно, будто вот сейчас, сию минуту их мужей и сыновей уже увозили на войну.

Когда прошел первый шок и вернулась способность думать и рассуждать, пошли разговоры. Говорили обо всем. В самом ли деле это настоящая война или немцы просто устроили провокацию; если настоящая – будет ли мобилизация или с немцами справятся части регулярной армии; если будет, какие возраста призовут в первую очередь; если возьмут много возрастов, как быть с уборочной? Говорили о прошлых войнах, вспоминали прошлые бои и павших в этих боях и вернувшихся калеками. Знатоки сравнивали качества и выносливость солдат германских, финских, японских...

Говорили-говорили обо всем, а на лицах написан был один и тот же вопрос: толкуй не толкуй, рассуждай не рассуждай, а как же оно теперь все будет?

Дни в июне самые длинные, в десять только-только садится солнце, в одиннадцать еще светло. В июне огней в домах почти не зажигают. Но в эту ночь по всей Шантаре цвели желтовато-бледные окна и не гасли долго, почти до самой зари.

Наконец большое село притихло, погрузилось в темноту. Облитые этой теменью, молчаливо стояли деревья, как черные неподвижные облака, спустившиеся до земли.

В этот вечер никаких разговоров не было только в доме Федора Савельева. Дети улеглись в своей комнате без обычного шума и возни. Анна приготовила постель себе и мужу, тоже молча легла; Федор, не раздеваясь, ходил по комнате.

– Братец, что ли, твой, Макар, говорят, снова объявился?

Анна лежала недвижимо, глядела куда-то в пустоту, не отвечала, не моргала даже.

– Ладно, спи. Я пойду папиросу выкурю на воздухе.

– Господи! – отбрасывая одеяло, вскрикнула вдруг Анна. – Да хоть бы тебя на войну забрали! Да хоть бы тебя убили там!

Некоторое время они в упор глядели друг на друга. Одна бровь у Федора мелко подрагивала, другая удивленно приподнималась и опускалась.

Серые глаза Анны блестели от электрического света, как стеклянные, в груди что-то рвалось.

– Вот как! Вот уж неожиданно призналась...

– Врешь! Врешь! Врешь! – трижды выкрикнула Анна хрипло. – Сам себе врешь...

Она упала лицом в подушки, начала всхлипывать по-детски. Федор криво и кисло усмехнулся, вышел.

Как вчера, как позавчера, как испокон веков, на небе ярко горели звезды. То ли выше звезд, то ли ниже – не поймешь – струился, пересекая Шантару, Млечный Путь, утекая в неведомое.

Лежа в подсолнухах на подостланном пиджаке, слушая, как тихонечко булькает, струится меж своих невысоких травянистых берегов Громотуха, Федор с усмешкой думал, что, конечно, он врал самому себе, ничего неожиданного для него в словах Анны не было. «И вообще – разойтись, что ли, с ней, с Анной?»

Думал он об этом легко, спокойно, будто о пустяке. «Перед детьми, конечно, неудобно, перед Андрюшкой с Димкой. Семен – тот не в счет. А как Андрюха с Димкой? Война вот тут еще...»

Федор поморщился, хотя известие о начавшейся сегодня войне его особенно не тревожило. Он считал, что никакой войны, собственно, не будет, не сегодня завтра ворвавшимся через границу немецким частям надают по шеям, перемолотят, угонят обратно за кордон.

Ну, в крайнем случае, все будет продолжаться не дольше, чем с Финляндией...

От Громотухи тянуло свежестью. «Еще простудишься тут, – мысленно проворчал он. – Чего там Анфиска копается?»

При мысли об Анфисе Федор улыбнулся. Вот стерва баба, вот на ком надо было жениться! С годами она не стареет вовсе, только наливается сладостью, как арбуз. И ненасытная – где там Анне даже в лучшие годы! Бывало, выдохнется Федор до дна, высосет она весь жар, все силы, покачивает и тошнит Федора от ощущения пустоты во всем теле, а ей все мало. Зверски бил ее Кирьян, особенно там, в Михайловке. А ей хоть бы что, ни разу, ни одним словом не пожаловалась Федору. Сам Федор как-то полюбопытствовал: «Как же ты переносишь такие побои? Ведь он, когда напьется, – зверь...» – «Так вот и переносу. Куда денешься?» – просто, без обиды, ответила Анфиса. «Плачешь хоть?» – задал глупый вопрос Федор. «Больно иногда бывает... – проговорила и вздохнула. – Зубы сцеплю и молчу. Молчу и думаю: из-за тебя, из-за тебя, Федя...»

Поразился тогда Федор, спросил: «Да это что же у тебя за любовь такая ко мне?» – «Не знаю. Такая – и все».

Все струилась, все булькала Громотуха...

«Ишь ты, хоть бы на войну меня забрали да убило там, – с обидой подумал Федор о словах жены. – Да, разойтись, на Анфисе жениться. Уйдет, немедля уйдет она от Кирьяна. Стоит только сказать...»

С огорода Инютиных донесся шорох, хруст ломаемых картофельных стеблей. Кто-то подошел к плетню, чуть тронул его.

– Федор... Федя! – тихонько произнесла Анфиса.

– Здесь я. Перелазь давай, – проговорил Федор.

Плетень качнулся, затрещал. В это время от крылечка Инютиных раздался голос Кирьяна:

– Эй, кто там?

Анфиса тотчас спрыгнула с плетня на свою сторону огорода.

– Я это... – отозвалась она.

– Чего ты там?

– Ноги горят, днем крапивой обожгла, – ответила женщина равнодушно. – В Громотушке остудить маленько хочу. А то никак не уснуть. Ты-то чего встал?

«Ишь ты актерка, – думал Федор об Анфисе. – И про крапиву в момент придумала. Хитрющее же ваше чертово племя!»

– Ну, студи. Я подожду, покурю тут.

Анфиса несколько минут плескалась в ручье. Потом Федор слышал, как она, уходя к дому, шуршала длинной юбкой по огородной ботве. Донесся скрип затворяемой двери, звякнула задвижка.

«Догадался Кирьян или нет? – подумал Федор, поднимаясь. – Догадался, должно, еще утром. Вон как утром зыкнул на нее».

* * *

Плескаясь в ручье, Анфиса со страхом думала: сейчас муж затолкнет ее в сараюшку, дико, в кровь, изобьет, как бывало не раз...

Но в сараюшку он ее не повел. И вообще ничего не сказал. Не проронив ни слова, он зашел в комнату, лег на кровать, подвинулся к стене, освобождая место Анфисе.

«Не знает, не догадался», – облегченно подумала Анфиса, прижалась к теплому плечу мужа, задремала. Потом прохватила, чуть приподняла голову. Кирьян все еще не спал, в темноте поблескивали его глаза.

– Чего ты? Спи, – сказала Анфиса.

– Там, в подсолнухах-то, Федор, что ли, тебя ждал? – вдруг спросил он.

– Кирьян! – протестующе воскликнула она, привстала.

– Ну-ну, я ведь знаю – он.

Анфиса на секунду-другую застыла в оцепенении. Потом, упав на подушку, зарыдала:

– Ну – он! Ну – он! Бей давай! Тащи в сараюшку. Чтоб люди не слышали, я кричать не буду.

– Тихо, детей разбудишь...

В голосе мужа было что-то необычное, пугающе спокойное. Анфиса замолкла, перестала вздрагивать.

– За что ж ты его любишь так... по-собачьи? Вот об чем я всегда думаю.

Это слово «по-собачьи» возмутило ее, все в ней запротестовало, всколыхнулось, каждая клеточка тела загорелась ненавистью к человеку, с которым она прожила, считай, жизнь. Она вскочила теперь на колени. Ей хотелось какими-то необыкновенными словами убить его, задушить, раздавить. Но таких слов не было.

– Ну и люблю... Люблю! Всю жизнь – люблю!

Ее слова не произвели на Кирьяна никакого действия.

В соседней крохотной комнатушке ворочалась на скрипучей кровати Вера, было слышно, как посапывал во сне Колька.

– Это ты только по-человечески умеешь любить, – в бессильной ярости проговорила Анфиса.

– Я – по-человечески, – спокойно подтвердил он.

Анфиса в изумлении уставилась на мужа, пытаясь разглядеть в темноте выражение его лица, но ничего не увидела, кроме прежнего холодного поблескивания его глаз.

Она легла, долго размышляла, что означают его слова: «Я – по-человечески»? Смеется, что ли, он над ней?

– Люблю – и все. А за что – какое твое дело? – с откровенной мстостью в голосе произнесла она. – Тебе этого не понять никогда.

– Да ты и сама этого не знаешь.

– А может, я и не хочу знать?! – чувствуя, что где-то муж прав, зло и упрямо заговорила Анфиса. – А может, есть у людей такое... которое нельзя словами объяснить, невозможно?!

– Замолчи ты! – Кирьян схватил ее за плечо, встряхнул. Потом минуты полторы тяжело, взволнованно дышал. – Не объяснишь иногда, верно, – заговорил он, успокоившись. – А объяснять рано или поздно надо все равно. Ежели не людям, так самому себе хотя бы...

Анфиса поняла – эти слова муж говорит уже не ей. И, пораженная чем-то таким, чего раньше не было ни в словах, ни в голосе мужа, удивлялась все более. А Кирьян продолжал все так же непонятно, думая о чем-то своем:

– Об одном я жалею – что Ивана, брата его, помог Федору посадить. Меня бы садить надо: я ведь тех двух коней к цыганам свел.

– Как ты?! А не сам Ванька? – Анфиса опять приподнялась. – Постой... Это тогда, выходит, правду Аркашка Молчун болтал?

– Правду, – вздохнул Инютин. – И не уразумею я до сих дней: как это Федор сумел уговорить меня? Отца-то, говорит, твоего он, Ванька, шлепнул тогда... Еще и в те поры, говорит, хоть Иван и умолчал о твоём отце, я догадывался, чьих рук это дело, а недавно Ванька, мол, сам вгорячах проговорился... И брызнула мне ядовитая моча в мозги. А что мне отец-то, что?!

Анфиса долго с недоумением перебирала в голове слова мужа, пытаясь их понять.

– Врешь! Вре-ошь! – закричала она вдруг.

– Зачем мне? – И тем же голосом, спокойным, негромким, продолжал: – А что водку трескал я без меры, это от глупости. Что бил тебя зверски, за это прощения прошу. Хоть и меня понять не грешно было бы тебе... Ты с Федькой тешишься, а у меня от пыток сердце заходится. Ну, зверел, конечно, не выдерживал, волок тебя от людских глаз куда подальше. Но ты не поймешь, да и не надо, ни к чему теперь. Прости, говорю, только...

– Господи! Да ты что, умирать собрался?! – в страхе выкрикнула Анфиса, совсем ничего не понимая.

– Зачем? Не-ет, – раздумчиво сказал он. – Войну сегодня объявили – это хорошо. На войну я уйду. Мужики толкуют – недолго, должно, война эта протянется. А я так думаю – навряд ли! Считай, вся эта шляпошная Европа под немцем. Сила у него. Завтра я пойду в военкомат. Не старик я, сорок годов всего. Возьмут...

– Что ты выдумал? Ты подумай! Надо будет – сами возьмут, согласия не спросят. А ты загодя голову в пекло хочешь сунуть...

– Это еще не все! – перебив жену, повысил теперь голос Кирьян. – Ежели в пекле этом не сгорю, домой все равно не вернусь, ты это знай...

– Кирьян!

– Сыть! Замолчи! И слушай... Ничего, дети уже взрослые. Верка на ногах, не сегодня завтра замуж выскочит. Через год-два и Колька мужиком станет. Ну а об тебе у меня забота маленькая.

– Да что ты выдумал? Что выдумал?! – ошеломленная, шептала Анфиса.

– Все. Спать давай. Поздно уже. – И Кирьян отвернулся к стене.

Анфиса долго сидела на кровати в темноте, пытаясь осмыслить и разобраться во всем, что наговорил ей муж, но сделать этого не могла.

Часть вторая

Смолоду прореха, к старости – дыра

Сентябрь был тихий, теплый и, на счастье, без дождей.

Из-за Звенигоры поднималось солнце, играло на мокрых от росы, тяжелых листьях деревьев, медленно разгоняло ночную свежесть.

Верхушки берез, уже подпаленные утренниками, поредели, на тополях зацвели, затрепетали под ветром желтые лоскутья.

Поликарп Матвеевич, хмурый, невыспавшийся, принял вожжи из рук деда Евсея, тяжело кинул свое огрузшее тело в плетеный коробок.

– На завод, что ли? Али на желдорогу? – спросил Евсей.

– Туда и туда... И еще в двадцать мест.

– Кнут не оставляй в коробке. Жиганут немедля.

Из репродуктора, установленного на площади, доносился усталый голос диктора:

«В течение последних дней под Киевом идут ожесточенные бои. Фашистско-немецкие войска, не считаясь с огромными потерями людьми и вооружением, бросают в бой все новые и новые части. На одном из участков Киевской обороны противнику удалось прорвать наши укрепления и выйти к окраине города...»

Кружилин не торопясь ехал по усыпанной первыми желтыми листьями улице, голос диктора замирал где-то сзади.

«Немцы рвутся к Москве, – думал невесело Кружилин, – несколько дней назад плотным вражеским кольцом окружен Ленинград. Давно пали Минск, Львов. И вот – Киев... Подо Львовом, в Перемышле, служил Васька. С первого дня войны от него ни слуху ни духу... Где он, жив ли?»

Сердце защемило. Поликарп Матвеевич поморщился, тронул вожжи. Карька-Сокол рванул, но через полминуты опять пошел шагом.

«Около месяца назад намечался вроде под Смоленском могучий удар, – продолжали сами собой виться мысли Кружилина. – В газетах было много обнадеживающих прогнозов и утверждений, что положено начало разгрому немецко-фашистских захватчиков, что основная военная сила Германии измотана и перемолота в оборонительных боях, что скоро начнется сокрушительное наступление советских войск. Люди ждали решительных перемен на фронте. День и ночь не выключались репродукторы. И действительно, в конце августа Красная армия двинулась вперед, закипели бои севернее и южнее Смоленска. В начале сентября был освобожден город Ельня. Но скоро наступление Красной армии остановилось, заглохло...»

Сытый, выхоленный мерин легко тащил коляску по улицам Шантары. Кружилин вспомнил, как два с половиной месяца назад, когда стало известно о мобилизации сразу четырнадцати возрастов, с 1905 по 1918 год, эти улицы огласились пьяными песнями и женским плачем. Голосили и пели чуть ли не в каждом доме. А потом весь этот вой и плач в одно утро уполз по широкому шоссе за село, на вокзал, и там стоял до обеда, пока не отправили эшелон с мобилизованными.

Людское горе до вечера волнами каталось по селу, но с наступлением темноты стало будто захлебываться, затихать. И огромное село забылось, как больной в тревожном, беспокойном полусне.

Следующее утро наступило какое-то необычное. Пустынные улицы, молчаливые дома, притихшие деревья. Все словно осиротело, все, казалось, источало обиду, какой-то немой

вопрос и укор: что же, мол, это такое происходит, как же это допустили? Кружилин чувствовал себя так, будто в той беде, которая постигла и людей и село, был виновен непосредственно он.

Непривычные, неожиданные заботы сваливались теперь на него одна за другой.

Недели через три после мобилизации в Шантару прибыли один за другим два эшелона эвакуированного населения из прифронтовой полосы. Прибыли – и село превратилось в цыганский табор. На станции, на главной районной площади, на многих улицах стояли брезентовые палатки, ночами возле них горели костры. По улицам с утра до ночи шли и ехали люди с узлами, с чемоданами, просто ходили толпами без всяких вещей, грязные, в истрепанной за многонедельные мытарства одежде.

Обеспечить жильем всю эту огромную массу голодных, измученных женщин, детей, стариков казалось делом неразрешимым. Райком партии и райисполком превратились на много дней в конторы по изысканию жилой площади. По несколько раз в день кабинет Кружилина брали, что называется, штурмом. Беженцы требовали хоть какое-то жилье, толпы местных женщин доказывали, что не могут взять на подселение больше ни одного человека. Нередко в кабинете разрастались плач, перебранка.

Но постепенно людей кое-как распределили по домам, часть эвакуированных отправили на жительство в села и деревни района, в колхозы и совхозы.

Большинство покорились судьбе безропотно и молчаливо – лишь бы крыша над головой да какая-нибудь работа, – но бывали случаи, когда в колхозы люди ехать не хотели.

Однажды в кабинет ворвалась средних лет женщина в дорогом, но измызганном платье, порванном на плече и неумело зашитом черными нитками. Женщина когда-то была, видимо, пышной, цветущей, но за дорогу исхудала, кожа на шее и подбородке висела складками, дряблые щеки цвели нездоровым румянцем.

– Я не могу в колхоз, я там не вынесу, не выживу! – закричала она, упала в кресло.

Бывший в кабинете Полипов молча налил ей стакан воды.

– Я – меломанка. Вы понимаете, я больна, я – меломанка неизлечимая. Я не могу без музыки, я не выживу...

Все это было, вероятно, смешно, но Кружилин и Полипов смотрели на женщину с жалостью.

– Успокойтесь сначала, – сказал ей Кружилин, тронув за плечо. Женщина вздрогнула, как от удара, отшатнулась. – Что ж делать, у нас в Шантаре тоже ведь нет симфонического оркестра. Мы сами только по радио слушаем музыку. И там есть радио.

То ли ее успокоило сообщение о радио, то ли, наконец-то поняв и осознав обстановку, в которой оказалась, женщина ни слова больше не сказала, встала и ушла.

А как-то, робко постучав, порог перешагнул сухонький, костлявый старичонка.

– Я, собственно... Извините, пожалуйста... Меня направляют в колхоз, так сказать... А я, простите, узнал, что там даже начальной школы нету...

В одной руке старичок держал клеенчатую хозяйственную сумочку, в другой – толстую палку с серебряным набалдашником. И эта дорогая палка никак не подходила, не гармонировала со всем обликом старика. Он был одет в рваный, толстого сукна, прожженный с одного бока пиджак, подвязанный обыкновенной веревочкой, так как на пиджаке не было ни одной пуговицы, в истрепанные брюки, которые висели на его ногах трубами, на голове у него было жалкое подобие шляпы с обвислыми краями. Он был, кажется, полуслеп, потому что говорил, повернувшись совсем не в тот угол, где стоял Кружилин.

– А вы что же, учитель? – спросил Поликарп Матвеевич.

– Да, в некотором роде... – Старик повернулся на голос. И добавил робко, будто боялся, что ему не поверят: – Я, видите ли, доктор физико-математических наук.

Кружилин уже насмотрелся на всяких людей, но докторов наук среди беженцев встречать еще не приходилось.

У Поликарпа Матвеевича больно, кажется до отказа, сжалось сердце – все большие и большие глубины народного бедствия открывались ему.

Он усадил доктора наук в кресло напротив себя, долго тер подбородок, соображая, что делать.

– Вы один? С вами никого нет из родных?

– Что?... Ах да, Маша... Это было где-то там еще, за Волгой... Наш поезд бомбили. Я ее долго искал, но нашел только вот... – И старик приподнял клеенчатую сумочку. Потом поставил на пол, вынул из кармана смятый платок. Он не плакал, только долго сморкался и мелко тряс спутанной редкой бородкой, челюсть его дрожала.

Кружилин стал звонить в область, в только что организованный отдел по эвакуации населения.

– Я, вероятно, причиняю вам беспокойство, – виновато заговорил старик. – В сущности, мне все равно, это даже любопытно – колхоз. Но чем же я там могу быть полезен? Всю жизнь я учил молодежь...

Через неделю из области приехали представители какого-то института, увезли старика-ученого.

Кружилин забыл про вожжи, дремал под глухой и мерный стук копыт. Воспоминания об этом докторе наук, о женщине-меломанке, о железнодорожном составе из красных теплушек, в котором уезжали мобилизованные на фронт, облепленных женщинами и детьми, – все возникало и таяло в уставшем мозгу, как дым, расплываясь на какие-то куски и клочья. И на их месте неизменно возникали три длинных ряда разнокалиберных матерчатых палаток.

Нет, это были не те палатки, которые стояли когда-то на железнодорожной станции, на районной площади возле памятника. Это были другие... Они появились недавно, всего две недели назад, выстроились в три ряда на окраине Шантары, возле дощатых, крытых толем промкомбинатовских построек. В этих палатках жили рабочие эвакуированного завода сельскохозяйственных машин.

Этот завод свалился как снег на голову.

К концу августа кое-как распихали по домам, устроили под крыши основную массу беженцев. Кружилин облегченно вздохнул, рассчитывая вплотную теперь заняться хлебоуборкой. Но первого сентября уже поздно ночью в райкоме раздался звонок.

– Не спишь? – спросил Субботин. – Тогда здравствуй.

– Здравствуй, Иван Михайлович. Какой уж тут сон...

– Трудненько?

– Кошмар какой-то, – откровенно сказал Кружилин. – Да вроде кончается, слава богу.

– Да, да... – монотонно и вроде безучастно откликнулся на другом конце провода секретарь обкома. – Но... боюсь, что кошмар для тебя только начинается.

– Да вы что?! Мы больше не можем принять ни одного человека! Нет ни жилья, ни работы... У нас же не город.

– Вот с работой теперь у тебя легко будет. В Шантару направляется машиностроительный завод.

– Завод? При чем тут завод? Какой завод? – непонимающе произнес в трубку Кружилин.

– Сельскохозяйственного профиля.

– Ты шутишь, что ли?

– К сожалению, не шучу, Поликарп Матвеевич...

И тут только Кружилин понял, что секретарь обкома действительно не шутит, и невольно опустил руку с телефонной трубкой.

– Но почему завод к нам? Целый завод? – спросил наконец.

– Близ Шантары проходит высоковольтная линия. Так что ясно, почему к вам.

– Нет, это невозможно. Мы не сможем... Не справимся...

– Что ж, тогда звони в Москву, в Совет по эвакуации – Швернику или Косыгину. Это их решение, – отчетливо и жестко произнес Субботин. И добавил: – Я понимаю тебя, Поликарп Матвеевич. Но что же делать, война... Полмесяца назад правительством утвержден военно-хозяйственный план на четвертый квартал. В плане предусмотрено, что первого ноября этот завод должен дать продукцию.

– Но это же всего два месяца! А завода еще нет.

– Первые эшелоны с оборудованием и рабочими придут через два дня. Завтра к вам придет главный инженер завода. Вместе с ним подумайте, где выбрать площадку, как и где разместить оборудование...

– Да где, как мы можем размещать оборудование? – все еще не сдавался Кружилин, хотя и понимал, что упорство его выглядит если не глупым, то по крайней мере ненужным, бесполезным. Была необходимость, вызванная войной, и эта необходимость ни с чем не считалась, ничего не признавала, перед ней отступило все, даже невозможность. – Ведь нужны... нужны цехи... производственные площади, одним словом. У нас что есть? Ничего нету... Куда будем селить людей?

– Вот вместе с главным инженером завода все обдумайте, все решите. – Голос Субботина опять налился твердостью. – Через неделю представьте в обком партии соображения с указанием точных сроков монтажа и пуска предприятия. Все, Поликарп Матвеевич, все, дорогой, давай не будем больше обсуждать этот вопрос, – прибавил он, чувствуя, что Кружилин опять хочет возразить. – Ну и нечего тебя, конечно, предупреждать, что за эти сроки, за восстановление завода, так же как и за уборочную и за все прочие дела, отвечает прежде всего райком партии. А проще сказать – ты, Поликарп Матвеевич.

Главный инженер завода оказался маленьким, толстеньким, неунывающим человечком.

– Иван Иванович Хохлов, – отрекомендовался он, войдя в кабинет Кружилина на другой день, бесцеремонно кинул на его стол портфель. Потом смутился, покраснел под взглядом Кружилина, портфель со стола убрал. – Извините... Ну-с, в обкоме партии мне сказали, что вы в курсе. Завод у нас небольшой, полторы тысячи рабочих. Выпускаем веялки, сеялки и прочие необходимые мирному человечеству вещи. Демонтировать и грузиться пришлось под бомбежкой, но погрузить сумели все, до последнего станка. Ну-с, время терять нельзя, где будем размещать заводское оборудование, куда селить людей?

– Не знаю, – сказал с усмешкой Кружилин.

– То есть как не знаете?! Как не знаете? – Хохлов вскинул на секретаря райкома круглые глазки.

– А вот так – не знаю. Мы только что приняли два эшелона эвакуированных, для рабочих завода жилья нет ни одного метра... Полторы тысячи да семьи – сколько всего людей?

– Всего около пяти тысяч.

Кружилин только усмехнулся.

– Чему же вы смеетесь? Чему смеетесь? Да, около пяти тысяч человек... О трудностях с жильем на новом месте мы предполагали... Первое время люди могут жить в палатках. Несколько сот палаток у нас есть.

– У нас тут не Африка. В сентябре – заморозки, в октябре – дождь со снегом. Во второй половине октября бывают морозы под тридцать градусов.

Хохлов даже перестал моргать.

– Что? Под тридцать? Не может быть... – Но тут же схватил свой портфель, засуетился. – Ну, хорошо, хорошо... Сейчас надо начинать с главного – выбрать заводскую площадку, осмотреть имеющиеся помещения. Мне говорили в области, у вас есть промышленный комбинат. Некоторые его помещения можно использовать под заводские цехи.

– Что ж, поехали смотреть на помещения нашего промышленного комбината, – тяжело вздохнул Кружилин.

Через полчаса Хохлов молча ходил по низким, барачного типа строениям промкомбината – столярной и слесарной мастерской, покусывая полные розовые губы, постукивал зачем-то согнутым пальцем в дощатые стены. Так же молча обследовал единственную кирпичную постройку – промкомбинатовский склад, вышел оттуда, поглядел на ясное сентябрьское небо, в котором летела паутина, на деревянные опоры высоковольтной линии, которые, огибая село, уходили за горизонт, кивнул на крытое дерном овощехранилище:

– А там что?

– Картошку там райторг хранит, бочки с капустой.

– Посмотрим...

Выйдя из овощехранилища, Хохлов спросил:

– Это всё?

– Почему же... Вон рядом со складом еще барачок. Там клюквенный морс делаем.

– Да-а... – протянул Хохлов. И, еще раз обойдя унылую территорию промкомбината, сел на какой-то пустой ящик, вынул из портфеля лист бумаги, начал чертить в нем квадраты.

– Вот здесь удобнее всего для подстанции, здесь ее и поставим. Здесь будем строить главный механический корпус, здесь – кузнечный цех. Столярная мастерская столярной и останется... Впрочем, вы знаете, что Савельева уже с дороги правительственной телеграммой вызвали в Москву?

– Какого Савельева?

– Нашего нового директора завода. С августа у нас новый директор, прибыл к нам вместе с приказом об эвакуации.

– Ну и что?

– Я думаю, не вернется ли он с распоряжением об изменении, так сказать, профиля нашего завода... – Хохлов поцарапал кончиком карандаша подбородок. – Слухи об этом были еще во время демонтажа. Война, кое-какие вещи нужнее сейчас сельхозмашин...

Кружилин только плечами пожал.

– Ну да, ну да... Посмотрим, посмотрим, – быстро проговорил Хохлов. – Значит, так, Поликарп Матвеевич, вот эту площадочку, гектаров в сорок, надо первым делом обгородить... Чем? Досок мы, надо полагать, найдем.

– У нас есть небольшой лесозаводик. Но такого количества досок...

– Да, да... И, кроме того, это трудоемкая работа, займет много времени. А послезавтра придут первые эшелоны. Выход единственный – обнести пока территорию будущего завода колючей проволокой... Хотя и это нереально. Где взять колючую проволоку? Придется обыкновенной, гладкой. Найдется такая?

– Какое-то количество найдем, видимо. Сколько ее надо?

– Многовато, многовато... – качал круглой головой Хохлов. Высчитывая, сколько надо проволоки, он быстро покрывал листок цифрами. Потом оторвался от бумаги, оглядел неприглядные промкомбинатовские постройки, голую степь за ними и вдруг улыбнулся. – Ну-с, дорогой Поликарп Матвеевич, через недельку-другую эту окраину вашего села будет не узнать...

* * *

И вот действительно окраину теперь не узнать. Огромный квадрат земли, обнесенный высокими столбами, на которые в несколько рядов натянута проволока, был изрыт, перекопан, обезображен. Всюду, как громадные черные волны, вздымались горы земли. Промкомбинатовские постройки оказались в самом углу, словно они были прибиты туда этими волнами, и, ненужные теперь, забытые, выглядели еще более жалкими среди гор развороченной земли.

В разных углах квадрата натужно гудели экскаваторы, вычерпывая землю из котлованов; между земляных холмов там и сям грудями были навалены кирпичи, штабеля досок и круглого леса, металлических двутавровых балок, валялись мотки проволоки. И всюду люди, люди, люди – с лопатами, с ломками, с кирками. Со станции беспрерывно подъезжали грузовики, с грохотом подкатывали тракторы, волоча за собой тяжело груженные тележки. И тракторы, грузовики вывозили беспрерывно поступающий на завод кирпич, лес, цемент, железо, станки. Сперва все это, кроме станков, сгружали внутри огороженного квадрата. Потом там стало тесно, и строительными материалами завалили всю прилегающую к площадке будущего завода территорию.

Станки и прочие заводские механизмы сгружали в специально отведенном месте, настлав прямо на землю деревянные плахи.

– Да, несчастные, – вздохнул Хохлов, когда прибыли первые машины с оборудованием, погладил грязный, холодный металл станины фрезерного станка. – Тоже намыкались, как люди. Под крышу теперь бы их.

– Они железные, не простудятся, – устало и равнодушно сказал небритый человек.

– Каждый станок закрывать брезентом! Каждый! Ты слышишь, Федотов? Лично ты будешь отвечать за это.

– А где я брезента столько наберусь? Вы дайте мне брезент – я вам не то что станки – всю площадку накрою.

– У меня без разговоров! Накрывать – и точка! Где хочешь бери...

Кружилин вспомнил этот короткий эпизод, подъезжая к стройке, с теплотой подумал о Хохлове, об этом Федотове, которого он потом никогда больше не встречал.

Подъехав, он увидел, что все станки, составленные аккуратными рядами, тщательно укрыты брезентом. И снова подумал о Федотове: «Молодец мужик!..»

Поликарп Матвеевич остановил мерина, кинул ему клочок сена, опустил чересседельник.

– Эй, гражданин! – услышал он голос и увидел человека в телогрейке, опоясанного широким ремнем. На ремне болталась револьверная кобура. – Нельзя тут останавливаться. Не видишь – заводское имущество. Отъезжай.

Когда решили сгружать здесь станки и механизмы, хотели и этот участок огородить проволочным забором. Но потом рассудили, что проще поставить охрану.

– Я секретарь райкома партии Кружилин. Где Хохлов?

– А-а, – протянул человек в телогрейке. – А бес его знает. Он тут везде.

И, видя, что Кружилин пошел, кинулся за ним:

– Извиняйте, товарищ секретарь, спросить хотел... Как же зимовать-то нам? – и кивнул на три длинных ряда палаток. – Ночами уж холодновато. Детишки кашлять зачали.

– Зимовать? – Кружилин остановился. – Перезимуем. С завтрашнего дня жилье строить начнем.

– Как строить? – опешил охранник. – Чего мы успеем настроить, когда через месяц зима ляжет?

– Успеем, – тяжело усмехнулся Кружилин.

Да, жилье, жилье... Голова пухла от дум: как быть с жильем? Семей пятьсот заводских, выбрав самых многодетных, еще с горем пополам расселили, отправив кое-кого из ранее прибывших беженцев в колхозы. Но тысяча семей – свыше трех тысяч человек – со дня приезда жили в палатках.

Конечно, можно было административной властью еще многих эвакуированных переселить в колхозы и совхозы. Но этому воспротивился Хохлов.

– А завод?! Разве мы его восстановим силами одних наших рабочих к ноябрю? С нас же тогда головы снимут. – И тряс листками с подсчетами. – Вот одной земли надо вынуть тысячи и тысячи кубометров.

И тут же напирал:

– Расселяйте людей! Не поверю, что в таком большом селе нельзя еще расселить три тысячи человек. Я сам, сам пойду по домам, я проверю...

И ходил однажды ночью вместе с представителями милиции, райисполкома, проверял. Наутро в райком зашел мрачный.

– Да, – буркнул он на немой вопрос Кружилина, – все дома забиты, на полу люди вповалку спят. Какая-то бабка ухватом нас вытолкала. «Свезите, говорит, лучше уж живой меня на кладбище, мое место на печи освободится...» Но все равно рабочих расселять надо! – помолчав, заключил он.

– Пустим завод – жильем займемся. Будем строить что побыстрее – бараки. А сейчас ни леса, ни времени, ни людей на это дело – ничего нет.

Но расселять людей было некуда.

Кружилин прошел мимо палаток. Кое-где дымились еще костерки, на которых утром готовили завтрак. Меж палаток бегали ребятишки, громко перекликались, хохотали. Поликарп Матвеевич понял, что они играют в прятки. Прятаться было где.

Хохлова он нашел возле будущей подстанции. Вчера тут заканчивали рыть котлован, а за ночь уложили фундамент и начали класть стены. Они возвышались уже на полметра от земли.

Хохлов, перемазанный в глине, обросший, но по-прежнему живой и веселый, наседавал на мужчину в забрызганном растворе комбинезоне:

– Ты мне сегодня в полночь что обещал, а? Я тебя спрашиваю! Сколько обещал к утру кубометров кладки сделать? А сколько сделали? Или кирпича не было? Раствора?

– Все было...

– Все было! Я лично следил, чтоб было! Так что же вы это, а?

– Измотались люди. На ходу засыпают.

– На ходу! Ты мне это брось – на ходу! – И вдруг сбавил тон, заговорил как-то жалобно и просяще: – Ты, Петрович, уж не подведи меня, а? Через неделю коробку подстанции надо выложить. Слышь, Петрович? Сегодня вот директор приезжает. Ну что я ему скажу? Как в глаза мы ему глядеть будем?

– Да мы что, мы понимаем, – простуженно говорил Петрович. – Мы, я думаю, сделаем.

– Сделай, сделай, дорогой. Мы никак не можем не сделать. Понимаешь, не можем... А-а, Поликарп Матвеевич! – увидел он Кружилина. – Доброе утро. Спалось, не спалось? Э-э, по глазам вижу – заседали всю ночь.

У Хохлова глаза были красные, воспаленные.

– Сам-то ты спал?

– Ну, как барсук... Пойдем вон туда, за штабель кирпичей. Покурим, что ли, в затишке.

Они присели за кирпичной стенкой. Перед их глазами была почти вся стройка. Солнце уже жидковатыми, разбавленными лучами обливало груды развороченной земли, отсвечивало в стеклах крутящихся кабин экскаваторов, холодными молниями поблескивало на отполированных лопатах землекопов. Землекопы состояли в основном из женщин. Молодые, пожилые, совсем старые – все махали лопатами, расчищая площадки для будущих заводских корпусов. Некоторые корпуса уже обозначились приподнявшимися на метр-полтора от земли желто-красными коробками. Женщины возили на тачках, подтаскивали на носилках кирпич, песок, цемент, известь, женщины же разводили в деревянных ящиках раствор, накладывали тяжелую, словно свинец, вязкую массу в окорята, носили каменщикам. Всюду женщины, женщины выполняли изнуряющую работу.

«А сколько такой работы придется выполнять женщинам, если война продлится еще год? – тяжело и больно ворочались мысли в голове у Кружилина. – А если – два года? Ведь, кроме них, некому. Война идет третий месяц, а мужчин в районе убавилось на три четверти, если не больше. По брони оставлено немного специалистов сельского хозяйства, механизато-

ров, да и то, видимо, ненадолго. Значит, все сельское хозяйство ляжет... чего там ляжет, уже легло на женские плечи...»

– Ну как, а? – раздался голос Хохлова. – Идет ведь дело-то, скоро задымит, задышит наш заводик! А ты, Матвейч, говорил!

– Да, говорил, – невесело откликнулся Кружилин. – Если бы завод не передали Наркомату боеприпасов, не знаю, как бы мы... Вспомни: проволоки даже не было, чтобы огородить территорию. А цемент, а кирпич, а лес? Вы ничего ведь, кроме станков да пары экскаваторов, с собой не привезли...

Сбоку раздался храп, Кружилин обернулся. Хохлов, прислонившись к кирпичной стене, чуть запрокинув голову, выставив обметанный щетиной кадык, спал.

* * *

Поликарп Матвеевич в молчании докуривал папиросу, вспоминая недавние суматошные дни...

«Боюсь, что кошмар для тебя только начинается», – сказал тогда Субботин. И он начался, этот кошмар, по сравнению с которым расселение эвакуированных казалось теперь делом легким и пустяковым. Райком партии обязал все колхозы, все предприятия немедленно выявить имеющиеся стройматериалы, вплоть до последнего гвоздя, не говоря уже о кирпиче или цементе, и свезти в район для восстанавливаемого завода. Но собрали таким способом едва ли тысячную часть требуемого. А из обкома партии ежедневно звонили: как идут дела, когда представите график пуска предприятия?

– Какой график?! Не можем мы пока представить никакого графика! – прокричал однажды в трубку вконец измотанный Поликарп Матвеевич. Прокричал и потом подумал: «А, будь что будет...» – Не можем, не пустим завод к ноябрю... Да, да, котлованы копаем, мобилизовано все трудоспособное население райцентра. А фундаменты из чего класть? Дайте нам стройматериалы, тогда требуйте... Песок, щебень?... Да, возим с берега Громотухи. А цемент, кирпич? Они на берегу не валяются... Что? Вы не можете дать из фондов области даже килограмма цемента? Так зачем же... кто же завод к нам направил?... Совет по эвакуации? Туда звонить? Звонили... Говорят: обращайтесь в Наркомат среднего машиностроения. Звонили и туда – говорят: в область обращайтесь. А вы снова в Совет по эвакуации отправляете...

Собственно, график восстановления и пуска завода уже был. Его составил Хохлов. Но Кружилин, взглянув на график, на объемы работ и сроки их выполнения, ужаснулся:

– Это ты, Иван Иванович, серьезно?

– Как требуется по срокам, – ответил тот.

– Все ваши инженеры, парторги цехов... принимали участие в составлении графика?

– Не все... Секретарь партбюро завода Савчук знает.

– А ну-ка, давай их всех сегодня в райком...

Вечером в кабинете Кружилина было тесно. Поликарп Матвеевич оглядел хмурых незнакомых людей. Из всех он знал только Хохлова да Савчука – крупного человека с хрящеватым носом и крутым подбородком. С ним он познакомился на станции, когда прибыл первый эшелон с рабочими и оборудованием завода.

– Вот что, товарищи... – начал Поликарп Матвеевич. – Я – Кружилин, секретарь райкома партии. Это – Петр Петрович Полипов, председатель райисполкома. Это – члены бюро райкома. В процессе работы мы друг с другом перезнакомимся поближе. А сейчас давайте о главном. Нам нужно представить в область график восстановления и пуска завода. График составлен, вы с ним знакомы. Запечатать его в конверт и отправить – легче легкого. Что скажете? Отправлять? Успеем мы к первому ноябрю пустить завод?

Люди молчали.

Встал Савчук, заговорил тугим, с хрипотцой голосом:

– Я не понимаю, зачем вы об этом у нас спрашиваете. Срок пуска завода обсуждению не подлежит. График составлен с учетом этого срока. Теперь требуется что? В неограниченном количестве стройматериалы плюс двадцать тысяч рабочих ежедневно, в две смены. А сколько работает? По семь тысяч в смену. А стройматериалов – ноль. Вот вы, товарищ Кружилин, и объясните нам, когда будут стройматериалы, достаточное количество рабочих... Далее – с жильем как? Приближается зима. Люди в палатках мерзнут, есть больные. Обеспечение их питанием поставлено плохо. Уже проходит первая декада сентября, а дети наши еще не учатся. Пойдут ли они нынче в школы?

Что мог объяснить Кружилин? Ничего. Сроки восстановления завода срывались с самого начала. Единственная районная больница переполнена. Школы не могли принять и половины детей, оказавшихся вдруг в Шантаре... Все правильно. Но что он-то мог поделать? Он пытался что-то организовать, обеспечить, устроить. Все районные организации, все службы, которые были в Шантаре, сейчас только и занимались заводом. Одного лишь Полипова он освободил от хлопот по устройству беженцев, а потом – от заводских дел. «Твоя сейчас одна забота – уборочная, – сказал он ему. – Держи меня в курсе, потом я подключусь...» Да, все занимались заводом, но ничего не получалось. Значит, он оказался не на месте, мелькала не раз горькая мысль, оказался ни на что не способен. Другой бы что-то сделал, что-то обеспечил. Вот Савчук его отхлестал... Правильно отхлестал, не надо было собирать это глупое совещание. Не надо... А что надо? Что?

Кружилин не помнил, как он отпустил людей, сидел, сжимая ладонями дергающиеся виски. В кабинете никого, кроме Полипова, не было. Председатель райисполкома стоял у окна и смотрел, как за стеклами качаются ветки кленов.

– Что же размышлять тут, Поликарп Матвеевич? График составлен, надо его отослать, – сказал он.

– Как? – поднял тяжелую голову Кружилин. – Он же, этот график, потолочный.

– А они что там, не знают, что он потолочный?

– А потом как отвечать? После первого ноября?

– Ну, потом... – усмехнулся Полипов. – Мало ли что потом может случиться... Во всяком случае, позже объясниться будет легче, чем сейчас...

– Легче? – нахмурился Кружилин.

– Конечно, – пожал тот широкими плечами. – Прошедшие трудности всегда легче объяснить, обрисовать во всем объеме... с полной объективностью. Сейчас никто тебя не поймет, что завод к ноябрю нельзя пустить. Потом увидят, поймут, что нельзя было успеть. Да и...

– Что? – отрывисто бросил Поликарп Матвеевич.

– Да и особенно-то некогда будет вникать в прошлое... Новые задачи к тому времени стоять будут, еще более сложные. Тут – психология, как говорится.

– Так... – усмехнулся Кружилин. – Психология? Умен ты, вижу. – Встал, тяжело ступая, пошел из кабинета. – Только, Петр Петрович, завод-то мы к ноябрю пустить должны.

– Ты же сам сегодня утром, разговаривая с обкомом, кричал в трубку, доказывал, что не успеть к этому сроку.

– Мало ли чего я кричал и доказывал.

– Но ведь его действительно нельзя... невозможно...

– Невозможно, а обязаны.

– Да как?

– Не знаю.

Не знал этого Кружилин и еще несколько дней. Чтобы не отвечать на телефонные звонки из области, дни и ночи пропадал на стройке. Полипова за это время видел раза два или три. Тот

ничего не говорил, не спрашивал, только сосредоточенно хмурился... «А ведь радуется...» – каждый раз думал Кружилин. И чувствовал, как рождается в нем неприязнь к этому человеку.

Измотанный, опустошенный, вконец обессиленный, он как-то ночью позвонил в Новосибирск, на квартиру Субботина.

– Здравствуй, Иван Михайлович, – сказал он и замолчал, не зная, что говорить. Секретарь обкома терпеливо ждал. – Ты извини, что я так поздно... Я и не по делу даже... Так вот просто.

– Ну, это ты, Поликарп, врешь.

– Вру, – покорно согласился Кружилин. – Но звоню не официально, не как секретарю обкома. Можно? Понимаешь, больше не с кем так поговорить... По-простому, по-человечески...

– Значит, выдыхаешься?

– То ли слово? Выдохнуться можно, когда что-то сделаешь, сколько-то пути одолеешь. А я... как белка в колесе – кручу изо всех сил, а оно на месте. Что делать-то, а?

– Да... – промолвил, помолчав, Субботин. – Не телефонный это разговор-то, Поликарп... Если я скажу тебе, что мы тут все тоже... как белки в колесах? Поверишь? Тоже крутим, а оно все почти ни с места. Около трех десятков в область прибыло уже различных предприятий. И такие, как ваше, и помельче, и покрупнее. На подходе еще около дюжины... А сколько будет после этой дюжины? Радио-то слушаешь?

– Так что же это получается?

Кружилин проговорил и понял, что его вопрос звучит неуместно и наивно. Что получается? Как будто сам не понимает. Немцы наступают стремительно и неудержимо. Красная армия сдает город за городом. Все, что можно, правительство эвакуирует. И все на восток, на восток, на восток. Куда ж еще?!

– То есть что происходит – понятно. Но когда же это кончится?

– Кончится, Поликарп Матвеевич, – негромко сказал Субботин. – Остановим немца. Остановим – и погоним назад.

Они оба помолчали.

– Так что же мне все-таки с заводом-то делать, а?

– Если б мне кто-нибудь ответил на такой же вопрос, – устало проговорил Субботин.

– Понятно... Значит, Полипов правильно мне советует?

– А что он тебе советует?

– Выслать в обком наш липовый график восстановления и пуска завода.

– Что ж... – чуть помедлил Субботин. – Он не так глуп, этот Полипов.

– Да, видимо... поумнее меня.

– Ты себе цену не набавляй, – донесся рассерженный голос. – Я не сказал «поумнее». Я сказал «не так глуп».

– Значит, высылать?

– А что тебе остается делать? – И опять, чуть-чуть помедлив, прибавил, как бы объясняя, почему Кружилин должен представить хотя бы липовый график: – А то у нас тут и так уже... ходят разговорчики, что ты там растерялся, ничего не можешь обеспечить.

– Что ж, так оно и есть. – Трубка давно нагрелась, жгла ему ухо. – Не могу.

– А кто сейчас, в такой обстановке, может? – Вопрос прозвучал так резко, что Кружилин вздрогнул.

– Ты что говоришь-то?! Ты подумай, что ты мне говоришь!

– Да, я говорю не то, может быть... – смягчился Субботин. – Завтра я тебе этого не скажу. Но сегодня ты же хотел по-человечески... Так вот, по-человечески я тебе скажу: трудности на нас свалились небывалые. Перед тобой, передо мной, перед всеми каждый день встают задачи, многие из которых, если смотреть правде в глаза, почти или вовсе невыполнимы в данных условиях и в данные сроки. – И вдруг заговорил еще мягче, с какой-то до предела обнажен-

ной простотой и сердечностью: – Но, дорогой мой Поликарп Матвеевич! Если мы сами себя убедим в своей беспомощности, в растерянности, в неспособности взять верх, что же тогда-то получится? Ты подумай.

– Да... Да, да, – трижды вымолвил Кружилин.

– Держись, Поликарп Матвеевич, – все тем же тоном сказал Субботин. – Остановим фашистские банды – всем нам будет полегче... А с твоим заводом, я думаю, скоро все прояснится...

– Что прояснится? Как прояснится? – Кружилин поплотнее припал к трубке.

– Звонил из Москвы Савельев, директор вашего завода... Кажется, завод передают какому-то военному ведомству. Тогда и стройматериалы, и люди – все в первую очередь для вас...

– Погоди, погоди... Ведь завод сельхозмашины делал.

– Всё, Поликарп, – сухо прервал Субботин. – Об этом – не по телефону. И так говорим, о чем не положено... Кстати, а ты знаешь, что директор завода Савельев – ваш, шантарский?

– Как наш? – не понял Кружилин.

– Ну, так. Где-то там, в ваших краях, родился.

– Постой, постой... Это какой же Савельев? У нас тут один Савельев проживает – Федор, комбайнером работает. У него есть два брата. Младший – Иван... он тоже сейчас здесь. А старший из братьев... как же его звать? Не то Андрей, не то... Слушай, не Антоном его звать? Не Антон Силантьевич?

– Да, Антон Силантьевич. Очень хороший человек, мы с ним в новониколаевском подполье еще работали.

– Вот так та-ак... – И вдруг неожиданно для себя Кружилин сказал: – С Полиповым ты, кажется, тоже в подполье работал...

– Да, и с ним. Много всем нам пришлось тогда выхлебать... А что у тебя с ним?

– Не он случайно информирует обком, что я тут растерялся... ничего не могу? – прямо спросил Кружилин.

– Это... – Субботин кашлянул, – это на каком же основании такие выводы... или предположения делаешь?

– Обижен он, что с секретарства его сняли.

– Ну, ты, брат... слишком поспешные, может быть... и несерьезные умозаключения строишь, – проговорил Субботин и тут же начал прощаться, заканчивая разговор. Однако некоторые паузы в голосе секретаря обкома, поспешный вопрос: «А что у тебя с ним?», эти слова в конце – «может быть» – позволили Кружилину понять, что Субботин, кажется, не опровергает его умозаключений.

В ту ночь Кружилин почти не спал, все ворочался, думая о заводе, о Полипове, до мельчайших подробностей припоминая, анализируя весь разговор с Субботиным. А перед утром раздался вдруг резкий телефонный звонок.

– Говорит Савельев... Алло, вы слышите меня? Вы секретарь райкома?

– Наконец-то! Да, я секретарь... Где же вы там запропались? Я тут ума не приложу, что делать с вашим заводом. Вы откуда звоните?

– Из Москвы.

– Из Москвы... – повторил Кружилин, прислушиваясь, как звучит это слово. – Из Москвы... Как она там, Москва?

– Нормально. Темновато только. Вся Москва затемнена, нигде ни огонька.

– Бомбят?

– Читаете, конечно, в газетах, как жарко в небе над Москвой? Но бывает, что и прорываются фашистские самолеты. Извините, Поликарп Матвеевич, что поднял вас... Мы-то еще

не спим, в Москве всего полночь. Сейчас только состоялось правительственное решение по нашему заводу.

– Да, я знаю, что должно было состояться... Я говорил сегодня ночью с обкомом.

– Ну, тем более. Как все-таки там завод?

– Плохо... Оборудование вывезли со станции, отвели площадку, чистим ее, роем котлованы под здания. Мобилизовали все трудоспособное население, женщин в основном, подростков даже. Из всех предприятий и организаций, кого можно было, перекинули на стройку. Но людей не хватает. У нас была, как и везде, мобилизация.

– Да, это понятно.

– А строить цехи не из чего. Люди живут в палатках еще, селить некуда.

– Понятно, – опять сказал Савельев. – Люди еще будут прибывать.

– Да вы что? Вы что?!

Савельев, будто не расслышал этого возгласа, продолжал:

– Нам передали часть оборудования и рабочих еще с одного завода. Оборонного. Все это где-то в пути. Начальникам эшелонов даны телеграммы, куда следовать. Одновременно решился вопрос со стройматериалами. Через три-четыре дня к вам начнут поступать кирпич, цемент и прочее. Задача главная в том, чтобы не задерживать вагоны, немедленно разгружать. Хохлов там где?... Савчук?... Передайте им – пусть часть людей снимают со стройплощадки, снимают сколько надо и разгружают. И конечно, все вывозить. Несколько десятков автомашин тоже придут. Но вы там мобилизуйте весь свой транспорт, какой можно. До последней подводы.

– Понятно, – невесело сказал Кружилин.

– А я еще задержусь несколько дней здесь, потом в Новосибирске буду пробивать эти стройматериалы.

– А людей... сколько еще людей прибедет?

– Тысячи полторы еще... Поживут пока в палатках, до ноября. Там придумаем что-нибудь... – И почти без перехода продолжал: – Ну а как там мой брат Федор поживает? Я ведь, знаете, из Шантары родом.

– Знаю. Федор что же... Живет. Сейчас в михайловском колхозе хлеб убирает.

– Да, он комбайнер, кажется... А про другого моего брата что слышно? Про Ивана. Не знаете его?

– Почему же... И Иван здесь, в Михайловке.

– Там?! – быстро переспросил Антон. – Он... он вернулся, значит?

– Да. Как раз двадцать второго июня, в день начала войны.

– Так, так... – протяжно сказал Савельев. – Ну что ж, встретимся, значит. Давненько я их не видел, три десятка лет. Интересно поглядеть, какие у меня братья... Ну все, Поликарп Матвеевич. До встречи.

Кружилин поглядел на часы – маленькая стрелка только-только переползала цифру «четыре». За окнами стояла темень, небо черное, лишь в одном месте, за селом, где при свете прожекторов всю ночь работали люди, небо было серо-белесым, там стояло жиденькое зарево. Оно стояло там каждую ночь, с вечера до утра, и гасло на рассвете. Скорее не гасло, а, наоборот, разгоралось каждое утро все сильнее и сильнее, разгоняло ночную темноту, все ярче и ярче расцветивая все небо. Потом вставало солнце.

В ту ночь Кружилин больше не ложился. Транспорт? Что ж, транспорт будет, думал он, расхаживая по комнате. Временно придется снять с уборки какое-то количество автомашин, даже тракторов. А все, что можно, вывозить на лошадях. Лошадей в районе много. Телеги, повозки... Прямо с утра надо собрать всех руководителей районных организаций, всех председателей колхозов, всем вместе, сообщая с работниками завода, представить себе во всех деталях задачу и подумать, как ее выполнить.

Цель была далека и по-прежнему труднодостижима. Но теперь появились какие-то возможности для ее достижения. Все остальное будет зависеть от людей, от того, как их организовать. А это уж другое дело, за это могут и должны спрашивать с районного комитета партии, с него лично.

Кружилин прошел на кухню, поплескал в лицо холодной водой, вернулся в кабинет, подвинул лист чистой бумаги и стал составлять телефонограмму всем председателям колхозов, руководителям всех районных организаций...

* * *

Припомнив все это, Кружилин вздохнул.

Солнце грело не жарко, но еще грело, под кирпичной стенкой было тепло, даже чуть припекало, и у спящего Хохлова на лбу выступили, как роса, капельки пота.

Кругом гремело, урчало, раздавались крики и ругань. Проходившие и пробегавшие мимо люди бросали на Кружилина и Хохлова сердитые взгляды: чего, дескать, два таких лба блаженствуют тут, в затишке?

Голова Хохлова чуть свалилась набок, обнажив похudevшую, заросшую грязной щетиной шею. Эта шея вызывала у Поликарпа Матвеевича жалость и сострадание.

Кружилину давно надо было ехать, но он не решался будить Хохлова, достал новую папиросу, чиркнул спичкой. Хохлова не могли пробудить рев тракторов и экскаваторов, крики людей – ко всему он давно привык, – но от шипения загорающейся спички вздрогнул, открыл испуганные глаза, протянул облегченно:

– А-а...

– Пospал маленько?

– Да вот... – виновато улыбнулся Хохлов. – Мне все чудится – бомбы-зажигалки шипят. Они так же шипят, как спички, только громче. – Он дрожащей рукой вытер пот со лба. – И еще – детский крик.

– Крик?

– Ага. У меня ведь... еще там, дома, дочь сгорела, погибла. Семь лет ей было. Я не рассказывал...

Хохлов действительно не рассказывал, есть ли у него семья, где она, что с ней. Кружилин почему-то думал, что он одинок.

– Нынче в школу бы пошла, – продолжал Хохлов, глядя на носки грязных своих сапог. – А погибла – страшно вспомнить... Воздушный налет был, ночью... Мы выбежали из дома во двор. Девочка споткнулась и упала. И тут посыпались эти зажигалки. Одна из них прямо возле нее закрутилась на асфальте... платьишко сразу вспыхнуло. Она еще вскочила, закричала... И тут же рухнула, покатилась... И прямо к той же бомбе, в расплавленный асфальт... Все это – в одну секунду, на глазах жены. Жена тоже чуть не бросилась на эту зажигалку, еле сумел оттащить.

Хохлов проговорил это и замолчал, по-прежнему разглядывая носки сапог. Но он ничего не видел, вероятно. Глаза его были тусклые, холодные, застывшие, в них ничего не отражалось.

– Да, я понимаю, – негромко сказал Кружилин.

– Не-ет, – мотнул головой Хохлов. – Этого, не пережив, понять нельзя. Невозможно.

– А жена твоя... семья здесь сейчас?

– Где же еще... Там, – кивнул он в сторону палаток. – Жена и дочь. Старшая. Последняя. Жена, думал, не выживет. Ничего, отходит. Молчалива только стала. Как немая. Но, я думаю, разговорится. Горе горем, а жить ведь надо. На работу стала выходить, это хорошо. Она плановик-экономист, а сейчас раствор делает для подстанции.

Кружилин вспомнил, как впервые увидел этого человека. В кабинет он вошел бодро, бесцеремонно кинул на стол портфель, заговорил о делах каким-то легким, неунывающим тоном. А в это время где-то в эшелоне, под присмотром, видимо, дочери, ехала обезумевшая от горя жена. Каким же запасом жизнелюбия и душевной стойкости обладает этот человек?

Они еще посидели минуты две-три в молчании.

– Так вот, Иван Иванович, я, собственно, насчет палаток этих... В ноябре начнутся холода. Сегодня ночью мы на бюро решили...

– Да, да, я знаю – землянки... Савчук мне говорил. Чего ж вы меня на бюро не пригласили?

– Мы-то приглашали...

– Да, верно, кажется, приглашали, – потер Хохлов заросший подбородок. – Черт, все крутится, мешается в голове. С вечера я даже помнил. А ночью трансформаторы устанавливали, я должен был сам проследить... Землянки, землянки...

– Иного выхода у нас нет. И Савельев тоже так считает. Зимой жилье будем помаленьку строить.

– Он в Новосибирске все еще? Мне бы тоже с ним обговорить кой-чего надо. Я все-таки инженер по сельхозмашинам. А теперь даже и неизвестно, что мы выпускать будем.

– Артиллерийские снаряды. Чего тут неизвестного?

– Снаряды! Но я не знаю, как снаряды делать! Я этого не умею. Сейчас надо уже думать над монтажом цехов, над установкой оборудования. А я не знаю, что, куда, как! И никто не знает. Никаких специалистов с оборонного завода не прибыло.

– Кажется, сегодня приезжают вместе с Савельевым.

– Да? Наконец-то! А землянки... – Хохлов вытащил истрепанную тетрадку. – Вы на бюро вон об этой огромной котловине, кажется, говорили. Я ее обследовал утром. И кое-что набросал тут. А что это за котловина?

– Не знаю. Когда я был маленький, старики говорили, что здесь был огромный пруд, который по деревянным трубам наполнялся из Громотушки – из ручья, что по деревне бежит. Потом трубы сгнили, пруд высох.

– Ну и отлично, что высох. Края котловины довольно круты, но это и хорошо. Экскаватором мы выберем по краям котловины грунт... Вот, смотрите...

В тетради Хохлова была нарисована эта продолговатая котловина с квадратными ячейками по краям. Рисунок походил на ожерелье и был по-своему красив.

– Дюжина ковшей – и землянка, собственно, готова. Остается накрыть ее сверху чем-то. Лесу для этого, я думаю, найдем. Входы в землянки отсюда, снизу. Неудобно, но что поделаешь. А талые воды не затопляют котловину?

– Нет. На дне чуть водичка держится, пока почва не оттает.

– Отлично. Даже красиво будет: вокруг озера – роскошные особняки... – Хохлов перевернул страничку. – А вот подсчеты кое-какие. За полмесяца пятью экскаваторами землянок нароем достаточно. Ну а людей, конечно, на устройство этих землянок понадобится... Ну, тут проще – человек по пятьсот будем каждый день сюда направлять. Главное – накрыть их и входные двери теплые сделать. Внутренность каждый уж по своему вкусу оборудует. Но общий принцип их устройства, мне кажется, должен быть такой...

Хохлов снова перевернул страницу, и Кружилин увидел нарисованный карандашом план землянки.

– Вход, как видите, снизу, со дна котловины, – пояснял Хохлов. – Дверь, по бокам – небольшие окна. Здесь сразу кухня, столовая – все. А дальше – перегородка, за ней – спальня. Спальня темная, освещается только электричеством. Но зато теплая, в тепле люди спать будут. Печь вот здесь, на обе половины. А?

«Кухня, столовая, спальня», – все это в устах Хохлова звучало убедительно и серьезно, будто он показывал планировку не примитивной землянки, а настоящего жилого дома.

– А может, на две, на три семьи одну землянку делать, а? – продолжал меж тем Хохлов. – Тут надо подумать, что скорее, что в данной обстановке экономнее даже не в смысле материала, а времени. Вот я планы и таких землянок набросал...

– Когда ты это успел все, Иван Иванович? – с тихой грустью спросил Кружилин.

– Ну, это не сложно, это между делом. – Хохлов захлопнул тетрадь. – Сложнее другое. Автолавку вот ночью украли.

– Да, мне звонил начальник милиции. Ищут.

С автолавок в палаточном городке рабочим завода продавали продукты, одежду, обувь. Вообще все товары, какие оказывались в Шантаре, в первую очередь направлялись сюда. На днях в райпотребсоюз поступила большая партия ситца, шерстяных тканей и рабочих сапог. Председатель райпотребсоюза распорядился нагрузить две автолавки и отправить в городок.

Машины с товарами и прибыли под вечер, часа полтора торговали. С наступлением темноты лавки опломбировали и, как всегда, сдали сторожу. В городке была с самого начала учреждена своя охрана, за небольшую дополнительную плату сторож согласился присматривать и за автолавками: чтобы не делать частых бесполезных перегонов, их на ночь оставляли в городке.

Сегодня утром и сторож, и одна из автолавок с тканями и сапогами исчезли. Это обнаружил милиционер Елизаров, который на рассвете решил проверить, все ли спокойно в палаточном городке.

Сторожа, едва живого, оглушенного чем-то по голове, нашли за одной из палаток. Когда старика растолкали, он пощупал разбитую в кровь голову и заголосил:

– Провались она, эта охрана, и ваши деньги! Освобождайте немедля с должности... Ох, головушка расколота!

– Кто автолавку угнал, какие люди? Не заметил? – допытывался Елизаров.

– Ничего не знаю. Мальчонку ищите лет десяти-двенадцати...

– Какой мальчишка? Какой он из себя?

– Откудова я знаю какой? – закричал старик. – Темно было, откудова разглядеть? Шебаршит, говорит, чтой-то в машине. Я и прилачился ухом к ейной... к машинной стене. Меня сзади и дербалызнули...

...– Найдут, я думаю, эту автолавку. Куда они ее денут, не иголка, – помолчав, сказал Кружилин, достал часы на ремешке. – Значит, насчет землянок решено... Ого! Ну, я на станцию. Ты не поедешь встречать Савельева?

– Надо бы, да вот трансформаторы меня волнуют... Там, на станции, Савчук, он встретит...

* * *

Станция была расположена от Шантары километрах в трех. Железнодорожная линия прошла в таком отдалении потому, что возле Шантары каждую весну широко разливалась Громотуха, затопляя левобережье в иные весны километра на полтора, на два. Строители побоялись, видимо, что, если проложить дорогу ближе к селу, полыми водами может размывать железнодорожную насыпь.

Кружилин придерживал рвавшегося жеребца. Шоссе было за эти два-три месяца разбито, раздавлено грузовиками, разворочено колесами и гусеницами тракторов. Колдобины и рытвины Полипов приказал Малыгину засыпать гравием и дресвой, и расторопный Малыгин со своими «жогами» держал шоссе в порядке. Недавно Малыгин был мобилизован на фронт, Кружилину и Полипову было не до дороги, и она снова оказалась в плачевном состоянии.

«Надо, крайне надо до дождей ее как-то подремонтировать. Иначе в слякоть раскиснет вовсе... Ну, да теперь и у Савельева тоже об этом пусть голова поболит...»

Навстречу непрерывно шли грузовики, ползли тракторы, волоча за собой тяжелые прицепы с заводским имуществом.

Один из тракторов, поравнявшись, вдруг остановился, из кабины выпрыгнул молодой парень и замахал руками, подбегая. Поликарп Матвеевич натянул вожжи.

– Что тебе?

– Познакомиться хотел, – сказал парень. – Вы ведь секретарь райкома Кружилин...

Серые глаза парня глядели спокойно, только холодно и недоверчиво, из-под кепки свисали перепутанные космы волос.

– Кружилин, верно. А ты-то кто?

– Я Савельев Семен.

– А-а, сын Федора Савельева, значит? Вон ты какой вырос, Семен. – Кружилин снова оглядел парня с любопытством.

– Вырос. Жениться даже хочу.

– На свадьбу, значит, приглашаешь?

– Нет, я насчет брони, которую мне выдали.

Под бровями у Кружилина шевельнулись темные зрачки.

– Понятно. А ты на фронт хочешь?

– А что я, хуже других? У меня была отсрочка от призыва и на действительную, поскольку в МТС трактористов не хватало. Ну, я даже рад был. А сейчас...

Семен сдернул кепку, ладонью сгреб назад волосы, снова притиснул их кепкой.

– Я, Семен, тоже на фронт хотел бы. Да вот тоже не берут.

– Вы – другое дело. Вам и тут дел хватит.

– Тебе, что ли, не хватает?

– Да какое это дело? – Семен кивнул на свой трактор. – Ну конечно, я понимаю... И хлеб надо убирать, и завод строить. Я уже третью неделю заводские грузы вожу. Но ведь девчонку любую поучить два месяца – и она так же рычагами будет двигать.

– Так ведь учить еще надо. А завод ждать будет?

– Ясно... – мрачно уронил Семен. – Значит, не можете?

– Будет нужда – и без моей помощи призовут.

– Значит, сейчас – нету нужды?

– Пока, выходит, здесь ты нужнее.

Семен постоял молча, глядя куда-то мимо Кружилина, в пустую, еще не тоскливую, но уже начинающую грустнеть степь, сплюнул под колеса и пошел к трактору. Запрыгнув в кабину, дал такой газ, что машина, взревев, затряслась, и Кружилин, ощутив, как задрожала земля, улыбнулся чему-то.

Станционные пути были плотно забиты пыльными железнодорожными составами. Возле путей в беспорядке грудились тракторы, грузовики, пароконные брички, бычьи упряжки. Грузенные заводским имуществом машины и подводы тяжело выползали на шоссе, навстречу им почти вереницей шли порожние. Грохот тракторных и автомобильных моторов, рев паровозных гудков, лязг железа, ржание лошадей, людская ругань и крики – все смешалось в один надсадный, нескончаемый гул.

Но как ни плотно стояли составы, сквозь них протиснулся еще один. Закопченный паровоз подтащил к самому перрону десятка три платформ, груженных станками, тесом, кирпичом, какими-то ящиками. Из единственного в этом составе крытого товарного вагона соскочил мужчина в дождевике, с кожаной фуражкой в руке.

Кружилин сразу узнал его: такой же, как у Федора Савельева, открытый большой лоб и такие же сросшиеся брови. Только усов не было да волосы не черные, а пепельно-серые.

- Здравствуй, Антон Силантьевич.
- Поликарп Матвеевич Кружилин?
- Я.

Антон Савельев не сразу протянул ему руку, секунду-другую помедлил, в упор разглядывая. А потом не сразу отпустил его ладонь.

- Вот мы и прибыли, значит. Это – инженеры нашего завода. Знакомьтесь, товарищи...

Из вагона вышли еще человек пятнадцать, люди все пожилые, солидные. Поликарп Матвеевич пожимал всем по очереди руки, вслушивался в голоса, а сам думал-прикидывал: где же раздобыть жилье для этих специалистов, с семьями они приехали или без семей?

– Ну, посмотрим, что здесь и как, – проговорил Савельев, оглядывая станцию. – С разгрузкой как?

- Делаем все, что можем.

Из-под состава вынырнул Савчук. Парторг уже недели полторы безвылазно торчал на станции, руководя разгрузкой. Он был в замасленной телогрейке и походил сейчас на шофера или тракториста.

– Наконец-то! – воскликнул он, пожал руку Савельеву и всем остальным. – Ну, с чего начинать докладывать?

– Зачем тратить время? Пройдемтесь, товарищи, по станции – сами все увидим. На это – десять минут... – И повернулся к Кружилину: – А вечером хотел бы поговорить с тобой. Сейчас, вижу, в дальний путь собрался, – кивнул он на кнут, который Кружилин держал в руке.

- Да, уборка. Надо хоть посмотреть, что на полях делается.

- Понятно.

– Насчет ночлега – в райисполкоме что-то организуют. А потом что-нибудь придумаем с жильем. Вы с семьями?

- Едут где-то пока... Значит, до вечера.

...Подреывая под стук лошадиных копыт, Поликарп Матвеевич думал о Савельеве. Проницательный, сразу увидел, что на поля собрался. И что сразу как-то на «ты» начали говорить, тоже хорошо. Проще...

За коробком вздымался хвост белой, как березовый дым, пыли. Пыль высоко не поднималась, но и не оседала, долго плавала над дорогой, постепенно истаивая, как утренний туман.

По обеим сторонам стояла высокой стеной рожь, клонилась к земле тяжелыми, перезревшими колосьями. Неубранная рожь в сентябре? Этого никогда не бывало. А сейчас стоит, осыпается. Не дай бог ветерок ударит покрепче – всю вымолотит.

Над степью сыто, не спеша кружились два или три коршуна, выбирая, видимо, самых разжиревших перепелов. Солнце разошлось, светило по-летнему добросовестно, щедро.

* * *

На ток колхоза «Красный колос» Поликарп Матвеевич завернул к концу дня. Длинные тени от хлебных скирд лизали землю. Этих скирд вокруг тока было много, штук двенадцать.

По току в беспорядке сновали брички. На кругу молотили лошаадьми пшеницу. Покривали, понукая усталых лошадей, люди; стучали веялки. Десятка полтора запряженных подвод стояло чуть в сторонке. Брички были нагружены мешками с зерном.

За длинным столом под навесом сидел председатель колхоза Панкрат Назаров. Выставив костлявые плечи, он склонился над чашкой. На другом конце стола полнощекая женщина кисточкой старательно выводила на куске красного ситца буквы.

– А-а, – вместо приветствия протянул Назаров недружелюбно. – Глафира, подай еще лапшички. Садись поужинай.

Женщина бросила кисточку в стакан с разбавленным мелом, принесла глиняную чашку с лапшой, деревянную, обкусанную ложку и большой кусок хлеба. И снова взялась за кисточку.

– Она у нас и повар, и агитатор, и писарь тут. Все вместе, – сказал Панкрат.

Поликарп Матвеевич проголодался за день, начал есть, размышляя, что за те годы, пока он жил в Ойротии, Панкрат Назаров сильно сдал, постарел. Он вроде и не похудел, а как-то высох, почернел и покоробился, как долго лежавшая на солнце сосновая плаха.

Панкрат выхлебал свою чашку, заскреб дно коркой хлеба.

– Ну вот, и мыть не надобно. Эй, Петрован!

Подошел бородатый старичок со спокойно-задумчивыми голубыми глазами, поздоровался. Кружилин помнил этого колхозника. Борода его, широкая, как лопата, давно закуржавела, только глаза были по-молодому ясные и чистые.

– Кончайте, – сказал ему Панкрат. – Запрягай и этих всех. Домолотим цепами. – И повернулся к Кружилину: – Хлебный обоз на элеватор отправляем.

Кружилин и без того понял, что готовится хлебный обоз.

– На ночь-то глядя, – буркнула Глафира. – Кони вон как притомились!

– Цыц, баба! – прикрикнул председатель. – Вся в мать, язви тебя! Василису-то Посконову помнишь? Такая есть у нас пронырливая старуха, все сплетни наперед других узнает.

– Что тебе моя мать далась?

– Во-во, вся в нее. Дочь – она всегда точь-в-точь. Володька!

– Ну, вот он я, – подошел мальчишка в залатанной рубахе, босой, запыленный, с вилами в руках.

– Вилы прислони к скирде – и марш в деревню. А то завтра на уроках дремать будешь. Петрован, запрягайте, чего там мнетесь? На обратном пути коней в логу покормите. Да не грузите больше пятнадцати пудов на бричку. А завтра с утра всех коней на скирдовку пшеницы пустить.

Все это председатель говорил, не сходя с места. Он сидел теперь только спиной к столу, широко расставив ноги в заскорюзлых сапогах.

Глафира кончила писать, взяла тряпку, развернула ее перед председателем и Кружилиным. Мокрыми неровными буквами на тряпке было написано: «Хлеб – фронту».

– Ладно, что ли?

– Сойдет. Все одно ночью ничего не видно. Приладьте на головную бричку, – сказал Панкрат не глядя.

Глафира ушла.

– Поздно ты начал хлеб нынче сдавать, Панкрат Григорьевич, – сказал Кружилин. – Первый обоз это, кажется?

Панкрат долго ничего не отвечал, сидел и смотрел, как запрягают лошадей, как грузят новые брички.

– Поспесишь – людей насмешишь.

Председатель был не в духе, он был недоволен, что приехал секретарь райкома.

Просматривая в райкоме сводки хлебосдачи, Кружилин удивлялся, что в графе против колхоза «Красный колос» неизменно стоит прочерк. Полипов несколько раз докладывал: Назаров не сдает хлеб государству. «Злостно, злостно не сдает... А время, надо же понимать, не мирное сейчас...» – бросил он зловеще в последний раз. Кружилин не имел возможности вырваться в колхоз сам, звонил по телефону. Назаров выслушивал Кружилина спокойно, обещал начать хлебосдачу. И не начинал.

Груженные брички, поскрипывая, отъезжали от хлебных буртов, уступая место порожним. Женщины ведрами и плицами проворно насыпали мешки.

Наконец все подводы были нагружены. Петрован Головлев опять подошел к председателю, но тот только махнул рукой:

– С богом.

Старик, не проронив ни слова, повернул назад. И тотчас заскрипели брички, обоз тронулся.

– А не маловато по пятнадцать пудов на бричку? – спросил Кружилин, когда обоз отъехал.

– Кони приставшие. А завтра скирдовать будем.

– Значит, завтра хлеб не повезешь сдавать?

– Почему? К ночи отправим еще один обоз.

– Еще двадцать подвод по пятнадцать пудов. Всего с сегодняшним шестьсот пудов. Это около сотни центнеров. На календаре вторая половина сентября. Не маловато?

– Сколь можем.

– Мудришь ты, Панкрат, вижу...

Сидевший все время неподвижно Назаров вскочил.

– Слушай! – И взмахнул обеими руками. – Слушай, я сейчас ругаться буду. По-зверски. А тут народ. Потому пойдем-ка отселя... Ты куда сейчас, в Шантару?

– Туда надо подвигаться.

– Вот и поедем. Мне по пути – я на ток второй бригады. По дороге и поругаемся. В степи одинокой.

Но в «степи одинокой» Назаров ругаться не стал. Едва отъехали от тока, он, остывший уже, спокойно сказал:

– Ежели я мудрю, то по вашим же указаниям.

– Это как понять?

– Просто все понимается... Райкомовское было постановление, чтоб без потерь убрать? Было. В первый же день войны. А я что делаю? Вон, скирды видел необмолоченные на току? Там – вся рожь наша. А в других колхозах? На корню еще половина. А ежели непогодь? Тотто и оно. А у нас не обсыплется. Тут пшеница пошла подходить. Косим, скирдую, насколько сил хватает. Комбайнов эмтээсовских у нас всего два. Что с ними успеешь? Дале – мужиков, самых работающих, на войну повзяли. Коней райисполком половину на этот завод мобилизовал, что эвакуированный. За остальных боюсь, – может статься, для войны заберут. А?

– Может статься.

– Ну вот... Да как же мне делать-то? А хлеб потерять – ты меня как, ладонью по макушке погладишь али кулаком по затылку? Потому и крутимся. Вон, гляди...

В стороне, метрах в четырехстах, десятка три женщин в разноцветных платках и кофтах жали серпами пшеницу и вязали ее в снопы. Заходящее солнце разлилось по жнивью, золотило его, и тугие снопы лежали тоже как золотые слитки.

– Видишь, всяко приловчаемся. Сожнем, составим в суслоны, заскирдую потом. После обмолотим потихоньку. А хлебосдача будет. Куда мы от хлебосдачи?

– Так-то оно так...

– А что не так?

Но Кружилин на этот вопрос не ответил.

С полкилометра проехали молча. Карька-Сокол, умаявшийся за день, теперь не рвался из оглобель. Панкрат еще раз оглянулся на жниц, проговорил:

– Вот сколь знаю эту Агату Савельеву – не нахваляюсь.

– Она, что ли, там?

– Она. Собрала старушонок – и айда. Эвон сколь за день выпластали. Подмога. – Помедлил и добавил: – Повезло хоть в этом Ивану. Одно слово – звень-баба.

– Что значит – звень?

– Люди – они как церковные колокола. Иной вроде и отлит чисто, на солнышке янтарем горит, по виду так и красивше нету. А ударь – с дребезгом звон, со ржавчиной, вроде в чугунок

ударили. А бывает – и на вид неказистый, зеленью изъеден. А тронь – и запоет, вроде бы заря по чистому небу расплывается. Это и есть звень-колокол.

Назаров, пошевеливая спутанными бровями, в которые туго набилась степная пыль, сурово смотрел, как спускалось за острый каменный гребень Звенигоры большое желтое солнце. Край солнечного диска уже расплющился о гранит, подплавился, растекаясь по макушке утеса красно-багровыми ручьями.

Из черных ущелий Звенигоры густыми клубами поднимался вечерний туман. Чудилось, что это не туман вовсе, что это огненные солнечные ручьи стекают в сырые ущелья, а оттуда вспучиваются раскаленные пары...

– А сам Иван как сейчас? – спросил Кружилин.

– Как? Обыкновенно, – ответил Назаров, не отрывая глаз от освещенных вершин Звенигоры. – Пастушит. Хотел его на строительство мельницы поставить. А он – хочу, говорит, один в степи побыть, травяным воздухом подышать, березовый шум послушать. Я, старый пень, сам-то не догадался...

– А Федор как здесь работает?

– Что Федор? В работе он зверь. В сутки разве два-три часа спит.

– Да, да. Полипов хвалил его.

Панкрат Назаров усмехнулся, загреб жесткими пальцами давно не бритый подбородок, ничего не сказал.

– Встречались братья? – спросил Кружилин.

– Нет вроде. Не слыхал. Да им, кажись, обоим это без надобности.

– А сегодня их старший брат приехал, Антон.

– Антон? – Назаров вскинул поблекшие глаза. – Ты скажи! Не помню я его, стерся он весь в памяти. Припоминается только – белявый такой парнишка, бегал все по двору у Савельевых. Лет за десять-двенадцать до революции старый Силантий в Новониколаевск к брату, кажись, его отправил. А годика три спустя Антон этот, слышно было, по царским тюрьмам пошел. И однажды – это хорошо помню, году в девятьсот десятом было – нагрянули в Михайловку жандармы с Новониколаевска, сбежавшего из тюрьмы Антона этого искали... Откуда же он, зачем к нам?

– Директором эвакуированного завода его назначили.

– Ты скажи! – опять удивился Панкрат.

Как ни щедро днем светило солнце, перед закатом быстро посвежело. Вечерний холодок накатывался волнами.

Карька вытащил плетеный коробок на пригорок, и отсюда стали видны распластавшиеся по земле изломанные зубья теней от каменистых вершин Звенигоры. Тени быстро ползли по жнивью, по нескошенным хлебам, съедая пространство, черные зубья вытягивались, заострялись. Затененное пространство как-то скрадывалось, и казалось, это не тени от каменных круч ползут по земле, а сама могучая Звенигора сдвинулась с места и неудержимо приближается.

– Останови-ка, – попросил Панкрат. – Мне тут рядом...

Председатель колхоза вылез из коробка, поджидая, не скажет ли чего еще ему секретарь райкома. Но тот молча курил.

– Начинай, что ли, ругать по-настоящему. Как Полипов сегодня утром. Был он тут у нас. Как вихрь налетел со скандалом. Хлеба-то мы и вправду ничего не сдали пока.

– Я так ругать не буду. И все же, Панкрат Григорьевич, надо маленько нажать на хлебосдачу.

– Н-да... Давят, значит, из области на тебя?

– Интересуются, – неопределенно сказал Кружилин.

Председатель долго тер закаменевшей ладонью о плетеный бок коробка, точно ладонь у него чесалась.

– Ладно, поднажмем. Дорого оно только выйдет, это нажатие. Ну, да, может, бог милостив. Только что заради тебя и поднажму, Поликарп. И то – временно. А вообще-то, хлеба сдадим государству ныне хорошо. Урожай славный у нас вышел, видишь... – И старый председатель неуклюже повел вокруг рукой, вздохнул. – Эх, кабы все это рожь была!

Это был старый и больной для всей округи вопрос. В этих местах рожь испокон веков давала урожай в три-четыре раза больше, чем пшеница. До революции местные кулаки сеяли только рожь. Тот же Кафтанов со своих трехсот десятин собирал столько хлеба, что не знал, куда девать его. В иные годы урожаи были настолько обильны, что десятки кафтановских скирд стояли необмолоченными и год и два. Имея постоянно в запасе неограниченное количество хлеба, Кафтанов не увеличивал запашный клин – за глаза было и старых пашен.

После революции и в первые годы коллективизации здесь тоже сеяли почти одну рожь. Но потом вышестоящие организации стали все активнее вмешиваться в размещение зерновых культур. Под их нажимом Кружилину пришлось еще до отъезда в Ойротию несколько потеснить рожь. А сейчас, после возвращения в Шантару, он ужаснулся: посевов ржи во всем районе едва ли наберется тысячи полторы гектаров.

Острые клинья теней уже ползли на пригорок, где стояли Кружилин с Назаровым. Панкрат все тер ладонью о коробок.

– Так как же, Матвейч, посеем на будущий год ржицы-то поболее? – проговорил он тихо. – Ты по весне обещал...

– До будущего года далеко. Там – поглядим.

Сперва у Назарова дрогнули спутанные, пропыленные брови, потом скривились обветренные сухие губы.

– Мы все глядим. Мы все по одной плашке ходим, все оступиться боимся, – заговорил он желчно. – А нам между тем дышать не дают. Сколько мы на этой пшенице теряем, а?

Панкрат Назаров выбрасывал слова тяжело, словно бревна на землю кидал, топтался на пыльной дороге грузно и неуклюже.

– Что ты так меня отчитываешь? – невольно повысил голос Кружилин. – Я, что ли, во всем виноват?

– А кто же?! – выкрикнул старый председатель и уже по-недоброму сверкнул глазами. – Полипов, что ли, один? Да Яшка Алейников? И ты тоже. «До будущего года далеко. Там – поглядим». Ишь как ты робко!

– У меня тут права маленькие.

– У меня еще меньше! А вот, к примеру, взял да принял тогда Ивана Савельева в колхоз. Попрыгал-попрыгал Яшка Алейников вокруг меня, да с тем и уехал. А я тем самым, может, человеческому стержню в Иване надломиться не дал, выдюжить помог. А ты вот мне не помогаешь.

Последние слова хлестанули Кружилина больно, чуть не до крови, потому что были несправедливыми, обидными.

– Не помогаю? Ну, во-первых, я тут и года еще не живу... – Кружилин волновался и чувствовал, что говорит не то. – Во-вторых, знаешь ли ты, как нас с тобой скрутят, если мы посевные площади пшеницы заменим рожью?

– Может, и скрутят! – выкрикнул председатель. – Но ежели еще бы двое-трое таких нашлись – уже труднее скрутить. Да еще где-то, да еще... Одним словом, как граф Лев Толстой говаривал...

– Кто, кто? – удивился Кружилин.

– Граф Лев Николаевич Толстой. Ты не гляди на меня так, я грамоты небольшой, книги его толстые, до конца мне их сроду не осилить. Но беру иногда в руки. Там в одной книге у него совсем умные слова напечатаны: ежели, говорит, плохие люди объединяются между собой, то

и хорошим надо, в этом вся сила и залог. Ну и так далее. А поскольку хороших людей все ж таки больше... Да не гляди, говорю, эдак на меня.

– А кого ты, Панкрат Григорьевич, к хорошим людям относишь?

– Ну, тебя вот не к шибко плохим.

– Спасибо и на этом. А работников нашего и областного земельных отделов, которые пшеницу сеять заставляют вместо ржи?

– А ты сам-то как об них думаешь? – вместо ответа спросил Назаров.

– Сам? А сам я думаю так, что они совсем не враги советской власти и тоже ей добра хотят.

Назаров опустил голову, покашливая.

– Не знаю, – наконец проговорил он. – Не знаю. Иван Савельев тоже толковал мне, что и Яшка Алейников, мол, все делает для добра, для советской власти. Ну, мол, ошибается... Теперь ты вот. Может, ваша и правда. Но когда их, ошибок таких, – сплошь, как волосьев в бороде, а?

– Это плохо, Панкрат. Но что делать? Я тоже много, ох сколько много размышлял об ошибках наших, о всяких несправедливостях: откуда они, почему?

– И до чего же доразмышлялся?

– А вот до чего... Прав я или нет – не знаю, но вот до чего... Власть мы взяли не так давно. Еще на плечах мозоли от винтовочных ремней, можно сказать, не сошли, хотя сейчас снова заставили винтовки носить. Новую жизнь строим ощупью. Пробуем так, пробуем эдак – и глядим, что получается. А разглядишь, поймешь иногда не сразу, не через год, не через два. Люди у власти, у всякой власти – и у большой, и у малой – стоят, понятно, разные. Есть умные, есть поглупее, есть просто глупые. И не сразу увидишь иных, что они глупые. Сколько они до того зла наделают? Но делают неумышленно, сами-то они думают, что добро творят. Что их, стрелять за ошибки? Хотя, конечно, есть и самые настоящие враги народа, враги нашего дела.

– Это понимаем... Куда они делись? Вон Макарка Кафтанов, к примеру. Из тюрьмы, слышно, пришел недавно.

– Ну, это вор просто. Уголовник. Сегодня автолавку с заводской стройплощадки угнали. Его, должно быть, рук дело. Проверяем.

– Иван Савельев говорит – никакой он не вор. То есть вор, но особый. За отца мстит. За все отнятое богатство.

– Да? – прихмурился Кружилин. – Возможно и это. Видишь, как все сложно, запутанно. Или вот нас с тобой взять. Ты меня не к шибко плохим людям относишь. Признаться тебе – я и сам себя сильно плохим не считаю. Но и сильно хорошим тоже. Я что-то делаю в районе, и мне кажется – хорошо делаю, правильно. А может статься, пройдет год-другой – и жизнь покажет: не так уж хорошо и правильно.

Кружилин говорил тихо, не спеша, будто размышлял с собой наедине. Назаров слушал насупившись, и по выражению его лица нельзя было понять, соглашается он с Кружилиным или нет.

– Так что с ошибками – вот так. Вот до этого я и доразмышлялся... Со временем их будет все меньше и меньше, потому что научимся хозяйствовать как положено.

– Много можно бы и сейчас не делать. С пшеницей этой, например, – упрямо сказал Назаров. – Тут и слепому видно...

– Видно? Да в иные годы и пшеница ведь хорошо родит у нас.

– Это бывает. Раз годов в пять, в шесть.

– А память об этом урожае держится долго. Вот и кажется людям – лучше сеять пшеницу. Потому что каждый знает – пшеничный хлеб вкуснее. Так что видишь – опять из хороших побуждений заставляют ее сеять. Ну а теперь и скажи – где хорошие люди, где плохие?

Назаров молчал.

– Значит, советы Льва Толстого, как ты их понял, выполнить не так-то просто. А сказать яснее – нельзя их выполнить ни по твоей, ни по моей воле. Жизнь их только выполнит. Время.

Острые клинья теней все ползли и ползли на пригорок. Солнце уже почти скрылось за Звенигорой, из-за каменистой вершины виднелся теперь лишь его краешек величиною с обыкновенный арбузный ломоть.

– Ладно, ты езжай, – сказал Назаров. – Разговоры можно вести и так и эдак. И доказать что хошь можно. На то слова и существуют. А я так тебе скажу, Поликарп: нынче я рожью половину пшеничных площадей уже засеял.

– Как?! – поднял на него тяжелый взгляд Кружилин.

– А вот так. Или ты попрыгаешь вокруг меня, как Яшка Алейников тогда, да уедешь ни с чем, или голову сымешь – мне все одно. А колхоз на будущий год с богатым хлебом будет. Война – она как бы не затянулась, чую... Народу лихо придется. Ржануха не пшеничная булка, а все одно хлеб.

– Да когда ж ты успел?! – выдохнул Кружилин.

– Успел. Пока еще вы лошадок наших не мобилизовали на завод.

– Та-ак. Ну а... Полипов знает?

– Много будет знать – ночами спать не станет. Пушай лучше здоровье бережет. А тебе должен объявить, как партийной власти.

– Ну и... Ну и что я теперь должен делать?

– А это уж твое дело... – Помолчал и добавил: – Самое лучшее – ничего. Я тебе ничего не говорил, ты ничего не знаешь.

– Значит, на обман толкаешь?

Назаров пожал плечами, на которых болтался пропыленный пиджачишко, и, ни слова больше не сказав, пошел с пригорка. Потом замедлил шаги. Не спеша вернулся, проговорил:

– Я что все время хотел спросить тебя – об Ваське твоём слуха не имеешь?

– Нет, ничего не знаю.

– Ну да. Ведь они, должно, в самое пекло попали с Максей моим в Перемышле этом. Подвезло им.

– Последнее письмо от Василия было весной еще...

– Ну да... – опять повторил Назаров. – Я-то ничего. Старуха моя извелась. Днем молчит, а ночами, слышу, воет, как щенок, сквозь зубы... Каждую газету требует ей носить. Молча поищет сына в наградных списках, а ночью воет...

И Панкрат, не попрощавшись, пошел. Шел сгорбившись, тяжело шаркал ногами.

* * *

Со станции Антон Савельев, новый главный инженер Нечаев и другие специалисты приехали на попутном грузовике. Всю дорогу они молча толклись в кузове, и только когда машина остановилась у ворот стройплощадки, Савельев сказал:

– Начнутся дожди – и это шоссе зарежет нас.

Федор Федорович Нечаев, длинный тощий человек с мелкими чертами лица, с рыжей бородкой под Дзержинского, с первого взгляда производил неприятное впечатление. Хотя Савельеву очень хвалили Нечаева, при первой встрече в Москве Антон Силантьевич был разочарован его видом и сразу же внутренне насторожился против этого малоразговорчивого человека. Но внешность часто бывает обманчива, и через неделю от этой настороженности не осталось и следа. Нечаев без суеты и ругани за несколько дней, что называется, выбил в Наркомате боеприпасов для завода столько сырья и стройматериалов, что Савельев только ахнул. Бывший чекист, работавший, как оказалось, с самим Дзержинским, Нечаев обладал такой же ясностью ума и железной непреклонностью, как его бывший легендарный начальник.

Сейчас Нечаев не спеша оглядел территорию будущего завода, на которой ничего, кроме куч развороченной земли да кое-где поднимающихся кирпичных стен, не было, и холодно сказал:

– Мое дело – как можно быстрее наладить оборудование и начать выпуск продукции. Ваше дело – обеспечить для этого все необходимое, в том числе и дорогу.

– На шоссе будут постоянно работать грейдер и грузовик. Гравием или щебенкой будем непрерывно засыпать выбоины. Главное – продержать дорогу до морозов. А будущей весной зальем гудроном. Сейчас эту работу не осилить.

Подбежал, подкатился маленький раскрасневшийся Иван Иванович Хохлов, долго тряс всем руки. Потом тихонько отошел в сторону, как-то съежился, сделался еще круглее. Он достал платок, отвернулся и долго вытирал пыльную мокрую шею. Первым понял его состояние Савельев, тронул за плечи:

– Мы еще будем делать с вами комбайны да сеялки.

– Да, да, конечно. После войны потребуется столько машин.

С полчаса все ходили толпой между земляных курганов, штабелей кирпича, теса, бревен. Землекопы, каменщики, шоферы – все с любопытством разглядывали эту живописную группу людей. Одеты они были по-разному – кто в пальто, кто в телогрейку, двое или трое – в дорогих, измятых, перепачканных грязью и масляными пятнами плащах.

– Разбивку цехов делал я, – говорил Иван Иванович, катившийся впереди, как тяжелый закопченный арбуз. – Конечно, исходя из профиля нашего завода. Здесь я предполагал механический цех, вот здесь – кузнечный... А это – литейный. Теперь же я не знаю... Но, как говорится, вам теперь и карты в руки... – то и дело обращался он к Нечаеву.

Нечаев во время обхода территории не проронил ни слова. Он, сжав тонкие губы, угрюмо сверкал из-под козырька мохнатой кепки бело-синими белками глаз да время от времени крепко тер подбородок. Молчал Савельев, молчали и остальные.

– А это, как видите, подстанция, – сказал Хохлов, подводя всю группу к кирпичной коробке. – Подстанция нужна в первую очередь, поэтому решили устанавливать все оборудование, не дожидаясь конца кладки помещения.

Впервые за все время Нечаев поднял на Хохлова потеплевшие глаза.

В «заводоуправлении» – огромном, без перегородок, деревянном сарае – было пусто, только какой-то старик, замотанный шарфом, копался в бумагах. Вокруг его стола на полу, на верстаках лежали кипы бумаг – и россыпью, и в зашнурованных книгах. Дальше, вдоль стены, стояло еще несколько столов, тоже заваленных бумагами.

– Тут у нас все – и бухгалтерия, и партком, и завком, и... словом, вся канцелярия, – сказал Хохлов. – Сейчас люди ушли позавтракать.

– Все ясно. – Савельев сел за один из пустых столов. – Рассаживайтесь, товарищи.

Люди расселись, кто на стулья, кто на кипы бумаг.

– Итак, мы прибыли на место, все увидели своими глазами, – продолжал Савельев. – Основное оборудование поступило, сырье есть и продолжает поступать. Задача у нас до удивления простая – через две недели дать фронту первую тысячу снарядов...

Хохлов вздернул голову, подался вперед, словно от толчка, стремительно вскочил и взмахнул руками. Все обратили на него внимание, повернулись к нему. Но он молчал.

– Что, Иван Иванович? – спросил Савельев.

– Э-э... простите... Как вы сказали? Через сколько, простите, времени... эту первую тысячу...

– Через две недели, Иван Иванович, – спокойно произнес Савельев. – Федор Федорович, прошу высказать свои соображения.

Нечаев встал, снял кепку. Под кепкой оказались жиденькие русые волосы, сквозь которые просвечивала розовая, как у ребенка, кожа.

– Прежде всего хочу отдать должное местным властям, хотя никого из представителей этой власти здесь нет. Разгрузка оборудования идет хорошо. И вообще – я ожидал худшего... Я прошу, Антон Силантьевич, об этом особо довести до сведения не только обкома партии, но и Наркомата боеприпасов. Далее хочу отдать должное Ивану Ивановичу Хохлову и всем, с кем он работал, за удачно выбранную площадку для завода и вообще за все то, что он буквально за несколько дней тут сделал.

Иван Иванович не ожидал таких слов, опять стремительно подался вперед, но не встал, а только удивленно закрутил головой.

– Прошу и об этом довести до сведения партийных органов и Наркомата, – продолжал Нечаев. – Общую нашу задачу конкретизирую в нескольких словах. До вечера я с дирекцией и главным специалистом бывшего завода должен учесть потребность и наличие всего инженерно-технического состава и рабочих, исходя уже из профиля нашего предприятия. Завтра утром надо отдать приказ о назначении начальников цехов, участков и так далее – то есть всего командного состава производства. С завтрашнего же утра начнем монтаж оборудования цехов и его наладку...

– Позвольте, позвольте... – вскочил Хохлов. – Начнем монтаж оборудования под открытым небом?

– Да, под открытым небом, – глядя на Хохлова, сказал Нечаев. – Некоторые площадки под будущие заводские корпуса придется только расширить. Конечно, было бы идеально, если бы вы, Иван Иванович, догадались их сразу делать больше. Но ведь вы не предполагали, что профиль завода изменится. Следовательно, здесь нет вашей вины. Подстанция, я полагаю, через несколько дней вступит в строй?

– Конечно, конечно... – растерянно уронил Хохлов.

– За подстанцию вам, Иван Иванович, особое спасибо. Это нас просто спасло. Будет энергия – через две недели дадим снаряды.

Нечаев сурово оглядел присутствующих, склонил голову набок, будто вспоминая, что еще нужно сказать. И вдруг улыбнулся застенчиво, пригладил ладонью свои жиденькие волосы.

– Вот и все, товарищи. До завтра все прибывшие свободны. Это время вам дается на устройство с жильем и так далее. А как и где – скажут в райисполкоме.

Антон Савельев, знавший уже около четырех недель этого сурового человека, впервые увидел его таким простым, улыбающимся, да еще по-детски наивно, застенчиво. Увидел – и, сам не зная чему, улыбнулся. И тоже впервые, вероятно, за последние три необыкновенных месяца.

* * *

Все эти три месяца Антон Савельев чувствовал к самому себе тошнотворное отвращение. Оно родилось в одно мгновение, когда там, на лесной полянке в окрестностях Перемышля, он увидел перед собой черный зрачок автомата, когда в груди, в животе у него разлилось, поползло по всему телу что-то знобкое, холодное, в голове шумно, со звоном застучала кровь, а руки стали подниматься кверху. «Что я делаю? Что я делаю?! Мерзавец, мерзавец, что ты делаешь? Ведь лучше смерть, чем такой позор!..» – метались, разламывая череп, мысли. А руки, тяжелые, зачугуневшие, чьи-то чужие, неподчиняющиеся руки, ползли и ползли вверх. Потом он скорее почувствовал, чем увидел, что немцы окружили его со всех сторон, кто-то ощупал, вывернул все карманы и больно ткнул чем-то острым, видимо дулом того же автомата, в спину, между лопаток.

– Комм, комм... Шнелль, шнелль! – чуждо раздалось над ухом, и их погнали куда-то по заброшенной лесной дороге.

Антон, спотыкаясь, брел, в голове стучало беспрерывно одно и то же: «Как глупо попались... как глупо попались...» Никаких других мыслей не было.

Впереди шел, сгибаясь под тяжестью тела капитана, Василий Кружилин. Позади, переговариваясь, громко и сыто гоготали немцы. Их было не то человека четыре, не то пять. Послышались звуки губной гармошки. Савельев оглянулся. Наигрывал тот самый немец с жирным лицом, который поднял с земли его винтовку и автомат Кружилина. Отобранное оружие он закинул за плечо, свой автомат болтался у него на шее. Остальные немцы держали оружие на изготовку.

– Комм, комм! – дважды пролаял ближайший из них, едва Савельев оглянулся, угрожающе повел автоматом. По выражению его лица Антон понял: еще секунда – и он полоснет очередью.

«И все равно бежать... Надо бежать. Немедленно! Дойду вон до той сосны – и в сторону...» – лихорадочно думал Антон. Но в это время споткнулся Кружилин, упал поперек дороги. Безжизненное тело капитана придавило бойца сверху, и было видно, как тяжело дышит под ним Кружилин.

– Штет ауф! Штет ауф! – заорали, подскочив, немцы, принялись пинать коваными сапогами обоих. Затем один из фашистов отступил на шаг и приподнял автомат.

– Не лезь! Не тронь, сволочь! – закричал Савельев, бросился к лежащему на Кружилине капитану, стал взваливать его себе на плечи. – А ты – вставай, иначе пристрелят...

Кружилин поднялся. Грудь его ходила ходуном, по лицу грязными струями стекал пот.

На все это немцы смотрели, казалось, с любопытством, однако автоматом не опускали.

И опять шли по лесу, немец сзади все играл на губной гармошке. Сколько шли – неизвестно. Савельеву казалось – целую вечность.

Наконец завиднелась окраина какого-то села. Село горело, тонуло в облаках черного дыма. Савельев только это и заметил, потому что пот заливал ему глаза.

Пересохшим ртом он ловил воздух, но воздуха вокруг не было.

Потом он, согнувшись под невероятной тяжестью обмякшего на нем тела, еще заметил, что его втолкнули прикладом в какие-то ворота, обтянутые колючей проволокой. От толчка он уже не мог удержаться, стал падать, но кто-то подхватил его, не дал упасть, снял с него невыносимый груз.

– Давай сюда его... Вот тут положите, – послышались незнакомые голоса, и Антон не мог сообразить, говорят это о капитане Назарове или о нем самом. Его провели куда-то, поддерживая под локоть. Он облегченно упал во что-то мягкое, видимо в траву, и закрыл глаза.

Лежал и слушал, как гудят поблизости грузовики, раздаются чужие отрывистые голоса и время от времени трещат автоматные очереди. И ничего страшного не было в звуках автоматных очередей – будто кто рвал над ухом пересохшую бумагу.

Когда открыл глаза, над ним качались два-три белоснежных облачка. А рядом с ними, поднимаясь с земли, уходил высоко в небо кривой столб черного дыма. Дым будто специально огибал эти облачка, чтобы не закоптить их первозданную чистоту.

Савельев приподнялся и увидел около сотни красноармейцев. Оборванные, обгорелые, они сидели и лежали на земле в самых разнообразных позах и молчали. Тишина стояла гнетущая. Люди словно боялись не только глянуть в глаза друг другу, но и пошевелиться.

Савельев огляделся. Всюду его взгляд наталкивался на колючую проволоку, в несколько рядов натянутую прямо на стволы деревьев, обступивших полянку. Там, где деревья стояли редко, были наскоро врыты столбы. Земля вокруг столбов была еще свежей, неупотанной. За колючей проволокой, прижимая к животам автоматы, ходили взад и вперед немцы.

– Так... понятно, – промолвил неслышно Савельев, увидев распластавшееся рядом тело Назарова.

Пощупал его – тело было мягким и теплым. От этого прикосновения Назаров шевельнулся, обсохшие, распухшие губы его дрогнули. И Савельев скорее догадался, чем услышал: «Пить... Воды...»

– Есть у кого-нибудь вода? Товарищи, есть у кого-нибудь вода? – дважды спросил Савельев.

Красноармеец с замотанной кровавыми тряпками головой сказал:

– Нет ни у кого воды. Всё отобрали...

Назаров будто услышал это, понял, успокоился. Он не стонал, только время от времени облизывал засохшие губы.

«А Кружилин? Где же Василий?» – подумал Савельев и тут же увидел его. Кружилин сидел рядом, обхватив руками колени и воткнув в них голову. Савельев тронул его, Василий медленно повернул к нему почерневшее лицо. Кожа на скулах у него была натянута до того, что казалось, вот-вот лопнет. В глазах, глубоко ввалившихся, стоял застылый блеск.

– Это что же, как же? – почти не шевеля губами, проговорил Кружилин. – Лучше бы... там, на берегу Сана, под гусеницы...

Он не договорил, дернулся, упал плашмя на живот. Спина его затряслась.

Савельев дотронулся до его плеча, погладил, и Кружилин затих. Так он лежал до самого вечера.

Время от времени в лагерь вталкивали поодиночке и группами новых пленных. Дважды над головой тяжело проплывали немецкие бомбардировщики. Уже под вечер через сожженное село прошла колонна грузовиков. И все, больше за день ничего не произошло. Немцы с автоматами все так же не спеша ходили взад и вперед за колючей проволокой.

Кое-где металась в бреду, стонали раненые или избитые красноармейцы. На закате солнца какой-то боец поднялся, пополз к проволоке, повис на ней и закричал:

– Изверги! Фашисты немые! Воды! Дайте воды!

Один из часовых молча подошел, сквозь проволоку ударил красноармейца шанцевой лопаткой. Боец с раскроенной головой так и остался висеть на проволоке. Об его же одежду немец старательно обтер лопатку, отошел.

Когда стало темнеть, Василий Кружилин поднялся, сел, отряхнул измазанную землей гимнастерку. Стылый и неживой блеск в его глазах исчез, в них плескались теперь отчаяние и тоска.

– Ну, не-ет... – тихо промолвил он. – Вы как знаете, а я... Вот стемнеет... Зубами перекушу проволоку и уползу.

Савельев на это ничего не сказал.

Когда темнота стала опускаться на землю, показалась вереница грузовиков. Они со всех сторон подползли к лагерю и почти уперлись в проволоку горящими фарами. Стало светло как днем. На один из грузовиков влез немец и на ломаном русском языке прокричал:

– Я предупреждайт – всем лежать! Всем лежать! Кто сидит, ходит, ползет, делает малейший движений к проволока – мы беспощадно файер, то есть огонь, без предупреждений стреляйт. Ложись, ложись, русский свинья...

И дважды или трижды выстрелил в тех, кто сидел поближе к грузовику.

По лагерю раздался было ропот, но где-то сбоку схлестануло несколько автоматов, и люди попадали, прижались к земле.

– Вот так, сынок, – проговорил Савельев с грустью, лежа на животе. – Не вздумай к проволоке ползти, сам погибнешь и других погубишь.

Ночь была теплая, тихая. Эту тишину нарушали только стоны раненых. Все время горели за проволокой автомобильные фары, пронизывая насквозь тугими электрическими снопами лагерь. В свете фар маячили часовые.

Ночь прошла без единого выстрела. Савельев даже задремал. Прохватился он от какого-то шороха, протянул руку в ту сторону, где лежал Кружилин. И сердце екнуло – Кружилина не было.

– Василий! – тревожно прошептал он, и в ту же секунду вспыхнул, словно взорвался в ночной тиши автоматный треск. С дальнего от Савельева края колыхнулась волна человеческих тел, с ревом покатила в противоположный угол. В одну секунду весь лагерь оказался на ногах, вскочил невольно и Савельев. Человеческие крики и стрельба смешались в один страшный, невообразимый гул, люди кидались из угла в угол, падали, сраженные свинцом, их топтали живые.

– Ложись, ложись! Всех перестреляют! – не слыша своего голоса, закричал Савельев, загоразивая от обезумевших людей Назарова, схватил кого-то за плечи, бросил на землю. Потом схватил второго, третьего. И это будто образумило людей, все быстро попадали на траву. И стрельба сразу прекратилась. Только по всему лагерю слышался громкий теперь стон раненых.

И опять равнодушно горели автомобильные фары. Когда рассвело, фары потухли, грузовики расползлись.

Деревня, возле которой был разбит этот временный лагерь для военнопленных, догорела еще вечером. Поднявшееся солнце, как всегда чистое, обновленное за ночь, осветило груды тлевших еще кое-где углей, закопченные печные трубы.

Утро наступило, но люди за колючей проволокой, ошеломленные случившимся на рассвете, все еще лежали на сырой земле не шевелясь. Потом все же зашевелились, привстал один, другой, заметался приглушенный говорок...

Откуда-то молча подошел Василий Кружилин, молча лег на спину и стал смотреть в синее утреннее небо. Он не слышал, казалось, ни стонов лежащего рядом капитана Назарова, не видел и того неба, в которое смотрел не мигая. Лицо его было землисто-серым, похудевшим, скулы еще больше заострились.

– Ты не ранен? – спросил Савельев.

– Нет, я-то живой, – помедлив, отозвался Василий. – А Лелька, где теперь Лелька?

И его ввалившиеся глаза вдруг повлажнели, быстро наполнились слезами. Он не вытер их, даже не моргнул.

– Максим Панкратьевич? Ты слышишь меня? – склонился над телом капитана Савельев.

– Не слышит. Ему хорошо, он ничего не слышит, – не меняя позы, проговорил Кружилин. – А я все равно убегу.

– Замолчи! – зло сказал Савельев. – Бежать с умом надо. Сколько вот людей погубил...

Василий рывком перевернулся на живот, затрясся, как вчера, стал биться лбом в мягкую землю. И Савельев, как вчера, положил руку ему на плечо.

Антон Силантьевич вторые сутки ничего не ел, но есть не хотелось. Хотелось пить. Тот красноармеец, который вчера вечером просил воды, по-прежнему висел на колючей проволоке.

Прошел еще час, а может быть, два или три – Савельев потерял ощущение времени. Со стороны сожженной деревни подкатил длинный, черный, как жук, лимузин с круто выгнутыми передними крыльями, за ним – грузовик с солдатами. Часовые заметались. Из машины вышел длинный и тонкий немецкий офицер, туго перехваченный посередине ремнем. Ремень перерезал, казалось, его надвое, отчего он был похож на торчком стоящего муравья.

Солдаты, попрыгавшие с грузовика, вбежали в лагерь, пинками начали поднимать людей. Не понимая, что от них хотят, пленные шарахались от солдат, спотыкаясь об убитых и раненых.

Офицер, тоже зайдя в лагерь, что-то крикнул – солдаты замерли, как изваяния.

– Господа! Я не люблю суматохи. Построиться в четыре шеренги. Быстренько! – сказал офицер на чистейшем русском языке.

Пленные стали строиться полукругом вдоль проволоки. Кружилин и Савельев подхватили под руки Назарова.

– Мертвых оставить на месте, – приказал немец.

– Он не мертвый, он ранен, – сказал Савельев.

– О-о... Позвольте, а вы кто такой? Почему в гражданской одежде?

– Потому что я не военнослужащий.

– О-о... – опять протянул офицер. Он был молод, лет тридцати, и, как успел разглядеть Савельев, конопатый. В лице его не было ничего угрожающего, розовые губы приветливо улыбались. – Хорошо, мы разберемся. Станьте в шеренгу.

Пока пленные строились, солдаты выволакивали умерших за ночь и убитых на рассвете красноармейцев и бросали, как дрова, в грузовик.

Пленные, поддерживая раненых, стояли полукругом в несколько шеренг, ожидая своей участи. Немецкие солдаты тоже выстроились редкой шеренгой напротив, готовые в одну минуту всех перекусить из автоматов. «Неужели конец? – тоскливо подумал Савельев. – Как глупо кончается иногда человеческая жизнь. И – дешево...»

Но расстреливать их не стали. Офицер, пока грузили мертвых, спокойно курил сигарету. Потом щелчком отбросил окурок.

– Евреи и цыгане – шаг вперед.

Бойцы стояли неподвижно, молча. Стояли минуту, две. Офицер снял фуражку, осмотрел ее внутренность, обтер платком.

Два бойца нехотя шагнули вперед.

– Что, больше нет ни цыган, ни евреев? – Он не спеша, внимательно оглядывая каждого, прошелся вдоль пленных. Ткнул пальцем в одного, в другого, в третьего... Два рослых солдата, сопровождавших офицера, выдергивали их из рядов и толкали к двум первым.

Потом офицер вернулся на старое место, махнул рукой. Несколько солдат вытолкали отобранных за колючую проволоку, повели к машине. И вдруг прямо на ходу ударили по ним из автоматов.

Шеренги пленных колыхнулись невольно.

– Спокойно, господа, – поднял руку офицер. – Это все, расстреливать остальных не будем. Коммунисты и офицеры Красной армии – шаг вперед.

Опять все стояли не шевелясь. Грузовик с трупами, фыркнув, уехал.

Там, на лесной поляне, когда Савельева и Кружилина взяли в плен, а потом, обыскивая, вывернули карманы, Антон Силантьевич увидел в руках у немца почему-то только один свой паспорт. Партбилета не было. «А куда же он делся?» – подумал Савельев. Он хорошо помнил: когда под Перемышлем полковой комиссар, посмотрев, вернул ему документы, он положил и паспорт, и партийный билет во внутренний карман пиджака. И вот теперь паспорт цел, а партбилета нет...

И только сегодня ночью он обнаружил его. То ли во время позавчерашнего боя, то ли позже, когда он нес на своих плечах Назарова, карман лопнул по шву, и партбилет провалился за подкладку пиджака. «Надо же! – радостно подумал Савельев. – Бывают же, оказывается, счастливые случайности...»

Он вынул партбилет из жесткой картонной обложки, которую купил во Львове дня за два до поездки в Перемышль, подумал, снял грязный сапог, вывернул голенище, зубами надорвал кислый, пахнувший потом поднаряд и засунул под него партбилет. Царапнул горсть земли, развел ее слюнями и помазал этой грязью надрыв на коже, чтобы он не казался таким свежим.

Захоронка была невесть какой. Савельев это понимал, но лучше ничего придумать не мог.

– Так что же, нет среди вас ни коммунистов, ни офицеров? – проговорил перетянутый ремнями немец. – Но я не слепой, офицеров, по крайней мере, вижу. – И вдруг, выхватив пистолет, заорал фальцетом, по-петушиному: – Шаг вперед, свиньи!

Человек восемь-двенадцать вышли вперед.

– Ну-с, а этот ваш раненый? – подошел офицер к Савельеву с Кружилиным. – Капитан Красной армии, кажется? – И вдруг вырвал висевшего у них на руках Назарова. Капитан мешком упал к ногам немца. Немец внимательно поглядел на него, носком сапога пошевелил голову Назарова, приподнял пистолет.

– Стойте! – закричал Кружилин, рванулся к капитану, присел, почти подлез под него, поднял на своих плечах бесчувственное тело и встал рядом с командирами.

Офицер наблюдал за всем этим, помахивая бесцветными и жесткими ресничками-коротышками. Усмехнулся, сунул пистолет в кобуру.

– О-о, зер гут!.. Очень похвально!

Немцы окружили командиров, стали выталкивать за ворота. Пленные глядели им вслед затаив дыхание. Всем казалось, что сейчас, выведя за ворота, по ним ударят из автоматов.

Но за воротами группу командиров плотнее окружили со всех сторон автоматчики и повели в сторону сгоревшей деревни.

– Я сказал, господа, что больше расстреливать не будем, – проговорил офицер. – Их повели в пересыльный лагерь для военнопленных советских офицеров. Вас отправят сегодня в другой. Там вас покормят, дадут воды... если вы, конечно, выдадите всех коммунистов. Я предполагаю, что среди вас коммунистов очень много. Но выяснять это сейчас здесь мы, к сожалению, не имеем времени. Ауфвидерзеен, до свидания, господа...

И, покачивая из стороны в сторону маленькой головкой в высокой фуражке, вышел за ворота, сел в лимузин. Машина бесшумно тронулась с места.

Шеренги пленных, качнувшись, сломались, люди хлынули на другой конец лагеря, откуда лучше были видны развалины деревни. Казалось, они порвут сейчас проволочное ограждение, повалят столбы. Но воздух рассекли автоматные очереди; под ногами у Савельева, который бежал впереди всех, брызнула взрытая пулями земля. Остановившись, люди смотрели на командиров Красной армии, которых уводили все дальше и дальше.

– Все равно расстреляют. Отведут подальше и искрошат! Эх! – выдавил кто-то хрипло и в изнеможении опустил на землю.

Савельев смотрел на угоняемых командиров до тех пор, пока они были видны, различая среди них Кружилина с телом Назарова на плечах. Прежде чем скрыться за обгоревшими остатками какого-то здания, Василий оглянулся на лагерь. Савельев увидел, что ближайший немец-конвоир замахнулся на Кружилина прикладом, может быть даже ударил. Кружилин вроде присел или споткнулся, но не упал, быстро пошел вперед и скрылся из глаз...

* * *

– ... Вот и все. Больше я Василия не видел, – закончил свой невеселый рассказ Савельев, сидя напротив секретаря райкома, сжимая в руке остывший стакан с чаем. – Я понимаю, какую весть привез вам. Но я не мог не сказать... потому что... потому что лучше все сразу сказать.

Анастасия Леонтьевна, жена Кружилина, тоже сидела за столом, прямая, высокая, словно закостеневшая. Во время всего рассказа она не проронила ни слова, только все больше бледнела и бледнела.

Когда Савельев умолк, она медленно встала. И вдруг, тихо всхлипнув, повалилась на руки мужа.

– Тася, Тася... Ну что же... – беспомощно говорил Кружилин, уводя жену в другую комнату. Голова у Анастасии Леонтьевны тяжело свесилась набок, ноги ее не слушались. – Ты же у меня сильная. А Вася еще жив, жив, ведь мы же не знаем... Он убежит... Или его освободят...

Кружилин увел жену. Савельев минут десять сидел в одиночестве, смотрел на ярко горевшие звезды за окном. Рассказав все, без утайки, понимая состояние Кружилина и его жены, он все-таки чувствовал облегчение, что рассказал обо всем.

Кружилин вышел из спальни, тихонько притворил дверь.

– Ничего, ничего... – зачем-то сказал он. – Я ей валерьянки дал.

Шаркая ногами, подошел к окну, долго смотрел в темень.

– Спасибо, Антон Силантьевич, – произнес он еле слышно. – Останется, нет ли в живых – я теперь знаю... знаю, что он... что, в общем, не напрасно я его вырастил. Не подлецом.

– Да, он молодец, Василий, – сказал Савельев.

– Ну а ты... как ты вырвался?

– Нас к вечеру погнали куда-то. По дороге нас освободили. Остатки той части, в которой служил Василий, выходили из окружения. И наткнулись на нашу колонну. Случай, в общем.

– Да, случай... Возможно, и на Василия... на них какая-нибудь часть наткнулась? А? – В голосе Кружилина была надежда, детская, беспомощная и несбыточная. Но она требовала поддержки.

– Да, возможно, – сказал Савельев. – Война ведь. А на войне все возможно.

Звезды в окне мигали тихо, бесшумно, успокаивающе. Равномерно тикали часы на стене в желтом деревянном футляре. И кроме этих звуков, во всем доме ничего не было слышно.

* * *

Семен, как обычно, встал рано, перешагнув через спавших на полу Димку с Андрейкой и пошел на Громотушку умываться.

На кухне мать уже топила печь, стараясь не греметь посудой, готовила завтрак. Дверь в бывшую спальню родителей была плотно закрыта: там жила теперь большая семья из эвакуированных – старик со старухой, моложавая, лет под сорок пять, женщина с четырьмя детьми. Старшей ее дочери было лет тринадцать-четырнадцать, звали ее Ганка, а младший еще сосал грудь.

Все это разноголосое и разнокалиберное семейство мать сама привела однажды вечером в дом, распахнула дверь в свою спальню и сказала:

– Располагайтесь тут. Кровать только у нас одна.

Костлявая, высохшая старуха в грязном мужском пиджаке уронила на пол узел, присела на стул и заплакала.

– Спасибо тебе, добрая душа.

– Ну что вы, мама... Не надо плакать, слезы нынче едкие да соленые, – сказала женщина и повернулась к хозяйке дома. – До смерти будем помнить доброту вашу. А сами где станете жить? У вас, смотрю, всего две комнаты да кухня.

– Муж до снегов в колхозе будет, а я с детьми в той комнате... А там видно станет. У нас кладовка большая, теплая. Только печь поставить.

– Так, может, мы в кладовке?

– Живите тут, – сказала мать.

Беженцы пугливо зашли в комнату, бестолково топтались на чистом крашеном полу. Старшая из дочерей поглядела в одно окно, в другое, обернулась, полоснула Семена черными, как уголья, глазами и сказала:

– А меня зовут Ганка. Мы русские, только жили под Винницей, на Украине. А яблоки у вас здесь не растут?

– Не растут, – ответил Семен и вышел на улицу.

Потом женщина, которую звали Марья Фирсовна, стала работать на строительстве эвакуированного завода. Семен иногда видел, как она бросала из котлована землю лопатой или месила раствор. Ганка в сентябре пошла в школу, кажется в один класс с Димкой. Но в общем-то, Семен видел всех редко. Домой он возвращался поздно, когда все спали; уходил рано.

Мать возилась у печки молча. С тех пор как началась война, она стала еще более замкнутой, угрюмой.

– Мама, что с тобой? Ты какая-то... Болит, может, что? – спросил он однажды.

– Ничего не болит, – ответила мать недружелюбно.

Как-то утром, когда Семен, по обыкновению, пошел умываться на Громотушку, он увидел мать у плетня. По другую сторону плетня стоял Макар Кафтанов.

– А ты меня, Макарка, не пугай, не боюсь я, – грустно и ровно говорила мать. – Мне, может, до того все опостылело, что с радостью смерть приняла бы... Может быть, я тебя даже попрошу об этом...

– Это как понять? – озадаченно проговорил Макар.

– А никак тебе не понять. Голова у тебя гнилая потому что. Вор ты несчастный. Как тебе самого-то себя не стыдно?

– Интересные речи! Был вор, а теперь, может... освобожден законно.

– Давай садись уж скорей назад. А то, вижу, тоска в глазах... – И, увидев Семена, отошла от плетня.

Семен ничего не понял из их разговора, но какая-то неясная тревога за мать возросла еще больше.

Однажды посреди недели, вечером, приехал с поля отец. Громко топая, пошел через кухню, отмахнул дверь в спальню, увидел там чужих людей, постоял секунду-другую.

– Так, – и стал в кухне сбрасывать пыльную одежду. – Поставили, значит, и к нам?

– Поставили, значит, – бесстрастно ответила мать.

– А Кирьяну Анфиска сказывала, будто ты сама их привела.

– Привела, значит, – тем же тоном проговорила мать.

– Понятно. Ну, топи баню. Грязный я.

После бани отец молча выпил на кухне несколько стаканов чая, встал.

– Ну, я обсох. Тесно у вас. Поехал я. На элеваторе поищу попутку. А этих... жильцов... в кладовку переселите. Семка, ты глины подвези, печь в кладовке сбейте.

И вышел, тяжело топая в сенцах. Семен спросил у матери:

– Как насчет кладовки-то? Глины на печь я подвезу...

– Вези, тесно им семерым в одной комнате, – ответила хмуро мать.

Семен помедлил, проговорил осторожно:

– А все-таки, мама, что-то тебя гложет. Может, я помогу чем?

– Иди-ка ты со своими словами! – зло бросила мать. Но тут же подошла, прижала его голову к своей груди, стала гладить по волосам, как маленького. – Прости меня, Семушка. Что меня гложет? Война же, могут взять тебя...

– Если б взяли! Бронь вот надели.

– Ты что болтаешь? Плохо разве, что хоть пока дома?

– А в глаза как людям смотреть? Этой же Марье Фирсовне?

Мать вздохнула и ничего не сказала.

Хорошая она все же, мама.

...Над Звенигорой только-только засинел край неба. Заморозков еще не было, но картофельная ботва давно поникла, изжухла, лежала на земле, в полумраке ее не было видно. Подсолнухи за баней стояли темной высокой стеной и тихо шуршали, точно шептались, хотя ветра не чувствовалось.

Вода была в Громотушке свежей, даже студеной. Семен поплескался вволю, вытерся, на привычном месте нащупал двухпудовую гирию, побаловался с ней. Постелил на траву полотенце, сел и закурил.

– Здорово, Семка! – рявкнуло над ухом.

– Чего орешь, ненормальный?

– А ничего... – И Колька Инютин стал плескаться в воде.

– Ты, гляжу, бесшумно научился через плетень сигать?

– Тренировка. Помидоры вон у соседей всегда раньше всех спеют. А у тех дыньки. Желтые, пахучие, хошь, сейчас приволоку? Может, не оборвали еще...

– Я тебе принесу! Чего не спишь?

– Верка копошится, как чесоточная. А я чуткий. Дай пару раз дернуть, а? Я не в себя, так просто...

– На...

Колька потянулся за папиросой, но Семен вlepил ему по мокрому лбу звонкий шелчок.

– Ты... чего?

– Еще хочешь разок затынуться? Курильщик выискался! Губы обрежу.

– Ну и ладно... – обиженно проговорил Колька, сел, засопел. – А ты дурак. Верку-то проворонишь.

– Это почему?

– Потому... Яков Алейников, этот, что со шрамом, из энкавэдэ-то, свататься недавно к ней приходил.

– Что-о?!

– Вот тебе и что! – со злорадством протянул Колька. И, помолчав, начал со смешками рассказывать: – Это просто кино было. Сперва немое. Пришел он и сел молчком возле стола. Мать побледнела, глядит на него во все глаза, ажно мигать забыла. Верка почему-то зачала рот то открывать, то закрывать, прижалась в угол, точно ее кто щекотать собрался. А этот Алейников трет и трет свой синий шрам. И молчит, значит... Смехота. Ну а потом звуковое началось. Алейников говорит: «Вы извините... Я собственно и потому что – насчет Веры...» И-их, Верка вскрикнула, точно ее и впрямь щекотнуло... А Алейников: «Я, говорит, человек не молодой, конечно, но давно наблюдаю за вашей дочерью...» Это он матери моей. И вот пришел, говорит, поскольку Вера нравится мне. Ухаживать и все прочее, как оно делается, я, говорит, не в тех летах, и неудобно, дескать, потому решил прийти сразу и все обсказать... А вы, говорит, подумайте, я не тороплю с ответом... Гляжу, а у Верки уши краснеют, как соседские помидоры, и щеки раздуваются, распухают на виду. Потом ка-ак она порскнет в свою комнату! Вот, понял?

– Ну... а дальше? – глухо выдавил Семен.

– А дальше – не знаю. Мать меня вытурила из избы, – с сожалением произнес Колька. И с прежним злорадством добавил: – С тех пор Верка и закопошилась ночами-то. Понял?

Папироса жгла Семену пальцы, но он не замечал этого. Сидел и слушал, как журчит Громотушка. А мыслей никаких в голове почему-то не было. Он не мог понять – хорошо или плохо, что к Вере посватался Алейников, рад он или обижен чем-то?

– А не врешь ты?

– Чего мне... Слушай, а как ты насчет фронта? На военкома-то Григорьева пожаловался секретарю? Ты же хотел.

– Отстань.

– Чего отстань? Я тоже пожалуюсь. Он меня тоже из военкомата, паразит, ни с чем выпроводил.

О том, как его «выпроваживали ни с чем» из военкомата, Колька рассказывал часто. Было это через неделю после проводов мобилизованных на фронт. Колька с утра пришел в

военкомат, потолкался в коридоре среди людей и сунул крючковатый нос за обитую зеленой клеенкой дверь. В комнате за столом сидел человек с глубоко изрытым оспой лицом, с двумя шпалами на петлицах, вокруг стола толпились еще несколько военных.

– Здравсте, – сказал Колька, пошаркал пальцем под носом. – Я вот пришел. Кто тут военком Григорьев-то?

– Ну, я, допустим, – сказал человек с двумя шпалами на петлицах.

– Инютин Николай моя фамилия. Я насчет отправки на фронт. Добровольно. Когда эшелон будет, узнать. И еще в кавалерию, если можно, записать меня.

– Ясно. Молодец ты, Инютин Николай. Сколько тебе лет?

– Мне-то? Восемна... девятнадцать вот-вот будет. Я рослый.

– Это мы видим. А где живешь?

Колька сказал.

Григорьев встал, подошел к нему, положил руку на плечо.

– В общем, ты, Николай, хороший парень. Врешь вот только здорово, это плохо. А до фронта тебе еще подрасти годика три-четыре надо. Давай договоримся так – ты получше в школе учишь, а я об тебе помнить буду. Договорились?

– Это что же, значит, не берете? – сообразил Колька.

– Значит, не берем пока. Не детское дело война-то, товарищ Инютин Николай.

– Какой я ребенок вам?

– Ладно, ладно, договорились ведь. Ступай домой. – И Григорьев легонько подтолкнул Николая к двери.

– Я жаловаться буду, понятно! – пятясь, выкрикивал он. – Я Климу Ворошилову жалобу напишу. Или самому Сталину... Или в райком пожалуюсь.

Последние слова он выкрикивал, стоя уже в коридоре, перед плотно закрытой дверью. С досады плюнув на затоптанный пол, побрел домой.

В первое время после этого Колькиному негодованию не было границ.

– Вот ведь паразит какой, недаром корявый. Оспа – она таких злыдней и метит! Года четыре, говорит, подрасти надо. Англомерат проклятый! – кипятился он перед Димкой и Андрейкой.

– А что это такое – англомерат? – спрашивал Андрейка.

– Англомерат-то? Ну, это вообще... – презрительно махал рукой Инютин. – А он даже еще хуже.

Димка слушал разглагольствования Кольки обычно молча, наклонял большую голову книзу, будто искал что на земле. Только раза два или три он обрывал товарища:

– Заткнись ты. Кавалерист выискался! Придет время – и без спросу заберут. – И почему-то добавлял всегда: – А то забыл, как райкомовский жеребец тебя звезданул?

Андрейка же дотошно выпрашивал, блестя глазенками:

– Значит, не поверил, что тебе девятнадцать?

– Не поверил.

– Не детское дело, говорит?

– Говорит.

– Через четыре года, сказал? Так и сказал? – И, колукая в носу, отходил в сторону, о чем-то думал.

А однажды он промолвил:

– Дурак ты, Колька. Григорьева этого спрашивать... Разве он поймет! Ночью прицепился к любому поезду – и айда...

– Ч-чего? Как это так?

– А так... Поездов сколь от нашей станции отходит – ужас! Я бегал, глядел. Какой-нибудь и до фронта дойдет.

Эти Андрейкины слова услышал подошедший Семен, молча взял братишку за ухо.

– Ну-ка, ну-ка, что за разговоры?! Какой поезд? Какой фронт?

Андрейка завизжал, заподпрыгивал от боли.

– Я тебе, пшено такое, покажу фронт! Вот ремень еще сниму... – И, отпустив Андрейкино ухо, повернулся к Инютину: – А ты брось эти разговорчики! Чтоб я не слышал больше!

Дни шли, Колька все реже вспоминал о том, как Григорьев выпроводил его из военкомата. Но сегодня в нем, видимо, колыхнулась прежняя обида.

Серая холодная утренняя муть потихоньку светлела, из ее вязкой глубины начали проступать темные пятна тополиных верхушек. Было пусто как-то в эти минуты в душе у Семена, тоскливо и неприятно.

Внезапно тишину разорвал надсадный женский голос:

– Мака-ар! Сыно-ок!

Семен приподнял голову. Николай, путаясь в поникшей картофельной ботве, побежал в сторону Кашкарихиного дома.

– Макара уводят! – пропищал он, когда Семен тоже подошел к огородному плетню. – Все, амба снова Макару! Я так и знал...

Через плетень Семен увидел возле Кашкарихиного дома неясные фигуры, различил только Аникея Елизарова, который недавно уволился из МТС и поступил вдруг в милиционеры. Елизаров был в шинели, в фуражке и, кажется, с наганом в руке.

– Не лапай, ты! – хрипло крикнул Макар. – Не толкай! Я и так в железках...

– Не орать у меня! – пригрозил Елизаров. – Иди, иди!

– За что, сволочи?! Ответите...

– Иди! За автолавку. Нашел я ее, милок, в Громотушкиных кустах... Жаль, что обчистить успели.

– А я при чем? Я не мог автолавку украсть. Я машину водить даже не умею.

– Там расскажешь, при чем. И куда товар дели. Ступай.

И фигуры двинулись, исчезли за углом.

– С автолавкой-то они ловко... Знаешь, они как? – быстро заговорил Инютин. – Макар Витьку заставил: «Иди, говорит, к сторожу, скажи, что в машине шебаршит что-то». Витька не хотел, а Макар ему в рыло: «Ступай», – говорит... А сами за машиной притаились.

– Кто сами?

– Не знаю. Витька, грит, Макар и незнакомый еще какой-то парень. Ну, сторож подошел к машине, а они его ка-ак по голове! Макар сторожа за палатку поволок, а тот, другой, отомкнул дверцу, залез в кабину и погнал машину. У них, у гадов, все машинные ключи есть.

– Постой, а ты откуда все знаешь?

– Дык Витька рассказал. Когда Макар поволок сторожа, Витька побежал в темноту. Весь день в Громотушкиных кустах дрожал, как заяц. А вчера вечером ко мне пришел: «Дай, говорит, пожрать». – «А дома, спрашиваю, что?» – «Макара, говорит, боюсь». Ну, слово за слово, я выпытал. Витька и сейчас у меня спит. Мать на заводе в ночную смену сегодня – она ведь тоже по трудоповинности работает, – мы одни с Веркой дома да Витька...

– А Верка знает про все это?

– Не-е... Зачем ей говорить? Баба, выдаст еще Витьку... Ты сам-то, гляди, не проговоришь. Макара забрали – это правильно. А Витька – он не виноват, он подневольно шел...

Завтракал Семен молча.

– Макара сейчас арестовали, – сказал он.

Мать промолчала.

– Автолавку, говорят, они с кем-то угнали.

Мать и теперь ничего не ответила.

Семен позавтракал и вышел из дому. Опять ему предстояло весь день возить со станции кирпич, железо, какие-то станки.

Шагая по пустынной еще улице по направлению не к заводу, а к милиции, он в переулке столкнулся с Елизаровым.

– О-о, Семка! Здорово, милоч! – воскликнул Елизаров, протянул руку. Но Семен будто не заметил этого. – Понятно. Брезгаешь, что я в милицию подался.

– Нет, не поэтому.

– Ну да, знаем... От войны, мол, Аникуша убегает... А я, между прочим, жизнью ежедневно рискую. Сейчас вот одного бандита брали...

– Макара, что ли? Я видел.

– Ага, родственника твоего, – угрожающе произнес Елизаров. – А у него, у гада, наган под подушкой. Еле вывернул.

– Про наган-то врешь. Не такой Макар дурак, чтобы попусту наган под подушкой держать. Из тюрьмы он вышел законно...

– Он – всегда законно. А ты никак защищаешь его?

– Нет... Просто говорю, что ты врешь про наган.

– Ну, это не важно. Главное – застукал я его, кажись. Теперь вынюхать бы, куда товар из автолавки припрятал...

– Нюхай. У брата его, у Витьки, поспрашивай. Может, тот что знает.

– Без тебя соображаем. Должно быть, он и есть тот мальчонка, про которого сторож трендил... Да скрылся куда-то, суразенок. Ну, я его выловлю!

Семен повернул к заводу.

* * *

Через две недели после приезда Антона Савельева котлованы под главные заводские корпуса были вырыты, площадки будущих цехов забетонировали, установили на них станки. И Савельев, и Нечаев, и Хохлов, и Савчук, и все другие специалисты эти две недели безвылазно день и ночь находились на территории завода, руководя установкой и наладкой оборудования. Они, обросшие, грязные, похудевшие, носились из конца в конец, что-то приказывали, объясняли, показывали. Шум тракторов, свистки подъемных кранов, скрип лебедок, натужный рев и сигналы грузовиков день и ночь стояли над Шантарой, и казалось, этот хаос никогда не кончится, в нем нет и никогда не будет организующего, разумного начала.

Но вот на одной площадке заухали, сотрясая землю паровые кузнечные молоты, на другой загудели протяжно станки, засыпали искрами, на третьей зашипели сварочные агрегаты. И эти благородные звуки притушили, стали утихомиривать разноголосый гул. И тогда начали расти кирпичные стены заводских цехов.

Но росли они медленно, потому что поступление кирпича на завод вдруг прекратилось. В область и наркомат полетели телеграммы, оттуда ответили, что кирпич для завода в скором времени опять начнет поступать. А пока люди работали под открытым небом.

В конце сентября ударили крепкие утренние заморозки, а потом погода все чаще стала портиться. По небу шли низкие облака, сеяли противным мелким дождем. Иногда дождь припускал не хуже, чем в июле, поднимался пронизывающий холодный ветер. Но станки все так же гудели и сыпали искрами, все так же склонялись над ними промокшие до нитки люди, очоленными руками вынимая из зажимов горячие, только что обточенные головки снарядов. Мокрый металл дымился, люди грели об него руки.

Полным ходом шло и строительство землянок для рабочих. Там непрерывно махали ковшами экскаваторы, визжали пилы, стучали топоры.

Поликарп Матвеевич Кружилин теперь редко заглядывал на завод. Он редко заглядывал и домой, пропадал в колхозах, хотя чувствовал, что сейчас, как никогда раньше, он должен быть побольше возле жены. Но обстоятельства были сильнее этой необходимости. Урожай в районе был хороший, но косовица затянулась, наступившая непогодь обхлестала хлеба, намолоты резко упали. И обозначилась реально грозная перспектива – район мог не выполнить плана хлебозаготовок.

В начале октября Кружилин созвал бюро, на котором рассмотрели вопросы уборки и хлебосдачи. Но сколько ни говорили, сколько ни подсчитывали – для выполнения плана зерна не хватало. Кружилин помрачнел еще больше.

После бюро Полипов, тоже невеселый, сказал:

– Ну вот, сегодня первую партию снарядов отгружают. А ты, помнишь, чуть не наломал дров с графиком пуска завода. Хорошо, что послушался тогда меня. Видишь, как все вышло... неожиданно.

– Да, но какой ценой?

– Что ж, война... – Полипов помолчал и, глядя в темный проем окна, проговорил: – А ведь с Антоном Савельевым мы знакомы. Более того – друзья детства... Потом одни и те же тюрьмы прошли.

– Я слышал.

– От кого? – живо спросил Полипов. – От Субботина, наверное?

– От него. Ну и что же, встречался ты с Савельевым?

– Как же... На квартиру его определил. С семьей. Жена и сын. Сын у него взрослый, лет около тридцати. Токарь. А жена больная, помешанная немного.

– Как помешанная?

– Ну, не то чтобы совсем. А в общем тихая, меланхоличная какая-то. В восемнадцатом году ее в белогвардейской разведке пытали.

Полипов опять потер щеки.

– Да, годы... Все они стирают. Встретились с ним, а говорить, оба чувствуем, не о чем. Так, поудивлялись немного, что постарели, изменились. А жена его вроде и вовсе не узнала меня. Посмотрела, как сквозь пустое место...

– Ты и жену его знал?

– Как же, – криво усмехнулся Полипов. – Мы все росли в Новониколаевске, на одной улице жили... – И встал. – Так не забудь – на той неделе исполком. Вопросов много накопилось.

– Не забуду... Да, а что это за вопрос такой в повестке дня у тебя стоит: «О председателе колхоза „Красный колос“ тов. Назарове»?

– Обратил внимание? И это – прогресс.

– Что за тон?

Полипов пожал широкими плоскими плечами, будто не понимая, к чему этот жесткий вопрос.

– А то, что Назаров самовольно засеял почти все пашни рожью – на это ты обратил внимание?

Несколько мгновений они глядели друг на друга в упор.

– И хлеба государству меньше всех в районе пока сдал тот же Назаров. Это при таком-то положении с хлебозаготовками! И вообще – сколько с ним валандаться, самоуправство терпеть? Кончат пора, освободить с работы.

– Хорошо, освободим, – вздохнув, сказал Кружилин вялым голосом, устало опустил глаза. Но вдруг снова полоснул председателя райисполкома откровенно неприязненным взглядом. – А хлеб за него ты будешь сеять? Колхозом ты будешь руководить? Давай принимай колхоз!

Кружилин бросил на стол карандаш. Карандаш покатился, упал, Кружилин поднял его и опять швырнул на бумаги.

– Так-с. Все, кажется, проясняется. Значит, убрать меня хочешь потихоньку из района? Что же, благодарю за откровенность. – Губы Полипова стали похожи на подкову. – Если партии будет нужно, на любую работу пойду. В том числе и в колхоз. И руководить хозяйством буду не хуже Назарова.

– Не хуже? В год, в полтора угробил бы ты колхоз, – спокойнее сказал Кружилин.

– Вот как! Значит, и для колхоза не гожусь. Куда же меня определишь?

– Никуда. Работай пока, где работаешь.

– Что значит – пока?

– Видишь ли, нас с тобой никто сейчас не поймет, если мы конфликтовать начнем...

– Почему «нас»? Скажи – меня! – Полипов боднул воздух круглой тяжелой головой, правый угол рта у него задергался, он прикрыл его ладонью. – А в общем – еще раз спасибо за откровенность. Когда знаешь карты противника, выиграть всегда легче. Видишь, я тоже откровенен.

– Петр Петрович, я не игрок, – сдерживая себя, проговорил Кружилин. – Потому и карт своих не скрываю... Назарову я разрешил засеять рожью половину посевных площадей.

Полипов поднял желтые брови, широкий лоб его покрылся длинными мелкими складками.

– И ты думаешь, в области это одобряют?

– Нынче, возможно, и нет. А будущая осень покажет... Разрешил в опытном, что ли, порядке. Хотя опытничают вроде и нечего. Достаточно обратить внимание на простые цифры – сколько рожь нынче дала с гектара и сколько пшеница...

– Неужели ты не понимаешь, что рожь – это не пшеница?

– А ты не понимаешь, что рожь – это тоже хлеб? И что лучше иметь пять булок ржаных, чем одну пшеничную? Особенно сейчас, когда идет война. В общем, давай-ка снимай с повестки исполкома вопрос о Назарове. Хлеба он нынче даст больше других. Жатву заканчивает уже, хлеб у него в скирдах. А другим-то колхозам, из которых ты каждый день нещадно выжимал госпоставки, еще косить да косить. А что теперь косить – солому? Вот и подумай, сколько по твоей вине хлеба потеряли.

– По моей, значит? Это ты ловко. Я мотался по району...

– И по моей. Завод заводом, а надо было уборочную и мне не выпускать из своих рук. Ошибку допустил.

И вдруг Полипов взорвался:

– Так-с! Я виноват в первую очередь, ты – во вторую! Очень логично! Очень справедливо! Да ты не понимаешь, что ли? Если бы до сих пор не сдавали хлеб... если бы район, все колхозы сдавали его такими темпами, как твой Назаров... нас бы давно с тобой в грязь измесили... Мы бы партбилеты, возможно, выложили. И между прочим – сперва ты, а потом уж я! В мирное время нам не спустили бы, а сейчас...

– Ничего, – произнес Кружилин, – черт не выдаст – свинья не съест.

– А? – остановился Полипов, повел вокруг подрагивающими глазами. – Как ты сказал? В каком, собственно, смысле?

– В народном. Пословица такая в народе есть.

Полипов подошел к столу, плюхнулся в кресло.

– Пословиц – их много... Ах, Кружилин, Кружилин... Хочешь еще на откровенность?

– Давай.

– Не годишься ты в партработники.

Кружилин лишь вопросительно взглянул на Полипова.

– Непонятно? Я уже объяснял тебе насчет хлебосдачи. Конечно, при такой практике, при таких установках теряем немало хлеба. Но я, что ли, эти установки спускаю?

– Значит, неверные установки.

– А это тоже вопрос – верные или неверные. Советской власти два десятка лет с небольшим, колхозам по двенадцать, пятнадцать. На сознательность людей рановато надеяться. Приотпустить вожжи с хлебосдачей – уплыть он может, хлебушек, в бездонные сусеки колхозников, а государственные пустые будут.

– Не верим, значит, мы людям?

– А что же? Тот же твой Назаров, пользовался слухом, тайные посева делал, а урожай с них по колхозникам делил... Хитер только, не мог я его поймать. Но всегда знал – плачет по нем тюрьма... Н-да... Значит, выход какой? И хлебосдачу с первого дня жатвы вести усиленно, и косить вовремя. В темпе все, в комплексе – до ветров, до дождей заканчивать жатву.

– А ежели не успеваем? Физически сил не хватает?

– Должны успевать. Из этого исходят установки. Значит, они правильные.

– Да, теоретик ты, вижу.

– Без этого нельзя, – серьезно сказал Полипов. – А ты не теоретик, к сожалению. Все от мужицкого духа идешь. Он подвести может. Или вот эта твоя поговорка? К чему она? Слова – они всякий смысл имеют. И вложить можно всякий. А ты, слышал я, от слов своих пострадал уже однажды...

Кружилин с сожалением поглядел на председателя райисполкома. Тот чувствовал этот взгляд, но не пошевелился даже, сидел, уперев глаза в свои широкие тупые колени.

– Ты что же, пугаешь меня?

– Не-ет, что ты... То время прошло, кажется. Я же спросил – хочешь на откровенность? Советую просто. – Полипов откинулся в кресле. – А вообще – ты ведь тоже игрок. Но играешь так – интуитивно.

– Это мне тоже интересно. Объясни.

– Не надо, говоришь, с Назаровым кончать? Конечно, сейчас ты сможешь и защитить, вероятно, его. Позиции у тебя сейчас в области окрепли – завод продукцию дал. Непостижимо, но снаряды делает. Хотя это заслуга Савельева, особенно Нечаева. В общем, тебя в области поддержат, видимо... Но этот Назаров икнется тебе в будущем, – прибавил он.

– Каким образом?

– Давай размышлять. Вопрос о нем я в повестке исполкома, допустим, оставлю. Насчет ржи резонанс в области хороший будет. А я и дальше заострю: кто он таков по духу, этот Назаров? С тайными посевами – ладно, слушки одни. Но он всяких подозрительных в социальном смысле людей поддерживает. Ивана Савельева, например, бывшего белобандита, в колхоз принял. Потом его посадили за вредительство. А Назаров семью его всячески оберегает, благоустраивает. Н-да... И такого человека ты защищаешь вот...

Полипов говорил теперь неторопливо, раздумчиво, спокойно. И Кружилин слушал его спокойно, внимательно. Полипов сидел боком к Кружилину, смотрел куда-то в угол. Ухо его, небольшое, чуть оттопыренное, пошевелилось. Кружилин впервые заметил эту особенность.

– Слушай, Петр Петрович, страшный ты человек, кажется, – вдруг сказал он. И только когда произнес эти слова, понял их смысл, подумал, что, вероятно, не надо было этого говорить.

Уши Полипова замерли. Он медленно повернул к Кружилину широкие плечи, и Кружилин увидел, что по лицу его идут судороги, которые он пытается унять насильственной улыбкой.

– Ну что ты... Не страшней других, – вымолвил он.

– Не понимаю я тебя.

– Да, многим из нас друг друга понять нелегко. Мы объединены общей идеей, строим новое общество. Общество это представляем себе более или менее одинаково, но боремся за него... – Полипов, так и не уняв судорог на лице, чуть пригнулся, – но боремся за него, я бы не сказал – разными методами, но по-разному понимая сущность тех людей, с которыми работаем.

– Туманно очень, – усмехнулся Кружилин.

– Ну, Назарова вот того же по-разному понимаем. – Лицо его наконец стало спокойным. – А кто из нас прав...

Громко хлопнула входная дверь, кто-то заскрипел в коридоре половицами.

– Мне ясно одно, Петр Петрович, – проговорил Кружилин, глядя прямо в глаза Полипову, – сейчас, по крайней мере, стало ясно, что работать нам вместе будет трудно. Может быть, невозможно станет со временем.

Полипов опять собрал морщинки на лбу.

– Почему? Мы впервые поговорили друг с другом откровенно, в какой-то мере выяснили... что-то друг в друге. В чем-то не сходимся? Разве это беда? Жизнь, говорю, покажет, кто из нас прав. А ссориться сейчас – сам говоришь – никто не поймет.

– Да ведь ты и собираешься о Назарове спорить! А этот спор, прямо говорю, нешуточный, он серьезный будет...

Распахнулась дверь, вошел Савельев.

– Можно? Здравствуйте... Не помешал? Вижу – огонек... – Савельев шумно подошел к столу, пожал обоим руки. – Что у тебя, Петро, руки такие потные? Ну-с, начали, друзья мои! Сейчас лично подержал в ладонях полторатысячный снарядик. Нечаев упаковкой занимается, чуть не каждый снаряд сам в ящик кладет. На утро перед отправкой снарядов митинг назначили... Телеграммы еще нет?

– Нет еще.

– Хорошо бы к утру-то успели, а?! – И повернулся к Полипову: – Ну, Петро! Забывать уже стал ведь я тебя... Да что там, забыл совсем, лет с десяток не вспоминал. И вдруг – встреча! И поговорить вот даже некогда. За квартиру спасибо. По-царски устроились. Неудобно перед рабочими-то.

– Ничего, директор все же.

– Где ты-то живал, работал?

– Ну, где? После того как из белогвардейского застенка удалось бежать – не забыл, должно, Свиридова? – служил в Красной армии до тридцатого почти года. А потом все время в Новосибирске. Потом вот сюда перевели. И все, собственно. Спокойная жизнь, – усмехнулся Полипов.

– Поговорить бы как-то. Вспомнить кое-чего!

– Как Елизавета Никандровна?

– Ничего. Здоровьем, конечно, хвалиться не приходится...

Опять хлопнула дверь. Все повернули головы на звук.

– Телеграмма, может? – сказал Савельев.

Минуто-другую в коридоре было тихо, потом раздались торопливые шаги. Все встали, понимая, что это действительно телеграмма.

Дежурная по райкому, молоденькая женщина, заведующая сектором учета, вбежала взволнованная и раскрасневшаяся.

– Вот, Поликарп Матвеевич... Поздравительные! Одна из Москвы, правительственная. Другая из области.

Кружилин развернул одну из телеграмм:

– «Секретарю Шантарского райкома партии Кружилину, председателю райисполкома Полипову, директору завода Савельеву, главному инженеру Нечаеву...» – начал он читать почему-то с адресатов.

– Ну, я пошел, – встал вдруг Полипов. – Поздравляю, Антон, от всей души... На митинге завтра встретимся. – И повернулся к Кружилину: – Значит, вопрос о Назарове с повестки исполкома исключить?

– Я тебе все сказал, – промолвил Кружилин.

Полипов вышел, плотно прикрыв дверь.

Когда телеграммы были прочитаны, Савельев и Кружилин поглядели друг на друга молча.

– Ну вот, Поликарп... – устало вымолвил Савельев. Слова были вялыми, бесцветными. – А все же не верится.

Савельев был давно не брит, на месте глаз глубокие черные ямки, лицо осунувшееся, бледное.

– Сколько ты спал за две-то недели?

– Да, да, сейчас пойду выплюсь. И побриться надо. Это позор – в таком виде...

Он встряхнулся, оторвал руки от стола. С трудом встал, начал ходить по кабинету. И Кружилин понял – Савельев боится заснуть.

– Ты, конечно, слышал – наши оставили сегодня Орел, – проговорил тихо Антон, подходя к висевшей на стене карте, утыканной флажками. Вся западная часть советской территории была исчерчена беспорядочными синими полосами – бывшими линиями фронтов. Сейчас самая крайняя к востоку линия шла, начинаясь от самого Ленинграда, вниз, огибая Москву, Орел, Курск и Харьков, к Днепропетровску, а затем, чуть западнее, к Перекопскому перешийку. Где-то далеко во вражеском тылу была очерченная красным кружком Одесса. Там, в этом кружке, уже около восьми недель истекали кровью тысячи и тысячи людей, военных и гражданских, отстаивая город от врага.

Одесса была обречена, это понимал в стране каждый человек, понимал и Савельев, смотрящий сейчас на карту. Об этом он сейчас и думал, хмуря лоб, и, закрыв глаза, мысленно попытался представить, что там происходит. Ему это оказалось нетрудным. Сразу будто воочию возникло багровое небо над горящим городом, потом – разваливающееся, оседающее в клубах пыли здание, – пронзительный женский крик и плач ребенка.

То ли от этого крика, то ли от запаха пожарищ, который он почувствовал вдруг ясно и отчетливо, Савельева качнуло. Чтобы не упасть, он схватился за стенку.

– Антон?! – услышал он голос Кружилина и увидел его рядом с собой.

– Ничего, ничего... А карта у тебя неточная все же. Линия фронта уже не соответствует... – И он переставил флажок чуть восточнее города Орла.

– Да... Она каждое утро не соответствует, – с горечью произнес Кружилин.

Он, стоя рядом с Савельевым, долго и молча глядел на карту.

– Вот все хочу спросить у тебя, Антон... Как же получилось, что немцы так легко смяли все наши оборонительные укрепления, будто их и не было на наших новых границах? С западными областями Украины и Белоруссии воссоединились осенью тридцать девятого. Пользовался слухом, что вдоль новых рубежей построены за это время сильные укрепления. А немцы – как нож сквозь масло. Как же так? Ты жил в тех краях...

– Я-то жил. Но я ведь не военный... А Петро где? Ушел? Вот лавочник! Он, знаешь, из лавочников, отец его в Новониколаевске довольно солидную торговлю вел.

Кружилин понял, что Савельев хочет переменить тему разговора, отошел к столу.

– Я знаю. Он об этом и в автобиографии пишет. Сам я тоже, можно сказать, из лавочников – в юности приказчиком служил. – И, помедлив, проговорил: – Как-нибудь рассказал бы, каков из себя Полипов в те годы был?

– Ну, каков? Сперва обыкновенный парнишка-гимназист... Затем увлекся революционной работой, стал настоящим большевиком. После – аресты, тюрьмы... В дружбе – верный. Мы с ним только в одном врагами были – в любви.

– Да? – шевельнулся Кружилин. Савельев поглядел на секретаря райкома, что-то в глазах того не понравилось Антону.

– Ага. Мы любили одну и ту же девчонку – Лизу, теперешнюю мою жену... Да ты, собственно, почему об этом спрашиваешь?

– Значит, решающим успехом у нее ты все же пользовался? – как бы не расслышал Кружилин последнего вопроса.

– Так уж вышло как-то. Я хулиганистый в детстве был. Да и в юности тоже. Может, это и решило, а? Девчонок это, знаешь, на первых порах привлекает. Жил я тогда в Новониколаевске, в семье брата моего отца, Митрофана Ивановича. Он с девятьсот второго года уже подпольщиком был, кажется, чуть ли не первым организатором социал-демократической ячейки. И сын его, Григорий, тоже подпольщиком был. И Лиза тоже. Меня в свои дела они, конечно, не посвящали. А я – переживал. Ух как я переживал! И все, помню, думал: как же им доказать, что я не такой дурак и шалопай, каким они меня считают?

Савельев говорил, а глаза его закрывались.

– Поди-ка ты, Антон, поспи лучше, – сказал Кружилин.

– Да, да... Потом я как-нибудь расскажу и о Полипове, и о своем житье-бытье, если интересно...

* * *

Известие о появлении в Шантаре старшего брата Федор Савельев воспринял внешне бесстрастно. Он только вскинул на сообщившего эту новость Панкрата Назарова тяжелые от усталости глаза да пошевелил сросшимися бровями.

Утрами, когда на востоке кровенилась холодная заря, он без слов сдергивал с Кирьяна Инютина засаленное, прожженное во многих местах одеялишко, молча они шли к агрегату, минуты три копались – Инютин во внутренностях трактора, Федор в комбайновом моторе, – на четвертой Савельев давал свисток, и начинали работать.

Вечерами, когда падала роса, Федор давал три коротких свистка. Это означало конец работы, но не рабочего дня. Около часа они еще возились каждый у своей машины, очищали от пыли, шприцевали всякие узлы. Насчет техухода Федор был строг. Потом шли на полевой стан – Федор впереди, Кирьян метрах в пяти-десяти за ним. И все молчком, молчком.

Недели через полторы, когда целый день, будто с трудом процеживаясь сквозь набухшие лоскутья облаков, сеял мелкий противный дождь, Кирьян Инютин сказал, глядя в тусклое окошко вагончика на унылые, взявшиеся хлюпью поля:

– Ежели и перестанет к вечеру, до послезавтра не выдерет мокрядь. Может, пока в Шантару съездим?

– Об жене, что ли, затосковал? – В хрипучем голосе Савельева была издевка.

Никогда не вставлявший Федору слова поперек, Инютин тут, чувствуя, как плеснулась в голову кровь, проговорил:

– Так и ты, может... тоже.

Скрипнули нары, Федор сел. Не оборачиваясь от окошка, Кирьян чувствовал на себе ошпаривающий взгляд Савельева. Руки у него загудели. Понимая, что еще какое-то одно насмешливое или двусмысленное слово Федора – и он, Кирьян, не выдержит, ринется на бывшего своего друга, вцепится намертво в его заросшую черной щетиной грязную шею, Инютин изо всей силы держался за косячок, вдавив ногти в сырое, холодное дерево. И чтобы осадить Федора, не дать ему сказать этого слова, проговорил:

– С брательником повидался бы.

– Никуда она не убежит теперь, эта свиданка.

И опять скрипнули нары. Инютин понял – Федор лег.

...Ивану Савельеву о приезде старшего брата в Шантару сообщил не кто-нибудь, а Яков Алейников. Яков ехал куда-то на дрожках – точь-в-точь на таких, какие в тот далекий памятный день увезли Ивана с сенокоса, может быть даже на тех же самых. Иван стоял на пологом увале, по которому разбрелись коровы.

– Ну, подойди, – сказал Алейников, останавливаясь.

Иван был в дождевике, в сапогах. Приминяя ими высохшую траву, он спустился с увальчика. Перекинутый через плечо длинный кнут волочился сзади, как змея, шипел по траве.

Разговор у них был не очень долгий, говорили короткими, отрывистыми фразами. Если бы кто подслушал посторонний, мало бы что понял из их разговора.

– Здравствуй, – сказал Алейников.

– Здравствуй, – ответил Иван.

– Узнал, стало быть?

– Я не забывал. Во сне часто снишься.

– Обижаясь, понятно, на меня, – сказал Алейников таким тоном, будто речь и в самом деле шла о пустяке, о какой-то незначительной обиде. И далее вздохнул сожалеюще.

Иван помедлил, оглядел табун:

– Да нет...

Алейников вскинул на Ивана из-под лохматых бровей острый взгляд и тотчас прикрыл глаза тонкими веками. Потом стал глядеть в сторону.

– Ну ладно... Пастушишь, значит?

– Одному просто охота побыть. С самим собой.

– Понятно.

Алейников хотел тронуть коня, но Иван спросил:

– А ты не боишься, что возьму вот да зажилю пару коров? Вон сколько их...

– Нет, – сказал сухо Алейников.

– И за то спасибо. Ну а... Аркашка Молчанов где?

Алейников будто недоуменно пожал плечами:

– Где? Сидит...

– А за что?

Алейников долго смотрел на осеннее небо, по которому бесшумно текли низкие облака. Он так и не ответил на вопрос. Назвав почему-то Ивана по имени и отчеству, спросил:

– В военкомат, Иван Силантьевич, не вызывали тебя?

– Нет. А сам не напрашиваюсь. Вызовут – что ж, приду.

– Ладно, я поехал... Да, брат твой, Антон, просил тебе при случае поклон передать...

– Кто? Кто?! – Иван шагнул к дрожкам.

– Антон, говорю. Не знаешь разве, что он директором эвакуированного к нам завода назначен? На днях приехал...

– Антон?!

– Ну да, Антон Савельев.

– Вот за эту весть спасибо!

– При случае, говорит, пусть завернет повидаться.

Алейников уехал, а Иван долго еще стоял на прежнем месте...

– Знаешь ли, кто директором Шантарского завода назначен? – сказал он вечером жене. – Антон, брательник!

Агата мотнула косами, оборачиваясь, в лице ее плеснулся не то испуг, не то изумление, – она, видно, никак не могла сообразить в первую секунду, хорошо это или плохо, грозит это чем-то ее Ивану или нет.

– Да... как же теперь-то? Надо ж вам повидаться!

– Само собой. Отпрошусь на днях у Панкрата.

Через несколько дней Иван действительно поехал утром в Шантару, но Антона дома не застал. Его жена, Елизавета Никандровна, высохшая женщина, молчаливо, с какой-то опаской обшарила Ивана бледно-зелеными, точно вылинявшими, глазами, но сказала приветливо:

– Заходите. Антон позавтракать должен приехать часов в десять.

Сын Антона, Юрий, парень с виду лет двадцати, хотя на самом деле ему шел двадцать восьмой, поджарый, стремительный, с такими же, как у матери, глазами, воскликнул:

– Хо! И вправду дядя! И паспорта не надо – точь-в-точь отец! Батя на станцию умотался, мы с тобой пока чаи погоняем. Я на работу пойду, а ты подождешь его.

Юрий только что умылся, расхаживал по комнатушке в трусах и майке, вытирая на ходу лицо и мокрые плечи.

Елизавета Никандровна, разливая чай, расспрашивала о жене, о детях. Юрий часто перебывал мать, расписывал подробно, как он жил в Харькове, потом – как он в первый день войны приехал во Львов.

– А сейчас вкальваем на заводе под открытым небом. Нечаев, главный инженер, говорит: «Ничего, ребятки, потерпите, до зимы построим цехи». Но вряд ли построят. Сейчас ничего, а как холода начнутся, не представляю, как мы будем. Мы, токари, знаем, что такое холодный металл. Руки прилипают.

В общем, жена Антона Ивану понравилась, а сын – не очень. От беспорядочной трескотни Юрия, оттого, что он бесцеремонно как-то сразу начал называть его на «ты», остался неприятный осадок.

Выпив несколько чашек, Юрий сорвался с места.

– Ну, будь здоров, дядя... Пошел вкальвать.

И непонятно как-то прозвучало это «дядя» – то ли по-родственному, то ли с оттенком иронии.

Зазвонил телефон. Елизавета Никандровна взяла трубку, долго слушала кого-то, а потом проговорила:

– Хорошо, Антон, ты не волнуйся, поезжай. Только вот... брат твой, Иван, к тебе пришел...

Волнуясь, Иван взял трубку. Но разговор вышел путанный, непонятный. Голос в трубке был чужой, незнакомый. Не то в трубке, не то в ушах у Ивана шумело, и он понял только, что Антон срочно, прямо со станции, уезжает в Новосибирск, а вернется через неделю.

– Ничего, ничего, я еще раз отпрошусь у нашего председателя... – прокричал в трубку Иван.

– И с женой, с женой приезжай, пожалуйста, – услышал он сквозь шум и треск.

– Ладно, ладно...

Но вторично съездить в Шантару удалось не скоро. Этим же вечером к загону подошел председатель, подождал, пока Иван водворил туда последнюю корову, и спросил:

– Надышался степным воздухом? Завтрева Володька твой пасти будет.

– А школа как же?

– День – Володька, день – другой парнишка, день – третий...

Иван присел на колодину возле забора, ожидая дальнейших слов председателя.

– Всех, кого можно, кинул я на обмолот и хлебосдачу. Хлебушка-то нынче много посдавать придется подчистую... Ни в жисть бы я больше плана не стал сдавать, кабы Кружилин не попросил район выручить... Да не война кабы... Так что на картошке зиму жить будем, не

упустить бы ее. Сейчас пока ведро, а заждит – намучаемся смертельно с ней. В общем – за картошку ты в ответе. Даю тебе в бригаду с десяток женщин. Ну и те же ребятишки подмогут. Я договорюсь со школой, чтобы мальцов по двадцать давали по очереди в день. Учиться им тоже ведь надо, – вздохнув, добавил председатель.

Картошки было много, копали ее почти до середины октября, ведрами и корзинами ссыпали в бурты, прикрывали соломой, ветками, брезентом. Свозить в картофелехранилище было не на чем – все лошади заняты на обмолоте и хлебосдаче.

– Поморозим, гляди, – говорил то и дело Иван председателю, когда тот заворачивал на картофельное поле.

Назаров оглядывал бурты, перемазанных грязью женщин и ребятишек, хрипло кашлял и говорил:

– Все могёт быть.

С тех пор как Назаров узнал что-то, от Кружилина кажется, о своем сыне, лицо у Панкрата становилось все чернее, землистее, он будто высыхал на виду. Заношенный старый брезентовый плащ обвисал на нем все больше. Однажды, закашлявшись, Назаров сплюнул, и Иван увидел в мокроте красные прожилки. Старый председатель быстро затер плевков ногой.

– Ты бы лишний-то раз и не ездил, где можно обойтись, – сказал Иван. – Поберегся бы. А то не ровен час...

– Все могёт быть, – так же хрипло и равнодушно проговорил Назаров.

За все это время Иван даже заикнуться не посмел о новой поездке в райцентр. Он знал, что где-то на полях колхоза косит хлеба своим комбайном Федор. Но он ни разу не видел брата, не стремился к встрече с ним. Когда пастушил, видел иногда вдалеке комбайн, различал на мостике маячившую фигуру брата. И каждый раз отгонял стадо подальше в сторону.

Наконец Назаров выделил для перевозки картофеля шесть бричек. С бричками приехал сам, крикнул Ивану, спрыгивая на землю:

– Ну вот, давайте! Может, Бог еще потерпит маленько, не расквасит погоду.

Бог терпел, видимо, из последних сил. В небе угрожающе качались грязные, холодные тучи, тяжело набрякшие водой пополам со снегом. Жестко похлестывал ледяной ветер, кидал на изрытое картофельное поле из ближайшего перелеска горсти сухих березовых листьев, засыпал ими лунки.

– Хлеба-то все скосили? – спросил Иван.

– Все, считай... Осталось маленько; Федор, брательник твой, сожнет за неделю.

– Как он тут? – впервые после возвращения заговорил о нем Иван.

– А ничего, – усмехнулся Панкрат. – Робит старательно.

Женщины и ребятишки живо нагружали брички-бестарки, усталые лошади стояли, опустив плоскощечие морды.

– Достается нынче животинам, – сказал Панкрат и продолжал: – Вчерась на оставшуюся полосу направил мужиков с косами да баб с серпами. Смахнем, думаю, поживее остатки. А Федор – с матерками. «Не лезьте, говорит, сам скошу». Все жадничает, чтоб поболее заработать. Куда человек жадничает? Ну, думаю, черт с тобой, коси. Хлеба с той полосы так и так шиш возьмем, все ветром выхлестало, нечего людей маять. А Федору, конечно, легче пустой хлеб убирать. Он со скошенных гектаров получает.

Ветер шуршал картофельной ботвой, негромко хлопал полами заскорузлого назаровского дождевика.

– На тракторе-то у него кто? Все Кирьян Инютин? – спросил Савельев.

– Он. Молчком всю осень работают. Надутые, как сычи. Того и гляди вцепятся друг в дружку – аж перья посыпятся.

– С чего они так?

– А дьявол их разберет.

Брички были нагружены, Иван хотел их отправить, но председатель сказал:

– Ты езжай сам с ними в деревню. Там Агата баню топит. Отмоешь грязь – и в Шантару ступайте с ней. Старший брат твой, Антон, звонил, приглашал седни ввечеру. Там грузовик на элеватор к ночи пойдет, уедете с ним. А я тут сам... Завтрева вернешься.

– Ну что ж, ладно...

– Ага, ступай, съезди... Соберетесь все вместе, поговорите, – кашляя, добавил Панкрат. – Федора он тоже звал.

– Федора?

– Ну и что ж? Съест он тебя, что ли, там? Ступай. Поглядите друг на дружку. – И, видя, что Иван колеблется, добавил пострже, даже прикрикнул: – Ступай, ступай!

* * *

– Так вот ты какой стал, Ваньша! – тиская Ивана, говорил Антон, отстраняя немного от себя, смотрел ему в глаза и снова прижимал к груди. – А это, значит, Агата, жена твоя? Такой я примерно и представлял Иванову жинку... Раздевайтесь же. Лиза, помоги им раздеться.

В маленькой кухоньке четверым было тесно. Электрическая лампочка без абажура заливала помещение ярким светом, и в этом свете Агата чувствовала себя так, будто, выкупавшись, вышла голая из воды, а вокруг народ.

– Да, время, время-то, Иван, что делает! – грустновато проговорил Антон, глядя на брата. – А мне все помнишься ты белобрысым мальчонкой. Когда ж я тебя последний раз видел?

– А когда в Михайловке, потом в Звенигоре от жандармов прятался.

– Да, да, когда ж это было? Постой... Года через четыре кажется, после девятьсот пятого? Ну да, в девятьсот шестом я в тюрьме сидел. В девятьсот девятом опять сел...

– В девятьсот десятом это было...

– Да, в десятом. Тридцать один год назад.

Агата глядела на братьев, что-то сжимало ей тихонько сердце, глаза пощипывало, электрическая лампочка расплывалась белым пятном, в голове ворошилась тревожная мысль: «А Федор? Счас и с Федором ведь Иван встретится...»

Еще там, в Михайловке, отглаживая рубашку Ивану, Агата, наверное, в десятый раз проговорила:

– Мне-то, может, остаться, а, Вань? Чего мне там.

– Ничего, поедем...

И тогда она, глядя за окно, сказала, раздувая побелевшие ноздри:

– Ты еще не знаешь меня. Я могу там Федору, если он что скажет про тебя... прямо глотку ему зубами перекусить.

– Да ты что? – испуганно наклонился к ее лицу Иван.

Агата вздрогнула и пришла в себя.

– Ладно, поедем... сдержусь, может.

– Как вас по отчеству-то, Агата? – услышала она голос жены Антона. Елизавета Никандровна стояла рядом, чуть улыбалась.

– Да никак... просто Агата...

– Ну и хорошо. А меня просто Лиза... Очень хорошо, что мы наконец встретились. Идемте! – Она настезь распахнула двустворчатые двери в комнату. – Там друзья Антона. Федор тоже должен подойти.

Услышав, что Федора нет пока, Агата почувствовала облегчение, смело шагнула за порог в просторную комнату.

Посредине комнаты стоял накрытый стол, у стены, на диване, сидели двое незнакомых ей людей, а третий, знакомый – секретарь райкома партии Кружилин – ходил по комнате и что-то рассказывал. При появлении их он замолчал, несколько мгновений глядел в упор на ее Ивана, потом улыбнулся и протянул ему руку.

– Здравствуй, Иван Силантьевич, – сказал он просто.

Поздоровались и те двое, поднявшись с дивана. Длинный худой человек назвал себя Нечаевым, а круглый, невысокого роста толстячок – Иваном Ивановичем Хохловым. Оба, и Нечаев и Хохлов, с любопытством глядели на Ивана. «Знают, знают, что в тюрьме сидел! – кольнуло ей сердце. – Господи, еще начнут расспрашивать, за что да как...» И она бессознательно качнулась к мужу, будто могла заслонить его от их вопросов.

Но ни Хохлов, ни Нечаев ничего не спросили.

– Что же, к столу, пожалуй, – сказал Антон, расставляя поудобнее стулья.

– Антон, Федора еще нет с женой, – подала голос Елизавета Никандровна.

– Время военное, терять его нечего. Опоздавшим нальем штрафную, только и всего...

– Вижу – не шибко вроде мы желанные гости тут, – прогудел из кухни голос. Там, у порога, в расстегнутом ватнике, держа в руках мерлушковую шапку, стоял, пошевеливая сросшимися бровями, Федор, за ним высокая женщина в темно-синем пальто. Из-за разговора и грохота отодвигаемых стульев никто не услышал, как они вошли с улицы.

Антон секунды две-три в упор смотрел через распахнутую дверь на среднего своего брата. Федор тоже глядел на Антона не мигая, чужим, выжидающим взглядом.

– Федор? – проговорил Антон вопросительно, будто еще сомневался в этом, и шагнул в кухню.

Братья обнялись. Елизавета Никандровна кинулась раздевать Анну.

Через минуту Антон, подводя Федора к столу, говорил чуть возбужденно, без упрека:

– Что ж это ты, братец, так себя ведешь? Я уж больше месяца как приехал, а ты и носа в Шантару не показываешь. Иван – тот приезжал, хоть и не застал меня...

– Работа. Страда, – приглушенно ответил Федор. – Да и тебе, поди, не до меня.

Войдя в комнату, Федор крепко пожал руку Кружилину, запросто проговорил: «Здравствуй, Поликарп», потом Хохлову и Нечаеву. Этим он сперва тщательно обшаривал глазами изпод черных сросшихся бровей и уж потом протягивал широкую и крепкую, как дерево, ладонь.

– Ну и рука, знаете, у вас! – с улыбкой проговорил Нечаев. – Подкову, случайно, не разгибаете?

– Можем, – коротко ответил Федор, огляделся, словно искал, нет ли кого в комнате, с кем надо еще поздороваться. Хмурый взгляд его скользнул по Ивану, как по пустому месту. Антон заметил, как вспухли желваки на худых щеках Ивана, как дрогнули брови у Агаты, как Поликарп Кружилин, посасывая папиросу, задумчиво поглядывал на братьев по очереди. Только Нечаев с Хохловым ничего странного в поведении Федора не заметили, полагая, что Федор с Иваном виделись сегодня не один раз и здороваться здесь не обязательно.

Анна, войдя, тихо поздоровалась со всеми, никого в отдельности и не различая. Потом медленно повернула голову к Ивану. Стояла, глядела на него, сплетая и расплетая дрожащие пальцы.

– Здравствуй, Анна... – проговорила Агата. – Вот у меня Ваня, видишь, приехал...

– Это хорошо... Наконец-то! Здравствуй, Иван. – И Анна шагнула к нему, протянула сразу обе руки.

Антону показалось, что Федор сейчас ринется к жене, схватит ее за шиворот, за волосы и отбросит от Ивана, – так мутно и нехорошо полыхнули спрятанные глубоко за бровями Федоровы глаза, – и поэтому он поспешно заговорил:

– Садитесь, садитесь же! Иван, ты сюда, рядышком со мной. И ты, Федор, рядышком. Поскольку ты старше Ивана, садись по правую мою руку...

– Действительно, попьанствуем, что ли! – воскликнул Хохлов, потер руки, первым сел за стол и начал разливать в рюмки. – А то я уж забыл, как она и пахнет-то. По всем правилам – первый тост хозяину дома.

– Что ж, – поднял рюмку Антон, – выпить хочется, друзья, за многое. Прежде всего – за победу, за то, чтобы скорее выгнать с нашей земли фашистскую нечисть. Эх, друзья мои, вы все-таки не представляете, что это за зверье, фашисты! А я немного представляю, потому что маленько испытал на собственной шкуре, что оно такое... Ну и за то, что мы, братья, собрались наконец все вместе. Не было бы счастья, как говорится, да несчастье помогло. Рад я, что мы все вместе. За все это...

Все выпили. А Федор почему-то держал рюмку в руке, смотрел, как подрагивает холодная бесцветная жидкость.

– Оно, я думаю, недолго мы вместе-то будем, – сказал он.

Слова эти никому не показались странными: шла война, каждый мог завтра-послезавтра оказаться совсем в другом месте, далеко от Шантары. Но он, чуть помедлив, обвел всех глазами, добавил:

– Да и не очень-то жалко...

– Федор! – невольно вскрикнула Анна.

Федор вяло отмахнулся от жены и одним глотком выпил рюмку, точно выплеснул ее содержимое куда-то за плечо.

За столом установилась тишина. Перестали даже звякать вилки и ножи. Напротив Антона сидел Кружилин, и Антон увидел, как он опять, чуть прищурившись, оглядывает Савельевых всех по очереди.

– Да что же вы? Закусывайте, пожалуйста, – приподнялась Елизавета Никандровна. – Антон, наливай-ка еще по одной.

– Ну что ж, – произнес Антон, берясь за бутылку. – Памятуя пословицу: пьяный пропится, а дурак – никогда...

– Нет, нет, мне уж будет, – запротестовал Иван Иванович Хохлов. – Я питух известный.

Он действительно пошел огнем от одной рюмки, непрерывно вытирал мокрый лоб, часто моргал добрыми, моментально посоловевшими глазами.

– Ничего, еще одну осилишь, – проговорил Кружилин. – А теперь я хочу тост сказать. – И взял рюмку. – Удивительная штука жизнь. Иногда ее понимаешь. Иногда – нет.

– Ты-то обязан всегда понимать. По должности, – сказал Федор.

– Я? Что же я, особой метой от рожденья, что ли, помечен? Такой же человек, как все. Как Антон, как Иван, как ты, Федор, – подчеркнул он. – И бывает, к сожалению, не так уж редко, что человек, не понимая сути и смысла этой жизни, наделает черт-те что, наломает таких дров, так расшибет свою душу, что живет весь в синяках и кровотокающих ранах.

Кружилин говорил медленно, отчетливо выговаривая слова. И по мере того как говорил, Иван, принимая все на свой счет, медленно опускал голову. Рука его, лежавшая на столе, дрогнула. Иван быстро убрал под стол руку, положил на свои колени и почувствовал, как потные и горячие пальцы сидевшей рядом жены легли на его ладонь. Пальцы Агаты тоже дрожали мелкой дрожью.

Федор же сперва слушал Кружилина с какой-то снисходительной улыбкой. Потом улыбка эта стала бесшумно ломаться, мокрый ус его дрогнул, глаза налились железным холодком.

– Но человек, к счастью, наделен разумом, – продолжал Кружилин, глядя в упор на Федора. – Потому он и называется человеком. И рано или поздно он начинает задумываться над сутью и смыслом бытия, жизни окружающих его людей, общества и над своими собственными делами и поступками. Это его заставляет делать властный и извечный зов к жизни, извечное стремление найти среди людей свое, человеческое место. И я думаю, что с этого момента человек, каких бы ошибок он ни наделал, становится уже гражданином, а потом станет и бой-

пом за справедливость, за человеческое достоинство и за человеческую радость. Вот и выпьем, друзья, за этот вечный и благородный зов, за то, чтоб каждый ощущал его в себе постоянно.

Иван почувствовал, как Агата успокаивающе поглаживает его руку. Федор опять медлил выпить, сжимал огромной ладонью хрупкую рюмку, думал о чем-то. Но про него все забыли будто, разговор пошел о разном.

– Спасибо, Елизавета Никандровна, за угощение. Рад бы посидеть еще, да на завод пора, сейчас ночная смена заступает, – неожиданно проговорил Нечаев и встал, чуть не задев головой электрическую лампочку.

Елизавета Никандровна вышла на кухню его проводить.

Там Нечаев оделся, что-то сказал хозяйке, нагнулся и поцеловал ей руку. Федор, сидевший лицом к дверям, смотрел на это строго и осуждающе.

– Ну а если человек не начнет задумываться над смыслом этим? – спросил он вдруг, глядя теперь на Кружилина. – Над сутью бытия и своей жизни? Живет и живет себе, как ему живется. Тогда как?

– Тогда? – Кружилин ответил не сразу. За столом установилась тишина, долгая, гнетущая. И Федор чувствовал: не только он – все ждут, что скажет теперь секретарь райкома. – А тогда – по пословице: смолоду прореха, к старости – дыра.

– Так, – будто удовлетворенно промолвил Федор. И теперь сам потянулся за бутылкой.

– Федя... – произнесла Анна.

– Ну! – двинул он плечом, налил себе и выпил, ни на кого не обращая внимания.

Анна неловко улыбнулась Кружилину и отвела глаза. Мочки ее ушей горели, как вишенки.

Часа полтора назад Федор, заявившийся с поля грязный и заросший, с порога еще, не поздоровавшись, распорядился:

– Бриться и мыться. Живее...

Побрился он молча и только, фыркая под умывальником, спросил:

– Ты готова, что ли? Должно быть, и тебе было персональное приглашение к Антону-то?

– Ты бы, Федя, хоть поздоровался со мной.

– А зачем? Ты ждешь не дождешься, чтобы меня на войну взяли. Это раз. Да чтоб убили меня там – это два. Чужие мы с тобой, выходит.

– И чужие здороваются при встрече.

Федор надевал чистую рубашку перед зеркалом, долго возился с пуговками.

– Возьмут ли на войну да убьют ли там – это еще всяко может быть. А вот что разойдемся рано или поздно с тобой – это, должно быть, точно... Раз того желаешь.

– Да ведь ты сам... Сам ты...

– Ну, цыть! Сам-то я с усам, а у тебя еще не выросли... – И вдруг круто переменял тему: – Как передал мне председатель Назаров, что Антон, дескать, приглашает, я плюнуть хотел сперва на приглашение...

– Почему на всех плюешь-то? Это понять бы... Брат же родной! С детства не виделись...

– Этот, контра тюремная, там тоже будет, – не обращая внимания на ее слова, продолжал он. – Ну, потом, думаю, ладно, поеду... Погляжу на братьев, посижу с контриком за одним столом хоть раз. Не замараюсь, может... Одевайся.

– Не пойду я...

– Еще чего! Живо! Жена покамест. Скандалить, что ли, зачем? Люди же в той комнате чужие.

Ненавидя себя за что-то – за безволие, может, за нерешительность и за эту вот подчиненность, – она полезла в сундук за новым платьем.

– Только, ради бога, ничего такого там не затевай...

– Не бойся ты за своего Ивана.

С тем они и подошли к квартире Антона.

...Федор поглядывал временами на пылающие уши жены, на молчаливого Ивана, но больше не произносил ни слова. Сидел и равнодушно слушал, как Антон, Кружилин и Хохлов разговаривали о делах завода, о том, как идет строительство землянок, о том, что надо ехать им вместе, видимо, в область и выколачивать побольше леса и пиломатериалов для строительства домов. Елизавета Никандровна то и дело наклонялась к Анне, к Агате, пододвигала им кушанья. Время от времени Федор подливал себе в рюмку, но хмель его не брал.

Наконец Кружилин поглядел на часы:

– Ого! – И сразу поднялся. – Как ты сказал, Антон, пьяный проспится, дурак – никогда... Хоть и не причисляем себя к последним, а времени, чтоб проспаться, все же порядочно надо...

Поднялись Хохлов и Антон, все шумно пошли на кухню. Иван и Федор тоже было шевельнулись, но Антон сказал:

– А вы посидите еще, ведь о многом поговорить охота...

Федор на это лишь усмехнулся и стал царапать вилкой по скатерти.

Проводив гостей, Антон сел на место Кружилина, приветливо улыбаясь, оглядывал Федора, Ивана, Агату, Анну. Улыбался и молчал.

– Что ж время-то терять на улыбки? – шевельнул влажным усом Федор. – Поликарп Кружилин провел воспитательную работу насчет меня, теперь ты начинай.

– Черт, ну просто не верится, что мы вместе вдруг все собрались, – сказал Антон. – Лиза, ты веришь? Будто в сказке. Вот Ванька сидит, вот Федька... Так и стояли они у меня в памяти: Ванька тоненький, быстрый, как живчик, вечно с обжаренным в лохмотья носом. А Федька степенный такой парнишка, рассудительный, красивый больно. Девки, наверное, сильно бегали за ним, а, Анна?

Анна, невесело улыбаясь, молчала. Елизавета Никандровна убрала лишние тарелки и рюмки.

– Да, о многом говорить нам, не переговорить... – вздохнул Антон, берясь за бутылку. – Ну, да в одном селе теперь живем, встречаться будем частенько. А сейчас вот эту рюмку хотелось бы выпить за самого младшего из нас, за Ваньку. Правильно сказал Кружилин – жизнь удивительная штукавина, не всякий и не сразу самую соль иногда схватит. Вот и поломала она Ваньку, с хрустом, видать, побросала из стороны в сторону, покатала, как на громотухинском шивере водяная струя камни катает... Да теперь, я думаю, все будет хорошо. Вот тут Федор говорил что-то насчет должности. Если человек по должности своей человек, то обязательно рано или поздно все будет хорошо... За тебя, Иван.

– Спасибо тебе, Антон, – хрипловато произнес Иван.

– А я за этого контрика пить не буду, – отрезал Федор.

Агата, побледнев, вся вытянулась, схватила Ивана за плечо. Анна же в третий раз за вечер вскрикнула:

– Федя?!

– Чего – Федя да Федя?! – загремел он во весь голос, поворачиваясь к жене. – Трогать любезного сердцу твоему Ивана я не трону, не бойся! Придет время – сама советская власть еще куда-нибудь его законопатит. И будем надежду иметь, что уж тогда-то, уж в третий-то раз – навсегда! А пить за него – увольте уж. И того через край, что за одним столом сiju...

Анна качнулась от мужа, вскочила, опрокинув стул.

– Аня... Анна! – Елизавета Никандровна заспешила следом за Анной на кухню.

Там Анна, плача, лихорадочно обматывала платок вокруг головы и, почти отталкивая от себя жену Антона, выкрикивала с ненавистью:

– Нет! Нет! Нет!

Антон, стоя, молча смотрел через всю комнату на все это. Иван тоже было встал, потом сел, лишь Федор никак не реагировал на происходящее.

Когда Анна выбежала из дома, Елизавета Никандровна потерла виски пальцами, будто что-то вспоминая.

– Да, чаю... Я сейчас.

– Агата, помоги, пожалуйста, ей, – попросил Антон.

Агата встала и ушла, прикрыв за собой двери.

– Встреча наша, прямо надо сказать, очень славной вышла, – сказал Антон, усмехнувшись.

– А ты чего хотел? – заговорил Федор. – Чтоб я целоваться с Ванькой полез? Об моем отношении к нему ты знал, надо полагать. А не знал – так знай теперь.

– А почему оно такое отношение у тебя?

– Ишь ты! Я, дорогой братец, за советскую власть кровь проливал, жизни не жалел...

– И я вроде не жалел...

– Ты... Ну, ты далеко от наших краев... не жалел ее. А я – тут. И Ванька тут бандитствовал. Отца с маткой тут, в Михайловке... А Ванька, несмотря на это, служил у них. Я что, могу это ему простить? Ты – прощаешь вроде. Поликарп Кружилин тоже. Ишь тосты какие умные начали говорить – человек должен стержень жизни понять, тогда, мол, станет человеком. Все – для Ванькиного оправдания. Ну, оправдывайте! Дело ваше! А он понял, думаете?

– А может быть, не только для Ивана, но и для тебя этот тост произносился? – спросил негромко Антон. – Для того, чтобы и ты стержень тот попытался найти?

– И для меня, как же... Все понимаем, не дураки. Только я его не терял...

– А может, все же потерял? Шел-шел да и обронил где-то?

– Ну, знаешь! – Федор резко встал, из-под насупленных бровей оглядел Антона, потом Ивана. – А-а, в общем, чего попусту воду лить? – И пошел на кухню.

Антон ничего не сказал, не задержал его. Через минуту хлопнула выходная дверь.

– А ты-то, Иван, что молчишь весь вечер? – спросил Антон.

– Так я что же? Обвиняет меня Федор правильно, оправдываться мне нечего. Как жизнь моя сложилась, ты знаешь. Письма два-три я посылал тебе, вроде Агата вот еще писала. Да и от других понаслышался...

– А я хочу от тебя самого. Давай рассказывай обо всем... О себе, о Федоре – все в подробностях. Понять я хочу вас обоих.

– О себе-то я могу. А об Федоре как мне? Я его и сам не пойму...

– Как уж понимаешь. Потом я тебе все о своей жизни поведаю...

...В эту ночь братья говорили до самого утра.

* * *

Выйдя из квартиры Антона Савельева, Федор постоял возле крылечка. Черная, тугая темнота осенней ночи придавила Шантару к земле. Эту темноту прокалывали кое-где желтоватые пятнышки светящихся окон.

Час или полтора назад, когда они с Анной шли к дому брата, небо сплошь было заложено грязно-серыми, тяжелыми облаками. Но тогда облака шли высоко, а сейчас – Федор чувствовал это – опустились до самой земли, обдавая ее холодом. «Неужели снег ляжет? – подумал он, вспомнив о нескошенном массивчике пшеницы. – Уйдет под снег – будет разговоров на всю зиму: пьянствовал, мол, вместо того чтоб косить и косить, до самых белых мух».

И крупно зашагал прочь.

Дул ветер, качал оголенные деревья, жесткие ветви тоскливо поскрипывали. Казалось, что тяжелые тучи бороздят своими днищами по верхним прутьям, едва-едва не ломая их.

Ничего, кроме неприязни к старшему брату Антону, а тем более – к Ивану, Федор не чувствовал. «И Анна, ишь ты: „Почему ты на всех плюешь-то? Это понять бы...“ На всех,

а сама Ваньку прежде всего в мыслях имела... И что он ей, заморыш тюремный? Сколько годов прошло, а она все об нем... Или это правда, что люди перед Христом за его страдания стелются?... И Поликарп с Антоном учить вздумали!»

Улица была темна – ни огонька в окнах, ни звездочки над головой. Его собственный дом тоже был погружен во мрак. «Ишь, не ждет... – со злорадством подумал об Анне. – А бывало – до света ждала...» И он почувствовал, как снова пухнет голова от раздражения.

Зайдя во двор, Федор заметил, что у Инютиных светится одно окошко. Оно до половины было закрыто занавеской, по занавеске мелькала тень. «Анфиса или Верка?»

Федор вдруг почувствовал в себе какую-то пустоту и тоску. Неприятно затомило, засосало в груди. Федор сел на лавочку возле стены и, прижимаясь к ней спиной, с удивлением слушал, как постанывает сердце, как тупо давит что-то на него. Этого он никогда не ощущал, такого с ним никогда не бывало. И потому испуганно подумал: «Это еще что такое? Может, болезнь какая?»

В окне Инютиных опять качнулась тень, вытянулась – Анфиса или Верка снимала платье. Мелькнули поверх занавески оголенные руки, и окно потухло. «Она, Анфиска», – узнал наконец Федор. Кровь у него чуть заволновалась, неприятные стонущие боли в сердце сразу исчезли. Он зачем-то представил, как Анфиса, засыпая, чмокает по-детски губами. Она всегда ими чмокает во сне. Потом вспомнил, как всегда дрожат под его руками ее острые, горячие плечи, как вздрагивает худая спина и гулко колотится что-то в ее груди, заставляя сильнее биться в ответ его, Федорово, сердце. И Анфиса в такие минуты сжигает его черным пламенем глаз, жадным и ненасытным. Даже в темноте он всегда будто различает этот испепеляющий черный огонь, чувствует его...

А вот с Анной, собственной женой, – с той всегда иначе. Когда-то, давно-давно, она была похожа на Анфису, она так же вспыхивала и сгорала. Но она никогда не вызывала у Федора такого же ответного желания. Наверное, потому, что Федор не верил ей. С самого начала не верил, с самой первой ночи после женитьбы, когда он узнал, что она, оказывается, порченная. Это его как кипятком окатило, он сел у окна и, куря самокрутку за самокруткой, вспоминал, как год назад привез ее откуда-то Иван в Зятькову Балку вместе с трупом ее отца. Наконец хрипло спросил:

– Кто ж... распробовал тебя? Ванька?

– Нет, нет! Феденька, любимый! Не-ет!

– А кто?

– Я не виновата, Федя... Я не могу сказать... Но я – честная! Тысячу раз убедишься, что я честная! Я заслужу твое прощение, я стелькой буду для тебя, удавить дам себя за один твой волосок! Я так люблю тебя – ты еще не знаешь. Только не спрашивай, забудь, а, Феденька?

Она ползала в тот вечер у его ног, плакала, исходила слезами, но так и не сказала, кто виноват в ее позоре. И потом никогда не захотела сказать. Федор не мог ничего забыть, не мог простить. Мало-помалу Анна остывала, делалась молчаливее, замыкалась. Она быстро постарела, Анна, как-то не телом, а душой. И ночами становилась все холодней и все бесчувственней. Она никогда не отталкивала Федора, но женское свое дело исполняла без желания, по обязанности – и Федор чувствовал – со все большей долей брезгливости. Сейчас вот он стал ей совсем чужой.

Федор поплотнее прижался спиной к бревенчатой стене, вздохнул. И в ушах у него вдруг зазвенели слова Кружилина: «Бывает... что человек, не понимая сути и смысла жизни, надевает черт-те что, наломает таких дров, так расшибет свою душу, что живет весь в синяках и кровотокающих ранах...» И только сейчас эти слова по-настоящему возмутили его. «Это... это я-то не понимаю сути и смысла жизни, наломал дров?! – с яростью подумал он. – Я, я, который партизанил, не щадя жизни, не боясь смерти! А после этого работал как положено, на плохом счету никогда не был...» Сколь существует МТС, столь и он, Федор Савельев, лучший

в ней комбайнер! Уж он-то, Кружилин, все это знает! Так какое право имеет так говорить?! Особенно это... это: «Смолоду прореха, к старости – дыра...» Какая, в чем прореха была? Где сейчас дыра? Какая дыра?!

Эти мысли, больно колотятся в мозгу, заслоняли все – и Антона, и Ивана, и Анну, заслонили, как бы стирая, и его, Федора, поступки и отношение к этим людям, будто ничего предосудительного по отношению к ним или к кому бы то ни было он не делал. И он чувствовал себя глубоко и несправедливо обиженным словами Кружилина, всем этим вечером, всеми этими людьми – Кружилиным, Антоном, Иваном. Даже собственной женой.

«Чужой я им всем, чужой», – думал он.

* * *

Федор рос мальчишкой тихим, пугливым, неповоротливым. Старший из сыновей вечного михайловского недоимщика Силантия Савельева, Антон, парнишка бесшабашный, непослушный и хулиганистый, откровенно презирал Федьку, часто поколачивал и вообще вроде и не считал за брата. И уж никогда не упускал случая поиздеваться – то спящему Федьке лицо разрисует угольком под черта, то сунет в ботинок сухой, ощетинившийся острыми, закоростевшими иголками шарик семян белены, то во время купания в Громотухе намочит и туго натуго завяжет обе штанины Федькиных брючишек.

Когда Федька прибегал в слезах к матери, Устинья Савельева, женщина маленькая, с плоской, иссохшей грудью и большими, раздавленными вечной работой руками, хватала прут, скалку или сковородник.

– Ах, он, разъязви его наперек! Чтоб его, неслуха, кикимор задавил на рассвете! – И бежала разыскивать Антона.

Если Антон в такие минуты попадался ей под руку, Устинья не жалея хлестала старшего сына. От ударов он не уворачивался, только пытался поймать прут или сковородник да говорил:

– Он же, тюха-матюха, на ходу спит. У него же мухи во рту плодятся. Тележного скрипу – и того боится... Вырастет с него мешок с г...

– Ироды! Навязались на меня, чтоб вас в один день посередке скрутило! – чуть не плача, выкрикивала мать, потихоньку остывая. – Сам-то в кого вырастешь? Тебе в школу надо было ишо хоть с год походить, когда ишо дышали мы мало-мало, а ты баклуши взялся бить. Извел, совсем извел мальчонку. Ты ведь на пять годов старше его... Вот погоди, отправим тебя в город-то Николаевск – почешешься! Тамока не у батьки с маткой за пазухой. Там дядька Митрофан тебя обтешет. Али головешку свою пустую сломишь там, али за ум возьмешься, балбес проклятый...

Однажды осенью, когда березы были облиты уже желтым пламенем, Антон сказал Федьке:

– Хошь, тюха-матюха, фокус покажу? В Змеиное ущелье слазаю и живьем вернусь.

– Ври поболе! – презрительно усмехнулся Федор. – Гадюки-то там...

– А ну, пойдем... – И потащил младшего брата к Звенигоре.

Ущелье, про которое говорил Антон, было самым глухим и зловещим местом на Звенигоре. Это скорее было не ущелье, а небольшой и неглубокий распадок, густо заросший черемухой, боярышником, калинником, малиной, дикими яблоньками. Он начинался у южного подножия Звенигоры и тянулся в глубь каменных теснин, чуть повышаясь, километра на полтора.

Этот распадок и называли Змеиным ущельем, потому что там действительно в несметном количестве водились гадюки. Чем их привлекало это место – неизвестно. То ли зарослями малины и прочей ягоды, то ли сыростью – где-то в верховьях бил ключ, и, стекая вниз, он сочился между камней и высоченными, в рост человека, травами до самой Громотухи, которая с юга огибала Звенигору. Змеи целыми клубками висели на деревьях, свившись кольцами,

грелись в солнечные дни на камнях. Но солнечных дней здесь было мало, потому что по дну распадка, облизывая камни и деревья, вечно ползали густые и едкие туманы.

Весной ущелье полыхало, как радуга. Там зацветали и черемуха, и яблони; меж камней, где посуше, пробивались поздние белые и фиолетовые подснежники; на открытых влажных полянках сплошными, ослепляющими пятнами горели лютики – точно кто разбросал по распадку золотые пластины. Но больше всего было змеиных кореньев – красно-розовых, бесстыдно ярких цветов с большими раздвоенными лепестками. Они цвели недолго, но буйно, усыпая потом камни, травы, мокрое дно распадка опавшими лепестками. Говорили еще, что именно запах этих цветов привлекает в ущелье змей со всей горы, что они жрут эти опавшие лепестки, именно опавшие, потому что к этому времени и накапливается якобы в побледневших цветочных лоскутках тот самый смертельный яд, которым страшны эти твари.

В Змеином ущелье царила вечная тишина. Птицы сюда никогда не залетали, ветер и тот редко-редко продувал сырую каменную дыру.

Осенью, когда змеи расплзались по норам и каменным расселинам, уходили в спячку, в ущелье было совершенно безопасно. Люди это понимали, наверное, но уж настолько место было зловещее, что редко-редко кто осмеливался заглянуть туда на часок, обогнуть куст боярышника или наломать пук калины. Но дальше, чем саженой на полсотни, заходить вглубь все равно не решались. Кроме того, ягоды, собранные в Змеином ущелье, считались не то чтобы ядовитыми – погаными, что ли.

Одним из первых, кто обнаружил и убедился, что осенью ущелье безопасно, был, пожалуй, Антон. Он года три или четыре подряд приносил оттуда целые ведра крупной сладкой ягоды – боярки, полные мешки пламенной калины или пронзительно кислых яблок-дичков.

– Откуда? – удивлялась Устинья. – Где натокал-ся-то?

– Там, в лесу, – неопределенно отмахивался Антон.

– Не с ущелья ли Змеинового? – подозрительно спрашивал отец. – Гляди – погань там одна растет.

– Да ты чо, батя?! – обижался Антон. – Не понимаю разве, что там поганое место!

Из яблок-дичков варили вкусный квас, из боярки и калины пекли пироги, ели, хвалили.

– Ну разве погань это? – говорил Антон. – Вкуснота одна.

...Когда братья подошли к Звенигоре, Федька остался внизу, на берегу Громотухи, а Антон зашагал в распадок.

– Дак ты постоишь где-нибудь близко, за кустом, – и обратно, – сообразил Федька.

– А ты гляди – я во-он с той скалы, которая как огурец торчит, тебе свистну и помахаю.

Скала, на которую показал Антон, была далеко, в самой глубине ущелья. Действительно, вскоре Федька услышал свист и увидел Антона на скале.

Все это очень удивило и поразило Федьку.

– А ты, Антон, как это?! – озадаченно спрашивал он по дороге домой. – Не боишься змей-то как?

– А они сами меня боятся.

– Почему?

– Потому что я не тюха-матюха.

– Все обзываешься, – обиделся Федька.

Несколько дней он ходил молчаливый, что-то обдумывая. Потом вдруг сказал:

– Знаешь что? Я тоже не побоюсь... в ущелье-то.

– Скажи другому кому! Полны штаны накладешь!

– Я? Я?! – гневно крикнул Федька. – Гад ты такой! Еще надсмеаешься... Пойдем тогда!

И они опять пошли к Звенигоре. Но теперь, к удивлению Антона, Федька смело шагнул в ущелье. Шел и шел не оборачиваясь, перепрыгивая через камни, продираясь сквозь кусты,

хлюпая сапогами по раскисшему дну. Только голову чуть втянул в плечи. И дошел до самой скалы, с которой в тот раз свистел Антон.

– Вот... – сказал он, останавливаясь. Лоб его был горячий и мокрый. – А то тюха да матюха я, тюха да матюха... – И мальчишка всхлипнул.

– Я больше не буду, Федь... Молодец ты.

Но Федька вдруг сел на обломок скалы и разрыдался. Видимо, удерживаемый страх, пересиленный упрямством, теперь выходил слезами.

– Вот еще мне! – нахмурился Антон. – Перестань! Кому сказано! Цыть... И я тебе еще что-то покажу.

– А что? – поднял мокрое от слез лицо Федька.

– А вот сейчас... Иди сюда, за мной...

Вершина скалы была круглой и острой, а основание – квадратной формы, с уступами. Прямо из-под камней густо росла жимолость, обсыпанная небольшими красными плодами. Все в округе называли их волчьими ягодами. Они были горькими и ядовитыми.

В одном месте среди жимолости рос старый и крупный куст боярышника с иголками длиною в палец. Антон нырнул под него, прыгнул на уступ, а потом на следующий.

– Давай сюда. Только об иголки не наколись.

Федька забрался вслед за Антоном на три-четыре уступа, оказался над нависшей козырьком каменной глыбой. Теперь уступы, как ступеньки, пошли вниз, а с боков сужались каменные стены. Но вдруг они расступились, и Федька оказался в черной пустоте. Под ногами был все тот же камень, но Федька, услышав, что екнуло сердце, остановился. Ему почудилось, что сделает он еще шаг – и загремит, как в колодец, в бездонную черноту.

– Кто-то заше-ол в мою-у кварте-еру-у... – услышал он жуткий и протяжный голос, и опять у него зашло в груди. Хотелось кинуться назад, на воздух, к свету. Но громадным усилием воли и упрямства он удержался.

– Ты, Антоха, не пугай меня, понятно? – хрипло сказал он. – Где ты?

Мигнул рядом огонек – Антон чиркнул спичкой, – и Федька увидел просторную пещеру, темный и мрачный каменный мешок.

...Потом, выйдя из пещеры, они лежали на замшелой плите, грелись под слабеньким уже солнцем.

– Как ты ее нашел, эту пещеру-то? – спросил Федька. – Снизу ее совсем не видать.

– Так, лазил-лазил да нашел. Здоровенная?

– Жутко в ней.

– А ты скажи мне – змей-то боялся, когда сюда шел?

– Ага... – помедлив, ответил Федька. – Сильно боялся. Снизу-то ничего, думаю, я в сапогах. А ну как с куста какая сорвется? Да за шиворот прямо...

– И все-таки шел?

– А как же... Чтоб ты не смеялся, паразит такой... Пущай, думаю, лучше укусит...

Антон засмеялся и сказал, как недавно:

– Молодец, Федьша... Так и надо в жизни – ничего не бояться. А теперь я тебе секрет открою: нету сейчас тут змей.

– Как нету? Куда они подевались?!

– Они в этом ущелье рано в спячку ложатся. Раньше, чем в лесу.

– Интересно, – протянул Федька. – И никто в деревне не знает?

– Знают, наверное. Да все равно боятся сюда ходить по привычке. Такое место...

– Интересно... – еще раз вымолвил Федька. – Н-ну, я как-нибудь попытаю тут Ваньку с Кирькой... Пущай только подрастут у меня. Я их огорошу... как ты меня.

– Только запомни, Федор, – серьезно сказал Антон, – пока березы сплошь не пожелтеют, чтоб сюда носа не совать. Смерть это сразу. Обязательно покусают гадюки. Ты понял?

– Не глупый. Пока березы не пожелтеют...

– Вот-вот... А сейчас пойдём, я покажу, как змеи на зиму засыпают. Тут они в такие клубки свиваются – двое мужиков, однако, не поднимут. Айда, вырежем только по палке...

А через неделю после этого и приехал в Михайловку тот дядька Митрофан, о котором часто говорила мать. Обнявшись с родителями, он сурово поглядел на Федьку, на четырехлетнего Ваньку и высыпал им на колени по куче пряников и даже конфет в бумажках – точь-в-точь какие часто сосала неряшливая и сопливая дочка деревенского лавочника Кафтанова Анька, вызывая всеобщую зависть. Ей тоже было, как и Ваньке, года четыре. Как-то она дала одну конфетку Федьке, и он долго помнил ее вкус. Потом Федька часто умышленно попадался на глаза девчонке, смотрел, глотая слюни, как она сосала свои конфеты. Но Анька не замечала этих взглядов.

Перебирая неожиданно привалившее богатство, пересыпая конфеты из ладони в ладонь, Федор думал о дочке лавочника: «И пусть не дает теперь, у меня у самого их вон сколько... Я сам ей сегодня целую горсть высыплю – на, мол, ешь, не такой жадный, как ты...»

Дядя Митрофан пожил в Михайловке несколько дней и уехал, увез с собой четырнадцатилетнего Антона, взамен оставив две или три ловко сколоченных табуретки. Федька не жалел об отъезде старшего брата. Когда сильная рыжая лошадь потащила из деревни телегу, на которой сидел испуганный немного Антон и глядел на отца, на мать и на него, Федьку, будто просил у него прощения за все те злые штучки, которые устраивал над ним, Федор проговорил, правда без злости:

– Так ему и надо, гаду белобрысому.

– Цыть ты, щенок! – прикрикнул отец. – Без тя тошно.

Отца Федька побаивался. Длинный, с костлявыми локтями, с вечно запутанной седой бороденкой, отец всегда был хмур, сердит. Он редко бывал дома, месяцами пропадал на пашнях того же Анькиного отца.

Когда телега скрылась за околицей, отец и мать ушли в дом, а Ванька, до половины засунув палец в ноздрю, спросил:

– Рази он гад, Антоха-то? А, Федь?

– А ты как думал? Кто мне штаны всегда мокрым узлом завязывал? И все другое?

– А-а... – И, подумав, Ванька заключил: – Не-е, он хороший.

К тому времени, как уехали дядя с Антоном, пряников у Федьки уже не было, да и конфет осталось с дюжину. Он их пересчитал, подумал и решил: «Ладно, Аньке дам штуки три – и будет с нее». На следующий день: «Три-то жирно ей будет. Одной хватит». А еще на следующий: «А что ей давать? И без того обожралась, вон их сколько в ихней лавке. Пузо-то вечно тугое от конфеток. Отчего же еще может быть таким тугим?» И положил последнюю конфетку в рот.

Антон уехал – и будто в воду канул, не было о нем ни слуху ни духу долго, лет шесть. Только один раз за это время, года, кажется, через два после его отъезда, Федор и услышал имя старшего брата. Дело было так. Однажды вечером мать сказала Федору:

– Темняется уж, где Ванька запропастился? Сбегай к Инютиным, к имя он, должно, ушел. У Кирюшки-то отец с войны пришел, по пьянке прижулькнут ишо ребятенка.

О том, что где-то не то идет, не то уже кончилась война с каким-то японцем, Федор слышал от взрослых. И что на войну взяли отца Кирюшки, Демьяна, он тоже знал. Но что дядька Демьян вернулся с войны, еще не слышал, потому что весь день, с утра, пропадал на Громотухе. Была ранняя весна 1906 года, день стоял ветреный, Федор на рыбалке продрог, но, ни слова не говоря, поплелся на другой конец деревни, где стояла избушка Инютиных с двумя тусклыми окошками.

У Инютиных действительно пьянствовали. Избушка была набита битком, низкий потолок облизывали языки табачного дыма. Сам Демьян, распаренный, косматый, сидел у края

стола, рядом с ним стояли костыли. Войдя, Федька с удивлением и страхом уставился на единственную ногу Демьяна – вместо другой торчал обрубок.

– ...так что – воевали! – пьяно рассказывал о чем-то Демьян, размахивая руками. – Он, японец, хитрый. Опять же шимозы эти у него... Ну и мы, конечно, не дураки. – Он наклонился к Силантию (тут только Федька заметил своего отца) и, понизив голос, почти шепотом, проговорил: – Сказать по секрету, этих, социалистов, среди солдат много.

– Социалистов? – переспросил Силантий, тоже пьяненький, потный.

– Ага... И пропаганды всякие пушают. Дескать, не воюйте сильно, пусть царь-батюшка поражение потерпит...

Демьян замолк, обвел всех построжевшим взглядом.

– Ну и слушают, которые подурее. А я – не-ет. У меня вот он, крест! За храбрость даденный. – И выпятил грудь, на которой под неярким светом керосиновой лампешки тускло блеснул желтоватый Георгиевский крест.

Ванька с сыном одноногого Демьяна Кирюшкой сидели у порога, макали в блюде с медом куски хлеба. Кирюшка был одних примерно лет с Иваном, измазанные медом щеки его блестели, быстрые глазенки тоже поблескивали радостно и возбужденно.

– Ага, крест это... настоящий, – пролепетал он и затеребил Федора за рукав: – Ты хошь если меду, бери вон корку. Тятка мед-то принес...

Федор тотчас взял кусок, ткнул в блюдо.

– А кто они такие, Демьян, социалисты-то эти? – спросил Силантий.

– А навроде твоего брательника Митрофана.

– Че... Чего-о?! – глаза Силантия стали круглыми.

– А ты не знал? Не знал?! – враждебно закричал Демьян, взмахнул рукой, задел свои костыли. Они с грохотом упали на грязный, затоптанный пол. Демьян хотел их поднять, нагнулся. Но потом передумал будто, выпрямился, положил руки на стол и заплакал навзрыд, горько и обиженно.

– Ты че, Демьян? Демьян... – дотронулся до него Силантий.

– Не знал?! – опять закричал громко Демьян, рывком поднимая голову. – Про братца своего? Про сына Антошку?

– Да ей-богу... Письмов нету.

– Письмов? Ну, я тебе без писем расскажу. Я в Новониколаевском лазарете год, почи-тай, лежал, все эту ногу мне отрезали да залечивали. Прошлогод осенью они, социалисты николаевские, и зачали народ баламутить. Митрофан, этот, брательник твой. И сынишка твой Антон заодно с имя.

– Антошка?! – воскликнул Силантий.

– Ишь, гады, чего зачали! Мы там под шимозы клались, за Расею, за царя-кормильца жизнев не жалели! Вот нога-то – где она? Куды я теперь без ноги-то?! А они там ишь чего! Наперекор власти начали народ подымать...

– Не болтай ты, чего не знаешь! – подал голос с другого края стола деревенский староста Панкрат Назаров, мужичок лет около тридцати, высокорослый, грудастый, с курчавой бородкой и крепкой шеей, тоже засыпанной кольцами волос.

– То есть как я не знаю?

– А так... Нам неведомо, что это за социалисты такие, с чем их едят, – сказал Назаров. – Я только знаю, что Митрофан – мужик порядочный. Мастеровой.

– Порядочный? А за что же тогда их в тюрьму засадили? – пьяно выкрикивал Демьян. – И Митрофана, и Антоху, сына твоего, – крутнул он мокрое лицо в сторону Силантия.

– И Антоху? – переспросил упавшим голосом Силантий. – Постой, постой, за что парнишку-то в тюрьму? Как это могёт быть, чтоб парнишку?

Но тут Силантий увидел сыновей, нахмурился.

– А вы чего тут? Ну-ка, домой!

Придя домой, Федор бухнул с порога захлебнувшимся голосом:

– Мам, Антона-то... в тюрьму посадили!

Мать так и задыхнулась возле печки, где возилась с чугунами.

– Как?... За что? Ты чего, страмец, мелешь?!

– Не знаю... – испуганно вымолвил Федька, только теперь действительно испугавшись.

...Отец вернулся от Инютиных поздно, долго ходил по комнатушке, о чем-то раздумывая, теребя всклокоченную бороду.

– Чего, чего там с Антошкой-то? – несколько раз спрашивала мать. – Ты пошто молчишь-то? Господи...

– Чего, чего... А я знаю – чего? В тюрьму, грит Инютин...

Лежа под рваным тулупишком, Федор представлял себе эту самую тюрьму в виде огромной завогни лавочника Кафтанова, сложенной из толстых почерневших бревен, с окованной железом дверью. Разница была лишь та, что на дверях висело побольше замков да еще стоял тюремщик с плетью.

Федор немного послушал, как шептались отец с матерью, хотя слова разобрать было невозможно. Мать временами всхлипывала, подвывала.

– Ну, ты – сыть! – беззлобно говорил вслух отец, вздыхал и ворочался. Деревянная кровать под ним тяжело скрипела.

Потом Федор уснул. Спал он в ту ночь, как всегда, крепко, без сновидений...

* * *

«Чужой я им всем. Чужой... – наверное, в десятый раз подумал Федор, глядя на темные окна Инютиных. – Для Анфиски только и не чужой...»

Федор подумал опять, что Анна вот постарела, а Анфису время и не касается будто. И десять, и двадцать лет назад она была такой же молодой и свежей. Она была всегда очень удобной для него. И сейчас, если Федор стукнет тихонько в окно, чуткая Анфиса тотчас проснется, послушно пойдет с ним куда угодно и потом, уткнув красивое лицо в его волосатую грудь, будет спокойно и безмятежно спать, сладко почмокивая во сне влажными губами. Чудно и непонятно иногда: чья она все-таки жена – его, Федора, или Кирьяна? И еще непонятно: как она ухитрилась двух своих детей родить именно от Кирьяна?

– А может, мой это ребенок? – дважды спрашивал у нее Федор, когда родилась Верка, а потом Колька.

– Не-ет, этого никак мне нельзя. Он, Кирьян, мой муж, его и детей я должна родить, – дважды ответила Анфиса.

И действительно, чем больше подрастали ее дети, тем отчетливее проступали у обоих черты Кирьяна.

Край неба стал светлеть, начали обрисовываться во мраке крыши домов. А Федор все сидел и сидел у стены своего дома, сам не зная, не понимая, зачем и почему он просидел здесь всю ночь.

«Сейчас Анна встанет, корову надо доить», – равнодушно подумал Федор, прислушиваясь, не донесется ли какой звук из дома. И в самом деле, услышал, как скрипнула дверь.

Анна вышла во двор минуты через три и пошла с ведром через огород к Громотушке. Она сразу же, едва вышла, увидела Федора на скамейке у стены, но ничего не сказала, только глянула на него и пошла к ручью. Федор скорее догадался, чем увидел, что лицо у нее заплаканное.

Когда она возвращалась, Федор вымолвил:

– Подойди.

Анна поставила ведро с водой на землю, пошла было к скамейке, но остановилась шагах в пяти.

– А ты сядь рядом.

Анна помедлила, но потом села, немигающими глазами смотрела на темные окна Инютиных.

– Ты, однако, думаешь, что я у Анфиски ночевал?

Анна ничего не ответила.

– Нет, я тут вот всю ночь просидел. Я к Анфиске теперь или никогда не пойду, или уйду насовсем. Вот так, значит, только. Как решу, так и будет.

– Ну и как решишь-то?

В тихом голосе Анны почудилась Федору насмешка.

– Не знаю, – раздраженно сказал он.

Осеннее утро занималось медленно, с большим трудом. Солнце было еще где-то далеко, за краем земли, его лучи не касались ее, да и не коснутся, видимо, сегодня, потому что земля наглухо закрыта толстым слоем грязных облаков.

– Вот так, Анна, – сказал Федор и поднялся. – А сейчас в поле я поехал.

Ни слова больше не прибавив, он вышел на улицу. Калитка жалобно скрипнула за ним. Этот скрип резанул Анну по сердцу, губы дрогнули, и она почувствовала, как по щекам, обжигая их, покатались тяжелые слезы.

– Ох, долюшка ты женская, горькая... – услышала она голос своей квартирантки Марьи Фирсовны.

Та подошла и села на скамеечку. Анна, не в силах сдержаться, тяжело всхлипнула и повалилась к ней на плечо. Платок сполз с ее головы.

– Ну, ну, – погладила ее Марья Фирсовна по теплым волосам. – Я вот гляжу – изводишься ты без меры. Всю ночь проплакала, я слышала... Тяжко тебе?

– Так тяжело, так тяжело, если бы кто знал! – сквозь слезы проговорила Анна. – Вот зачем только нарождается человек? На муки, да?

– Вишь тут какое дело-то, – задумчиво произнесла Марья Фирсовна. – Не было бы муки, не было бы и счастья. Не понимали бы тогда его...

– Да где оно, счастье? Али хотя бы простая радость? Какова она на вкус-то?

– Ну, это уж ты врешь, девонька, – сурово произнесла Марья Фирсовна. – Было оно у тебя когда-то в жизни. У каждого человека бывает. Не может не бывать, хотя бы маленько.

Анна поднялась, поправила платок, вздохнула.

– Не знаю. Может, было. Только совсем-совсем маленько. И давно. Так давно и так маленько, что будто и не было. Забылось уже все.

– Где же забылось, раз страдаешь об нем? Не забылось.

Прошла ночь – мертвая, глухая. Еще час назад казалось, что ночь никогда не кончится, что вот так и будет вечной чернотой лежать на земле, придавив этой нескончаемой теменью все звуки, всю жизнь. Но вот просочился рассвет, пока еще бледноватый и скучный, – и быстро начали вспыхивать окна в домах, задымились трубы.

Мигнув, осветилось окошко и у Инютиных. И опять, как несколько часов назад, мелькнула за стеклом тень, четко обозначилась женская фигура.

– Он что, Федор твой, полюбовницу завел? – откровенно спросила Марья Фирсовна. Анна вздрогнула. – Я все вижу ведь. Не маленькая.

– Она всю жизнь у него. Вон, – кивнула Анна на мелькавшую в окне тень.

– И что она, лучше тебя?

– Не знаю. Что ты пытку устраиваешь? – почти с ненавистью крикнула Анна.

– Ну, как не знаешь! Думала, поди, об этом, – будто не слыша голоса Анны, не понимая ее состояния, сказала Марья Фирсовна. – Все мы ведь думаем об этом. Я вот до сих пор помню,

влюбилась еще девчонкой в одного. Так влюбилась, дура, света белого не вижу. Так и не поняла толком, когда и как он из меня бабу сделал. А потом и бросил, за другой начал ухлестывать. Господи, сколько я слез пролила! Перед зеркалом часами голая стояла, все сравнивала себя с той. Подгляжу, когда она купается, потом сравниваю, – нет, думаю, и ноги у меня стройней, и груди покрепше, и лицо помиловиднее. И опять реветь от обиды. Вот так.

И странно – чем дольше говорила Марья Фирсовна, тем больше успокаивалась Анна. Подкупала, что ли, эта предельная женская откровенность?

– Не знаю я, Марья Фирсовна, – вздохнула Анна. – Когда-то я была, однако, лучше Анфиски. Красивше, это точно. И телом крепче. Сейчас-то, конечно... Высохла я. Он высушил.

– Значит, никудышный он человечиска, – произнесла Марья Фирсовна задумчиво.

– Тебе откуда знать – кудышный или никудышный? – с неожиданной обидой за Федора произнесла Анна.

– Я знаю: никудышный, – еще раз подтвердила Марья Фирсовна убежденно. И, помолчав, продолжала: – Люди-то – они ведь разные бывают. Вот я после того замуж вышла. Так, без любви, лишь бы грех прикрыть. Ну, отвели свадьбу, спать легли. Сама думаю: ежели попрекнет меня, в окошко выпрыгну в одной нижней рубашонке, убегу, а погонится – зубами буду отбиваться. А что догонять станет, знала, любил он меня. Ну а он, знаешь, лежит и смотрит в потолок. Лежит и смотрит. И я лежу ни живая ни мертвая. Я-то, дура, чего угодно ожидала, только не такой пытки. Потом он вздохнул и говорит: «Обидно мне, конечно, Маришка. Но то все до меня было, и не я тебе судья. А при мне случится – я судить буду». И все. И с тех пор ни слова об этом. Второй десяток живем – и ни слова.

Марья Фирсовна замолчала.

– Ну а ты? – осторожно спросила Анна.

– А я что? Я – счастливая. Я никогда, даже в мыслях, не изменяла моему Герасиму. И режь вот меня сейчас – ничего такого не позволю. А почему? Что доселе тот его вздох помню? Помню, конечно. Но главная статья в другом. Хороший он человек. Мне тогда лучше ножик в сердце, чем в его глаза глянуть.

– Полюбила, значит, ты его? – осторожно спросила Анна.

– Ага, полюбила. Не сразу как-то, он ведь у меня невидный из себя, низкорослый, но зато без остатка полюбила.

Марья Фирсовна поправила юбку на коленях, вздохнула.

– Где он только сейчас, мой Герасим? С первого дня воюет. Прямо через полдня после начала войны его и забрали. А нас потом вот сюда эвакуировали, он и не знает, где мы... Ну, да живой останется – разыщем друг друга. А сгинет где – не знаю, как я... Не переживу я тогда, исчахну, должно.

Марья Фирсовна говорила негромко, голос ее подрагивал. И было в этом голосе столько искренности и тоски, что Анна верила – исчахнет эта женщина, если не вернется с войны ее Герасим.

– Хорошая, должно быть, ты, Марья...

Марья Фирсовна поглядела на Анну пристально. И Анна впервые как-то заметила, что глаза у нее добрые, теплые, светится в их глубине таинственный и зовущий куда-то огонек. И поняла, за что полюбил и любит до сих пор ее «невидный из себя» Герасим.

– Да что ты, какая я хорошая, – смутилась Марья Фирсовна. – Просто – баба. Вот Герасим у меня хороший, говорю. Ну а об том, первом, и думать забыла.

Было уже совсем светло, по улице шли люди, с удивлением поглядывая на двух немолодых уже женщин, сидящих за оградкой на скамеечке возле стены. Анна, задумавшись, смотрела куда-то в одну точку.

– Тебе, Марья, в одном повезло: тот, первый, сразу объявился, что он никудышный. Ты молодая была, бездетная. А я вот как? И вообще... к чему ты все это мне рассказала? Растравить захотела?!

Последние слова Анна выкрикнула вдруг враждебно, лицо ее зло задергалось, сделалось некрасивым.

– Ну, ну... – успокаивающе произнесла Марья Фирсовна. – Не надо так... Что толку-то? Я рассказала вот, а ты прости. Я и сама не знаю зачем... Но и так жить тебе – что толку? Вот, опять слезы. Как их много у нас, у баб! Вытри.

Анна послушно вытерла пальцами красные щеки.

– Что же мне, в самом деле, расходиться с ним?

– Кто тебе может посоветовать? Сама думай, Аннушка, как лучше. Сегодня, слышала, всю ночь Семен ворочался, не спал. Видел, какая ты с гостей прибежала, вот и не спал. Те, младшие, Андрей с Димкой, еще ничего не понимают, а этот мужик уж, все примечает. Тоже ведь думать надо, каково и детям, во что вырастут, глядя на такую вашу жизнь. И опять же – каково им будет, если разойдетесь? Тут все надо обдумать на сто рядов, прежде чем решиться, когда детям больше пользы будет. Мать на то и мать, чтоб о детях прежде всего заботиться.

– Да на себя-то мне уж теперь и наплевать.

– Совсем-то плевать тоже погодить надо. Еще не старуха, еще и счастье может отыскать тебя. Родить еще можешь.

Анна медленно подняла глаза, долго и внимательно глядела на Марию Фирсовну, хотела сказать: «Не понимаю я тебя, Марья. Чего ж ты все-таки мне советуешь?» Но спросила о другом:

– Неужели... может отыскать?

– Жизнь – она неожиданная.

– Нет, не отыщет...

– Ну зачем так зазря говорить? Хороших людей тоже много на земле.

– Не-ет, – мотнула головой Анна. – Может, и много, да только не найдут они меня. И... не имею, видно, права я на это.

– Это почто же?

– Жизнь моя перепутанная. Вся изломанная. Я ведь дочь кулака... А брат мой родной – вор, бандит настоящий, всю жизнь по тюрьмам провел. Недавно тут объявился... Слышала ведь, поди, разговоры про Макара Кафтанова, которого милиция недавно забрала?

Марья Фирсовна приподняла голову. В глазах ее, окаймленных неглубокими морщинами, дрогнул, встрепенулся тот самый таинственный огонек и опять стал гореть ровно.

– Моя девичья-то фамилия Кафтанова. Но я партизанила в гражданскую войну вместе с Федором... А потом... потом...

Снова из воспаленных глаз Анны хлынули слезы. Она прислонилась к плечу Марьи Фирсовны и, чувствуя, что та не отстраняется, испытывая благодарность к ней, бессвязно заговорила сквозь рыдания:

– Если бы ты знала, как мне было слушать твой рассказ об Герасиме! И у меня, может, был такой же, как твой Герасим... Был, да мимо прошел... Потому что сама его оттолкнула. А он тоже прощал, что меня бабой до поры сделали. Не Федор сделал... другой. Об нем... об этом я никому не могу сказать, никому. Господи, почему я не удавилась тогда?! Никакой бы муки сейчас не испытывала.

– Тихо, тихо, Анна... Чего ты, ей-богу! Люди вон глядят, пойдем отсюда, – вставая, проговорила Марья Фирсовна. – Не можешь – и не надо рассказывать. У человека бывает такое, что должно с ним в могилу уйти. Это бывает... Ну, вставай.

Анна тяжело поднялась, концом платка вытерла глаза и губы.

– Прости меня, Марья, расквасилась я, – сказала она неожиданно сухим и спокойным голосом. – Мне жить тяжело не от Федора только. А от всего. И что я дочь кулака, и что брат у меня такой... – Она взяла ведро с водой, пошла, но у дверей остановилась и проговорила: – А об этом, который мне прощал все, который на Герасима твоего похож, я могу тебе сказать. Иван это, его, Федора, брат...

– Иван?! Этот, что из тюрьмы пришел?! – изумленно воскликнула Марья Фирсовна.

– Он, – подтвердила Анна, смахивая со щек последние слезинки. – Только ты не думай, что он на брата моего Макара похож. Он на Герасима твоего похож. Да только поздно это поняла я. Оттого-то, может, и судьба у него такая горемычная.

* * *

До полевого стана Федор добрался, наверное, часам к двенадцати дня, потому что на элеваторе долго не было попутных машин. Голодный и оттого еще более сердитый, он издали оглядел неподвижно и тоскливо стоявший посреди пустынного поля свой комбайн, черневший возле него трактор Кирьяна Инютина и ударом ноги распахнул дверь полевого вагончика.

– Дрыхнете?! – загремел он, входя, со злости пнул какое-то ведерко, запутавшееся в ногах. – А ну, вставайте, мигом чтоб! Кирьян, где ты? И пожрать чего мне, живо!

И тут только заметил, что нары, на которых спали обычно Кирьян и копнильщики, пусты.

– Эт-то еще что за номер? Эй, кто тут есть?

Из-за занавески вышла заспанная и растрепанная Тонька-повариха, не по годам расплывшаяся деваха, которую звали все Тонька-нетронька, потому что она, равнодушная к сальным шуточкам мужиков, не обращавшая внимания на их недвусмысленные намеки, скалкой провозжала всякого, кто шуточки ли ради или питая какие-то надежды совался к ней за занавеску.

– Чего орешь? – спросила она. – Вон там хлеб, молоко. Кусок сала возьми. Горячего не варила – не для кого.

– Как не для кого? Где Кирьян? Возле трактора, что ли?

– В Шантару уехал. Домой, стало быть. Вчера еще ночью, вслед почти за тобой, – лениво сообщила Тонька.

– Как в Шантару? Как домой?

– А так. Плюнул да уехал.

– Как это плюнул? – выходя из себя, закричал Федор.

– Как, как... «Не хочу, говорит, больше ни одной минуты с Федькой вместе работать».

Обматерился и уехал. Как только глотки вам, матершинникам, не заложит...

И, зевнув, пошла к себе за занавеску. Уже оттуда она продолжала, укладываясь на скрипучий топчан:

– Еще Кирьян сказал: пусть, грит, Федька себе тракториста другого в МТС просит. Ну и копнильщики ушли – в бане, гряд, хоть помыться. А я одна тут с волками. Как чувствуют, вроде, паразиты, что одна тут ночь была, без мужиков, к самому вагону подходили. Ступай к Назарову и скажи, что, ежели к ночи мужики не приедут, я тоже уйду вечером в деревню. Боязно мне одной тут.

Не дослушав повариху, забыв про свой голод, Федор выскочил из вагончика и крупно зашагал в Михайловку.

Там он с ходу надел на председателя, увидев его возле амбара:

– Это что за фокусы происходят?! Ты, председатель, куда смотришь? Что это Кирьян тут мне выкидывает?

– А я откуда знаю, что Кирьян тебе выкидывает? – негромко произнес Назаров, остужая пыл Савельева. – Чего на меня расшумелся? Вы с Кирьяном не мне, а эмтээсовскому начальству подчиняетесь.

Федор только сейчас подумал, что Назаров тут действительно ни при чем, чуть поостыл. Возле амбаров толпились несколько мужиков и баб с литовками и граблями. Подъехала бричка. Старик-кладовщик вынес из амбара полмешка муки, две огромные свежее испеченные булки, все это уложил в бричку.

– Езжайте, – сказал Назаров. – Мимо картошки поедете – наберете, сколь надо. Да бурт не забудьте обратно прикрыть. Мясо у Тоньки на сегодня есть, а завтра скажу, чтоб еще подвезли...

– Это что же, – сообразил наконец Федор, – ту полосу косить?

– А ждать прикажешь, покуда вы фокусы с Кирюшкой перестанете делать? Чтоб под снег пшеница ушла?

– Так я же с твоего согласия уехал. Да и то на ночь.

– А Кирьян без моего. И на день. А небо, гляди, совсем затяжелело.

Федор плюнул и побежал к конторе. Там он, громко сопя и отдуваясь, яростно закрутил телефонную ручку.

– Але, станция?... МТС мне! Директора, живо...

Как на грех, ни директора, ни главного инженера на месте не было. Другие работники ничего вразумительного по поводу Инютина сказать не могли. Они только сообщили, что в МТС Инютин не появлялся.

Пулей вылетев из конторы, Федор в бессильной ярости завертелся у крыльца. Окажись Инютин чудом тут сейчас, долго пришлось бы ему прикладывать потом к разным местам прищипки.

Выматерившись, Федор побежал за деревню, на ближайший ток. Там ему сказали, что несколько подвод с хлебом ушло на эlevator час назад, посоветовали заглянуть во вторую бригаду – с ихнего тока повезут зерно в Шантару. Но бежать во вторую бригаду – только время терять. Застонав, Федор бросился к большаку. Около часу он шагал по пустынной дороге в сторону райцентра. И только возле Звенигоры его нагнала какая-то случайная подвода.

До Шантары Савельев добрался, когда неожиданно проглянувшее солнце опускалось за горизонт. Федору и тут не повезло – молчаливый старик-подводчик свернул к крайнему домишку и натянул вожжи. А усадьба МТС была на другом конце деревни.

Солнце между тем уже село, улицы заволакивал синеватый вечерний мрак.

«Куда же идти – в МТС, в райком, в райисполком? – лихорадочно думал Федор, шагая по проулку. – Там уж, наверное, все разошлись. Да и что там скажут? Нет, надо сперва к самому Кирьяну забежать, спросить, чего он, сопля тягучая, выкинул такое... То-то последние недели все надутый был, как индюк, все соображал будто чего... Ишь, сообразил...»

Кое-где уже светились желтовато огоньки, когда Федор, минуя свой дом, заскочил в инютинскую усадьбу. Он прыгнул на крыльцо, протопал по темным сенцам и рванул двери.

Кирьян Инютин сидел за пустым столом. Он был в натальной рубашке, в чистых, выходных штанах, но босиком. В руке он вертел деревянную ложку, чертил ею по голым доскам крашеного стола. Анфиса стояла у печки, сложив руки под грудью. Черные красивые глаза ее были задумчивы, на бледном лице разлита прежде несвойственная ей серьезность, даже тревога. Видимо, они говорили о чем-то очень важном для них обоих, говорили давно и еще разговаривали бы долго, если бы не помешал Федор.

Все это Савельев схватил глазом и понял умом в одну секунду. Еще он заметил в ту же секунду, что его появление испугало Анфису: она чуть отшатнулась к стене, быстро поглядела направо и налево, будто выбирая, куда ей метнуться, исчезнуть. Но исчезнуть было невозможно, брови ее переломились, щеки побледнели. А сам Кирьян только перестал чертить ложкой по столу.

– Та-ак... – выдохнул Федор, стоя в дверях, шумно дыша.

Инютин бросил на стол ложку.

– Рано ты, Федор, пришел-то. Ведь я еще спать не лег.

– Кирьян?! – воскликнула Анфиса умоляюще и рухнула на колени перед мужем, уткнув голову ему в колени. Плакала она или нет, было не слышно, но, видимо, плакала, потому что плечи и спина ее колыхались. Длинные волосы Анфисы рассыпались, закрыли голые ноги Кирьяна. Он положил руку на плечо жены, чуть погладил ее.

– Будет. Встань. Не надо.

Все это – и поведение Анфисы, и жесты Кирьяна, и его слова, и нежность в голосе – было необычным и даже пугало Федора.

Анфиса поднялась, стала прибирать волосы, чуть отвернувшись и от Федора, и от мужа.

– Ты что делаешь, а? – хрипло заговорил Федор. – Ты почему это... трактор оставил?! А ежели снег завтра? Ты не понимаешь, что ли, что война... военное время? Объясняй.

– Долгое вышло бы объяснение мне с тобой, – сказал не торопясь Кирьян, – да и не сумею мне. Слов не найти. А теперь – уходи отсюда.

– Работать со мной не хочешь – не надо. Поищи другого комбайнера, с ним, может, больше заработаешь. Но два-три дня мог бы потерпеть. А там, на другое лето, и ищи. А за самовольный уход с работы спросим!

– Спросишь? А может, у тебя спросило затупилось?

– Постой, постой... – Федор поводил в воздухе усами. – Мне бы догадаться сразу, что ты в военкомат опять лыжи наладил... Ну, сняли с тебя броню? В добровольцы записали?

– Хотели, да бумаги не нашлось. Покудова погодить велели.

Федор насмешливо вздернул губой.

– Доброволец – смехота одна... Ну а пока бумаги ищут, дожинать нам ту полоску надо. На заре стукну тебе в окошко, чтоб готов был. К утру на стане надо быть. А счас прикорну пойду, со вчерашнего вечера не спамши.

– К утру-то еще много может чего произойти, – как-то загадочно и туманно ответил Кирьян и, тоже усмехнувшись, прибавил: – Стучи, если хочешь. Сейчас, говорю, рано пришел, а на заре будет в самый раз. Анфиса тебе откроет.

И, видя, что Анфиса поспешно обернулась, хотела что-то сказать, прихлопнул ладонью по столу:

– Ну!

Федор пытался сообразить, о чем говорит Кирьян, но не мог.

В избу, толкнув Савельева плечом, влетела Вера.

– Нету на вокзале его, все закоулки обшарили. Успел, должно, с каким-нибудь поездом уехать, – быстро проговорила она, разматывая платок. Потом прижала ладони к разгоревшимся на свежем воздухе щекам и замолчала.

– Что за переполох такой? – уже взявшись за дверную скобку, спросил из любопытства Федор. – Кто куда уехал?

– Да вы не знаете, что ли? – всплеснула руками Вера. – Андрейка же ваш на фронт убежал!

– Кто? – Федор даже шагнул к Вере. – Чего мелешь? Как убежал?

И, не дожидаясь ответа, ринулся за дверь.

* * *

Некоторое время в избе Инютиных стояла тишина. Потом Анфиса загремела заслонкой, стала собирать на стол.

Ужинали тоже молча.

– Колька где? – спросил у Веры отец.

– Там еще, на станции, шарится. И Димка ихний, и Семен. Может, говорят, притаился все же где. Там ведь заводских грузов горы навалены.

Еще через некоторое время Кирьян опять спросил у дочери:

– Так ты что, окончательно, что ли, за Алейникова этого замуж решилась?

Вера пролила на стол суп из ложки, но больше ничем не выдала своего состояния.

– Там видно будет, – глядя в тарелку, ответила она.

Анфиса поглядела на дочь, но ничего не сказала.

– А Семка Савельев? Побоку, что ли?

– Ты чудной, право... Я сказала – там видно будет.

– Значит, ничего не решено у вас с Яковом?

– А что может быть решено? Он в райком только заходит да молчком глядит на меня.

– Врешь. Мать говорила, провожает он тебя часто с работы.

– Где часто? Раза два всего и было. Идет – молчит, доведет до крылечка – молчит. На прощанье промямлит: «До свиданья» – и скорей прочь.

– Ну а Семка знает?

– Колька ему изложил все.

– И что он?

– А ничего. Молчит. А с глазу на глаз с ним давно не виделись. Он все с утра до ночи грузы на завод со станции возит...

– Так... – Кирьян положил ложку, отодвинул тарелку. – Не знаю я, Верка, что с тебя получилось. То ли стерва первостатейная выросла, то ли еще чего похлеще.

– Сколько уж раз я от тебя это слышала, – усмехнулась Вера. – Надоело. Ничего пока с меня не выросло.

И, выйдя из-за стола, накинула пальтишко, ушла куда-то.

После ужина Анфиса молча принялась убирать со стола. Кирьян курил у дверей на голбчике. После встал, надел сапоги, верхнюю рубашку, пиджак, старую тужурку. Он собирался будто на работу. Только штаны на нем были выходные, нерабочие.

– Подай сидор, – сказал он Анфисе.

Она вытащила из-под кровати небольшой вещевой мешок. Но не подала его, уронила на пол, а сама упала на грудь мужу.

– Кирьян! Одумайся! Все хорошо у нас будет. По-другому...

– Не верю, – глухо сказал он.

– Будет, будет... Кирьян! – Запрокинув мокрое лицо, Анфиса умоляюще глядела ему в лицо.

– Да и не в этом дело... Не могу я просто больше вообще... Не хватает мне чего-то в самом себе. А чего – не знаю. Вот и поищу. А ты живи как хочешь. Дети большие, я говорил... После войны, останусь живой, приеду сюда поглядеть. На тебя и вообще... Ну, тогда все видно будет... А тебе все прощаю.

– Ты подумай, что делаешь-то? На войну убёгом, как мальчишка какой, как Андрейка?! Ну, тот малый, несмышленьш. А ведь нас-то засмеют! И тебя засмеют. Слыхано ли, чтобы пожилой мужик на войну убежал? – торопливо и сбивчиво говорила Анфиса.

– Ничего, пушай смеются.

– Да ведь сейчас, слыхала я, так просто не проедешь по желдороге-то? Тебя ведь с первой станции воротят...

– Поглядим еще... Я не тут, не у нас, садиться буду. Дойду до полустанка, а там прицеплюсь на товарняк... Али еще как... Андрейка подпортил мне, сейчас везде за поездами следить будут. Поглядим, в общем.

– Кирьян! Родимый! Да и так взяли бы тебя...

– Будет, сказано, – уже раздраженно произнес Кирьян, отстраняя от себя жену. – Мне ни верности, ничего от тебя не надо теперь, кроме одного... Ни сегодня, ни завтра, ни через неделю не говори, где я и куда я. Вот об этом и прошу только... А чтоб не думали тут, что скрылся от войны, что сбежал, я напишу тебе потом оттуда, ежели доберусь... Чтоб, значит, не причиняли вам тут никаких притеснений. Ну все!

Кирьян поднял вещевого мешок, ступил к двери. Анфиса все громче кричала, подвывая, все крепче цеплялась за мужа. Он пытался оторвать от себя жену, оттолкнуть, но не мог. Так, почти волоча ее за собой, он вышел в сенцы. И только там ему удалось на мгновение оттолкнуть ее. Он быстро выскочил на низкое крылечко, захлопнул за собой двери и накинуд шеколду на крючок.

– Кирья-ан! – донеслось из-за дверей. Анфиса пыталась их открыть, дергала на себя.

«Верка придет со свиданий своих и откроет... Или Колька скорей воротится...» – подумал Кирьян и шагнул с крыльца.

* * *

Федор, кажется, в два прыжка достиг своего дома, отмахнул дверь.

– Ну?

Анна в рабочих сапогах и грязной фуфайке крутилась по комнате, будто помешанная. Следом за ней ходила Ганка с кружкой в руках и повторяла:

– Тетя Аня, тетя Анечка! Выпейте и лягте. Найдется он, куда он убежит? Тетя Аня...

Анна остановилась, глянула на мужа пустыми глазами. Потом медленно стала поднимать руки к лицу и одновременно оседать на пол. Она упала бы, если бы Федор не подхватил ее. Он посадил жену на кровать.

– Выпейте, тетя Аня, – опять поднесла ей кружку Ганка.

Анна теперь взяла у нее кружку и выпила.

– Как это случилось? – спросил Федор.

Как случилось – этого никто не знал. Утром, как обычно, Андрейка взял свой старый, потрепанный ранец и пошел в школу. Анна с недавнего времени работала на заводе по трудовой повинности. В час дня она пришла домой пообедать и накормить ребятишек. Ни Андрейки, ни Димки дома не было. Димка учился в седьмом классе, приходил из школы иногда поздно, но Андрейка должен был уже вернуться... «Что это он сегодня?» – подумала Анна и стала собирать на стол, уверенная, что вот-вот появятся оба. Еще подождав, вышла из дома глянуть вдоль улицы – не идут ли сыновья? И точно, в конце улицы бежал вроде Димка. «А где же другой постреленок?»

Тут она заметила, что из-под крыльца торчит угол какой-то книжки. Анна нагнулась, вытащила. Это была Андрейкина арифметика. Анна пошарила под крыльцом, вытащила еще несколько учебников и тетрадей младшего сына. «Это еще что такое?!» – млея от нехорошего предчувствия, подумала она, вертя в руках книжки и тетрадки. До нее донесся голос подбегающего Димки:

– Мама, мама! Андрейка... Вот, – и протянул бумажку.

– Что? Что случилось?

Андрейкиными каракулями в бумажке было нацарапано:

«Дим, скажи Кольке, что он дурак. Зачем ходить в военкомат-то? Пусть сделает, как я. А что я на фронт поехал – мамке скажи, чтоб не волновалась. Но только дня через три. Я надеюсь, что ты не сразу, ладно? Твой брат Андрей».

– Да что это, что такое? – все еще не понимая, вымолвила Анна.

– Что? На войну убежал, паразит такой! Побоялся только, что надеяться нечего, седни же скажу, – сунул бумажку в физику. А физика у нас последний урок. Сообразил. Я учительнице сказал, а она: «Беги, говорит, скорей, скажи дома...»

И тут только до Анны дошел весь смысл Андрейкиной записки.

– Ах он змей пустоголовый! – бледнея, закричала она. – Пропадет, с голоду сдохнет... Что же делать-то, Димушка? На станцию, однако, надо, – может, он еще там болтается. А Семен, Семен-то знает?

– Наверяд... Откуда ему?

– Димушка, сынок! Ты беги на станцию, там и Семку где-нибудь встретишь, скажешь...

А я – в милицию... Стой, стой! – крикнула она, видя, что Димка метнулся вдоль улицы. – Голодный же, хлеба хоть возьми...

Димка заскочил в дом, схватил со стола несколько ломтей и стрелой полетел на станцию.

В милиции Анне не дали сказать и слова:

– Знаем. Из школы звонили. Приняли меры. Поставили в известность линейный отдел милиции. Не волнуйтесь, найдем. Живой ведь человек...

Из милиции Анна тоже побежала на станцию.

Остаток дня Анна, Семен, Димка, а также взявшиеся откуда-то Колька и Вера Инютины да еще долгоногая Ганка обшаривали все закоулки вокзала, проверяли все вагоны отходящих составов, ходили между грудями кирпичей, штабелями леса... Но все было бесполезно, Андрейки нигде не было.

– Пропал, пропал мальчонка! – сама не своя шептала Анна. – Прижухнут где-нибудь... или под колеса попадет.

– Ты, мама, иди-ка домой, – сказал Семен, когда начало темнеть. – Никуда он не денется, найдется. Ганка, Вера, отведите ее домой.

Но идти она согласилась, когда совсем стемнело.

– А вы еще с Димкой поищите... Может, он тут все же где притаился, – сказала она Семену.

– Конечно, мы еще поищем, мама...

Все это Федору сбивчиво рассказали Анна и Ганка. Он выслушал стоя, не раздеваясь. Анна во время рассказа плакала, сидя на кровати.

– Будет слезы лить, – проговорил Федор, сбрасывая тужурку. – Дай чего пожрать, со вчерашнего гостеванья крохи во рту не было. Раз ищут – найдут. Не иголка он, в самом деле. Сейчас сам сбегая в милицию, узнаю, как там они его ищут...

И, ожидая, пока жена даст ему поесть, поставил локти на стол, уронил в ладони тяжелую голову.

Поужинав, он в самом деле пошел в милицию. Вернулся и молча начал раздеваться, стаскивать сапоги. Прошлепав босыми ногами по крашеному полу кухни, где спала теперь Анна, лег на кровать лицом к стене.

– Чего там? – не вытерпела Анна. – Неизвестно что про Андрейку?

– Неизвестно пока. Спи давай.

Через минуту повернулся на спину, проговорил:

– Аникей Елизаров сказал, что братца твоего Макарку вскорости судить будут. Он это автолавку-то... жиганул, академик. Да и кому боле? Он да Гвоздев Ленька какой-то. Что за Гвоздев – не припомню. Да еще Витька им Кашкаров помогал. Специалист, и мальчишку подбил. Приварят теперь Макару, не мирное время...

Федор зевнул и умолк. Через полминуты он задышал глубоко и ровно.

Анна с ненавистью глядела на мужа. Ей казалось, что рот его все еще растянут в зевке, что зияет на его лице широкая черная яма...

* * *

Летом 1910 года, в жаркий июньский день, Силантий Савельев приехал с кафтановской заимки, швырнул в угол кнут и сел к столу, зажав голову руками.

– Пресвятая Мария, заступница... – перекрестилась Устинья.

– Где Федька?

– Огородишко поливает. Да ты чо?

– А то, что ее, жизнь-то нашу, да в грамотухинскую пролубку! Федьку требует Михаил Лукич в смотрители заимки-то...

– Охтиньки-и! – И Устья плюхнулась на лавку. – Ить испохабят мальчонку... Пятнадцать годков всего...

– Ну! То ли испохабят, то ли с голоду подыхать... Выбирать из двух нам только...

Последние годы завязывали Савельевых все туже и туже. Началось все с возвращения в деревню Демьяна Инютина. Несколько дней он погулял, потом надвое разрезал осиновый сутунок, каждый обрезок покачал в руках, пробуя на вес, один отбросил, а другой стесал на конус, в верхнем конце сделал широкий паз, приладил сыромятные ремни с застежками.

– Вот и нога готова, – сказал он тому же Силантию, завернувшему как-то на огонек. – Осина – она ничего, легкая. А может, еще какое дерево легче есть, а?

– Кто его знает? Я не пробовал, нужды не было.

– У тебя нужда-то – в тюрьме сидит, – скривив шелушившиеся от долгой пьянки губы, сказал Демьян.

– Да что ты, ей-богу? Парнишка по глупости, может...

Странные бывают превращения с людьми. Был Демьян до войны человеком робким, забитым, голь перекатная, как и Силантий. Вместе они в юности по девкам бегали, вместе ломали спину на кафтановских пашнях. Но пришел с войны георгиевским кавалером – и будто подменили человека. Как-то враз, с первого же дня, повел он себя так, будто выше стал на голову Силантия, выше других.

Впрочем, ни Силантий, никто другой еще не знали, не предполагали, какие дремавшие в нем силы и желания пробудило обладание Георгиевским крестом, какие планы строил этот человек, лежа в госпитале, на жесткой больничной койке.

– Господи, помоги ногу только сохранить! – хрипел он, мучаясь от боли. – Ведь кавалер я теперь, один на всю нашу деревню. Как же я без ноги?

Когда ногу все же отрезали до колена, он, выплакавшись с досады, обозленный на весь мир, твердил мысленно:

«Ну, погодите... погодите... погодите...»

Что означало это «погодите» – он тогда и сам не знал. Но чувствовал: в обиду теперь ни людям, ни жизни себя не даст.

Выстрогав деревяшку, Демьян на другой день протер суконкой свой крест, надел новую рубаху и заявился в дом к Кафтанову.

– А-а, кавалер... – протянул Кафтанов, красный, распаренный, дую на блюдец. – Садись почаявничай с нами. Уважь...

Демьян кинул картузишко в угол, перекрестился на образа. Жена Кафтанова, желтая, исхудалая, редковолосая, налила ему чашку. «Ишь, все такая же тощая, – подумал Демьян. – Али болезнь ее какая грызет?»

Он выпил одну чашку и отодвинул ее, давая понять, что пришел не чаевничать, а по важному делу.

Кафтанов был мужчина крупный, раскормленный, с ноздреватыми щеками. Большой нос в частых розовых прожилках, и глаза в таких же прожилках, в густой окладистой бороде просвечивала седина.

Вытерев полотенцем мокрые губы, он насмешливо спросил:

– Так что ж, кавалер, насчет работы?

– Оно так, Михаил Лукич. Насчет службы.

– Какой ты работник с одной-то ногой? – Кафтанов поцарапал волосатую грудь.

– Оно так, Михаил Лукич. Работать мне несподручно теперь, а служить можно.

Жена Кафтанова перекрестилась и тихонько, как мышь, выскользнула за дверь.

– Ладно, Демьян. Поскольку кавалер ты, дам тебе легкую службу. Будешь на заимке у меня в Огневских ключах жить. Я, помнишь ведь, человек гулливый, бабенок люблю туда возить.

– Как же, как же... Расшабашный ты человек, Михайло Лукич. Известно.

– Ну вот... Будешь там жить, заимку в порядке содержать, самогонку курить. Чтоб, когда мне вожжа под хвост попадет, все там наготове было. Жеребцов пару там я держу на всякий случай – ходить за имя будешь. В общем, навроде, значит, зрителя ставлю тебя...

И Кафтанов раскатисто захохотал, в глазах его с красными прожилками выступили слезы. Отсмеявшись, добавил:

– Самый ты удобный для этого человек. Когда перепьюсь, сударушки мои на тебя не обзарятся, должно быть...

Демьян, однако, хранил серьезность, даже неодобрительно поглядел на Кафтанова.

– Что обижаешь кавалера, Бог тебе простит, Михайло Лукич. А с какого боку я удобней тебе, это ты еще и сам не знаешь.

В словах и голосе бывшего батрака было что-то необычное. Кафтанов, прищурился, посверлил Инютина.

– Ну-ка, поясни.

– Выгода твоя в том, чтоб главным зрителем меня поставить над всем твоим хозяйством.

Это было так неожиданно, что Кафтанов оторопел.

– Кроме торговли, конечно, – добавил Демьян. – Торговыми делами ты уж сам занимайся.

– Ты чего, дурак, мелешь? Как так главным?

– А навроде приказчика али управляющего. На манер как у богатых господ.

– Да у тебя мозгов-то хватит ли?

– Ничего... Дело крестьянское.

– Кхе-кхе... Гм... – Кафтанов обошел кругом Демьяна, разглядывая его так, будто впервые увидел такое чудо. – Так... Ну а воровать сильно будешь?

– Не без этого, если без утайки сказать, – глядя Кафтанову прямо в глаза, отрезал Демьян. – Дурак без выгоды живет. А я – человек. Да только на копейку сворую, на червонец прибыли принесу.

Кафтанов глядел и глядел на Демьяна во все глаза.

– Интересный ты, однако, с войны пришел. Да ведь сын у меня, Зиновий, есть, семнадцать годов уж ему. Его и хочу этим... главным управляющим ставить.

– Молодо-зелено, Михаил Лукич, говорится. Торговлей вот и пусть покуда занимается. Там ему делов хватит. А я – остальным. А ты, как и следоват, над всем вожжи держать будешь да кнутом помахивать...

И тут Демьян упал на колени, схватил руку Кафтанова.

– Верой и правдой служить буду, Михайло Лукич... Крестом своим клянусь – вернее пса буду. Увидишь и поймешь всю выгоду, ей-богу! Скоро увидишь, совсем скоро, ежели все в мои

руки отдашь. У меня ништо не выскользнет. А не поглянусь тебе али разор принесу какой – пинка под зад да за ворота. Кто тебе помешает? Михайло Лукич...

На другой день Инютин распорядился на конюшне Кафтанова, каких лошадей отряжать на пахоту, каких – за товаром в город для кафтановских лавок. Через неделю появился на пашне, прошелся из конца в конец огромного поля, глубоко увязая деревяшкой в рыхлой земле. Там, где деревяшка лезла неглубоко, останавливался, кричал:

– Эй, кто пахал? – И когда подходил какой-нибудь заветренный мужичонка, говорил, не глядя в глаза: – За ночь, значитца, перепашешь как положено. За износку хозяйского плуга и лишнюю надсадку лошадей осенью вычтем, как водится.

Говорил он тихо, спокойно, не сердясь, и никто как-то не принимал всерьез его слов.

Но в июне, когда начался сенокос, Демьян так же спокойно говорил многим михайловским мужикам:

– Я б тебя взял, Гришуха, у тебя по лавкам-то сидят не то пятеро, не то семеро. Да ить помню – с хитрецей ты пахал весной, меленько. Глаз да глаз за тобой надобен. А я поспевать не могу везде, одна нога-то у меня. Ты уж поищи где в другом месте работы, за Громотуху сплавай, в соседнюю деревню, может, там наймешься. За пахоту, понятно, осенью разочтемся. А ты, Федот, вроде работающий, да спать по утрам горазд. На Пасху-то, помнишь, до обеда спал почти. А земля сохла... Не знаю, что с тобой и делать. Ладно, возьму последний раз...

Без крика и ругани, как-то незаметно Демьян установил свои порядки найма. Кому отказывал в работе, те плевались и уходили пытаться счастья в другие деревни. А кто работал у Кафтанова, по-прежнему не чували над собой особой беды. Мало ли об чем поскрипит Демьян, чем пострашает... Побурчит да забудет.

Но осенью, при расчетах, все обалдели: каждому приходилось за работу чуть ли не вдвое меньше, чем в прежние годы.

Поднялся ропот и шум. Мужики потребовали самого Кафтанова.

– Ну, молчать! – коротко сказал тот. – Демьян нанимал вас – с ним и рассчитывайтесь...

– Вот так, мужички, – усмехнулся Инютин в отпущенную за лето рыжеватую, лисью бородку. – Кто это из вас тут особые говоруны? Память-то, якорь ее, не забыть бы...

Когда закончился год, Демьян пришел к Кафтанову, вынул мятые бумажки из кармана.

– Так вот, Михайло Лукич, я тут подбил бабки приблизительно. Ржи при тех же пашнях, овсов, ячменей да гречишки мы собрали в общей сложности тыщ на десять пудов поболее прошлогодних твоих урожаев. Сенца заготовили славно: если хочешь, можно коров двадцать-тридцать подкупить. Ну, маслица сбили, медку накачали чуток побольше. В рублях подсчитать – ты уж сам. Но мне сдается – тысчонок на двадцать я тебе лишней прибыли принес. Вот, решай, прогадал ты, нет ли на мне. Ежели нет – может, вознагражденья прибавишь.

– Ну, жи́ла ты, Демьян, не ожидал, – сказал Кафтанов. – Гляди, как бы мужики тебя не пристукнули твоей же деревяшкой.

Года полтора Демьян Инютин жил в той же кособокой избушке, что и до ухода на войну. А осенью 1907 года нанял бродячих плотников, и они за месяц поставили ему аккуратненький домишко в три комнатки.

– Разве тебе такие хоромы поднять бы теперь? – как-то с улыбочкой стриганул его староста Панкрат Назаров.

– А куда нам больше? Я, да баба, да Кирьяшка – и вся семья. На топливо зря тратиться. Зима-то долгая.

– Теперь тебе токмо и прибавлять семью.

– Да нет уж. Родилку-то пора попу на кадилку отдавать. Это вам, жеребцам молодым...

– Не скажи. Ты тоже деревяшкой-то своей, как жеребец копытом, землю пашешь.

– Чего? – мотнул бороденкой Демьян, пытаясь поймать смысл в последних словах Назарова.

В первое лето Инютин не притеснял Силантия Савельева. Может, потому, что не было случая придраться. Силантий всякую работу делал на совесть. Демьян не раз проверял глубину его вспашки, придирчиво ходил вокруг свершенных Силантием стогов, не раз в самое неудачное время объявлялся на гумне, по плечо втыкал руку в ворох провеянного им хлеба, вытаскивал горсть ржи, проверял на сорность, деревяшкой разворачивал кучи половы, любопытствуя, нет ли там зернышек. И, сопя, отходил. Силантий работал еще старательней, чуя, что малейший промах ему дорого обойдется. И точно...

Зимой, вывозя с дальних покосов сено, Силантий замешкался раз до темноты. Спеша, он не поберегся на дорожном раскате, воз накренился и опрокинулся. Хрустнула оглобля, заржала, падая в снег, лошадь.

Пока Силантий освобождал коня, вырубал и прилаживал временную оглоблю, стало совсем темно. В темноте он принялся перевьючивать воз. Подул вдруг ветер, клочья сена понесло в поле. Выбиваясь из сил, он пытался как-то сложить воз. Но вилы с пластами сена выворачивало из рук. А тут еще повалил снег, ветер усилился, кругом засвистело, заревело. В две-три минуты бешеные порывы ветра разлохматили, раздергали остатки сена, уволокли его прочь, в сугробы, в темноту, до последней былинки.

Делать было нечего, Силантий, продрогший до костей, бросил в пустые сани бастрок, веревку, вилы, поехал в деревню, чистосердечно все рассказал Демьяну.

– Работнички, чтоб вас... – грязно выругался Демьян. – Против порядка смутьянить – на это вы горазды... Ступай.

На другое утро, когда Силантий пришел на кафтановскую конюшню, Демьян поднял на него круглые, начавшие уже заплывать жиром глаза.

– Ступай, ступай... Я ить сказал вчерась.

– Да ты что это, Демьян? Ну, случилось... Поимей сердце.

– Ежели я буду иметь его, Михаил Лукич по миру пойдет.

– Далеко ему до сумы-то... Как нам до Бога...

– Во-он ты еще как?! Пошел, сказано!

Красных дней и во всей-то жизни Силантия не было, а с этих пор и вообще наступили одни черные. Правда, время от времени Демьян давал какую-нибудь работу и ему, Силантию, и Федору, когда тот стал подрастать. Но что бы и как бы старательно они теперь ни делали, Демьяну все казалось не так, он вечно на них покрикивал, заставлял переделывать, платил разве-разве половину.

– Да что это он за кровосос такой? – не раз глухо говорил Федор, ноздри его от обиды подрагивали. – Я ему, попомни, воткну вилы в бок.

– Одумайся, что мелешь?! – зеленел и без того позеленевший Силантий. – А потом на каторгу за прохиндея этого?

Неизвестно, каким путем – то ли сам подслушал, то ли кто другой да потом угодливо донес Демьяну, – только Инютин узнал об этих словах. Он не рассердился, лишь сказал с ухмылочкой:

– Во-во... Едино семя – едино племя. Ишь волчонок! Ну, ты-то еще воткнешь ли, нет ли, а я, считай, уже изделал это.

И вообще перестал давать Савельевым работу.

Демьян знал, что делал. Работы, кроме как у Кафтанова, в деревне не было. Силантий пробовал ходить на заработки в Шантару, по другим деревням. Иногда и удавалось кое-что подработать. Федька ловил на Громотухе рыбу, зимой ставил петли на зайцев. Этим и жили кое-как, но концы с концами свести было невозможно. Все Савельевы обносились, в избе, кроме стола, табуреток да нескольких чугунков, ничего не было.

Нынешней весной, перед самым половодьем, Силантий возвращался домой из соседней деревни, неся в кармане рваного зипунишка заработанную трешницу. Он торопился, чтобы до

ледолома поспеть в Михайловку. Когда перешел Громотуху, его нагнала запряженная парой крытая кошева с колокольцами. Он посторонился, давая дорогу, но кошева остановилась.

– Постой. Ты, Силантий, откуда? – услышал он голос самого Кафтанова...

– С Гусевки я... Работал там месяц.

– Погоди. А пошто не у меня?

Кафтанов был пьяненький, веселый, глаза поблескивали, крупный нос багровел, как стылый помидор. В глубине кошевы угадывалась женщина, завернутая в тулуп.

– Я давно у тебя не роблю уж, Михайла Лукич. Демьян не дозволяет...

– Как так? Да ведь ты самый работник... А ну, садись!

Силантий взобрался на козлы.

– А правь на Огневские ключи! Не жалеть жеребцов!

На ключи так на ключи, Силантию было все равно. Он уже понял, что Кафтанов загулял.

На лесной заимке стоял крепкий сосновый дом в четыре комнаты, конюшня, баня и еще кое-какие службы. Баня стояла на берегу озера, в котором водились огромные щуки. Летом Кафтанов любил, напившись, нырять в это озеро и подолгу плавать в нем.

Когда приехали, из дома на звук колокольцев выскочил молодой парень, бывший приказчик кафтановской лавки в Шантаре Поликарп Кружилин, схватил лошадей под уздцы. Савельев знал, что этот коренастый парень с буйными черными вихрами, с режущим взглядом всю зиму, с осени, живет на заимке в должности «смотрителя». Силантий не раз заходил в шантарскую лавку, встречаясь с глазами приказчика, думал: «Хлюст. Такие-то обсчитают – и глазом не моргнут». За что хозяин разжаловал его в «смотрители», Силантий не знал. Да и кто поймет крутой и сумасбродный нрав Кафтанова? И потом – то ли разжаловал, то ли пожаловал, тоже было не понять. Говорили, что молодой приказчик лихо пляшет, и Кафтанов, напившись, заставлял якобы его плясать до упаду перед своими сударушками.

Кафтанов выпрыгнул из кошевы. Следом вылезла и женщина, тоже вроде пьяная, по виду цыганка, сбросила тулуп, сверкнула узкими глазами. Кружилин кинулся к ней, намереваясь отвести в дом.

– Прочь! – рывкнул Кафтанов, сам повел ее к крыльцу. Потом вышел из дома, бросил Кружилину его полушубок и шапку. – В Михайловке сдашь коней Демьяну, а сам в Шантару, на прежнее место. Поплясал – и будет. – И закрутил волосатым кулаком перед носом Поликарпа. – А то, гляжу, к бабам моим сильно прилабуниваться стал, зараза, как только я переберу. Совести у вас, кобелей, нету. Твое счастье, что ни разу не поймал! А то камень бы к шее да в пруд...

Кружилин надел полушубок, молча сел в кошеву и уехал.

– Вот так, – удовлетворенно произнес Кафтанов. – Ты-то, Силантий, откобелил, должно уж, а? Будешь теперь заместо Поликашки тут. Ну, тащи самогонки. Вон в курилке возьми, помидоров из погребушки достань... Что рот раззявил, живцом у меня!.. Да баню растапливай, мыться с цыганкой этой будем...

Так Силантий стал жить на Огневской заимке.

Сперва старику муторно было глядеть на пьяные оргии хозяина и его гостей. Иногда Кафтанов привозил откуда-то на заимку по несколько мужиков и баб, они по неделям беспробудно пили, жрали, орали песни, плясали, все вместе мылись в бане, выгоняя хмель, а потом с разбегу с визгом, с гоготом ныряли, прыгали в озеро. И мужики и бабы бесстыдно шлялись по дому, по заимке полуголые.

– Собачник... Прости ты, господи, истинный собачник... – шептал иногда Силантий, присев где-нибудь отдохнуть.

Перед началом гульбища на заимку всегда приезжал Демьян Инютин, привозил всякие копчености, соленое сало, конфеты, иногда ящик-другой никогда не виданных Силантием диковинных бутылок с вином. Он почти ничего не говорил Силантию, лишь кисло усмехался в лисью свою бородку, как бы говоря: ладно, мол, живи уж пока, раз хозяин того желает.

Так и шла жизнь до сегодняшнего дня...

Федор, за последние годы вытянувшийся чуть не с отца, пришел с огорода весь мокрый. Старые холщовые штаны были засучены выше колен, ноги грязные. Густые, давно не стриженные волосы космами падали на лоб.

– Чего тут такое? – спросил он начавшим ломаться голосом. В плечах он был еще узок, лопатки сильно выпирали из-под рубахи, длинные руки болтались чуть не до колен, но ладони уже широкие, сильные, мужские, над верхней губой пробивался первый пушок, грудь начинала бугриться.

– Умывайся. На заимку Огневскую поедешь...

– А зачем?

– Зачем, зачем! Заместо меня вроде Кафтанов ставит.

Глазенки Федора загорелись, но тут же он потушил их. Он не раз бывал на заимке (правда, в отсутствие Кафтанова и его гостей), знал, какую работу исполняет отец.

– Не сам Кафтанов, а Лушка это Федыку-то облюбопытствовала, – невесело проговорил Силантий, когда Федор пошел умываться. – Ходит по заимке, трясет грудищами, сучка ненасытная... Третий день Кафтанов пьет с ней.

– Испохабят парнишку, господи! Испохабят, – все ныла Устинья. – Не дам я его, не дам!

– Не дашь... Учили плеткой, поучат и дубиной. Куда ты денешься...

Когда Федор умылся и оделся, Силантий посадил его в пролетку, сказал, вручая вожжи:

– Лушка там с хозяином, упаси бог тебя касаться ее. Помни: свернет тебе Кафтанов голову и под мышку положит, если что... Будет приставать Лушка – бей ее по мордасам. Это Кафтанов тебе зачтет даже.

– Чо это она ко мне будет? – краснея, сказал Федор.

Женщин Федор еще не знал, но, как и для всякого деревенского подростка, для него давно не было в этой области человеческих отношений никаких секретов.

– Гляди, гляди, сынок! Я не зря говорю. А гнев кафтановский ты знаешь.

Федор уехал, одолеваемый страхом и любопытством.

На заимку он приехал засветло, зашел в дом. Кафтанов, сдвинув тарелки на середину стола, лежал на нем грудью и головой. Лукерья Кашкарова в застегнутой наглухо кофточке, в длинной измятой юбке тормошила его то с одного, то с другого бока:

– Михаил Лукич, поспать тебе надо... Михаил Лукич...

– Вот приехал я... – сказал Федор.

Лукерья не обратила даже внимания на него. Ей было на вид лет двадцать пять – тридцать. Гибкая, как змея, полногрудая и широкозадая («Тонка, да усадиста», – говорил про нее сам Кафтанов), она двигалась по комнате легко и неслышно, на ногах держалась твердо, но Федор видел, что она тоже сильно пьяна.

– А-а! – протянул Кафтанов, услышав голос Федора, подмял голову. – Подойди...

Федор подошел, Кафтанов взял его сильной рукой за подбородок, мутными глазами долго смотрел в лицо.

– Ничего. Соплив пока и не возгрив. Н-но, ежели ты, песья харя... И ежели ты! – повернулся он к Лушке. – Свяжу обоих – и в озеро!

– Да ты что, Михаил Лукич! Мне морда этого Силантия до тошноты опротивела. И глазами все режет, режет, будто... Отяжелел ты, айда, поспи маленько.

– Да, я пойду, пойду...

Лукерья увела Кафтанова в боковую комнату. Федор слышал, как она укладывала его на кровать, снимала сапоги, бросала их на пол. Он вышел из дома.

Убрав лошадь, Федор побродил по двору, не зная, что делать. Вернулся в дом, глянул на дверь, за которой скрылась Лушка с Кафтановым. Оттуда доносился храп.

Стараясь не греметь, он привел в порядок стол и комнату. Все еще было светло, и Федор решил порыбачить. «Может, завтра как раз ухи-то и спросят», – подумал он.

Федор знал, где у отца стояли удочки, лежали морды, корчажки и прочая рыболовная снасть. Тут же он нашел в банке и червей, накопанных отцом, видно, вчера или даже сегодня.

До самой темноты Федор сидел в камышах, потаскивая карасей. А перед глазами безотвязно стояла почему-то Лушка с ее туго выпирающими под кофтой грудями, с широким задом, с растрепанными волосами. Федор краснел, пытался отогнать видение, думать о чем-нибудь другом. Но она лезла и лезла ему в глаза...

Спать он лег в отцовской комнатухе, закинув дверь на толстый кованый крючок. Уснуть долго не мог, ворочался. Забылся, наверное, под утро.

Прохватился он от осторожного стука в дверь. Сердце бешено заколотилось.

– Кто? – осевшим голосом спросил Федор.

– Вставай, – послышался Лушкин голос. – Хозяин зовет.

– А-а, счас, – помедлив, ответил он. Подумал: «И что ему не дрыхнется, паразиту...»

Только-только, видно, зарилось, в окно было видно, что поверх верхушек деревьев чуть засинел краешек неба. Федор толкнул створки окна, услышал призывный голос одинокой пичуги. Грудь его изнутри царапнул утренний холодный воздух. Он натянул сапоги и откинул крючок. Откинул – и попятился: за дверьми, как привидение, белела она, Лукерья...

«Привидение» шагнуло в комнату, закрыло двери на крючок, вытянув в стороны руки, двинулось к нему. Федор прилип к стене, в коленках у него больно заныло.

Лушка подошла вплотную, взяла обеими руками его голову и принялась жадно целовать в щеки, в подбородок, пытаясь отыскать губы. От нее несло самогонным перегаром и еще чем-то сладковато-приторным. Федор вертел головой, уворачиваясь от мокрых, горячих губ.

– Пошла... Пошла ты!.. – хрипел он не своим голосом.

– А ты молочный еще... Непробованный, видать, – хохотнула Лушка, прижала его щекой к голой груди.

Впервые почувствовав живое женское тело, Федор охмелел, в голове его зазвенело. Не помня себя, он рванулся...

Очнулся он где-то в лесу, в густых кустах, долго и тупо соображал – его собственное сердце это стучит или он все еще слышит под щекой звон в Лушкиной груди?

По небу расплывалась ярко-малиновая заря, наперебой свистели птицы. Где-то рядом слышались шаги по траве.

– Федька... Федька... – тихо звала Лушка. – Чего испугался-то, дурачок? Вот дурачок!

Федор еще плотнее прижался к земле. Шаги, удаляясь, затихли. «А ведь не отвори я окошко раньше, не сбежать бы мне от нее, ведьмы, – думал Федор. – Никак не сбежать...»

В кустах он пролежал долго. Возшло уже солнце, а он все лежал, пока не заныла от холода грудь. Наконец встал, поплелся к заимке. Кафтанов, черный, опухший, сидел за столом, глодал кусок копченого мяса. Перед ним стояла бутылка, стакан. Лукерья сидела рядом, кутаясь в платок.

– Ты где это, сопля тебе в глотку, пропадаешь?! – сверкнул глазами Кафтанов. – Что у тебя коленки-то в зелени? По траве, что ль, ползал? Чего молчишь?

– А что она лезет ко мне? – сказал вдруг Федор, мотнув головой на Лукерью.

Кашкарова быстро взглянула на Федора умоляющими глазами.

– Постой, – Кафтанов бросил на стол недоглоданную кость. – Как это лезет?

– Обыкновенно... «Иди, говорит, Михаил Лукич зовет...» Я двери открыл, а она... Когда чуть зариться начало...

– Что врешь-то, поганец такой! – взвизгнула Лукерья.

– Замолчь! – придавил Кафтанов, как камнем, ее возглас. – И что она?

Федор совсем растерялся. Он вспомнил предостережение отца, ему жалко почему-то стало и Лушку. Он испугался и за себя – неизвестно ведь, как может понять все это Кафтанов и что предпринять! «Поганец я, это верно, – мелькнуло у него. – Выдал бабу... Сказать бы: рыба-лил с утра – карасишки-то есть... Но вывернуться теперь как? Себе только хуже сделаешь...»

– Глотку заложило?! – рявкнул Кафтанов. – Отвечай!

Подстегнутый этим возгласом, Федор сказал:

– Ничего я не вру. Кто к титькам-то прижимал меня?

– Бесстыдник! Врешь, врешь! Врет он, Михаил Лукич...

Кафтанов никак не реагировал на Лушкины слова. Он налил из бутылки полный стакан, выпил, обтер рукавом губы.

– Поддай-ка, Федор, плетку. Вон на стенке висит...

– Михаил Лукич! – закричала Лукерья, сползла со стула, обхватила ноги Кафтанова.

Федор снял тяжелую четырехгранную плеть, подал Кафтанову. Тот встал, отбросил Лушку пинком на середину комнаты и одновременно вытянул ее плетью. От первого же удара туго обтягивающая ее кофта лопнула, и Федор увидел, как на гладкой Лушкиной спине вспух красный рубец. Охнув, женщина поползла на четвереньках к стене, вскочила...

Загораживая лицо от ударов, Лукерья металась по комнате, а Кафтанов хлестал и хлестал ее, выкрикивая:

– С-сука мокрозадая! На малосольное потянуло?! Убью-у!..

Плеть свистела, Кафтанов тяжело хрипел, Лукерья только взвизгивала и никак не могла найти двери. Федор, боясь, что и его достанет плеть, зажался в угол. Наконец Лукерья удари-лась спиной в двери, вывалилась в темный коридор, оттуда на крыльцо, кубарем скатилась на землю, быстро поднялась и, придерживая на груди лохмотья кофточки, кинулась по дороге, ведущей в Михайловку.

Потом Кафтанов и Федор сидели за столом, мирно беседовали. Кафтанов допивал свою бутылку и расспрашивал подробности Лушкиного ночного посещения. Сначала Федор стеснялся, а затем как-то осмелел и рассказал все, вплоть до того, как Лушка шарилась по кустам и звала его.

– Так... – удовлетворенно произнес Кафтанов и принялся грузно ходить по комнате.

Федор со страхом наблюдал за ним. Но ничего угрожающего в выражении лица хозяина не было. Наоборот, он усмехнулся в бороду, лениво и добродушно.

– Бабье племя – оно, парень, пакостливое. Самое что ни на есть лисье племя. А каждая лиса даже во сне кур видит...

Кафтанов нагнулся, поднял валявшуюся на полу плетку. Федор, гремя табуреткой, метнулся в дальний угол.

Постукивая в ладонь черенком плетки, Кафтанов с любопытством глядел на Федора влажными, в красных прожилках, глазами.

– А вырастешь ты, должно быть, хорошей сволочью, – сказал Кафтанов. – И чем-то, должно быть этим самым, ты мне глянешься пока. Ну, там посмотрим. А куда – живи здесь с батюшкой. Я сейчас его обратно пришлю. Одному тебе жутко тут будет, да еще и займку спишишь. Запрягай жеребца, чего зажался!..

До осени Федор жил вместе с отцом на Огневской заимке. Житье было легкое, привольное. Вдвоем они поставили пару стогов сена для лошадей, а больше, собственно, делать было нечего. Федор рыбачил в озере, собирал ягоды, копался на огороде, который был при заимке, лазил с хозяйским ружьем по прибрежным камышам, скрадывая уток. Ружье он взял в руки впервые, но быстро освоился с ним, научился срезать уток даже на лету.

– Ишь ты! – восхищенно качал головой отец, когда Федор приносил иногда до дюжины селезней и крякух. – Ловок!

– Это что! – отмахивался Федор. – На медведя бы сходить. А, бать? В малинник, что за согрой, похаживает косолапый, я заметил. Дай мне пару медвединых патронов с жаками-то!

– Я те покажу ведьмеда! – строго говорил отец. – Сдурел? Он тя живо порешит. – И прятал патроны подальше.

Когда наезжал Кафтанов со своим, как говорил отец, «собачником», на заимке дым стоял коромыслом. Над лесом, над озером с темна до темна висели разгульные песни, крики, говор, смех, женский визг.

В первый приезд Силантий попытался как-то оградить сына от всей этой грязи. Едва застучали по корневищам лесной дороги колеса, послышались пьяные голоса, Силантий схватил дробовик, сунул его сыну.

– Ступай, ступай на дальние озера. Тута, возле заимки, не стреляй, спужаешь сударушек его...

– Да что ты, батя?... Может, помочь тебе чего?

– Отправляйся, говорю, чтоб тебя!..

Но через минуту Силантий понял, что его уловки бесполезны. Ввалившись в дом, Кафтанов потребовал:

– Федька? Где ты?

– Нету его. В лесу с утра шатается где-то...

– Как нету? Был чтоба! За что деньги плачу?

– Михаил Лукич, ослобонил бы парня от этого... – взмолился Силантий.

– С-сыть у меня! Освобождать – так обоих сразу... как Демьян мне в уши советует. Хошь, что ли? С голоду ить подохнешь. Вина, самогону! Жратву из тарантаса тащи в дом! Пока держу, живите тут... Появится Федька – ко мне сразу...

Федор пришел из леса на закате солнца.

– Иди уж, – вздохнул Силантий, не глядя на сына. – Разов шесть тебя хозяин спрашивал. Чем ты ему глянулся?

В доме, несмотря на распахнутые окна, было чадно. Какие-то бородатые мужики, потные, пьяные женщины попеременно сидели за столом, заунывно тянули песню.

– А-а, явился?! Тихо! – крикнул Кафтанов. – Федька это, сын моего Силантия. Ха-ароший будет человек. Садись рядом с хозяином, пей, гуляй...

Кафтанов был пьян, гости еще пьянее. Кажется, они не поняли, кто такой Федор, приняли его за родственника Кафтанова, полезли обниматься. Федор уворачивался от колючих, бородатых лиц, отталкивал от себя воняющих потом женщин. Кафтанов глядел на это, кажется, с удовольствием.

– Ну, будет, будет! – крикнул он наконец. – Кыш, бабы, замусолили совсем. У-у, к-кобылы! А он парень порядочный. Он на вас тьфу! За это я ему в другой раз развеселую деваху привезу. Для него только... Али Лушку Кашкарову, а? Хошь? Я ее, суку, заставлю ноги твои вымыть и воду выпить. Ну, хошь, говори!

– Не хочу, – испуганно проговорил Федор.

– И правильно! – захохотал Кафтанов. – И хорошо. Рано тебе еще. Н-но, гляди на нас и привыкай. Соображай так же. А захочешь – скажи, я тебе мигом... Я кого полюбил, все для того сделаю! В сыновья тебя, если хошь, определю. Заслужишь если... А сейчас выпей рюмочку и ступай, баню с отцом топите. Одну только выпей, для другой подрасти надо. И помни, что я сказал... Жизнь могу открыть тебе.

Федор раза два в жизни пробовал самогонку, она ему не понравилась, оба раза в висках у него долго и больно стучало, а потом тошнило. Несмотря на это, он не мог послушаться Кафтанова, выпил.

Самогонка оказала на него обычное действие. Таская воду в банный котел, он чувствовал, что его вот-вот вырвет. Но и не рвало и тошнота не проходила.

– Как они ее жрут только! – пожаловался он отцу.

– Ты голову помочи али, того лучше, искупайся.

Федор искупался, и ему действительно стало полегче.

– Что самогонку не принимает душа, это хорошо, Федюша. А вот что это Кафтанов тебе там молот? Я случаем зашел, вполуха слышал...

– Так ежели слышал, чего говорить?

– О-хо-хо, сынок... Слова как мед, да с чем их едят? В сыновья... Нужон ты ему, как дырка в голове...

Они присели на берегу озера. Колупая прутиком песок, Федор спросил:

– А что, батя, ежели и вправду?... С его-то помощью да и вправду можно как-нибудь за жизнь зацепиться?

Он говорил раздумчиво, не торопясь. Впервые отец уловил в его словах что-то не детское, не ребячье и поразился:

– Федыша?! Да неужель вырос ты?! Господи...

Полчаса назад солнце скатилось за лес, небо наливалось прохладными сумерками. Над Федором и Силантием, попискивая, вились комары, в озере изредка играла рыба. То в одном, то в другом конце его слышался плеск, потом долго и медленно по черной водяной глади расплывались круги, таяли у берегов.

Из дома неслись пьяные крики гостей Кафтанова и глохли в сгущающемся мраке.

– Вот чего, сынок, скажу тебе, – после долгого молчания произнес Силантий. – Остерегайся ты его слов, как самогонки этой. А то говорят люди: обрадовался крохе, да ковригу потерял.

– Дак я что? – двинул плечом Федор. – Я тоже соображаю: с чего это он так сразу ласково ко мне? Непонятно. Но опять же слова «заслужишь если»... Это он, может, и со смыслом. А послужить чего мне? Послужу, руки не отвалятся. Там поглядим... Дочка вон у него растет...

– Чего, чего? – еще более изумился Силантий.

– А что? – повернул к нему Федор голову, поглядел в отцовские глаза прямо и открыто.

– Да ты, страмец такой, об чем?

– Не бывало, что ли, когда богатые невесты за бедняков шли?

– Экой ты открываешься! – почти со страхом произнес Силантий. – А не шибко ли далеко глядишь? Да и Анютка его ребенок еще, десятый год ей всего.

– А мне куда торопиться? Я подожду. – И Федор встал.

И опять показалось Силантию, что рядом стоит не пятнадцатилетний его сын, а какой-то другой, взрослый, рассудительный и незнакомый мужик.

– Да когда это тебе все... в головушку-то ударило? Когда все сварилось там?

– Не знаю, батя... – откровенно сознался Федор. – То ли когда он Лушку стегал, а мы потом сидели за столом да говорили. А может, сегодня. Ведь сказал же он зачем-то: в сыновья, заслужишь если, определю. По пьянству такое не говорится.

– Господи! Господи!.. – только и простонал Силантий.

Кафтанов погулял да уехал со своими гостями, жизнь на заимке пошла своим чередом. Но в отношениях отца и сына что-то изменилось, стало строже, сдержаннее. Разговаривать они стали меньше, больше молчали. Федор ходил по заимке задумчивый, будто вспоминал что постоянно, иногда отплывал на лодке в глубь озера, но забывал про удочки, ложился на корме и, подсунув руки под голову, долго, часами, глядел в пустое небо. Силантий наблюдал за сыном, вздыхал. Но никаких разговоров, подобных тому, что возле бани, не заводил.

Опасения, что жизнь на заимке «испохабит» Федора, вроде были напрасными. Как и в первый раз, Федор выпивал иногда с хозяином рюмочку, не больше. К «сударушкам» Кафта-

нова интереса тоже не проявлял. Когда та или иная перепившаяся бабенка шутя ли, всерьез ли привязывалась к Федору, он не стесняясь хлестал ее по щекам и говорил:

– П-пошла, стерва... Завязать бы ноги тебе мертвым узлом.

Это, видно, нравилось Кафтанову.

– Вот чего, сударушки мои... Кто совратит Федьку моего – сотенную в зубы! Старайтесь! – похохатывал он.

Однажды в числе других мужиков и женщин он привез на заимку и Лушку Кашкарову.

– Вот, Федьша, – он хлопнул Лукерью по крутой спине, – все печенки она мне изъела: свози да свози к Федьке.

– Что говоришь-то, Михаил Лукич? – взмолилась та.

– Перечь у меня! – зыкнул Кафтанов и отвернулся, будто забыл о ней.

В тот раз Кафтанов гулял дня три, и все это время пьяная Лукерья, как тень, ходила за Федькой, сторожила каждый его шаг, норвила обнять при каждом удобном случае.

– П-пошла, стерва, – говорил свое обычное Федор, отбиваясь под свист и гогот кафтановских гостей.

На второй день, под вечер, выбрав время, она шепнула ему трезвым и, как показалось Федору, жалким голосом:

– Пожалей меня, Федор... Они балаган устраивают, не понимаешь, что ли? Не могу я Мишку послушаться...

– Все равно уйди! Не лезь! – отрезал Федор.

На ночь он ушел в лес, ночевал в стогу сена.

На третий день он стал ходить по заимке с плетью, той самой, которой Кафтанов отстегал когда-то Лукерью.

– А-а, не получаетца, паскудная твоя р-рыла?! – пьяно и злорадно гремел Кафтанов, крутя распухшей, разлохмаченной головой. – Талантов не хватает?! Н-ну, гляди у меня, последний день сроку...

В этот «последний» день, как обычно, надо было топить баню. Сунув плетку в сапог, Федор натаскал в огромный казан воды, присел отдохнуть возле стенки, на припеке. Силантий, растопив баню, приткнулся рядом.

– Уходи, Федор, в лес от греха, – сказал старик. – Возьми ружье да уходи... Ведь он, Кафтанов, гляди, и в баню тебя с кобылой этой загонит. Им что, потеряли обличье-то людское...

– Они потеряли, а я нашел... Я с первой минуты понял, что не Лушка, а сам Кафтанов со мной играет. Но я его переиграю.

– Как это?

– Так... Отойди-ка, батя... Вон Лушка вышла, меня вызревает. Отойди.

Старик, кряхтя, поднялся, поплелся в конюшню.

– Федя... Федя... – немедленно метнулась к бане Лукерья.

– Прочь! – толкнул он ее в грудь, ушел за дом.

– Федя... Пожалей... – женщина догнала его.

В окнах мелькнули лица кафтановских гостей. Заметив это, Федор схватил Лукерью за волосы, бросил на землю. Сверкая оголенными ногами, она покатила по траве. Федор выхватил из-за голенища плетку и принялся остервенело хлестать ее по этим голым ногам, по спине, по голове. Из дома пьяно заулюлюкали, закричали, засвистели. Лукерья хотела встать, но снова упала, сжалась, укрывая голову, и только вздрагивала под его ударами...

Опомнился Федор, когда его самого кто-то схватил за шиворот, сильно встряхнул.

– А ежели изувечишь бабу?! – чуть не царапая его бородой, рывкнул Кафтанов. – Глаз выстегнешь, тогда что?!

– Ничего, одноглазая походит! – крикнул Федор и, разгоряченный, рванулся из кафтановских рук. Но вырваться не мог.

– Ишь ты волчонок! – вдруг рассмеялся Кафтанов, отпустил Федора, пнул все еще валяющуюся на траве Лукерью. – Пошла. И ты пойдем. По рюмке еще проглотим – да в баньку.

– И пить не буду. Не могу.

– Ну и ладно, – покорно согласился Кафтанов. – Так посидишь рядом. А потом в баню пойдешь со мной. В первый жар. Люблю я в первый жар ходить.

Часа два спустя Федор, зевая, как рыба, выброшенная на берег, лежал на прохладном и скользком банном полу, а Кафтанов парился на полке, остервенело хлестал себя веником.

– Федька-а! – то и дело кричал он сверху, невидимый в густых клубах обжигающего пара. – Еще плесни ковшичек...

Федор вставал, и сразу будто кипятком ошпаривало ему уши, нос, щеки, всю голову. Он торопливо черпал из жбанчика специально приготовленный отцом для этой цели квас, плескал на раскаленные камни и плашмя падал на пол.

«Как он не сварится там?» – задыхаясь, думал о Кафтанове.

Напарившись, Кафтанов выбежал наружу, с разбегу бултыхался в озеро, плавал в холодной воде, как тяжелое бревно, снова забегал в баню, натягивал кожаные рукавицы и шапку, опять лез на полок...

Одеваясь в предбаннике, он сказал:

– Вот и хмель весь долой. Первое средство. Завтра с утра за дела примемся. А как же! Наше дело такое – пей, да дело разумей. Сомлел?

– Жарко...

– Поликашка Кружилин – тот крепкий на банный жар. Любил я с ним париться. Знатно он меня веничком обхаживал. Жалко и прогнать было отсюда, да в глазах его резь какая-то появляться начала. Думаешь, из-за баб я его прогнал отсюда? Бабы – это тьфу, их что навозу, мне не жалко, пушай бы любой пользовался. Для того и Богом они сделаны. А вот резь в глазах – не люблю. Так ничего-ничего, да иной раз как глянет – будто надвое перережет, сволочуга. «Об чем, говорю, подумал сейчас, сказывай?!» – «Так», – говорит... Да, может, и правду так. А – непонятно. А я не люблю, когда непонятно. Приказчик он хороший, честный. Но ежели резь эта не потухнет в глазах – не погляжу, не пожалею. А у тебя вот рези этой нету. Может, потом появится? А?

– Я... не знаю. Какая такая резь? – спросил Федор, а сам подумал: «Насчет баб-то врет... Ловко поймать хочет».

– Какая... Ну ладно, там поглядим... Дай-ка еще кваску глотнуть.

Натянув исподние штаны, Кафтанов долго растирал рушником потную волосатую грудь.

– Я, Федьша, тебе так скажу, уже не по пьянке, а на трезвую голову, – вдруг заговорил он. – Что усыновлю тебя, этому не верь. У меня свой сын есть, Зиновий. Он всему дому голова будет после меня. Сейчас к торговым делам его приучиваю. Сюда не вожу – не к чему, рано еще, сам свихнется, когда пора придет. Но человека из тебя сделать могу, ежели верой и правдой служить будешь. Ежели преданный будешь, как собачонка. Верные люди и мне нужны, Федя. Такие, как Демьян Инютин. Демьяна-то мне Бог послал. Да таких людей он редко посылает, поэтому мне самому их делать приходится. Тому же Демьяну замену исподволь готовить надо. Думал, из Кружилина Поликашки чего сделать можно. Нет, резь эта в глазах у него засверкала. К тебе вот приглядываюсь теперь. Понял?

– Я что? Я, Михаил Лукич, стараюсь. – Сердце у Федора замирало.

– В общем, Федор, я тебе все в открытую объяснил. Ты еще молодой, но думай с самого начала жизни об своей судьбе. Все от тебя самого зависит. Батька твой – честный мужик, работающий. В тебе то же самое должно быть заложено. Батьке не повезло в жизни, не смог он за хвост поймать. А тебе этот хвост в руки кладу. А я не каждому положу...

И, уже полностью одевшись, сказал с усмешкой:

– А с Лушкой зря ты этак. Ты, видать, и вправду еще мальчонок. Спать-то не пробовал с бабой?

– Не... – покраснел Федор.

– А я в бане оглядел тебя – ничего, все в аккурате уж, как положено. Справишься не хуже всякого...

– Не буду я этого, Михаил Лукич.

– Ну-ну! Врешь, придет пора...

– Не знаю... Только неохота пакоститься.

– Убудет, что ли, от тебя?

– Я не знаю. А только думаю вот иногда: и я ведь женюсь на ком-то, должно быть. Охота, чтоб все ей досталось...

– Ну-у?! – опять протянул Кафтанов. – Все любопытней ты для меня, парень, становишься. Когда в тот раз Лущку ты продал, это мне понятно было. Казалось...

– Почто это я продал ее?

– А как же? Святая-то простота редко бывает, сошла на нет. Каждый выгоду свою ищет... С выгодой ты и продал ее, казалось мне.

Федор только пожал плечами, вроде не понимая, о чем говорит Кафтанов. И сказал:

– Дык, а что, не надо мне говорить про то было? Она же с твоей постели убежала-то. Это ведь я тебя, Михаил Лукич, обманул бы...

Кафтанов долго глядел на Федьку прищуренными глазами. Федор лица не отвернул, помаргивал просто и открыто.

– Н-да, – сказал наконец Кафтанов. – Хорошо, если бы так-то... Ох как хорошо. Только в голую честность-то не верю я. Жизнь меня научила не верить. Мне почудилось: молод-то ты молод, а яйца в стену уже учишься забивать...

И Кафтанов встал с лавочки, пошел из предбанника.

– Ладно, Федька... Я хоть бабник да пьяница, но глаз у меня на людей наметанный. Поглядим-поглядим – и живехонько раскусим, что ты за суть-человек...

* * *

Что за «суть-человек» вырастает из среднего сына, частенько думал теперь и Силантий. После того дня, когда Федор отхлестал плетью Лущку, а потом помылся в бане с самим Кафтановым, сын стал вовсе неразговорчивым. Иногда он, сидя за столом, долго размешивал в чашке варево, и чувствовал Силантий, что мысли сына где-то далеко.

– Какие еще новые планы в себе родишь? – спрашивал Силантий.

– А так, – отмахивался Федор.

Подступала осень, закровенились в лесу коряжистые осины, сожженные наконец летним жаром, стали сохнуть и желтеть верхушки берез. Погода стояла еще теплая, ветров не было, но чувствовалось – недалеко то время, когда подуют и ветры, посыплют дожди, устелют пожухлую траву мокрыми и тяжелыми листьями. Но пока сникшие и поредевшие лесные травы были чистыми, только все чаще и чаще попадались Федору березки и осины, под которыми аккуратными кружками были насыпаны сухие листочки. Это значит – недавно прыгнула на желтую ветку белка, тряхнула ее, и несколько десятков листьев тихо зашуршали вниз, редковато устелив кусочек земли.

На кафтановских пашнях началась страда, – может, потому хозяин перестал наезжать в Огневские ключи.

– Долго постится Михаил Лукич, – несколько раз вырывалось у Федора.

Раз и два Силантий смолчал, а потом спросил:

– Никак заскучал по собачнику этому?

– Мне-то что? – пожал плечами Федор. А через минуту вдруг добавил: – Собачник не собачник, а живет хозяин весело. Всласть живет.

– Так... – протянул Силантий. – Завидуешь?

– Иди ты... Скажет тоже, – огрызнулся сын обиженно.

«Скажет тоже... Чего мне завидовать-то?» – раздраженно и упрямо думал потом несколько дней Федор, не признаваясь себе, а может быть, не понимая, что действительно шевельнулась в нем зависть к веселой и разгульной жизни хозяина, засочилась где-то внутри, размывая какие-то самые мягкие, податливые места. Так, наверное, жиденский вешний ручеек течет по травянистой канавке и находит вдруг место, где трава выбита, почва помягче, начинается по крупицам вымывать оттуда землю, уносить прочь. Скатятся вешние воды – глядишь, и на этом месте небольшой, сантиметров в десять-двенадцать, обрывчик, из стены которого торчат бурые, черные, белые травяные корешки. Он безобиден и не страшен пока, этот обрывчик, можно его и переехать и перешагнуть, даже не заметив. Но дождевые воды, скатываясь по той же ложбинке, продолжают незаметно вымывать землю под обрывчиком, к осени ямка становится вдвое, а если случаются частые и сильные ливни, то и втрое, вчетверо глубже. Зимой засыплет эту ямку снег, заровняет ее вровень с краями, укроет сверху метровым белым слоем. Следующей весной на неделю раньше осядет в этом месте снег, оголит стылый обрывчик, по обледенелой пока стенке заструится вытекающая из-под снежного покрова водичка. Но солнце все щедрее греет обрывчик, быстро съедает ледяную корку. И вот уже, урча и булькая, тугой тяжелой струей льются вниз с полуметровой высоты талые воды, вымывая теперь землю внизу не крупицами, а целыми горстями... На третий год с полуметровой высоты льется, красиво брызгая радужными на солнце искрами, настоящий водопад, на четвертый низвергается с шумом и грохотом целая речка, унося с собой комья земли, корни трав, небольшие деревца... А еще через несколько лет придет на это место человек – и ахнет: ровное, сверкающее под солнцем изумрудной зеленью поле перерезает теперь надвое черный, глубокий, безобразный овраг. И этот овраг все растет да растет, как гноящаяся рана, и поле будто стонет от этой раны, но заживить ее не может...

Не понимая, что в нем шевельнулась зависть к кафтановской жизни, Федор с нетерпением ждал, когда хозяин заявится на заимку. «С одной бабой приедет али снова кучу привезет? – думал почему-то он, волнуясь, чувствуя, как больно стучает в груди сердце. – А может, снова Лушку притащит?»

Если бы Кафтанов снова привез Лушку и она опять начала приставать, Федор отхлестал бы ее опять так же плетью. Это он знал твердо. И все-таки, помимо своей воли, он вспоминал, как она тогда, в первый раз, стучалась к нему в дверь, как шла к нему в темной комнате, раскинув руки, как жадно прижала его лицо к голой груди... В голове от этих воспоминаний мутилось, закипала в жилах кровь. «Зараза, привязалась...» – до боли сжимал он зубы, шел к озеру, нырял в него поглубже, пытаясь достать самые холодные, поддонные струи.

Ночами ему опять снилась эта Лушка и все другие кафтановские «сударушки». Полураздетые, пьяные, сидели они за столом, валялись по комнатам, гурьбой шли в баню, с визгом и хохотом прыгали в озеро, сверкая обнаженным телом...

– Черт... – вскакивал Федор на кровати, прижимая локтем колотящееся сердце.

– Чего ты?! – приставал отец.

– Так... Чудится всякое...

И вдруг жизнь повернулась совсем в другую сторону.

Однажды ночью Федор, по обыкновению, долго не мог заснуть. Неожиданно показалось, что в окно кто-то стукнул. Он вскочил на кровати, затих. Опять царапнул кто-то в стекло, и качнулась во мраке за окошком неясная тень.

– Бать! – крикнул Федор, хватая ружье.

– Что? Кто? – вскочил старик.

– За окном кто-то... Не то медведь... А кони не храпят.

– Какой тогда медведь? Опять чудится черт-те что.

Федор встал, осторожно подошел к окну. И увидел метрах в тридцати, под деревом, человеческую тень.

– Бать, ей-богу, кто-то есть... Вон под сосной маячит... Ну-ка, я сейчас спытаю его, кто таков.

– Куда ты?! Может, варнак какой, с каторги беглый... Вернись! – закричал Силантий, но Федор с ружьем выскочил в сенцы, стараясь не греметь, открыл дверь, спрыгнул с крыльца и, крадучись вдоль стены, двинулся за угол.

К сосне он подошел неслышно, поднял ружье.

– Эй ты... – вскрикнул Федор. И, видя, что человек качнулся, добавил угрожающе: – Стой, не шевелись! У меня ведь жакан, разворочу башку-то. Кто таков, что надо?!

– А ты кто? Федор, что ли? – спросил человек тихо.

– Ну, Федька... Да ты кто?

– Опустит ружье... Пристрелишь еще родного брата.

– Чего-о? Какого брата? – удивился Федор.

– Вы тут одни с батькой, что ли?

– Мы-то одни, – совсем ничего не соображая, промолвил Федор.

Так после многолетнего отсутствия вдруг объявился старший сын Силантия Савельева – Антон.

– Господи, Антошка?! Да как же это ты, откудова?! – причитал несколько минут спустя Силантий, торопливо зажигая лампу, суется вокруг стола. – Вот уж неожиданный гость... Что это у тебя с рукой-то?

Правая рука Антона была замотана грязными тряпками и привязана платком к шее.

– На сучок наткнулся в лесу.

– Да ночью-то почто? Крадучись-то?

– Видишь, батя... Днем-то мне пока не очень как-то сподручно... Я в Михайловке был, мать сказала, что здесь вы...

– Господи, да ты никак с тюрьмы беглый?! – догадался Силантий. – Демьян-то Инютин правду, выходит, говорил...

– Правду, выходит, – улыбнулся Антон и повернулся к Федору: – А ты, братуха, ловко ко мне подкрался. Я, грешным делом, подумывал: как мой там братец, не тухой ли матюхой все растет? Ошибся вроде.

– Твоя наука, – буркнул Федор.

– Ты гляди-ка, батя, вырос ведь! Мужик, с какого боку ни гляди. И Ванька тоже растет. Когда я уезжал, он пешком под стол ходил, а сейчас... Идет время.

– Показывай руку-то.

– Рука, батя, у меня плохая. На тебя надежда, подлечишь, может, – сказал Антон, размазывая тряпки. – Ну-ка, Федя, тащи воды.

– На сучо-ок?! – ахнул Силантий, глянув на синюю, распухшую руку сына. – С ружья, что ли?

– Не с рогатки. Нет ли тут у вас йоду? Лекарство такое.

– Откудова тут лекарствам быть? Да ничего, мы травками как-нибудь.

Антон был чужим, незнакомым. Крепкий, рослый, лоб стал еще выпуклее, густые белые волосы чуть вились, серые глаза глядели пронизывающе. Щеки и подбородок заросли курчавой и тоже белесой щетинкой.

Одет он был не по-тюремному – в старый, но крепкий еще пиджак, брезентовые брюки и засаленный картуз с крохотным жестким козырьком.

– Батя-то угадал: может, грит, варнак какой, беглый каторжник, – сказал Федор, поливая Антону на простреленную руку.

– Во-первых, до каторги я пока еще не дошел. Вот поймают сейчас – тогда другое дело. А потом – на каторгах всякого люду полно, Федор. Есть и варнаки, есть и порядочные.

– Ты порядочный, значит, будешь? Если пойма-ют-то?

– Да уж не варнак, – подмигнул Антон, завязывая руку.

– Сынок, сынок, да ты поешь теперь, поешь, – суетясь по-прежнему, ставил Силантий на стол чашки, резал торопливо хлеб. – Может, рюмочку выпьешь?

– Можно и рюмочку, батя, – согласился Антон. – Мне мать рассказывала о назначении этой заимки. Кафтанов, кажется, где-то по округе колесит, сегодня-то уж не заявится сюда?

– Не должно. И потом – за день, за два Инютин всегда провизию доставляет. Он, Инютин, еще в шестом году сказывал, что тебя посадили... Ты что ж, доселя и сидел?

– Зачем? И на свободе бывал иногда. В общем, батя, мне надо пожить тут у вас незаметно, пока рука не заживет. Нельзя мне никуда с такой рукой.

– Живи, сынок, живи... Хоть год у нас тут можно скрытничаться. А завтра я травок полезных в лесу поищу. От гноя хорошие травки есть у нас. Токмо вот не воронить, когда хозяин с гостями объявляться будут. Да они сдалека еще визжат-гигикают.

– А Демьян-то Инютин? – сказал Федор. – Тот неслышно подъезжает всегда.

– То верно, он как лиса... Ну, придумаем что-нибудь. Ты ешь, сынок. Покудова тепло, в конюшне, на сеновале спать будешь. Ежели что – сразу на землю и в лес. Конюшня у нас задом прямо в лес упирается.

– Вот это мне подходит, батя.

Утром отец, еще до солнца придя из лесу, сказал Федору:

– Ты, сынок, взял бы ружье да посидел в скрадке. Там, где дорога к Журавлиным болотам подходит. Ежели поедет кто, стрельнешь, будто по утям. А я баню истоплю, травку вот заварю. Помыться надо Антошке, то да се...

– Ладно.

До вечера Федор сидел в кустах, поглядывая на дорогу, раздумывая об Антоне. Его приезд откровенно пугал Федора. Во-первых, хотя и не каторжник, но беглый, размышлял он. Во-вторых, как это не варнак, коли в тюрьме сидел? Разве порядочных людей сажают? А в-третьих, что будет, если Антона поймают здесь? Кафтанов-то чего тогда? Ведь он в первую голову спросит: «Ты что ж, Федор, про брата мне смолчал?»

Когда он в сумерках вернулся на заимку, Антон, вымывшийся в бане, посвежевший и отдохнувший, встретил его весело:

– А-а, сторож! Спасибо, братуха... Знатно я вымылся. Руку вот хорошо пропарил. Только, я думаю, каждый день пустую дорогу стеречь муторно. Мы тут будем уши поострее держать.

– Я не знаю, как лучше. Мне-то все равно.

Поговорив о том о сем, Антон ушел спать на сеновал. Федор спросил у отца:

– Он кто, Антошка, все ж таки? Вор или жулик какой?

– Ты чего мелешь?! – сильно рассердился отец.

– Так непонятно, за что его в тюрьме держали.

– Непонятно? А мне, думаешь, понятно?! – все с той же злостью проговорил отец. И, покряхтев на своей кровати, еще проговорил: – Политический, он говорит, я.

– Каков таков – политический?

– Откудова мне знать? Против векового сплотаторства, говорит, боремся мы.

– Это опять что – сплотаторство?

– Что, что... «Вот, говорит, Кафтанов ваш и есть сплотатор. Соки с вас вытягивает, платит за работу грош, а рубли себе в карман кладет. Потому и развратничает тут с жиру, на заимке».

«Ага, значит, беспрерывно спросит с меня Кафтанов, почему молчал про Антона», – подумал тревожно Федор.

– Ну, нам-то ничего тут, на заимке его, живется. Сплотатор он там али кто...

– Балбес ты ишо, – опять рассердился отец.

Недели полторы или две они прожили спокойно. Ни Демьян Инютин, ни сам Кафтанов не появлялись. Антон был весел, разговорчив, но Федор видел, что старший брат каждую секунду настороже. Большую часть суток он валялся на сеновале, в дом заходил редко, только поесть. Садился всегда так, чтобы в окно видна была дорога, убегающая от заимки в лес, в Михайловку.

Рука его заживала плохо. Отец варил какие-то травы в большом чугуне, заставлял по локоть совать туда больную руку.

– Кость у тебя задевая, видно. Кость, главное, прогреть до нутра. Ничего, выходим.

Однажды заморосил дождик, хмарный, угрюмый, вечер подкатил как-то неожиданно, скорее, чем обычно. Силантий, Антон и Федор сели ужинать.

– Пойду-ка я в свое логово, – проговорил Антон, поглядев в окно. И, положив ложку, встал.

– Посиди еще, – сказал Силантий. – Какого черта в такую погоду принесет!

– В такую-то погоду их, всяких чертей, и носит. Сумрачно, дождик шумит. Видно плохо, слышно и того хуже...

Будто в воду глядел Антон. Едва-едва разве успел он забраться на сеновал, как отворилась дверь и вошел Демьян Инютин.

– Што рот до ушей разинули обои? – спросил он, окатив Силантия и Федора обдирающим взглядом.

– Дык... как это подъехал, что мы и не учуяли?

– Оглохли, значит, – буркнул Демьян, поскрипывая деревяшкой, разделся, прошел к столу. – Продрог я, дайте чаю.

Силантий налил ему в кружку заваренного смородинным листом кипятку и, подавая, обомлел: на столе лежали возле опростанной чашки с кашей три грязные ложки, и Демьян не мигая глядел на эти ложки.

Схватив тряпку, будто обтереть стол, Силантий смахнул все ложки в чашку, сунул эту чашку на шесток, бросил в нее и тряпку. «Что, если саданет ему – почто три ложки-то?» – колотилось у него в мозгу.

Демьяну, видно, ничего не садануло. Склонившись над кружкой, вытягивая жилистые губы, он громко тянул кипяток.

– Поди возьми там, в тарантасе, провизию, – кивнул Демьян Федьке. – Бутылки с вином не побей. Самогонка есть?

– Куда она делась! Ведер пять еще стоит, – проговорил Силантий облегченно. – Когда ждать?

– Откуль я знаю? Мне велено копченостей да вина хорошего доставить. Воняет чем-то у вас. Пахнет чем, говорю?

– Да это... Снадобье седни варил... Суставы ломит. К непогоде, думаю. Оно так и есть, захмарило.

– Развели вонищи... Чтоб проветрил дом к завтраму. В курильне нельзя сварить, что ли? Там такая же печка.

– Не буду боле. Проветрим...

Ни слова не добавив, Демьян уехал. Силантий проводил его, еще раз облегченно вздохнул: «Пронесло, слава те господи...»

– Пронесло, – сказал Силантий и Антону, когда тот, выждав часа полтора, спустился с сеновала. – Как я эту проклятую ложку забыл убрать?

Антон дотошно выпросил все подробности: как сидел Демьян, куда смотрел, что говорил.

– Да, ей-богу, ничего он не допер... Ни один волосок у него не дрогнул.

– Может, так, а может, и эдак, – сказал вдруг Федор. – Он, Демьян, как змей хитрющий. Я бы, Антоха, смылся на твоём месте куда поглуше.

– Цыть ты! Куда он с такой лялькой?

– Правду Федьша говорит, – раздумчиво произнес Антон.

– Да куда ты? Как ты с порченной рукой-то?

– Хорошо бы еще помочить ее в твоём вареве. Гноиться перестала, синюшность отходит. Да, может, так теперь, без полива, заживет.

– Может, заживет, а может, обратно гнить начнет, – прежним тоном проговорил Федор. – Потому надо тебе залечь где поглуше и чтоб неподалеку. Чтоб, значит, могли мы незаметно доставлять еду с питьем да вареве для руки. Сейчас тепло пока, недели две полежать можно...

– Ишь ты, – усмехнулся Антон, потрепал всклокоченную голову брата. И опять стал задумчивым. – Это бы, конечно, самое хорошее дело, чтобы вылечить ее, проклятую, совсем. А есть такое место?

– Лес большой, – неуверенно проговорил Силантий. – Хотя, конечно, не шибко тут таежно да глухоманно... Мужичишки везде лазают. Особенно бабенки, язви их, за калиной.

– Есть, я думаю, одно место, – сказал Федор. – Кроме чертей рогатых, там ни одной живой души сроду не бывает.

– Где это? – спросил Антон.

– Где? А пещера-то в Змеином ущелье? На Звенигоре. Забыл, что ли? Верхи туда и обратно – до свету обернемся.

– Чего чудишь, чего чудишь? – замотал бороденкой Силантий. – Там этих гадюков на каждом кусту.

– Какие сейчас гадюки, бать? Они давно в норы позалезали, в спячку пошли. Я в лесу третьего дня целый клубок из-под старого пня выковырнул, – будто веревки мерзлые, чуть-чуть разве шевелятся. А на горе еще холоднее. Антону тулуп дадим, одеяло... На неделе раз-другой я буду к нему ездить...

Посудив, порядив так и этак, пришли к одному: лучшего укрытия не найти. Силантий оседлал обоих жеребцов, сунул в мешок несколько ломтей копченого мяса, немного муки, картошки, две булки хлеба, чугунок. Разлил в пустые бутылки, благо бутылок было много, настой из трав. В старый дождевик завернул тулуп, одеяло, подушку.

– С богом, сынок, – сказал он Антону. – Ночью будешь кипятить отвар да греть руку. Днем мотри не разжигай огня – дым увидят. Ты, Федьша, сразу назад, да не гони коней, не запалай, до свету все равно успеешь вернуться. Не дай бог утром Кафтанов с собачником своим зайвится да увидит потных лошадей... С богом...

Федор проводил Антона к Звенигоре, к самому ущелью, в густых зарослях, за камнями, привязал лошадей и помог дотащить до пещеры тук с одеждой. На заимку он вернулся еще затемно. Дождик то переставал, то снова начинал нахлестывать. Федор промок и замерз.

– Слава тебе, господи, – перекрестился Силантий. – Ложись, спи. Только бы черт утром никого не принес.

Ни утром, ни к вечеру на заимку никто не приехал. А утром следующего дня Силантий закричал с улицы:

– Федор! Сынок, выдь-ка...

Федор вышел из дома. Отец, согнувшись, ходил под окнами.

– Потерял чего?

– Нет, нашел вроде. Гляди-ка...

На влажной, не просохшей еще после дождика земле виднелись отпечатки чьих-то следов.

– Ну и что? – пожал плечами Федор. – Я вроде вчера тут проходил.

– Дурак! У тебя сапоги-то кованые? То-то... А тут, гля, подковка... А это что? Будто кто кол в землю втыкал... Инютина это деревяшка...

Федор почувствовал, как ползет холодный страх по животу.

– Так что ж... Может быть, он позавчера и прошел тут...

– Позавчера дождик шел всю ночь, замыло бы. А это свежие, сегодняшние следы. Гля, и тут... Вон, за конюшню повели. И вон, по двору.

Силантий долго ходил по заимке, угрюмо осматривая землю.

– Следят они, сынок, – сказал он, когда вернулись в дом. – Всю ночь выслеживали.

– Кто?

– Не знаю. Но Инютин с имя. Так-таки заметил, прохиндей, что три ложки на столе лежали. Господи, как это надоумил ты Антошку спровадить?! Успели-то как еще?!

До вечера Силантий молчал. И Федор молчал, раздраженно подумывал об Антоне: «Приперся, каторжник... Выпутывайся теперь... А ежели поймают его?»

Ночью они почти не спали, прислушивались, всматривались в темные окна. Но все вроде было спокойно.

Перед рассветом Силантий прошептал тревожно:

– Гля, гля, Федька!.. Очнись ты...

Федор прохвятился от дремы, приподнялся на постели.

– Гляди вон в среднее окошко... Не подходи к окну, отсюда гляди...

За окном стояла темень, и ничего, кроме черноты, не было видно. Потом вдруг пыхнул огонек – неясная какая-то искорка – и погас. Немного погода опять засветилось... Было ясно – кто-то курил, стоя за деревом.

– А кто? – зашептал Силантий. – Демьян не курит.

У Федора защемило тоскливо сердце. Теперь не от страха даже, а от чего-то непонятного. Если бы не Антон, думал он, скоро, а может быть, даже вот сейчас, этой ночью, весь дом полыхал окнами, гремели бы песни, пьяные голоса, хохот, валялись бы по комнатам, шатались по двору пьяные, растрепанные, полураздетые женщины...

До рассвета отец и сын пролежали в темноте с открытыми глазами, ожидая чего-то. Но ничего не случилось.

Утром Федор сказал отцу:

– Третий день, батя, он там один... Скоро жратва кончится у него. Что делать?

Не успел Силантий ответить, как знакомо застукотали колеса по корневищам.

– Едет, кажись, хозяин со своими... – метнулся к окну Федор.

Кафтанов действительно приехал, но один, без всегдашней компании, и непривычно трезвый. Силантий с Федором выскочили во двор, Федор схватил лошадь под уздцы, а старик хотел принять вожжи. Кафтанов бросил их ему в лицо, соскочил с пролетки и вдруг что есть силы вытянул Силантия плетью.

– Каторжников привечаешь тут, пес вонючий?! Демьян? Инютин?! Где вы, сыщики?

От удара отец пошатнулся, упал на четвереньки.

Откуда-то из-за деревьев выбежал городской жандарм, кургузый, похожий на сову человек в синей шинели, в фуражке, следом за ним еще двое. У всех болтались, путались между ног шашки. За ними, подпрыгивая на деревяшке, бежал Инютин.

– Ну, сыщики, что ж вы?! Двое суток следили! Ты, господин унтер Дорофеев, чего молчишь?

– Так что, Михаил Лукич, ничего такого не заметили в их поведении, – ответил человек, похожий на сову. – Не знаем, что и думать. А по всем приметам, здесь где-то укрывается беглый Антон Савельев. В здешних местах.

– Тут он, тут, на заимке был, сломать бы мне последнюю ногу! – воскликнул Инютин. – Ранетый же он, а этот хрыч травяной настой варил. От ревматизма, дескать. А запах в избе кровяной был. Я знаю, научился различать, как раненые люди, у которых раны гноятся, пахнут.

– Да чо городишь-то, Демьян? Одумайся! – прокричал Силантий. – Какой запах, какой ранетый? Побойся бога...

– Ты, каторжный родитель! – налетел на Силантия Инютин, грозя стоптать своей деревяшкой. – А почто три ложки на столе лежали? Кто это третий потчевался у вас? Кто на сеновале-то прятался? Ложка почти горячая еще! Успели, сволочи, укрыть его! Куда, сказывай! – взвизгнул он, замахнувшись костью.

– Потыше, ты, – вяло промолвил Кафтанов. – Ежели тут скрывается, узнаем. Ежели раненый, куда он убежит? Распрягайте жеребца, покормите. Ты, Федор, что там прижался? Тащи чего пожрать. И самогонки по кружке для молодцов-сыщиков. Ишь продрогли, ночи-то уж холодные. Растапливай печь, Силантий, живо! – И пошел в дом. За ним, гремя коваными сапогами по крыльцу, двинулись остальные.

...Через полчаса все немного захмелели. На крючковатом носу Дорофеева висели крупные капли пота.

– Из Томской тюрьмы он, Савельев, убежал, – рассказывал Дорофеев. – Нам в Николаевск сообщили: у вас, дескать, объявиться могёт. И объявился. Но улизнул, сволота. Верткий он. В одном месте совсем прижучили его – опять сквозь пальцы проскочил. С перебитой рукой, а уполз. Потом с ваших Шантаров сообщили – тута объявился. Мы – сюда. Пошарили в деревне – нету. Можя, думаем, в Михайловку подался, к родителям. Тоже вроде не заметно. А тут Демьян-то сообщил насчет подозрений. Да вот...

– Дурьи вы башки, – ухмыльнулся в бороду Кафтанов. – А у Инютина – у того и вовсе петушиная. Он давно Силантия с г... съестъ хочет, вот и чудится ему. Да разве мне не сообщил бы Федьша, кабы его братец-каторжник тут объявился? Какой ему интерес его скрывать? А где интерес – это Федор, чую я, с малолетства понимать начинает. Парень он молоток. Большой человек с него вырастет, ежели подмочь на первых порах, на ноги поставить. А кто поставить может? А, Федьша?

– Кто же, окромя тебя, Михаил Лукич, – сказал Федор, подавая на стол еще две бутылки самогону.

– Правильно. Садись-ка, парень, рядом. Отныне вообще твое место рядом со мной. По левую руку. По правую-то Зиновий у меня, понятно, сын родной... Вот подрастешь с годок-полтора еще – с Зиновием подружу тебя, хочу, чтобы друзья вы были.

Федор сел за стол рядом с Кафтановым.

– А этих сыщиков ты прощай, дурачье ведь. Неужто ты бы не сказал мне, коли непутевый брат твой тут объявился?

Силантий, ставивший в печь чугунок с водой, громыхнул ухватом, невольно глянул на сына. Но Федор даже не заметил отцовского взгляда.

– Сказал бы. Чего мне... – промолвил Федор.

– Ну, тогда и говори, – тем же тоном, мирно и дружески, произнес Кафтанов.

– Да чего ты... об чем? – испуганно начал было Федор.

– Не крути глазами-то! – закричал вдруг Кафтанов и сразу схватил огромными ручищами Федора за горло. – Мудрец-молодец, кого перехитрить хочешь?! Соплей еще не накопил, чтоб громко высморкаться, а туда же... Говори, где твой брат-каторжник?!

– Федька! Федор! – умоляюще вскрикнул сбоку отец.

Но не голос отца, не его насмерть испуганные глаза вдруг злостью и гневом что-то вскипятили внутри Федора. Он вообще не понял в эту секунду, что с ним произошло, дернулся, пытаюсь освободить шею из мертвой хватки потных кафтановских рук, закричал пронзительно:

– Убери лапы, гад такой!!

– Что-о! – удивился Кафтанов.

Федоровы слова и голос были, видимо, настолько неожиданны, что Кафтанов чуть ослабил пальцы. Почувствовав это, Федор дернулся еще раз. Жесткие ногти Кафтanova до крови разодрали кожу на шее, но Федор вырвался все-таки, в два прыжка отскочил к дверям.

– Поросятник! – еще раз вгорячах выкрикнул Федор. Потер шею и поглядел на закровеневшую ладонь. – Еще лапается...

Кафтанов свирепо нагнул голову, громко засопел, сдернул со стены плеть. Федор сиганул с крыльца, метнулся стрелой за конюшню, оттуда – в лес.

* * *

До самой темноты он пролежал в глухом таежном овраге на ворохе сухих, опавших листьев, раздумывая: что же произошло? Он понимал, что с Кафтановым все покончено. «Житье-то на заимке было благодать... – метались у него в голове обрывки мыслей. – А там бы, дальше-то, и вовсе... Все могло быть... Анна подросла бы... А теперь что? Антона этого черт принес... Не могли его не в руку, а в другое место...» Федор аж зубами скрипел от обиды.

Неожиданно он почувствовал голод. «Куда мне теперь? На заимку? А ежели Кафтанов там? В деревню? А ежели они, жандармы эти да Инютин, ждут дома? К Антону, может? А что у него? Сам все съел, зубами сейчас щелкает. И потом – ежели на след наведу? Черт их знает, возьмут да подследят за мной. Нет, нельзя к Антону. Тогда-то уж точно будет известно, что знал я про Антона. А так еще обойдется, может. Батка, тот режь – не скажет... Уберется Антон, и забудут все про это. Кто его видел-то у нас? Никто... Да нет, теперь уж не обойдется. Как же я не сдержался-то да еще гадом, поросятником обозвал Кафтanova?! Не до смерти же он задавил бы меня...» Федор был ненавистен самому себе.

Еще полежав, он решил идти в деревню.

Над головой в просвете между деревьями мигали холодные, тусклые звезды. Временами налетал ветер-шатун, трепал вершины мохнатых сосен и голых уже почти берез. Лес жутко и угрюмо шумел. Но Федора не пугали эти звуки, не боялся он и встречи в темном лесу с ночным зверем. Он просто не думал об этом, потому что думал все время о другом: «Как же, как же я не сдержался? Обошлось бы, обошлось...»

К Михайловке Федор подошел почти перед рассветом, пробрался задами на свой огород, долго лежал под ветхим плетнем, прислушиваясь. Над деревней стояла мертвая тишина; казалось, что за несколько месяцев, пока он здесь не был, деревня обезлюдела, от неведомой болезни вымерли и люди, и собаки, и вся скотина, всякая живность...

Но, нет, петухи, оказывается, не вымерли. Где-то далеко, на другом конце деревни, заставив Федора вздрогнуть, кукарекнул один, ему откликнулся другой, третий... Петушиный звон стоял над деревней минут пять и так же неожиданно оборвался, как и возник.

Когда начало светать, скрипнула дверь в сенцах. Федор узнал этот звук и еще плотнее прижался к земле, намереваясь в случае чего вскочить с земли, перемахнуть через плетень, а там по чужим задворкам снова в лес. Кто-то неслышно вышел во двор, двинулся в дровяник. Вглядевшись сквозь серую муть, Федор узнал мать, бесшумно поднялся.

– Мама...

– Господи?! Кто это?

– Я это...

– Феденька... Сынок! – Мать подбежала к нему, жесткими пальцами начала ощупывать его голову. – А батьку-то... увезли вчерась днем! Эти, жандармы... В Шантару увезли. А где Антошка-то? Что с ним? Рука у него поджила аль нет?

– Тише, мама... Значит, никого тут нету?

– А кому быть здесь? Я да Ванька... Наревелся он вчера, как батьку повезли. Демьян Инютин лучшую бричку запряг, не пожалел... Вся деревня взбаламутилась, чуть не до Звенигоры толпой, сказывают, рестанта провожали. Что теперя будет, Феденька? Антон ушел, что ли, с заимки? Болтают – не нашли его там жандармы эти.

– Ушел... На Звенигоре он, в пещерку мы его с батей спрятали. Голодный, однако, другой день сидит.

– Да как же? Голодом-то? Феденька...

– Тише ты! – прикрикнул Федор на мать. – Я тоже не сытый. Дай чего пожевать. Жандармы уехали, значит?

– Ага, вместе всех Инютин и отвез. Обрато пустую бричку пригнал.

– А сам Кафтанов в деревне?

– Не видно вроде. Бог его знает.

Сидя за столом, Федор чувствовал, как сами собой закрываются от усталости глаза. Есть вроде уже и не хотелось. Пожевав хлеба, он отодвинул чашку с мятой картошкой.

– Глаза слипаются, мам... Я, почитай, две ночи не спал.

– Может, сынок, пересилишь себя да Антошке снесешь чего поесть? – несмело спросила Устинья.

– Не помрет до вечера.

– А может, уйти ему куда от греха подальше? Спрятаться получше? Ты бы обсказал ему все...

– Лучше не спрячешься. Он ведь в Змеином ущелье сидит.

– Батюшки! Сдурели вы с батькой! – побледнела Устинья. – Да ить змеи гремучие заедят...

– Ничо не заедят, мам, – послышалось вдруг из темного угла. Там под рваным тряпьем спал десятилетний Ванька. – Мы туда прошлогод ходили осенью, Федька вон водил. Страху-то я натерпелся! А зря... Спят они осенью, змеюки-то...

– Как ходили? – обомлела Устинья. – Куда ходили?

– В ущелье это. – Ванька сел на своей постели, зевнул, стал протирать кулаками глаза. – Большая-ая, мам, ямина там, мешок такой каменный. Федька показывал...

– Ах ты, паразит такой! – рассердился Федор. – Я для этого водил, чтоб ты рассказывал, да?!

– Чего ты? Я только говорю, что не обкусают Антона... И тебе, однако, там надо схорониться. Мне Кирька Инютин вчерась сказывал: «Тятьку твоего рестовали, и Федьку, говорит, вашего зарестуют, ежели поймают».

– Погодь-ка, – Федор подошел к братишке, сел на корточки перед ним. – Еще что он тебе говорил?

– Еще чо? «Еще, говорит, пытать вас с тяткой зачнут, чтобы признались, где Антошка затаился. Скипятят, говорит, чугунок воды да ноги-руки ваши будут туда совать...»

– Замолчи! – Устинья затрясла маленькой головой. – Чего ты слушаешь болтунов всяких? Где это видано, чтобы людей... живьем-то в кипяток?

– Мне что? Он говорил – я слушал. Эта Анфиска толстомыкая, которая рядом с Инютиными-то живет, ка-ак ударится в рев. От страха. А я не плакал, потому что не поверил. Только потом уже, когда тятку повезли, жутко стало... А вдруг да правда в чугунок? А, Федька?

– Врет он...

– Ага, и Анфиска после сказала, что врет. Это когда уж тятку повезли. «Ты, говорит, не хнычь, брешет все Кирька, токо, если Федька объявится, не сказывай Кирьке...»

– Это почто же? – нахмурился Федор.

– А Кирьке отец последить велел, не появишься ли ты в деревне. Он, соплюха такой, вчерась весь день возле нашей избы крутился. И у меня сколь разов спрашивал, не приехал ли ты с займки.

– А ты... а ты что?

– Дак тебя не было... Нету, говорю.

– А если бы приехал? Что бы ты? Сказал?

– Со всех ног побежал бы доносить... Еще разулся бы, чтоб легче бежать. – Голосишко его дрожало и рвался от какой-то мальчишеской ненависти. – Он, конопатый гад, фабричными ботинками хвастается. Отец ему нынче купил в Шантаре. Черные, как деготь, с узором на носках, а подошвы желтые... – Ванька помолчал, подумал о чем-то и продолжал: – Носки с узорами, а ровно железные. На той неделе мы в похоронки играли. Мы вместе с Анфиской и схоронились за амбаром. Еще Анна Кафтанова с нами. Он нашел нас да ка-ак пнул меня под зад ботинком своим... «Не хоронись, говорит, вместе с Анфиской». Зараза такая... А к Антону, когда еду понесешь, возьми меня, а? Али давай я один схожу, снесу ему. Я ить знаю, где та пещера... А ты поспи...

– Я те пойду! – строго произнес Федор, поднимаясь с корточек. – Еще не все гадюки заснули-то... И заикнись у меня кому, что я дома...

– Я что, дурак? – обиженно сказал мальчишка.

...До вечера Федор проспал на чердаке. Когда открыл глаза, то первое, что увидел, – тоненький пучок света. Он пробивался сквозь дырку в крыше и перечеркивал наискось, снизу вверх, темное пространство чердака. В этом лучике густо плясали пылинки.

«Вечер уже», – понял Федор. Он не раз видел этот лучик и знал, что утром он перечеркивал чердак сверху вниз, в полдень тянулся прямо от одного края дощатой крыши до другого, а к вечеру полз вверх.

Было душно, пахло пылью и сухими березовыми вениками, которые связками висели под самой крышей.

Федор прислушался – в избе стояла тишина. Только на улице, рядом с избой, кричали ребятишки. «В бабки играют, – определил Федор, различив голос младшего брата. – Опять Ваньке под зад ботинком даст Инютин этот, сволочь, ежели проиграет. Ишь как орет...»

В голову ему плеснулась злость. «Распинался, паршивец такой... Я те отверну за Ваньку нос вместе с головой! Запищишь!» Одновременно с этим Федор вспомнил, как душил его вчера утром Кафтанов своими ручищами. «Гад-поросятник! – больно застучало у него в висках, гнев и обида захлестнули Федора. – Все бы вам под зад нас да за горло... Привыкли, сволочи... Вон, шею не повернуть, всю покорябал когтями. Еще бы маленько – до хрящей продрал. Ну, погоди, погоди, я тебя тоже как-нибудь за горло-то ухвачу...»

Федор пощупал шею. Раскорябанные места присохли, но во время сна короста в каком-то месте, видимо, оторвалась, и едва Федор коснулся шеи пальцами, кожу сильно защипало. Это еще больше распалило его. «Ишь, обезьяна волосатая, изуродовал как! Нет, погоди, и я тебя ухвачу за жирную шею, не так еще раскровеню... А то – где Антон! Найдете вы его, как же... Разевайте рот пошире, чтоб мимо не пролетело...»

Искорка гнева, вспыхнув по случайности (не услышь он ребячьих голосов, может, и не вспыхнула бы), разгоралась в целый пожар. Федор не помнил уже, что совсем недавно завидовал разгульной жизни Кафтанова, что где-то внутри копошились, неясно волнуя, различные жизненные планы, что он готов был служить Кафтанову, который обещал сделать из него человека...

Сейчас все это застилала обида и гнев. Он и не подозревал в себе до настоящей минуты таких чувств. «К Антону быстрее надо, – думал он. – Сказать, чтобы уходил с пещеры... Как же это я? Надо бы с утра прямо, не сдох бы, еще не поспавши... Чугунка не чугунок, а ежели и вправду батю в такие шоры возьмут, что проговорится? Вот тогда-то обрадуется Кафтанов, раззявит волосатый рот, ежели поймут Антона. Ну нет, выкусишь у меня...»

Федор быстро слез с чердака. Услышав шаги в сенях, Устинья выскочила из избы.

– Ты? Я думала, господи... На задвижку я сейчас...

– Тихо, мама... Ваньку зачем на улицу пустила?

– Так Инютина Демьяна разов пять парнишка торкался – айда да айда в бабки играть. «Чо, грит, седни сидишь, как домосед?» А сам зырк да зырк по избе. Я грю: «Иди, Ванюшка, поиграй», а то еще, думаю, подумает... Да ничего, он, Ванька, смысленный, не скажет...

– Что ж, ладно, – сказал Федор. – Собери чего там для Антона. Я сейчас к нему...

– Федюшка?!

– Ничего, я задами, а там по кустам, по балкам...

... Через несколько минут Федор, прижимая к боку узелок с булкой хлеба и куском сала, проскользнул через огород, махнул за плетень, в заросли дикого конопляника, полежал там и по пустынным переулкам побежал за деревню.

Все вроде было хорошо, никто его не заметил. За деревней, по травянистому овражку, он дошел почти до Громотухи и зашагал по-над берегом к Звенигоре, уминая на ходу мягкую краюху и время от времени оглядываясь.

Раза два или три он замечал сзади и сбоку от себя одинокие фигуры каких-то людей. Но они были далеко, в полуверсте, если не больше, и Федор не волновался. Мало ли какие люди бродят по степи...

Заволновался он, когда, подходя уже к Звенигоре, почти к самому ущелью, оглянулся и увидел сзади верхового. «Инютин Демьян!» – обожгло его. Человека на коне закрывала тень, отбрасываемая скалой, лица всадника было не различить. Но глаза у Федора были зоркие, и деревяшку вместо ноги он все-таки разглядел.

Федор растерялся и побежал. Ему надо бы уж идти да идти мимо ущелья и мимо Звенигоры, а там придумал бы что-нибудь – куда шел и зачем, – но он побежал, выдав себя этим с головой. Инютин гикнул и скоро догнал его, чуть не стоптав, как раз у входа в ущелье. Загородив дорогу конем, он сполз на землю, высморкался.

– Суразенок паршивый, – сказал он совсем миролюбиво, опростав обе широкие ноздри. – Я ить знал, что ты еще ночью домой приполоз. Матка-то твоя, как мышь, возле дома шныряла, а на лице все написано. Антиресно было только, совсем каторжник ваш с этих мест убрался али припрятали где его. Ежели совсем, ловить нам его бесполезно, ежели нет – непременно жрать ему понесешь. – Инютин вырвал из рук Федьки узел и стал разматывать.

Сзади подбежал, запыхавшись, унтер-офицер Дорофеев. С него ручьями лил пот, он сдернул фуражку – мокрые волосы его аж дымились.

– Что вам надо? – опомнился наконец Федор, крутнулся на дороге.

– Не балуй-ка, парень, – сказал Дорофеев и расстегнул кобуру. – Догоню все равно из этой штуки.

– Да что привязались-то? Я в Шантару, про батьку узнать...

– Уф! – опустил Дорофеев на каменный обломок возле дороги. – Замытарил ты нас, Инютин, со своей слежкой. А беглый, поди, уж за сто верст отсюда...

– Тута он, милый, в горе где-то сидит, – сказал Инютин, обнюхивая кусок застарелого сала. – Ежели б в тайге схоронили где-то, этот сопляк туда бы потянулся. А он – в эту сторону. А тут, кроме Звенигоры, где спрячешься?

Жандармы тоже присели на землю, выставив обтянутые синим сукном тупые коленки. Все были смятые и грязные, видно, что все давно не спали. Федор даже злорадно усмехнулся.

– Что там у него? Сало, что ли? – спросил один из жандармов. – Вашблагородь, разрешите перекусить.

– Ешьте.

Инютин кинул жандармам булку, потом сало. Один из них вытащил шашку, положил сало на булку и начал резать его на тонкие пласты. Резал умело, – видимо, это ему было привычно.

Несколько минут жандармы, тихонько чавкая, жевали, Инютин с Дорофеевым молчали.

– Ну, так что мы выследили-то, Инютин? – спросил Дорофеев. – Не пойму я что-то. Тот старый пень ничего нам не сказал, и этот выкормыш, по глазам вижу, ничего не скажет.

– Этот скажет, – усмехнулся в лисью бородку Инютин. Было в этой усмешке, в ледяном блеске его мокроватых глаз что-то до того зловещее, что Федор почувствовал, как тоскливо заняло в груди. – Он скажет, если жить охота. А неохота – прирубим потихоньку шашками да в ущелье вон Змеиное кинем. Искать там никто не будет. Дай-ка мне шашку-то, я сперва чуть пощекочу его, – протянул он руку к жандарму, который резал сало, повернулся к Федору: – Что ты с лица-то сошел, дурачок? Ты не бойся. Настругаем с тебя ломтиков, как с того куска сала, и все. Больше ничего делать не будем.

«И настругает... Настругает!» – с ужасом стучало в Федькиной голове. Он все пятился от Инютина к нависшей над дорогой скале, а Инютин, не торопясь, припадая на деревяшку, не улыбаясь больше, держа перед собой шашку, как копье, шел к нему.

Федор уперся спиной в каменную стену и почти одновременно почувствовал на своей груди острый, горячий кончик шашки. Первой и единственной мыслью было – отшвырнуть прочь это длинное стальное жало от груди или выхватить шашку да рубануть самого Инютина по злобно свекающим глазам. И руки Федора сами собой сделали какое-то движение.

– Не копошись! – ударил в уши хриплый голос Инютина. – Пальцы-то обрежешь, просыпятся, как стручки, на землю... Говори, где он, политик ваш вонючий, куда спрятали?

И руки Федора опали, как плети. Он чуял, что кончик шашки прорезал ему рубаху, прорезал, видно, и кожу, достал до ребер, потому что по груди, по животу пробежала обжигающая струйка.

«Хоть бы вывернулся кто по дороге из-за скалы, подвода какая-нибудь, чтоб увидели, что они со мной делают...» – замелькало в голове у Федора, и ему даже почудилось, что где-то недалеко стучат тележные колеса, он глянул в сторону, на дорогу... Но звук тележных колес пропал, на дороге никого не было, кроме Дорофеева и двух жандармов. Они сидели на прежних местах, жандармы, не обращая внимания на Федора с Инютиным, лениво дожевывали сало, один из них вытирал руки о полы шинели. А дальше, за жандармами с Дорофеевым, была Громотуха. Противоположный берег освещен солнцем, вода у того берега будто сплошь засыпана подсолнуховым цветом...

Все это запечатлелось в мозгу Федора мгновенно, за одну секунду. И еще мелькнула почему-то Лушка Кашкарова, даже не сама Лушка, а вспухли вдруг перед глазами ее голые груди, он услышал их запах, и почудился ему тихий, зовущий голос: «Федька... Федька... Чего испугался-то, дурачок?» Потом Лушка исчезла, замелькали перед глазами голые женщины, которые выскакивали из бани и, хохоча, прыгали в озеро, зазвенел в ушах другой голос, хриплый, глуховато-густой: «Но человека сделать из тебя могу, ежели верой и правдой служить будешь... Демьяну замену готовить надо... К тебе вот приглядываюсь...»

– Да что ты шашку-то книзу острием держишь? – вдруг перекрыл этот хриплый голос крик Дорофеева. – Ты ее плашмя поверни, она и пойдет между ребер, как в масло...

И Федор почувствовал, как горячее железо, раздирая кожу на груди, начало буравить между ребер.

– Последний раз спрашиваю: где Антон затаился? – пробарабанило в уши.

И он, Федор, сказал бы, не выдержал и наверное бы сказал, где прячется Антон. Но в это время рядом раздалось:

– Вот он я... Не трожьте мальчишку, сволочи.

Федор облегченно рухнул на землю. Он слышал какие-то возгласы, крики, топот ног и бряканье железа. И когда приподнял голову, увидел Антона, закопченного костерным дымом, похудевшего. Он стоял перед ним, держа руки за спиной.

– Я не виноват, братка, – поднялся с земли Федор. – Я не виноват... Я тебе хлеба понес, а они – следом... Они выследили... Но я ничего им не сказал, ты же слышал...

– Я все видел, все слышал. Спасибо тебе, – произнес Антон хмуро и невесело. – Ничего, Федор. Что ж теперь... И отцу за все спасибо скажи...

– Давай, давай! – ткнул Антона в плечо Дорофеев. – Темняется уже, поспешать надо.

От толчка Антон сделал несколько шагов назад, чуть не упал. Когда он повернулся спиной к Федору, тот увидел, что Антон не просто держит руки за спиной, они в запястьях схвачены железными обручами, соединенными стальной цепью. «Вон что! В кандалы одели! Вон они какие, кандалы-то...» – испуганно заколотилось у него сердце, будто это ему самому надели наручники.

– Что вы делаете?! У него ведь рука болит... Рука... – И Федор бросился к Антону, будто в его власти было снять с брата эти железяки.

– Заткнись ты! – двинул его плечом один из жандармов. – Сделал свое дело – и помолчи...

Федор отлетел в сторону, запнулся об торчавший из земли какой-то корень, упал на бок, сильно ударился головой об дорогу и потерял сознание.

* * *

Для всех в доме, кроме, может быть, Семена, поступок Андрейки был полной неожиданностью. Никто не замечал каких-либо его приготовлений к побегу на фронт. И когда испуганный Димка прибежал из школы и сунул матери Андрейкину записку, Анна долго не могла взять в толк ее содержания. А когда до нее стал доходить смысл Андрейкиных каракулей, она подняла бровь, потом другую, уронила сразу отяжелевшие руки и, бледнея, закричала:

– Ах он змей пустоголовый!..

Кинувшийся на станцию Димка столкнулся на улице с Колькой Инютиным. Тот шел из школы. Грязные, потрепанные учебники были засунуты под брючный ремень, в руках он держал какую-то фанерную коробку.

– Во крыса! – потряс он коробкой перед Димкой. – Хвостике полметра, ровно змея. На рогатку и две лощеных тетради выменял. Завтра на уроке немецкого выпущу. Вчера немка неуд закатила мне, зараза. Я говорю: не буду фашистский язык учить, а она... Ну, повизжит она у меня!

– А у нас Андрейка на фронт убежал! – крикнул Димка.

– Чего-о? – Николай прочертил в воздухе крючковатым носом. – А ты куда?

– А на станцию, Андрейку ловить... Может, не успел еще убежать.

– Погоди, я с тобой! Крысу только отнесу.

Прибежав домой, Колька сунул коробку с крысой в потайное место в сенцах, заскочил в дом, бросил на стол учебники, сообщил потрясающую новость сестре и кинулся догонять Димку. Вера помедлила чуть, надела косынку и тоже побежала на вокзал.

Семена Димка с Николаем встретили на выезде со станции, замахали руками, требуя остановить трактор. Почуввав неладное, Семен выскочил из машины. Поняв, в чем дело, он даже присел на гусеницы трактора.

– Понятно... Мне бы, дураку, голову-то отвернуть. Ведь он, шпингалет, при мне говорил недавно о поездах... Как же это мы не заметили его сборов? Вы-то как не заметили?

– Уследишь за ним, держи карман... Он знаешь какой хитрющий, – почти враз сказали ребята.

Оставив трактор на дороге, Семен тоже побежал к вокзалу.

Но спешили они туда уже напрасно. К этому времени Андрейка был далеко. Лежа на платформе между какими-то деревянными ящиками, он слушал звонкий стук колес, смотрел на вечеряющее небо и размышлял, скоро ли будет Новосибирск.

Вся сложность была в том, что Андрейка не знал, куда пойдет этот состав из Новосибирска – в сторону фронта или дальше на восток. Спрашивать у кого-то в Шантаре поостерегся. Но что не минует этого города, знал наверняка и поэтому не особенно волновался. Ему бы только добраться до Новосибирска, а там уж он найдет именно тот состав, который отправится в сторону фронта. На этот счет у него был не раз продуманный и поэтому абсолютно верный, как он считал, план. Только не проспать бы этот чертов Новосибирск!

На ногах у него были добротные, почти новые сапоги, на голове – теплая шапка, на плечах – суконная тужурка. Под головой лежал вещевой мешок, в котором находились три с половиной булки хлеба, кусок сала, несколько морковок, две луковицы, соль в тряпочке, спичечный коробок, ложка, кружка и котелок, с которым он не раз ходил на рыбалку. И еще были кое-какие мелочи, необходимые в дороге. Собирался Андрейка долго и основательно, оделся тепло, понимая, что путь предстоит дальний, ночами уже холодно, может быть, даже зима застанет его в дороге. Но все-таки больше полутора недель на дорогу не клал, а там, когда он явится в какую-нибудь воинскую часть, ему выдадут обмундирование и все прочее, что положено бойцу Красной армии.

План его состоял из трех частей. Часть первая – добраться из Шантары до Новосибирска. Часть вторая – добраться из Новосибирска до Москвы. Выполнить эти две части – плевое дело. Что касается третьей – добраться из Москвы до фронта, – тут дело обстояло несколько посложнее. Фронт, как писали газеты и говорили по радио, проходит недалеко от Москвы. Но ходят ли туда, на фронт, поезда – вот в чем вопрос.

Впрочем, и об этом он особенно не тревожился. Раз фронт не так далеко от Москвы, он, Андрейка, в крайнем случае, дойдет до него из Москвы пешком.

Таким образом, все было просто, ясно, легко осуществимо. Карька Сокол, дурак горбоносый, в военкомат ходил. А что они там, в военкомате, понимают? А он вот запросто вскочил на платформу – и поехал. И доедет! Разинет рот-то Колька, когда узнает! Ничего, пушай завидует, соображает. А сообразив, сделает, как он.

Жалко Андрейке лишь мать немного. Отец, понятное дело, заворочает от гнева глазами, запыхтит, как паровоз, закричит. Да пусть кричит, не угонится теперь. А мама... Она расстроится, заплачет... Зато когда он после войны вернется с фронта в красноармейской форме, обветренный, пропахший пороховым дымом... да, может, еще с настоящей шашкой, как у Чапаева?! А что, запросто могут дать ему именную шашку, если он отличится в боях, если подвиг какой совершит. Да еще бы орден... Что ж, и орден могут дать. Вот бы все глаза на него выпучили, когда он придет с шашкой на боку, в папахе и при ордене! У Димки от зависти черные скулы пойдут пятнами, у Карьки Сокола зашевелится горбатый нос и глазищи задымятся, Семен от удивления захлопает глазами. А мать от радости и гордости за него, Андрейку, будет улыбаться, улыбаться, чуть смущаясь, из глаз ее будут и будут литься светлые лучики. А отец? А Верка, Колькина сестра?! А эта долговязая Ганка, что живет у них?! А ребята в классе!

Небо все темнело, колеса все стучали, и Андрейка, глядя на проступающие в вышине звезды, начал думать, что может ведь случиться и так: вечером отец... или нет, лучше Семен, придет с работы, откроет газету и ахнет – в газете сфотографирован он, Андрейка! Он пока еще без шашки, но в красноармейской форме, а рядом с ним Михаил Иванович Калинин. В одной руке Калинин держит коробочку с тем самым орденом, а другой жмет ему руку и улыбается. И сам Сталин стоит рядом и тоже улыбается и смотрит на него, Андрейку... «Отец! Мама! – заполошно вскричит Семен. – Да вы глядите, глядите!» Да, очень, очень будет жалко, что он, Андрейка, не увидит в этот момент выражения лица ни Семена, ни отца, ни матери...

Убаюканный равномерным стуком колес и этими сладкими мыслями, Андрейка прикрыл глаза и, улыбаясь, заснул. Спал он спокойно и безмятежно и во сне тоже улыбался.

Проснулся от пронзительного визга паровозных гудков, протер кулаками глаза. Колеса под ним не стучали, поезд стоял. Андрейка на коленях подполз к краю платформы и, чуть свесившись через деревянный борт, глянул вправо, влево, но в полутьме разглядел только длинную вереницу товарных вагонов. Он кинулся к другому краю платформы и снова увидел такие же вагоны. Тогда он вскарабкался на невысокий ящик, встал во весь рост. Всюду вагоны, вагоны, целое море вагонов, тускло освещаемых кое-где торчащими на высоких столбах прожекторами. Во многих местах густо дымили паровозы, белый дым был хорошо виден в жидком электрическом свете, он столбами уходил в низкое черное небо, точно подпирая его, и потому черная, беззвездная темнота не могла упасть на землю.

Справа, за паровозными дымами, за морем горбатых вагонных крыш, виднелось огромное, длинное, в два или три этажа, здание, залитое ярким светом таких же прожекторов. Андрейка своими зоркими глазами различил там составы из пассажирских вагонов, понял, что это вокзал. «Новосибирск!» – решил он, схватил вещевой мешок и прыгнул на землю.

Высматривая тормозные площадки, он перебирался через составы, нырял под вагоны. Понимая, что каждый состав может в любую минуту тронуться, он проползал под вагонами стремительно, ушибая колени и голову, волоча по земле мешок.

Между двух каких-то составов он встретил женщину с фонарем в замасленных стеганых брюках и телогрейке. В другой руке у нее был молоток на длинной рукоятке. Она освещала фонарем вагонные колеса, а молотком простукивала их.

– Тетенька, это Новосибирск? – спросил у нее Андрейка, чтобы уже точно удостовериться, куда он приехал.

– Новосибирск. А ты чего тут шарисься? – строго спросила она, осветила его фонарем, за желтым стеклом которого торчал свечной огарок. – Уголь с вагонов воруюшь?

– Нет... Я только что приехал.

– Из эвакуированных, что ли?

– Ага, – кивнул Андрейка.

– Ну и ступай на перрон, там ваши выгружаются. Нечего тут шариться, ишь шустрый какой!

И она пошла дальше, простукивая колеса.

– Тетенька, а в какой стороне Москва, вы не скажете?

– Чего, чего? – удивленно спросила женщина. – А зачем тебе?

– Надо мне...

– Постой-ка, паренек хороший, – произнесла она и двинулась к нему.

Он быстро нырнул под состав, под другой, под третий, прыгнул на какую-то платформу с лесом, лег плашмя вдоль торцевого борта, затаился, прислушиваясь. «Надо же, чуть не нарвался! Конечно, около Москвы – фронт, сразу догадалась. Нет, спрашивать больше ничего ни у кого нельзя».

Немного полежав, он понял, что никакой погони за ним нет, успокоился и стал думать. Что ж, первая часть его плана выполнена блестяще, надо приступить ко второй.

Почувствовав голод, развязал мешок, отломил краюху хлеба, вынул морковку и начал есть. Хлеб и морковка пахли почему-то керосином. Он не сразу догадался, что это пахнет не хлеб и не морковка, что он запачкал в мазуте руки, когда лазил под вагонами.

На платформе было хорошо и уютно. С одной стороны невысокий деревянный борт, окованный толстыми железными полосами, с другой – толстые бревна. Торцы третьего ряда бревен на полметра выступали над двумя нижними, образуя нишу; Андрейка залез в эту нишу, растянулся, примеряя ее. Да, хорошо бы здесь ехать до самой Москвы, под себя можно положить сена – вон соседняя платформа с тюками прессованного сена, он бы надергал немного.

И на остановках черта с два кто заметит его под бревнами. Только вопрос – куда следует этот состав? В Москву или совсем в противоположную сторону?

Из ниши вылезать не хотелось. Андрейка лежал тихо и размышлял. На этой платформе лес, на соседней – тюки с сеном, а дальше бензиновые цистерны. Куда сейчас могут везти лес, сено и бензин? Конечно, на фронт. Лес – для блиндажей, сено – для кавалерийских лошадей, бензин – для самолетов.

Так-то так, а вдруг все-таки состав следует в противоположную сторону? Нет, сначала надо узнать, в какой стороне Москва.

Узнать это согласно его плану было проще простого: надо пойти на перрон и посмотреть, в какую сторону отходят пассажирские поезда, на стенках которых прибиты таблички: «Владивосток-Москва», или «Иркутск-Москва», или «Новосибирск-Москва». А потом следовало высмотреть любой товарняк, двинувшийся в ту же сторону и, пока он не набрал скорости, прицепиться на него.

Андрейка с сожалением вылез из своей ниши. Наступал рассвет, черное небо над головой светлело, паровозные дымы стали будто выше. Он спрыгнул на землю и, перебираясь через составы, направился к вокзалу.

Когда уже почти вышел на пассажирскую платформу, мимо прогрохотал поезд. Паровоз появился неожиданно, словно вырос из-под земли, сипло и свирепо загудел. Этот рев застал Андрейку посреди путей и словно пригвоздил к месту. Паровоз быстро приближался, стремительно увеличиваясь в размерах. Андрейка видел его черный плоский круглый лоб, красную, похожую на свирепый оскал, решетку над передними колесами-бегунками, короткую, конусом книзу, трубу, из которой моталась грива черного дыма. Он все видел, он понимал, что паровоз сейчас сомнет и раздавит его, как муху, но с места двинуться не мог, ноги его словно прикипели.

Как и когда Андрейка успел отскочить в сторону, он не помнил. Почувствовал только, что его обдало ветром и жаром, да увидел, как чумазый машинист, блеснув глазами, погрозил сверху, из своей будки, черным кулаком.

Андрейка проводил взглядом машиниста и виновато опустил голову, слушая, как часто колотится от испуга сердце. Поезд все грохотал и грохотал мимо – состав был длинный.

Но едва приподнял голову, тотчас забыл и про машиниста, и про свой испуг. Танки! Танки!! На открытых платформах пролетающего мимо поезда стояли танки! А танки – это не лес и не бензин, в тыл их не повезут. Конечно же, этот состав идет в сторону Москвы, на фронт! Вот, оказывается, как еще можно узнать, в какой стороне фронт! А он, болван, в своем плане этого не предусмотрел, он надеялся это узнать с помощью табличек на пассажирских поездах. Вот дурак, вот дурак!

Андрейка крутнулся от радости, заспешил назад, снова перелезая через тормозные площадки, ныряя под вагоны. «Отыскать, отыскать ту платформу с лесом... – мелькало у него в голове. – Состав приметный – лес, бензиновые цистерны, тюки прессованного сена. Если состав тронется в противоположную сторону, чем этот, с танками, сразу соскочу и сяду на другой какой-нибудь. А если в ту же, это будет удача из удач. Там, под бревнами, тепло и тихо. И от дождя мало-мальски укрытие... Только где он, тот состав? Неужели ушел? Неужели ушел?»

Железнодорожный состав, в котором была так полюбившаяся Андрейке платформа с лесом, стоял на месте. Андрейка отыскал его, когда совсем рассвело, забился в свою нишу, вытянувшись во весь рост, и блаженно улынулся. «Ну вот...»

Состав стоял еще долго, – может, час, может, два. Андрейка лежал терпеливо. Наконец послышался глухой металлический лягз, эти звуки все нарастали, приближались, платформа, на которой устроился Андрейка, дрогнула, тронулась с места. Металлический грохот, затихая, уплыл в хвост состава. Редко и тихо пока начали стучать на стыках рельсов колеса.

Андрейка выполз из своего укрытия, глянул вправо, влево. И засмеялся облегченно: состав двинулся именно в ту сторону, куда прогрохотал эшелон с танками.

Через несколько минут состав миновал выходные стрелки и начал набирать скорость. Мелькнули последние станционные постройки, проплыла мимо какая-то церковь, все быстрее потекли назад маленькие деревянные, почерневшие от дождей домишки. И вдруг совсем неожиданно состав загремел по огромному железнодорожному мосту.

Такого большого моста и такой широкой реки Андрейка еще не видел. Это не то что Громотуха, раз в пять, наверное, пошире. Вон и пароходы по ней ходят.

Андрейка смотрел сквозь мелькавшие фермы на большой белый пароход, за которым тянулся пенящийся след, на тяжелые, свинцовые волны, которые расходятся от бортов в разные стороны, и вдруг почувствовал, что хочет пить. «Эх, черт, как же я? – угрюмо подумал он. – Надо было там, в Новосибирске, набрать воды. Ну ничего, где-нибудь поезд остановится же, и наберу».

Скоро остались позади и мост, и река с пароходом, и город, поезд шел теперь степью. Вдалеке мелькали деревушки, но Андрейке глядеть на них надоело, он встал и осторожно перебрался на платформу с тюками прессованного сена. Тюки были сложены пирамидой, каждый тюк крепко прошит толстой проволокой. Он попробовал надергать из тюков сена, но это ему не удалось. Риска сорваться, он облазил всю платформу, надеясь найти где-нибудь распутившийся тюк. Но не нашел, вернулся назад. «Ладно, и без подстилки доеду. Подумаешь...»

А пить между тем хотелось все сильнее. Во рту сохло, язык сделался шершавым. Вагонные колеса стучали и стучали не переставая, нагоняя дремоту. Но и спать Андрейка не мог. Едва закрывал глаза, чудился ему тот белый пароход, рассекавший тупым носом тяжелые волны неизвестной реки, и пить хотелось еще сильнее.

А состав, как назло, часто пересекал небольшие речки и речушки. Они хоть были и небольшие, но из них могли напиться, думал Андрейка, и сто, и двести, и тысяча человек. Ах, если бы поезд взял да остановился по какой-нибудь причине возле одной из речушек!

Но возле речек состав не останавливался. Он вообще не останавливался долго, может быть несколько часов. Солнце, во всяком случае, поднялось высоко, оно освещало унылые, пустынные поля, колхозные пашни, хлеб с которых был давно убран, а низкая стерня измята и вытоптана скотом.

Когда Андрейке стало совсем невмоготу, когда во рту, в горле от жажды перегорело начисто, поезд начал заметно сбавлять скорость, колеса застучали реже. Андрейка перегнулся через борт платформы. Однако то, что увидел впереди, его не очень обрадовало: впереди торчал входной семафор, за семафором виднелся одинокий дощатый барак. Разъезд, что ли, какой? «Если б станция, была бы водогрейка, – невесело размышлял он. – Подошел бы и набрал полный котелок воды. А тут что? Конечно, раз тут живут люди, есть у них и вода. Но зайти в барак и попросить – опасно. Кто, спросят, такой, почему на товарняке едешь, куда? И – влипнешь. Да еще и остановится ли состав?»

Состав еще больше замедлил ход и остановился. Платформа, на которой пристроился Андрейка, очутилась как раз напротив барака. А рядом с бараком... Андрейка даже закрыл глаза и замотал головой, пытаясь сбросить наваждение... Рядом с бараком, метрах, может, в двадцати от него, торчал из-под земли колодезный сруб, и какая-то женщина, нет, девчонка вроде, доставала из колодца деревянной бадьей воду, переливала ее в стоящие на земле ведра.

Попросить... попросить котелок воды?! Или – не надо, опасно ведь! Или попросить, – может, ничего, не догадается, куда он едет? – замелькало у него в голове. Нет, нет, опасно. Девчонка, может, ничего и не спросит, а скажет о нем взрослым. Те или сейчас же снимут его с поезда, или по телефону (а в бараке наверняка телефон есть!) позвонят на ближайшую станцию: подозрительный, мол, человек на товарняке едет, проверьте...

Но перед глазами сверкала, переливалась искрами струя холодной, хрустальной воды, льющаяся из тяжелой деревянной бадьи в оцинкованные ведра. Андрейка почувствовал во рту вкус этой воды, и у него в горле прошла какая-то судорога. Он глянул вперед – выходной семафор был еще закрыт. И его руки сами собой развязали мешок, выдернули оттуда котелок. Сбросив с плеч тужурку, он спрыгнул на землю, закричал:

– Э-эй! Погоди...

Девчонка у колодца обернулась.

– Слушай... скорее, скорее! – прокричал он, подбегая к ней. – Дай скорее воды! Дай мне воды...

И, не обращая внимания на испуганно попятившуюся девчонку в рваном пиджаке, подпоясанном стареньким широким армейским ремнем, зачерпнул котелком из стоящего на земле ведра, обливаясь, начал жадно, крупными глотками пить.

Вода была холодная, ледяная. После двух-трех глотков у него заломило зубы, на глазах выступили слезы.

– Ты... кто такой? – спросила девчонка.

– Так, человек я, – ответил он, прижимая ладонью щеку, пытаясь унять ломоту в зубах.

И снова принялся пить.

Девчонка все смотрела на него широко открытыми глазами.

– Ты на этом товарняке зайцем едешь?

– Еду... Только не зайцем, а лисицей.

Девочка прыснула в кулачок. И Андрейка вдруг попросил:

– Ты не говори никому, что я еду. Ладно?

– Ладно, – пообещала девчонка. – Набери с собой полный котелок, если надо. Только в ведро не лезь больше, давай я налью.

Она стала наливать воду из ведра, но в это время свистнул паровоз, и состав тронулся.

– Ой, отстанешь! – пискнула девчонка.

Расплескивая воду, Андрейка побежал к составу. Он бежал, а платформа с лесом, на которой лежал его мешок с продуктами, все удалялась и удалялась. «Отстал! Отстал! – коло-тилось в голове. – А там, в мешке, хлеб и сало... Там тужурка... Как я теперь? Как я теперь?»

Испуг и растерянность сковывали ноги, они сделались тяжелыми, он едва отрывал их от земли. Рельсы лежали на невысокой насыпи, бежать было неудобно. «Отстал! Отстал...»

А мимо проплывали цистерны, крытые вагоны, снова цистерны. Состав шел все быстрее. Поняв, что свою платформу ему не догнать, он отшвырнул котелок с остатками воды и, рискуя попасть под колеса, попробовал прицепиться к любому вагону. Но попытка его окончилась плачевно, он сорвался, упал, скатился вниз по насыпи, до крови ободрав колено. Однако, не чувствуя боли, вскочил.

Мимо проплывал последний вагон.

– Руку, сынок, давай, руку! – услышал он чей-то голос и увидел склонившегося с тормозной площадки последнего вагона усатого человека. Стоя на нижней ступеньке, он держался одной рукой за железный поручень, а другую протягивал ему.

Андрейка хотел ухватиться за протянутую руку, но его ладонь только скользнула по рукаву пиджака, и последний вагон стал отдаляться – вот на полметра, вот на метр, на полтора...

– Дяденька... дяденька! – в отчаянии крикнул Андрейка.

– А ты поднажми, поднажми, сынок! – закричал усатый. – Один рывок... Сделай последний рывок!

Андрейка и сам понимал, что, если не сделать сейчас последнего, решающего рывка, – прощай и тужурка, и мешок с продуктами, а без еды ему уж и вовсе до фронта не доехать. И он сделал...

– Держи-и!

Он почувствовал, как что-то ударило его по лицу. Он не видел, что его ударило, но мгновенно догадался, что человек бросил ему веревку или ремень, и так же мгновенно ухватился за спасительный конец, ухватился удачно и так крепко, что никакая сила в мире не заставила бы его теперь разжать руки.

Усатый заволок его на тормозную площадку. Все еще сжимая в побелевших кулаках конец ремня, Андрейка увидел, что сбоку мелькают кустарники, услышал, как стучат под ним колеса. Только тогда понял, что все-таки не отстал от поезда, и облегченно рассмеялся.

– А ловко я тебя, словно рыбину из пруда, выволок, – сказал усатый, опускаясь на корточки. И подмигнул: – А ты молодец, крепко ухватился. Ей-богу, молодец.

– Спасибо вам, а то я бы отстал, – сказал Андрейка и встал пошатываясь. В груди у него ныло, словно по ней долго колотили палками, и жгло. Снова хотелось пить. – А там, на платформе с лесом, у меня мешок с хлебом и тужурка.

– Да я, понимаешь, тоже боялся, что ты отстанешь. Я же тебе крикнул, когда ты к колодцу побежал: «Скорей, парень!» Разве ты не слышал?

– Не-ет, – мотнул головой Андрейка, с удивлением разглядывая необыкновенного человека. – А вы кто?

– Да я кондуктор. Вот сопровождаю составы туда-сюда... Ничего, все обошлось. А мешок и тужурка никуда не денутся. Скоро будет станция, возьмешь свои вещи. Ты как хочешь дальше ехать – на той платформе или здесь, со мной? Давай со мной, а то скучно мне одному.

– Не знаю. – Андрейка поглядывал теперь на усатого с опаской, пытаясь оценить: в какое же положение он попал? Хоть этот человек с виду и добрый, ремень догадался ему бросить, – а что, если возьмет да и сдаст его на ближайшей станции в милицию?

Пока вроде о таком намерении кондуктора ничего не говорило. Он стоял, опершись локтями на барьер тормозной площадки, грыз семечки, а шелуху сплевывал на змеившиеся из-под вагона рельсы. А может, он и хороший человек, размышлял далее Андрейка. Есть же такие добрые люди, которые понимают ребят, помогают им всегда и во всем. Может быть, и этот поймет и поможет ему добраться до фронта. Однако на всякий случай распространяться о том, куда он, Андрейка, едет, не следует. Да и вообще неплохо бы от него улизнуть для верности. Только мешок с хлебом и тужурку как выручить?

Кончив грызть семечки, кондуктор снял со стенки вагона дождевик, расстелил его на полу, уселся, поставил себе на колени железный сундучок, принялся выкладывать из него помидоры, вареные яйца, хлеб.

– Присаживайся, Василий Иванович, закусим, чтоб веселее было ехать.

– Я не Василий Иванович, я Андрейка Савельев.

– А-а... Ну ладно. А меня зовут Николай Петрович... Андрей Савельев? Постой, постой! – Кондуктор, намеревавшийся разрезать краюху хлеба, забыл про краюху и нож, удивленно посмотрел на Андрейку. – Ты не Зинаиды Ивановны Савельевой сынок? Которая у нас в Новосибирске на вокзале кассиршей работает?

– Нет, – мотнул головой Андрейка.

– Как же нет?! – сделал вдруг строгие глаза кондуктор. – Да ведь это ты... ну, точно. Чего же ты отпираешься? Ты же ко мне в огород нынче летом залез, все помидоры потоптал!

– Да вы что, Николай Петрович! Какой огород? Какие помидоры? Я вовсе не в Новосибирске живу, а в Шантаре. Село есть такое, Шантара называется...

– А-а... – опять протянул кондуктор, глаза его сделались добрыми. – Ну, извини, обознался. А Шантару я знаю, сколько раз поезда сопровождал туда. Речка там у вас еще... как ее? Красивая такая...

– Громотуха.

– Точно. А когда подъезжаешь, гору вашу издалека видно.

– Видно, – согласился Андрейка. – Гора у нас тоже красивая и зовется хорошо – Звенигора.

– Верно, хорошо. Отчего она так называется? Звенит, что ли?

– Не знаю. А вот когда долго-долго смотришь на нее, особенно если день тихий и солнечный, то и чудится, будто звенит потихоньку.

– Ну, теперь я верю, что ты из Шантары, – сказал Николай Петрович. – Вот же надо, как обознался... Ты извини.

– Ничего, – великодушно ответил Андрейка.

– Давай ешь, Андрей, не стесняйся.

– Попить бы сперва.

– А вот фляжка. Пей на здоровье.

Колеса стучали наперебой, торопливо и весело, по бокам мелькали давно осыпавшиеся березовые рощицы. Андрейка, напившись, за обе щеки уплетал сперва помидоры, потом принялся за яйца. А на душе было все-таки беспокойно, тревожно. Его не покидало смутное ощущение, что сейчас, в разговоре с кондуктором, он сделал какую-то крупную промашку. Но какую – понять пока не мог.

Когда поели, Николай Петрович убрал остатки хлеба и помидоров в свой сундучок, закурил и сказал:

– Да, любил я в вашу Шантару ездить. Дорога туда красивая – леса, холмы, распадки. А тут что, степь голая да эти унылые березовые рощи. А ты куда едешь-то, на фронт?

Андрейка ожидал этого вопроса и готовился к нему. И все-таки, когда услышал его, растерялся.

– Я-то? Да вы что?... Нет, я так... в гости к бабушке. Она у меня тут недалеко живет. Я скоро сойду.

– На какой станции?

– А вот... как будет первая крупная станция, так и сойду.

Николай Петрович рассмеялся, нахлобучил ему шапку на глаза.

– Чего вы?

– А врешь здорово. Я же вижу – на фронт. Зря таишься. Но это дело твое, можешь сойти где хочешь. А только если на фронт, с этого поезда сходить не советую. Он как раз прямо на фронт и едет.

– Прямо? Я так и решил! – воскликнул Андрейка почти восторженно. – Потому что, куда, думаю, бензин сейчас могут везти? На фронт только... – И осекся, поняв, что теперь-то уж выдал себя с головой.

– Правильно думал, молодец. Ты вообще, гляжу, геройский парень, я люблю таких. Я-то лично сопровождаю этот поезд только до станции Чулымской. А дальше другой кондуктор поедет. Он мой хороший знакомый. Я попрошу, чтобы он разрешил тебе на этой же площадке и дальше ехать. Потом мой знакомый попросит следующего кондуктора, а тот – еще следующего... Так и довезут они тебя до самого фронта. Попросить?

Андрейка не знал, что отвечать. Сказать «попросите» – означало, думал он, откровенно сознаться, куда он едет. Он молчал.

– Ну, гляди. Здесь, на площадке, все-таки не так дует, и крыша над головой. А на платформе, если дождик пойдет, тебя промочит сразу. Кроме того, любой милиционер может с поезда снять. А здесь, с кондуктором, тепло и безопасно.

Андрейка вздохнул. Конечно, преимущества езды на тормозной площадке были очевидны. Но, с другой стороны, есть и опасность. А что, если какой-нибудь из кондукторов окажется не таким добрым и душевным человеком, как Николай Петрович, возьмет да и сдаст его первому попавшемуся милиционеру?

Он еще раз вздохнул, поглядел на Николая Петровича. Тот, сидя на дождевике, возился с фонарями, протирал стекла куском ветоши. Потом отставил фонари к стенке, поднял дождевик, отряхнул, повесил на вбитый в стенку гвоздь, облокотился о низкий барьерчик тормозной площадки и опять начал грызть семечки.

– А ты хочешь? – протянул он Андрейке полную горсть.

Андрейка встал рядом с ним, тоже принялся за семечки.

Николай Петрович больше ничего не спрашивал, ответа на свое предложение не требовал. И это Андрейке нравилось. И правильно, размышлял он, настоящий мужчина не должен сто раз повторять одно и то же. Высказался однажды – и довольно. Теперь его, Андрейкино, дело – думать, размышлять и принимать решение. Но какое же решение принять?

– Ладно, – пугаясь все-таки этого слова, произнес Андрейка. – Поговорите со своим знакомым кондуктором, я согласен.

– Это разумно, – кивнул Николай Петрович. – Молодец.

На первой же остановке они вместе сбегали к платформе, взяли Андрейкин мешок и тужурку, вернулись на тормозную площадку. Потом еще много раз поезд останавливался на полустанках и небольших станциях, забитых товарняками. Андрейка не таясь спрыгивал на землю, ходил возле вагона, разминал ноги. Пробегавшие мимо железнодорожники не обращали на него никакого внимания. «Хорошо!» – радовался Андрейка. И снова их состав мчался вперед, одну за другой оставляя позади станции, полустанки, деревушки. Андрейка несколько раз принимался рассказывать Николаю Петровичу о Шантаре, о Звенигоре, о Громотухе, все время почему-то сворачивая на рыбалку:

– А окуни в Громотухе – ну прямо звери. Ка-ак клюнет – ровно по удилищу кто палкой долбанет. Приезжайте на Громотуху, как я вернусь после войны, порыбачим. А, приедете?

– Конечно, Андрейка. Теперь мы друзья с тобой.

Иногда Андрейка умолкал, долго смотрел на мелькающие по сторонам перелески.

– А эти ваши друзья-кондуктора не подведут? Можно на них надеяться? – спрашивал он.

– Как на меня.

– Это вы точно говорите?

– Да иначе разве решился бы я сказать им о тебе? Не беспокойся, Андрей, все будет хорошо.

– Ладно... Я верю вам.

Во второй половине дня, ближе к вечеру, впереди показался небольшой городишко. Еще несколько минут – и поплыли мимо невзрачные низенькие деревянные дома, дощатые бараки. И дома, и бараки с торчащими кое-где перед ними голыми деревьями, и другие довольно унылого вида строения – все было черным от паровозного дыма и копоти.

– Это Чулымская?

– Она, – кивнул Николай Петрович.

Чулымская, как и другие станции, была сплошь забита эшелонами. Их состав врезался в это густое месиво железнодорожных вагонов. И было странным и удивительным, как это паровоз, тащивший их состав, сумел найти здесь свободный путь и протиснуться сквозь плотные шпалеры товарняков.

– Ну вот и приехали. Поезд тут долго стоять будет. Пойдем в кондукторский резерв, там я и познакомлю тебя со сменщиком.

Андрейка перекинул мешок через плечо. Они выбрались на людный перрон. Тут ожидали, видно, пассажирский поезд, потому что мужики и бабы кучками сидели на узлах и чемоданах, толкались перед низким, одноэтажным вокзальчиком, толпами ходили взад и вперед.

Николай Петрович провел Андрейку через темный грязный коридор вокзала, толкнул какую-то дверь. Она оказалась заперта, но в замочной скважине торчал ключ.

– Интересно, куда же она ушла? – проговорил Николай Петрович и в нерешительности остановился.

– Кто она?

– Да кондуктор, сменщик мой.

– Кондуктор же не она, а он.

– Ну что ты... У нас и женщины кондукторами работают.

Голос у Николая Петровича был какой-то не такой, как всегда, с едва различимыми винюватыми нотками. Этот голос, известие о том, что кондуктор – сменщик Николая Петровича – оказался женщиной, даже эта обшарпанная дверь, в которой торчал ключ, – все это настояжило Андрейку. «Интересно...» – мысленно произнес он, но больше ни о чем подумать не успел, потому что Николай Петрович решительно повернул ключ в двери, распахнул ее и легонько подтолкнул Андрейку в спину.

Комната, куда они вошли, была относительно большой и светлой. В углу стоял письменный стол, на нем какие-то бумаги. Вдоль стены – длинная, вышарканная диван-скамейка и несколько стульев. Каждая вещь в отдельности ничего опасного в себе не таила, но только до тех пор, пока он не увидел, что единственное окошко в комнате забрано провололочной решеткой, а на стене плакат: розовощекий милиционер стоит где-то посреди шумной городской улицы, а мимо него проходит колонна пионеров. Андрейка сразу обо всем догадался, побледнел, рывком повернулся к Николаю Петровичу. Губы его обиженно дергались.

– Не могу я, понимаешь, Андрейка, иначе, – пряча глаза произнес Николай Петрович. – Ты уж понимай как-нибудь меня.

– Я же верил вам! Я же вери-ил! – выкрикнул Андрейка.

– А порывачить после войны я к тебе приеду...

– Какой же вы... ты... какой ты предатель!

От этих слов кондуктор попятился, смотря на Андрейку грустными глазами, спиной отворил двери. Андрейка бросился вперед, намереваясь выбежать из комнаты вместе с этим ненавистным теперь человеком, но стукнулся только в захлопнувшуюся перед самым носом дверь, заколотил в нее, зацарапал ногтями:

– Предатель! Предатель! Предатель... – И сполз по двери на пол, подвывая, как щенок. ШАПКА слетела с головы и откатилась на середину комнаты.

Через некоторое время замок в двери щелкнул, кто-то взял его под мышки, поднял с пола, усадил на вытертый диван и погладил даже по голове. Андрейка понял, что это милиционер, сердито ударил по чужой руке, ткнулся лбом в холодную стенку и опять зарыдал.

Милиционер, зашедший в комнату, не говорил ни слова. Андрейка не смотрел на него, не хотел смотреть. По звукам и шорохам определил – милиционер сел за стол, начал перелистывать бумаги. «Ну и пусть листает себе, а я вот так и буду сидеть, я даже умру лучше, чем гляну на него...» – думал и думал он упрямо, перестав всхлипывать. Но вдруг за спиной глухо и протяжно заревел паровоз. Может, это пассажирский поезд пришел, а может, тронулся дальше тот состав... Андрейка невольно встрепенулся и увидел – за столом сидит не милиционер, а милиционерша. Лет ей было, наверно, чуть побольше, чем Верке Инютиной, глаза совсем девчоночьи, смешливые и любопытные. Но, заметив, что Андрейка смотрит на нее, она часто-часто заморгала, вздохнула и участливо спросила:

– Обидно, да?

– Иди ты... – презрительно ответил Андрейка.

– Ты что же так, Андрюша, грубо со старшими говоришь?

– Никакой я не Андрюша.

– Как же ты не Андрюша? Именно Андрюша Савельев, живешь в селе Шантара, за Новосибирском. Ох, далеко тебя обратно везти!

«Разболтал, гад такой, и это разболтал! – с ненавистью думал о кондукторе Андрейка. – А мне еще глаза его добрыми показались и усы симпатичными. Самые противные усы, висят сосульками, а глаза хитрющие и лживые... Постыдился, гад такой, даже в лицо мне поглядеть. Да, наверно, притворился, что стыдно. Откуда у него, у такого, стыд-то может взяться?...»

* * *

Через два дня Андрейка снова оказался в Шантаре.

Та девушка-милиционер, пошуршав еще немного бумагами, повела его ужинать в какую-то столовую. Есть Андрейка отказался решительно. Тогда она отвела его в тюрьму. Ну, не совсем в тюрьму, в такую же примерно комнату, как на вокзале. Но стола там не было, во всю стену тянулись широкие деревянные нары, и на окнах были не проволочные, а настоящие железные решетки. И, кроме того, за дверью всю ночь ходил, покашливая, дежурный милиционер.

Утром явилась та же девушка; крепко держа за руку, повела его на перрон. Потом он оказался в полутемной теплушке, где на полу, застланном толстым слоем соломы, сидели и лежали человек пятнадцать таких же ребят, как и он, и даже одна девчонка с жиденькими, замызганными косичками, а с ними костлявый, неповоротливый и неразговорчивый милиционер. Теплушка была прицеплена к хвосту пассажирского поезда. Андрейка забился в самый темный угол и долго и беззвучно плакал.

Все ребята и эта девчонка были из Новосибирска. Едва поезд там остановился, теплушку окружили мамы, папы и бабушки. Они закричали, загалдели, заголосили. Костлявый милиционер принялся выкрикивать фамилии, давал родителям сперва расписаться в какой-то бумажке и только после этого по одному выпускал своих пассажиров, бурча под нос:

– Распустили до безобразия свою детву, а нам мыкаться с ними, вылавливать по всей дороге! Пошибче теперя глядите за ними...

От Новосибирска до Шантары ехали в пассажирском вагоне. Андрейка сидел, прижатый милиционером к самой стенке, и тоскливо смотрел в окно. Милиционер всю дорогу дремал, прикрыв глаза, немного посапывал. Но стоило Андрейке шевельнуться, он тотчас прерывал сопение, открывал глаза и противно, как лягушка, дергал отвислым подбородком.

Выйдя из вагона в Шантаре, Андрейка сразу же попал в объятия матери.

– Сыночек, сыночек... – плача, говорила мать, целовала в щеки, в лоб и прижимала его голову к своей мягкой груди. – Да как же ты это? Ведь я чуть с ума не сошла...

– Распустили детву... – бурчал свое милиционер, протягивая матери бумажку. – Распишитесь в получении...

Дома мать сразу же потащила Андрейку в заранее истопленную баню. Потом посадила в кухне за стол и, как дорогого гостя, стала поить чаем со сливками, поставила перед ним целую тарелку конфет в красивых бумажных обертках.

Он еще не допил чашку, когда вернулся с работы отец.

– Ему не конфет, ему ремня потолще досыта вложить бы, – сердито сказал он, стаскивая возле порога грязные сапоги и с грохотом бросая их на пол. И, больше не прибавив ни слова, ушел в баню.

Потом открылась дверь, и вошел Семен, тоже вернувшийся с работы.

– А-а, прибыл, беглец?! Как же теперь Красная армия без тебя обойдется?

Слова Семена расстроили Андрейку больше, чем отцовская угроза. Потому что в них была насмешка. Он вспыхнул моментально, отодвинул от себя и чашку, и тарелку с конфетами.

– Смеешься, да? – крикнул он, сверкая глазенками.

– Андрюшенька! Семен... – всполошилась мать. – Не надо так, Семен... Ты ешь, сынок...

– Ты усы отрасти – и как раз будешь на кондуктора походить!

– На какого еще кондуктора? – переспросил Семен. – Значит, тебя какой-то кондуктор, что ли, с поезда снял?

– А это уж не твое дело, – буркнул Андрейка. Подумал и добавил: – Еще, гад такой, на рыбалку, говорит, к вам приеду. Пусть приедет, я его встречу... А вы чего уставились?

При последних словах он повернулся к только что прибежавшим из школы Димке и Ганке. Они действительно «уставились» на Андрейку – смотрели на него удивленно, во все глаза.

Андрейка смерил их насмешливым взглядом и, чувствуя все-таки себя немножко героем, вышел на улицу.

Через полчаса он сидел на крыльце Инютиных и рассказывал Кольке, Ганке, Димке и подошедшему позже другим Витьке Кашкарову все, что с ним произошло. Позавчера, вчера да и сегодня еще он думал, что никогда и никому не будет рассказывать о подробностях своего побега, закончившегося так постыдно. А несколько минут назад, увидев, что Ганка, глядя на него, от изумления раскрыла даже рот, подумал: а чего ему, собственно, стыдиться? Разве его вина, что до фронта доехать не удалось?

Ганка и теперь слушала, поблескивая в полутьме белыми полосками зубов, широко распахнув бездонные свои глазищи. Она порывисто дышала и в некоторых местах приглушенно, как мышь, попискивала. Когда она пищала, Димка шевелил густыми бровями, медленно поворачивал к ней голову, хмурился. Она торопливо махала ресницами, будто молчаливо извинялась за свой писк. Николай Инютин то глядел на рассказчика недоверчиво, то, опустив глаза, задумчиво чесал свой горбатый нос. Лишь Витька Кашкаров сидел, по своему обыкновению, неподвижно, в одной и той же позе. Казалось, он не слушал Андрейку, а думал какую-то свою нескончаемую думу, давно решал и все никак не мог решить какой-то трудный вопрос. Он всегда был молчаливый и угрюмый, этот Витька, но в последнее время, после истории с автолавкой, за которую его долго держали в милиции, а потом, после суда над Макаром, все же выпустили, и совсем превратился в камень. Теперь и вовсе никто не мог вытянуть из него хотя бы слово.

Было уже совсем темно, небо погасло, захлопнулось над землей, как крышка гигантского сундука. Только на западе, куда каждый вечер скатывалось солнце, виднелась узкая и длинная кроваво-красная щелка, которая, впрочем, быстро укорачивалась и меркла. Над землей гулял и не сильный вроде, но упругий, холодный, пронизывающий до костей ветер. Казалось, он со свистом врывался на землю сквозь эту кроваво раскаленную щелочку, растекался потом над полями, над просторами земли. Врывался он горячий, как пар, но, мчась до Шантары, терял все свое тепло, становился тяжелым и холодным, как вода в зимней Громотухе.

Когда Андрейка закончил рассказ, все помолчали. Ганка прижала ладонями пылающие щеки, не то нажженные ветром, не то горевшие от волнения, спросила:

– И тебе не страшно было? Одному-то ночью на платформе?

– Чего там бояться? Не в лесу же.

– И все равно жутко, наверное... Нет, я бы не смогла.

– А он врет все, – неожиданно сказал Димка.

– Что все? – повернулась к нему девчушка.

– А что не страшно было.

Ганка помолчала, похлопала в темноте ресницами.

– Пусть даже и страшно маленько, – согласилась она. – Из вас никто не решился на такое.

А он...

– Дурак потому что, – грубо отрезал Димка. – А ты его слушаешь... Рот даже раскрыла.

– Ты, ты... – Ганка вскочила. И резко повернулась, побежала со двора.

– Ганка, ты что? Гань... – Димка поднялся, потоптался. – Ну, дура. Чего она?

– Вот я скажу ей, что ты душой ее назвал, – проговорил Николай Инютин с явной насмешкой.

– Ты?! – подскочил к нему Димка. – Как по горбатому-то носу съезжу!

– А ты достань сперва, – поднялся Колька, вытянувшись во весь рост. – Подрасти еще надо.

Димка попятился от Инютина. И хотя Николай тут же сел, Димка, что-то бормоча неразборчивое, все пятился, потом махнул рукой и убежал со двора. Инютин сплюнул в сторону.

– Вот и ступай догоняй ее.

– А зачем ему догонять? – непонимающе спросил Андрейка.

– Да ты не знаешь, что ли? – уставился на него Инютин. – Димку же в школе все зовут Ганкиным пастухом.

– Нет, – мотнул головой Андрейка и тут же наивно спросил: – А почему его так зовут?

– Эх ты, простота... – рассмеялся Инютин. – Грудь-то у нее, видал, поди, растут уже.

– Ну, так что?

– Малявка ты... Потому и поймал тебя на удочку этот кондуктор.

И тут неожиданно встал Витька Кашкаров, постоял, качаясь под ветром, подул на озябшие, видно, ладони, засунул их в рукава обшарпанного пальтишка, сказал со злостью:

– Этот кондуктор, видать, такой же стерва, как ты!

– Ч-чего-о?! – опять стал угрожающе подниматься Колька.

– Кто Семке разболтал, что я у тебя ночую?! А тот милиционеру этому, Елизарову. Сво-лочь ты. А я думал, что ты друг, доверился тебе.

– Ах ты, барахло... – засопел сердито Инютин и двинулся к Витьке. – Целую машину народного добра-то свистнули с Макаркой, а теперь...

– Не лезь! – звонко закричал Витька, выдергивая ладони из рукавов.

Инютин и вправду остановился. Витька не спеша повернулся и, опустив голову, пошел со двора. Шел медленно, будто опять принявшись за свою нескончаемую думу.

Оставшись вдвоем, Андрейка и Николай посидели молча.

– Нет, ты видал, какое он барахло, Витька-то? – спросил Инютин все еще негодуя. – Если уж на то пошло, Семка ваш сволочь, а не я... Я же Семке по-дружески, по секрету сказал про Витьку. Откуда я знал, что он сразу к Елизарову побежит? Я по-честному, можно сказать, доверился...

Андрейка вздохнул и проговорил:

– Я понял теперь, что людям нельзя доверяться ни по-честному, ни по секрету. Ведь если бы я не сказал кондуктору, кто я такой, как зовут, где живу, а главное – куда еду, и потом, в милиции, не сказал, – что бы они со мной, куда меня? А, как думаешь?

– Не знаю, – промолвил Колька. – В детдом бы отправили как беспризорника. А то и в тюрьму.

– Да-а, может, и отправили бы куда... – Потом принялся рассуждать, как взрослый: – В тюрьму-то по какому праву? Я же не вор и не бандит. А из детдома улизнул бы... Но лучше не попадаться. Лучше не доверяться никому из людей. Не-ет, я теперь ученый.

– Ты что, опять хочешь сбежать?

Андрейка вздрогнул от такого вопроса. Он поднялся с крыльца, постоял в задумчивости. И сказал, стараясь придать своему голосу побольше убедительности:

– Нет, больше не побегу... Думаешь, это мед – по составам прятаться? С одного раза я сытый.

Андрейка говорил так, зная в душе, что снова сбежит из дома. Он только не знал, когда это случится. Наступила зима, и это тревожило его. Зима не лето, в один час околеешь на открытой платформе или в холодном вагоне. Но и ждать лета не с руки, к лету война может закончиться. Однако об этих пока неясных и смутных мыслях и планах на будущее и Кольке

и кому бы то ни было другому знать вовсе ни к чему. Слава богу, у него, Андрейки, есть на этот счет уже горький опыт.

* * *

Во второй половине дня 22 октября Кружилин, Полипов и Антон Савельев стояли на перроне и ждали поезда из Новосибирска, с которым ехал секретарь обкома партии Субботин. Зачем он приезжал – по делам района или только завода, – было неизвестно. Обычно о своих приездах он звонил в райком. На этот раз звонка не было, пришла только телеграмма.

Шел дождь вперемешку со снегом, снег на асфальте таял медленно, отчего весь перрон был в крупных снежных пупырышках. Мокрые рельсы уныло блестели, станционные постройки влево от перрона тонули, расплывались в серой холодной пелене. Людей на перроне не было, только изредка пробегал какой-нибудь железнодорожный рабочий с длинногорлой масленкой или кондуктор с потухшим фонарем.

С дождевиков Кружилина, Полипова и Савельева капало, они ежились под ветром, отворачивались от мокрого снега.

На здании вокзала, прямо перед входом, был прикреплен радиодинамик. Над пустынным перроном разносился привычно угрюмый голос диктора, читавшего утреннюю сводку Информбюро. Как и вчера, как и позавчера, как много-много дней и недель подряд, в сводке не было ничего хорошего. Хрипловатым, будто простуженным голосом диктор сообщил, что «в течение ночи на 22 октября продолжались бои на всем фронте. Особенно напряженные бои шли на Можайском, Малоярославском и Калининском направлениях...».

Враг упрямо и неустойчиво рвался к Москве. Кружилин мысленно представил себе висевшую у него в кабинете карту: «Можайск, Малоярославец, Боровск, Калуга... По прямой километров, наверное, сто – сто двадцать, не больше. Но Можайск и Малоярославец пали семь дней назад, 16 октября, немцы взяли Боровск, а Калугу еще раньше – 12 октября. Где же теперь немцы? Позавчера в Москве объявлено осадное положение. Что будет с Москвой?»

Кружилин посмотрел на Савельева и Полипова. Они тоже молча и хмуро вслушивались в голос диктора. Савельев, прижмурив уставшие глаза, смотрел куда-то в сторону, где стоял входной семафор. Его верхушка обычно торчала над крышей железнодорожного пакгауза, но сейчас не только семафора, но и самой крыши не было видно. Полипов же, надвинув капюшон дождевика на самые глаза, опустил голову книзу. Щеки его от холода посинели, кругловато вздулись.

Да, Москва... Сейчас все думали только о ней. И Кружилин думал, в сотый, а может быть, и в тысячный раз, пытаясь осмыслить и понять: как же это произошло, как получилось, что фашистские войска стоят под самыми ее стенами?

Дождь все лил и лил, глухо барабанил по жесткому капюшону толстого брезентового плаща. «Да, все ту же сжимается обруч вокруг Москвы, – раздумывал Кружилин, ходя по перрону, глядя, как брызжет из-под сапог водянистая снежная жижа. – Впрочем, пока не обруч, а подкова. В обруче – Ленинград. Он еще в начале сентября был окружен, как Одесса. Неужели этот город, где родилась, где началась революция, ждет судьба Одессы? – Кружилин вздрогнул, но тут же отогнал эти мысли. – Нет, не может этого быть, нельзя допустить. Тогда Москве совсем будет плохо. Единственный крупный город, прикрывающий Москву с северо-запада, Калинин, взят немцами больше недели назад, на юго-западе бои идут под Тулой. Если падет Тула, падет Ленинград, немцы с двух сторон начнут обходить Москву. С севера попрут на Ярославль, с юга на Горький, Иваново. И если их не остановят, тогда подкова превратится в обруч, тогда кольцо замкнется, тогда...»

Заревел паровозный гудок, и Кружилин опять вздрогнул. «Тьфу ты, стратег...» – обругал он себя и стал смотреть, как из тяжелого тумана криво и бесшумно выползает грязно-зеленый железнодорожный состав.

Выйдя из вагона, Субботин, гладко выбритый, в черном демисезонном пальто и кожаной фуражке, по очереди, не очень дружелюбно оглядел встречающих.

– Что это все явились? Дел больше нет ни у кого?

– Мне вроде по этикету положено, – улыбнулся Кружилин.

Но Субботин на эту улыбку никак не отозвался.

– А ты? – повернулся он к Полипову.

– Долг вежливости, считайте. – Полипов пожевал обиженно губами. – Разве возбраняется?

– Ну а ты, Антон? Тоже считать долгом?

– Я просто обязан. Ты же, Иван Михайлович, по нашему ведомству... эвакуированными предприятиями занимаешься.

– Ага... Ну, идем. Покажи мне свой завод.

Они шли по перрону – Субботин впереди, остальные на два шага сзади. Субботин шагал крупно и твердо, но спина его сутулилась, морщинистая тонкая шея с трудом, казалось, держит голову. И Кружилин подумал, что Субботин ведь уже старик, ему, кажется, не то шестидесятый, не то шестьдесят первый. Глядя в его чистые сероватые глаза, на розовые, всегда тщательно выбритые, без морщин, щеки, на узкие, будто мальчишеские плечи, об этом как-то не думалось, даже совершенно поседевшие за последнее время волосы и брови его странным образом не старили. Но сутулившаяся при ходьбе спина и эта тонкая, старческая шея выдавали возраст.

В машине он молчал, сердито насупившись. Молчал и потом, когда ходил по территории завода, между огромных земляных курганов, недостроенных, окруженных лесами корпусов, наваленных повсюду безобразными кучами строительных материалов – кирпича, леса, проволоки, листового железа. Он, ничего не спрашивая, ходил из конца в конец огромной развороченной площадки, за ним, увязая в грязи, двигались толпой Савельев, Кружилин, Полипов и встретивший их у ворот главный инженер Нечаев.

На заводской площадке и примыкавшей к ней территории царил на первый взгляд невообразимый хаос: подъезжали и отъезжали грузовики; махали ковшами экскаваторы, рывшие какие-то ямы; всюду сновали люди – озябшие, перемокшие, кто в дождевиках, кто с мешками на головах. Люди кричали, ругались, что-то требовали, машины натужно гудели, еле вытаскивая из засасывающей грязи кузова, буксовали...

И странным казалось, что только каменщики, маячившие на стенах корпусов, не кричали, не ругались, не суетились. Не обращая внимания на суматоху внизу, на ливший сверху изнуряющий, холодный, вперемешку со снегом дождь, они молча и сердито делали свое дело, время от времени бросая отрывисто вниз:

– Кирпичей!

– Раствору! Дрыхнете там...

Обойдя площадку, Субботин так же молча зашел в один из недостроенных корпусов.

Стены его были уже возведены, положены поперечные балки для устройства перекрытия. Сверху сыпались искры электросварки, а внизу, у гудящих станков, не обращая внимания на дождь, на эти сыпавшиеся сверху искры, работали перемокшие люди. Проходы между четырьмя рядами станков были застланы мокрыми досками. По каждому проходу женщины катали четырехколесные тележки, собирая в кузова готовые головки артиллерийских снарядов, отвозили их через широкий проем в торцевой стене корпуса в длинный дощатый сарай, закрытый толем.

Субботин стоял в цехе минут пять, глядел на рабочих у станков, на женщин, катавших тележки, как-то скорбно опустив уголки плотно сжатых губ. И вдруг, повернувшись к Полипову, задал странный вопрос:

– А каким хлебом вы кормите их, всех этих рабочих? Ржаным или пшеничным?

– Не понимаю... – ответил тот. Веки его вздрагивали.

Субботин усмехнулся, потуже надвинул кожаную фуражку.

– Я припоминаю, Петр Петрович, у тебя, когда ты волновался, губы дергались. А теперь, гляжу, и веки начинают трястись.

– При чем тут мои веки и губы? – сказал Полипов теперь сухо, подчеркнуто сдержанно.

– Ну-с, покажите мне еще ваш знаменитый «Копай-город»...

Огромная котловина, вокруг которой шло строительство землянок, была окружена, как ожерельем, горами мокрой, осклизлой земли. Экскаваторов тут не было, потому что рытье землянок давно закончили, многие из них заселены, остальные обшивались досками, перекрывались сверху деревянными брусьями и засыпались грунтом. Под длинным дощатым навесом было устроено что-то вроде временной столярки. Там визжала циркулярная пила, с полсотни пожилых мужчин и стариков строгаали доски, сколачивали оконные и дверные коробки.

Субботин прошелся под навесом, поглядел на горы земли, на торчавшие прямо из-под земли печные трубы, многие из которых дымились. Скользя по мокрому откосу, рискуя съехать вниз, в котловину, он пошел к одной из землянок, махнув своим спутникам, чтобы они ждали его под навесом.

Землянка была просторная, с двумя отделениями, но темная. В первой половине этой земляной норы стояла небольшая печь. У плиты копошилась какая-то старуха с растрепанными волосами, мешала поварешкой в кастрюле. По стенам землянки тянулись широкие нары, на них валялось тряпье. На нарах с правой стороны спали рядом мужчина и молодая женщина. Пахло кислым борщом, но сквозь этот резкий запах пробивался гложущий уже аромат сосновых досок.

Субботин поздоровался. Старуха только поглядела на него и ничего не сказала.

– Тяжко, значит, мамаша? – спросил Субботин и, сняв фуражку, присел на табурет.

– Да уж чего хорошего... Вон, видишь, молодожены-то как спят! – кивнула старуха на нары. – Умаялись, сердешные, с ночной смены обои, промокли до костей. Дочка это моя... А тут еще, кроме нас, две семьи живут. Вот и думай – тяжело ли, вольготно ли... А ты кто такой?

– Я из Новосибирска. Секретарь обкома.

– А-а... – равнодушно протянула старуха.

Потом она оставила свою кастрюлю, села напротив Субботина на другой табурет, вытерла сухие жилистые руки фартуком.

– Глядишь, значит, как народ мыкается?

– Гляжу...

– Помочь, видно, хошь людям-то?

– Чем же помочь могу?

– Да уж тем хотя бы, что ходишь вот, смотришь, – помолчав, ответила старуха. И у Субботина защипало сердце от чего-то. – Посмотришь на это все – как же душа-то не обольется? Ежели и было в ней что худого, все обчистится, смоется. Ежели человеческая душа-то. Значит, шибче людей-то после любить будешь...

Встала и принялась за свою кастрюлю. Субботин вышел из землянки.

Кружилин, Савельев, Нечаев и Полипов ждали его под навесом.

– Что ж, картина ясная, – сказал он. – Больных много?

– К удивлению, не так уж и много, – ответил Савельев. – Простуда в основном.

– Где лечите?

– В районной поликлинике. А вон засыпной барак. Это заводская больница. Можно зайти посмотреть.

– А рядом что за строения возводятся?

– Жилые бараки. В каждом по сорок комнат. Заложили пока двенадцать зданий. После ноябрьских праздников заложим еще десятка четыре. Лес на подходе. Ну а там с жильем – по мере поступления стройматериала. Людей для строительства найдем. Рабочих в землянках больше одной зимы держать нельзя.

– Да, нельзя. – Секретарь обкома поднял тяжелый взгляд на Полипова. – Там, в землянке, любопытная старуха живет. Как-нибудь загляни-ка, поговори с ней. Тебе полезно будет.

Полипов выслушал это, пожал непонимающе плечами.

– Как Лиза твоя, Антон? – спросил Субботин. – Очень, очень хочу ее увидеть...

– Ничего, держится. Заходи, увидитесь... Кстати, и переночевать у нас можно.

– Да, я обязательно зайду. Что ж, товарищи, спасибо, что показали завод... Можете быть свободными. А мы с Поликарпом Матвеевичем по району проедем.

Кружилин с удивлением взглянул на Субботина. Но тот, прощаясь, пожимал руки Савельеву, Нечаеву, Полипову.

Когда остались вдвоем, Кружилин спросил:

– Это ты серьезно по району хочешь? На машине не проехать.

– Серьезно. Хоть бы в колхоз «Красный колос». Кажется, именно этот колхоз нынче больше других сдал хлеба государству? Дождевик какой-нибудь найдется для меня?

* * *

Карька Сокол, гулко шлепая копытами по жидкой грязи, перемешанной со снегом, легко вынес коробок на окраину села. Застоявшийся жеребец шел рысью, с колес летели ошметки грязи. Но постепенно сбавлял ход и наконец потащился шагом, широко раздувая лоснящиеся бока.

«Зачем же все-таки приехал в район Субботин? – пытался догадаться Кружилин. – Завод оглядел мельком, в подробности не вникая. Зачем ему в колхоз, именно в „Красный колос“? Неужели в связи с самовольством Назарова?» Он, Кружилин, невольно подумал об этом, когда Субботин задал Полипову действительно на первый взгляд странный, неуместный, глуповатый даже вопрос: каким хлебом кормят рабочих – ржаным или пшеничным? Но, во-первых, Субботин с начала войны занимается делами эвакуированных предприятий. Во-вторых, Кружилин не докладывал никому в области, что Назаров засеял половину пашни рожью, а Полипов снял все-таки вопрос о Назарове с повестки исполкома.

Дождь со снегом все шел и шел, промозглый, нескончаемый. И вдруг повалил густыми, лохматыми перьями только снег. Снег сыпался сверху тяжело и торопливо, плотной шторой занавесив со всех сторон и без того тусклое пространство. Через несколько минут мокрые поля, грязная дорога – все было залеплено, укрыто им, точно с неба упала гигантская простыня. Ключья этой простыни висели на придорожных кустарниках, на дымящемся крупе жеребца...

– Ложится матушка-зима, – проговорил Кружилин. – Слышишь, как холодает?

– Наверное, – отозвался Субботин. И, как бы догадавшись о мыслях Кружилина, добавил: – Ты не удивляйся, что я в колхоз еду. С пятнадцатого октября я снова сельским хозяйством занимаюсь.

– Ну что ж, и хорошо. Я очень рад, – сказал Кружилин. А про себя подумал: «Насчет Назарова».

– Но, зная положение дел в области с размещением эвакуированных предприятий, я тебе вот что скажу... В землянках людей, конечно, нельзя долго держать. Вы двенадцать барачников строите по сорок комнат, ждете еще много леса. Только вряд ли дождетесь.

– Почему? – спросил Кружилин.

– А ты как думаешь? – сдержанно проговорил Субботин.

– Понятно...

– Да, эвакуация продолжается, – мягко заговорил Субботин. – Прибывающие на новые места заводы, фабрики надо пускать в ход. А ваш завод что же – уже действует, уже дает продукцию.

Снег то переставал, и тогда открывались побелевшие просторы, виднелись по сторонам заснеженные холмы, то снова начинал сыпаться гуще прежнего.

В воздухе все холодало. Карька затащил ходок на вершину увала и пошел вниз веселее. Справа осталась Звенигора, невидимая сейчас за сплошной качающейся серой стеной падающего снега.

Свежий снег, видимо, волновал жеребца, он мотал головой и фыркал, старался временами перейти даже на рысь. Но Кружилин каждый раз легонько сдерживал его.

Колеса оставляли на дороге черные рваные колеи. Впрочем, снег тут же забеливал их, засыпал.

Впереди послышались неясные, приглушенные сперва голоса, свист, какие-то выкрики. Все это приближалось, ползло навстречу, потом взлетел, покрывая разноголосый шум, чей-то голос:

– Н-но, соколики-и!.. Веселей, веселей! Подмогай, подмогай шибче, – только на увал вытянуть! Н-но-о!..

Голос был мальчишеский, звонкий, он легко прокалывал снежную коловерть и звенел под капюшоном Кружилина, как под колоколом. Сквозь снежную карусель показалась бричка, за ней, как в тумане, замаячила другая, еще дальше зачернелась третья...

Навстречу Кружилину и Субботину карабкался на увал целый обоз. Измазанные снегом лошаденки, припадая на передние ноги, с трудом тащили груженные, прикрытые брезентом брички. Клейкая грязь со снегом наматывалась на колеса, лошади выбивались из сил, каждую бричку подталкивали двое-трое ребятишек-подростков. Кто в чем – в сапогах, в ботинках, в шапках, в фуражках, тоже густо облепленные мокрым снегом, они орали, свистели, размахивали бичами.

– Хлеб, что ли, везут? – спросил Субботин.

– Кажется.

– Откуда?

– Из «Красного колоса». Ихние лошади... Только кто это выдумал – одних ребятишек пустить в такую погоду?! – Кружилин натянул вожжи, соскочил с ходка. – Сто-ой!

Обоз продолжал двигаться.

– Стой, говорю...

– Что ты кричишь? – спросил подошедший от ближайшей брички мальчишка лет двенадцати-тринадцати, с бичом, в старой, не по росту, тужурке. – А-а... Сто-ой, ребята-а...

Обоз остановился. Со всех концов начали подходить такие же ребятишки, окружили толпой.

– Ты знаешь меня? – спросил Кружилин.

– Видал, как же... Мы хлеб на элеватор везем.

– Вижу. Кто старший?

– Я.

– А ты-то кто? Чей будешь?

– Савельев я. Володька. А что?

– Взрослые есть с вами?

Расталкивая ребятишек, к ходку протиснулся шупленький бородатый старичок в зипуне, в мокрой шапчонке, вытянув шею, пытался разглядеть Кружилина.

– Что за начальство тут? А-а, райкомовское...

– Здравствуй, Петрован Никифорович. А я думал – одних ребят послали.

– Дык Панкрат с греха с имя сбился, – ткнул Петрован Головлев кулаком куда-то в сторону. – Куды, грит, в такую погоду хлеб везти? Оно, правда, как выехали, снегу-то не было еще...

– У нас обязательство такое – к двадцать второму октября сдать пионерский хлебный обоз для Красной армии, – сказал Володька. – Это наш класс, – кивнул он на ребяташек. – Мы серпами целую полосу выжали, в снопы связали. И обмолотили сами, провеяли... Сегодня – со школы отпросились, последний срок потому что...

– Дык я и говорю – председатель наш с греха сбился, – опять заговорил Головлев. – Потом рукой махнул: поезжай, грит, с имя, Петрован...

– Понятно... Прежде чем назад ехать, обсушитесь там в элеваторной дежурке.

– Само собой...

– Назаров где? В Михайловке?

– Не, он на второй бригаде. Там скирду вчерась молотить разчали, а тут ночью дождь полил. Ну, бабенки растерялись. Чуть не угробили скирду-то, не промочили. Ладно Панкрат прискакал как очумелый, заставил соломой сверху завалить скирду. Сам стоял под дождем, вершил... Зверем рычал на всех сверху-то. Потом этот обоз отправил да спать лег. Мож, проснулся уж.

Пока старик выкладывал все это, обоз тронулся, загикали, закричали ребяташки.

– Вы прямо туда и айдате, на вторую бригаду...

– Туда и поедем, – сказал Субботин и закрыл глаза, будто задремал. До самого конца пути он не проронил ни слова.

Вторая бригада колхоза «Красный колос» – несколько деревянных строений, почерневших от времени, прилепившихся на самой кромке леса: два жилых дома – для полеводов и животноводов, стряпка, амбар, хозяйственный сарай, пригон для скота и огромная теплая рига. На запад расстилалась степь, пахотные земли, которые ограничивались Громотухой и Звенигорой. Дальше, за горой и печкой, были земли другого колхоза, который назывался «Красный партизан». На восток шли леса с озерами и болотами. Лес испокон веков называли тайгой, хотя километров на пятнадцать вокруг, кроме березы, осины да редких небольших сосенок, ничего не было. Настоящая тайга начиналась дальше к востоку, за Журавлиными болотами, за Огневскими ключами. Земли за озером, на берегу которого когда-то была заимка Кафтанова, отходили третьему колхозу.

Пригон для скота – большой, огороженный жердями квадрат земли – был заснежен и пуст: скот держали тут только летом. Но вокруг риги суетились люди. От черного широкого зева ее ворот до открытых дверей амбара были настланы плахи. По этим плахам женщины беспрерывно катили тачки, в каждой тачке лежало по мешку с зерном.

Когда Кружилин с Субботиным подъезжали к бригаде, снег прекратился – сразу посветлело, горизонты распахнулись. Земля, еще сегодня утром черная, унылая, обессилевшая, от края до края помолодела и обновилась. Укрытая первым, ослепительной белизны снегом, она будто вздохнула облегченно и, как человек, наработавшийся за день и добравшийся наконец до постели, затихла... Боясь шевельнуться, боясь нарушить этот первый еще не крепкий, но самый сладкий и пленительный сон земли, безмолвно стояли деревья с отяжелевшими, заснеженными ветками. Безмолвно плавали где-то между серых облаков побелевшие утесы Звенигоры. Утесы то виднелись сквозь клочья туч, то исчезали, и казалось, каменные великаны кланяются земле, свершившей то, что положено свершать ей от сотворения мира каждый год, – весной, проснувшись, зацвести, все лето зреть и наливаться силами, а осенью радостно и щедро рожать и, обессилев, ложиться под снег и копить всю зиму новые жизненные соки.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.